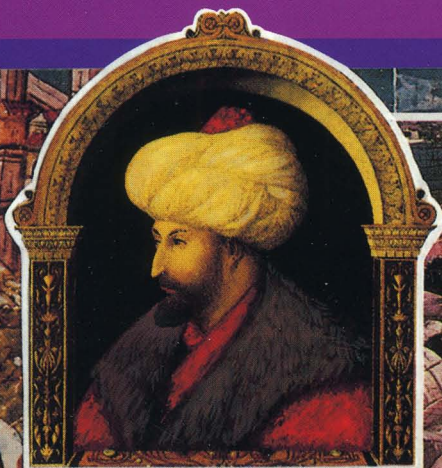


ТАЙНЫ

Бек XIV, XX



Ф. Гримберг
**СУДЬБА ТУРЧАНКИ,
ИЛИ ВРЕМЕНА
ИМПЕРИИ**

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XIV, XX

Ф. Гримберг
СУДЬБА ТУРЧАНКИ,
ИЛИ ВРЕМЕНА
ИМПЕРИИ

(триптих)

ПРИЗРАК МУЗЫКАНТА

ВРАЧ-АРМЯНИН

Я ЦЕЛЮЮ ТЕБЯ
В ГУБЫ

РОМАНЫ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1997

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
Г84

Художник
Р. АЮПОВА

Гримберг Ф.
Г84 Судьба турчанки, или Времена империи: Триптих.—
М.: ТЕРРА, 1997. — 400 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).
ISBN 5-300-01331-5

В этой книге представлен триптих современного писателя, историка, филолога-слависта Ф. Гримберг.

Романы посвящены разным историческим периодам: «Призрак музыканта» повествует о XIV веке, «Врач-армянин» — о начале XX, действие последнего романа «Я целую тебя в губы» разворачивается в Болгарии 80-х гг. нашего века.

Все эти произведения объединяет умелое использование автором документальных источников, тонкое воспроизведение колорита эпохи и художественное мастерство писателя.

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 5-300-01331-5

© Издательский центр «ТЕРРА», 1997

Об авторе

Фаина Ионтелевна Гримберг — поэт, прозаик, историк и филолог-славист. Автор монографий «Болгары и мир», «Династия Романовых. Загадки. Версии. Проблемы», «Рюриковичи. Семисотлетие «вечных» вопросов», книги стихов «Зеленая ткачиха», романов «Флейтистка на часовом холме» и «Гром победы». Опубликованы также романы, написанные от лица вымышленных авторов: Жанна Бернар «Платье цвета луны», Якоб Ланг «Тайна магического знания», «Наложница Фараона», Клари Ботонд «Любовники старой девы», Катарина Фукс «Падение и величие прекрасной Эмбер» и другие...

«В литературе не так много произведений, написанных от лица вымышленного автора, и занимают эти произведения особое место. «Настоящий» автор выступает одновременно творцом и самого произведения и личности «автора» вымышленного. Это придает тексту большее своеобразие и остроту. Назову несколько подобных конструкций, наиболее известных и ставших классическими... «Театр Клары Гасуль» Проспера Мериме — пьесы, написанные от имени никогда не существовавшей испанской актрисы и писательницы. Просперу Мериме принадлежат и «Песни западных славян», переведенные на русский язык Пушкиным. Это произведение замечательного французского писателя представляет собой сборник подстрочников... никогда не существовавших песенных текстов придуманного Мериме гусяра Иакинфа Маглановича. Но подобные опыты интересовали и Пушкина. В «Повестях Ивана Петровича Белкина» он выступил «автором автора», что называется; создав биографический очерк жизни вымышленного им Белкина...

Я всегда хотела быть самыми разными людьми, которых я сама придумаю. Каждый мой вымышленный автор — это знак-символ; его биография — в пространном или кратком варианте — часть общего текста произведения; его имя, подробности его жизни и творчества — ключ к волшебным дверям сложной системы загадочных построений, ключ к самой сути произведения...

Мои собственные убеждения и мысли вовсе не всегда совпадают с мыслями и убеждениями «моего автора». А иногда вымышленный автор и вовсе не нужен мне; я чувствую, что проза или стихи пишутся, что называется, «от себя»... Но бывает и так, что вымышленный автор мне просто необходим; такое ощущение, будто не я пишу, а он...

В триптихе «Судьба турчанки, или Времена империи» у меня таких авторов двое: турецкий прозаик Сабахатдин-Бора Этергюн и болгарская писательница София Григорова-Алиева...»

Предисловие

Нельзя сказать, чтобы наш читатель был знаком с турецкой литературой, с историей и культурой Турции. А между тем именно для читателя в современной России знакомство с произведениями турецких писателей было бы интересным и поучительным. Ведь в свое время Турция, как и нынешняя Россия, возникла в результате сложных и трагических процессов распада огромного государства имперского типа. С легкой руки Чехова мы привыкли говорить, что в Греции «все есть». Так вот, в турецкой литературе тоже «все есть» — и «деревенщины», и романтики, и модернисты, и «женская проза», и фантастика, и, конечно, исторический роман.

Исторический роман дает нам возможность посмотреть на отдаленные события глазами человека, напряженно вдумывающегося в их суть и смысл. Сейчас таким человеком станет для нас турецкий прозаик Сабахатдин-Бора Этергюн. Кто же он? О таких писателях рассказывать непросто. Признанный и непризнанный одновременно. Мастер «литературного скандала» и занимательной интриги и в то же время — философ и создатель поэтической прозы.

Сабахатдин-Бора Этергюн родился в 1881 году в Истанбуле, в семье, принадлежавшей к потомственной воинской аристократии. Образование получил в Германии. Свой литературный путь начал как прозаик-реалист, выпустив сборник рассказов «Слепые дети». Спустя некоторое время вышла книга его эссе «Прошлое и будущее турецкой словесности» (1911). Затем последовали романы «Безумная любовь к Ламартину», «Времена Османа-гази» и другие. Роман «Врач-армянин», посвященный событиям 1915 года, принес Этергюну определенную и несколько скандальную известность; роман был переведен на английский, французский и немецкий языки. После покушения на его жизнь, совершенного по инициативе армянских политических деятелей, Этергюн снова уезжает в Германию. Здесь были написаны романы «Мадемузель Аиссе» (история девочки, привезенной из Стамбула в Париж в XVIII веке французским послом графом де Ферриолем),

«Призрак музыканта» (1936), «Двуглавый воин», а также многочисленные эссе и статьи. В конце тридцатых годов Этергюн сближается с Тибетским обществом. В 1943 году он был выслан из Германии, а в 1946-ом покончил с собой. Вскоре вышли дополненные и переработанные им перед смертью издания романов «Призрак музыканта» и «Врач-армянин».

В сущности, в своем творчестве Этергюн постоянно задается мучительными, безответными вопросами: государство и личность, государство и этнос — что это? Почему это так трагично? Социальным и политическим идеалом писателя оставалось большое многонациональное государство, не стесняющее свободу личности; но он с горечью сознавал, что ни Османская и Российская империи, ни Советский Союз и США не стали воплощением его мечты... Люди, знавшие Этергюна в последние годы его жизни, вспоминали, что это был человек очень одинокий, гордый, знающий себе цену, но в то же время он постоянно стремился проявлять доброту и внимание к окружающим. Желание уйти из жизни не сделало его мизантропом. В этом смысле показательна судьба главного героя романа «Призрак музыканта» Чамила, который, во многом разочаровавшись, приобретя печальный жизненный опыт, все же сохранил в душе стремление «просто делать добро» и способность жалеть, а не ненавидеть род человеческий со всеми его слабостями.

Исторические романы Этергюна — произведения очень своеобразные. Он причудливо сочетает прекрасное знание источников, тонкое воспроизведение колорита эпохи с нарочитым введением анахронизмов (таких, например, как употребление кофе, на деле вошедшего в обиход гораздо позднее), с утонченным психологизмом, свойственным европейской литературе нового времени. Действие романа «Призрак музыканта» происходит в XIV веке в период построения на Балканском полуострове могучей державы османов. Этергюн использует османские и византийские хроники, сербский и болгарский фольклор, античную мифологию; и все это, в сочетании с ярко выписанными характерами героев, создает удивительный мир, одновременно и отдаленный от нас, и до боли близкий.

ПРИЗРАК МУЗЫКАНТА

Пролог

Ване Панайотовой и ее детям

«...князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел».

Л. Н. Толстой «Война и мир»

Время! Оно бушует на площадях, буйствует на полях сражений, безумствует в золоченом великолепии дворцовых залов; оно шумит в толчее богатых базаров; торжественный голос времени отчетливым эхом отдается в стенах мечетей. Время!

Разумеется, мы ничего не знаем о времени. Вот оно обернулось всадником и выехало из дворцовых ворот. Всадник в кафтане, шитом золотым узором; с темно-красным тюрбаном на голове; всадник на базарной площади — это прежде всего человек своего времени. Его лицо — не его лицо, его глаза — не его глаза; лицо, глаза, одежда — все это принадлежит не ему, но времени. И люди вокруг него — люди времени — купцы, мелкие торговцы, женщины под покрывалами, ремесленники. Но вот всадник сворачивает на одну из этих узких улочек; пузатые деревянные балконы нависают над мостовой, вымощенной булыжниками, сглаженными копытами многих коней и обутыми ступнями многих прохожих. Тишина. Жара. Одиночество. Голос времени смолк. Всадник перестает быть человеком времени, всадник — это уже не время; всадник — человек. Для самого себя — он единственное воплощение себя самого, он — единственный и неповторимый, существующий вне всех времен и пространств. Он не мыслит себя воином, всадником, но — человеком.

Улочка поднимается вверх. Копыта с легким гулом ударяются о мостовую. Тишина. Жара. Одиночество.

Запертые ворота дома украшены широким медным кольцом. Всадник наклоняется с коня и ударяет кольцом о ворота. Властно и мерно. Ворота распахиваются, привратник почтительно сгибает спину. Всадник въехал во двор, даже не взглянув на того, кто отпер ему ворота. Спешившись, всадник бросил поводья подоспевшему конюху.

— Господин...

— Да... Нет... Приготовь... Не нужно!.. Ступай!

Спустя час наш всадник уже сменил тюрбан на небольшую полукруглую шапочку, из-под распахнувшегося халата виднеется белая сорочка с треугольным вырезом, открывающим сильную смуглую шею — кожа чуть заглубела. Он сидит перед маленьким круглым столиком, скрестив ноги в плотных темных шароварах на кожаной подушке, и бросает в рот горсти вареного прожаренного риса, потом длинными сильными пальцами разрывает жареного цыпленка. Он ест сосредоточенно, как человек, поглощенный какими-то путанными и даже немного пугающими его самого мыслями, но мыслями привычными.

Сегодня у него нет никаких спешных дел, и вообще никаких дел нет. Он сам чувствует, как эта бездеятельность, осененная летней жарой, порождает в нем дурные мысли; нет, не порождает, ибо мысли эти существуют уже давно; не порождает, но развивает, взращивает, словно заботливый садовник. Вот сознание уже свыклось с этими дурными мыслями, они окрепли и расцвели, они перестали казаться дурными и воспринимаются теперь как нечто вполне естественное. Человек закладывает руки за спину, ходит по комнате, чуть приподняв сухощавые ступни в мягких туфлях без задников. Человек приближается к окну, выходящему во двор. Во дворе — утоптанная копытами серая земля, во дворе — тишина и жара. В глубине широкого двора — конюшни, дальше — темнolistные заросли папоротниковых кустов, за ними — еще строения. Человек смотрит в окно. Взгляд его минует конюшни и лиственные заросли; для того чтобы с каким-то безнадежным упорством останавливаться вновь и вновь на тех дальних строениях, замкнуто белеющих в глубине двора.

Человек думает о том, что, если он сейчас подойдет к двери, раскроет ее, минует прихожую и выйдет во двор, это ничего не будет значить, ничего не изменит.

Человек медленно идет к двери. Уже обычным шагом проходит через прихожую. Наконец останавливается во дворе. Стоит некоторое время. Тишина и горячее солнце, казалось, поглотили его сознание. Он недвижим, он весь сосредоточился на своих ощущениях. Он чувствует, как тяжелеют пальцы опущенных рук; чувствует, как невольно сжимаются веки, чтобы солнечный жар не слепил глаза. Ему кажется, что он стоит так долго-долго. В глубине души он понимает, сознает, что это всего лишь отсрочка; что он все равно сейчас пойдет дальше.

И он идет по двору. Снова шаги его медленны. Он тянет время. Проходя мимо конюшен, он чутко прислушивается. Звуки привычны и обыденны — лошади жуют, хрупают. Конюхов не слышно. Подумав о конюхах, он с отвращением принимается думать о слугах вообще, об их низменном любопытстве, о сплетнях, пыльными струйками крутящихся вокруг его дома. Эти мысли прерываются, когда он вдруг понимает, что перед ним — папоротниковые заросли. Привычное зрелище темно-зеленых листьев теперь воспринимается как что-то не совсем заурядное, даже странное. Он протягивает ладонь и ощущает какую-то терпкую шершавость — это пальцы коснулись поверхности листа. Какое-то время человек занят этими кустами. Темная вытянутость веток занимает его, мелкие борозки покрыли каждую веточку змеиной сетью, человек различает каких-то маленьких светлокрылых насекомых, а вот муравьи тянутся по стволу. Но и это всего лишь оттяжка, отсрочка. Он знает, знает, что пойдет дальше.

И он идет дальше. Делает шаг за шагом. И еще один шаг. И еще.

Близятся дальние строения.

Стены маленькой, почти квадратной комнаты побелены. Ярко выбелена и пустая ниша в одной из стен. Маленькое узкое оконце помещается под самым потолком; должно быть, обычно оно пропускает не так уж много света, но сегодня день такой солнечный, что в комнате совсем светло. Снаружи замерло высокое солнце, продлился полдень. В одном из углов квадратной комнаты брошен на светлые, гладко выструганные доски пестрый тюфяк. Узкая подушка смята как-то по-детски. Тонкое желтое шерстяное одеяло сиротливо скомкано. Дверь крепко заперта. В комнате удушливо несет мочой, потому что в другом углу приткнулся сосуд для известных надобностей.

По этой комнате, наискосок, из угла в угол движется немолодая уже женщина. Она ходит как-то странно, шаркает босыми ногами, не отрывает ступни от пола; руки, согнутые в локтях, она держит как-то скованно перед грудью, выставив вперед сжатые кулаки. Во рту у нее видно, что не хватает нескольких зубов, от этого губы западают. Женщина худа, но кожа лица еще гладкая, а волосы, выбившиеся из-под косынки, хотя и поседевшие, посеребренные, но хранят остатки некие былой пышности. Косынка связана удлиненными кончиками на затылке, и свободное — до щиколоток — платье и косянка — из одной и той же материи — пестрой — в цветочек,

истончившейся после многократной стирки, но это дорогая ткань, называется она — «басма» и тотчас после выделки бывает плотной, даже немного жесткой. Из этой же ткани сшиты и шальвары женщины, окаймленные у щиколоток тонкими тесемчатыми полосками.

Женщина смотрит прямо перед собой, лицо у нее сальное, ногти на руках и ногах длинные и нечистые.

Внезапно женщина останавливается, неловко, словно механическая игрушка из тех, что изготавливают в немецком городе Нюрнберге — кукла-автомат. Немного постояла. Затем той же походкой двинулась к тюфяку, села, вытянув ноги. Из-под подушки женщина вынимает обрывок тонкой бечевки, накручивает на пальцы и принимается медленно двигать пальцами, сплетая разные сочетания. Это древняя игра девочек, особенно приятная в пути, когда катится через степь крытая повозка и словно бы в такт ее движению мерно сплетаются веревочные узоры, ловко движутся детские пальцы... Но теперь у женщины это плохо получается.

Женщина снова прячет бечевку под подушку. Она сидит на тюфяке, покачиваясь взад и вперед, глядя прямо перед собой, не издавая ни звука. Тишина. Жара. Одиночество.

Человек подошел к запертой двери. Ему еще кажется, что он сможет повернуться и уйти, если захочет, пожелает. Но вместе с тем он твердо знает, что сейчас вынет ключ из-за пояса и отойдет дверь. Он видит себя опирающимся эту дверь, но в то же время еще сознает, что пока у него есть возможность выбора. Он еще может уйти! Если захочет, если захочет!.. Он вынул ключ. Ключ небольшой, немного заржавленный. Возможность выбора все еще остается. Он медлит, время замирает. Он пристально рассматривает ключ. Грубоватые изгибы и закругления металлической вещицы. Затем сознание словно бы отключается. Блудливо зажав рот его способности мыслить, его пальцы уже поворачивают ключ в замочной скважине.

Женщина слышит, как поворачивается ключ. Скрип. Но она не обращает внимания.

Он уже знает, что дверь открыта, он ее открыл. Можно войти. Но очнувшееся сознание вцепляется в его руку из последних сил. Он стоит перед дверью, осталось лишь слегка толкнуть ее. Последнее движение он ощущает, как некий решительный свой поступок. Он распахивает дверь. Ну вот, все совсем не так уж страшно, даже обыденно, ведь не в первый раз!

Она сидит на тюфяке, вытянув ноги, и смотрит на него равнодушно. В сознании его мелькает оправдательная мысль — а, может быть, и она привыкла, да, конечно, привыкла, и все это стало обыденным, обычным, только вот надо таиться от слуг, потому что все они сплетники, да!..

Но тут что-то восстает из самой глубины его души. Нет, нет, нет! Все это скверно, дурно! Все это делает его безумцем, и безумие его неблагородное, грязное. Все это грозит подмять под себя его живой рассудок, сделать его таким же, как она!

В это время он четко ощущает, что возможность выбора исчезла. Шаг за шагом он приближается к тюфяку. И вдруг, он сам не может понять, почему это произошло, но он возвращается к двери и останавливается, прислонившись к прилолке.

Женщина по-прежнему равнодушна. Но разве она бывает иной?

Он стоит, скрестив руки на груди. Затем, помолчав напряженно, начинает говорить.

Он называет ее по имени. Некоторое время выжидает. Она смотрит равнодушно, словно не может узнать его.

Он снова произносит ее имя, обращается к ней. Он говорит, что все произошло не по его вине. И в конце концов, он тоже имеет право на ошибки, на душевные терзания и метания! Разве нет?

Она молчит.

Он продолжает говорить. Разве с ней дурно обращались? Разве она сама не...

Молчание.

Разве она сама не виновата? Чья вина больше? А может быть, и ее? Разве он не окружил ее богатством и почетом? Ведь он требовал не так уж много взамен! Другой бы...

Он всем своим существом ощущает это пустое молчание, ее молчание, ничем не заполненное, ни мыслями, ни чувствами; безмолвие одичалого безумия.

Это безумие заразительно, оно захватывает. Пыльный вихрь этого безумия сминает его сознание. Вот уже исчезла потребность оправдывать, обосновывать свои действия, осталось лишь одно желание действовать.

Его странным образом возбуждают этот запах стоялой мочи, это странное женское лицо — явные следы былой красоты в сочетании с этим щербатым запавшим ртом. Ее бессмысленные глаза животного. Эти нечистые ногти, уже начавшие напоминать когти, его тело, его плечи словно бы

вспоминают, с какой неосознанной силой вцепляются эти когти, оставляя грязные следы... О-о-о!..

Теперь вся суть его существа направлена лишь на одно: исполнить свое желание. Пальцы нетерпеливо, поспешно развязывают пояс.

Так бывало и прежде, так будет и теперь. Все колебания, мучения, сомнения — вероятно, все это всего лишь необходимая частица того наслаждения, которое он испытывает. Да, это странное наслаждение, он сам стыдится.. Но когда-то давно, когда он наслаждался, как все, без этой тайны, без этого стыда, ведь тогда наслаждение не было таким острым, не было!

Наконец-то он достигает последней стадии, последней фазы — это последнее — свобода! Угрызения, сомнения, колебания, мучения — все позади. Теперь он отлично понимает, что ему вовсе не нужно, чтобы она отвечала ему — словами или ласками. Нет! Ему нужно именно это странное тело безумного существа. Ему всегда нужно все это — тягостное бремя с самим собой в комнате, проход по двору, после мучительных колебаний — поворот ключа в замочной скважине, попытка говорить с ней, ее молчание, подобное непонимающему тебя молчанию пустыни. И наконец — свобода и обладание. И все это обязательно должно повторяться, повторяться, повторяться — из раза в раз повторяться.

Он знает, что в телесной любви он силен, но есть и покуснее. Он сам встречал изощренных умельцев, слышал их рассказы, эти люди умеют обладать каждой частицей женского существа, извлекать наслаждение из каждой клеточки женского тела. Он в любви прост и ясен — объятия, поцелуи в губы с гибким языком, скользящим в приоткрытый женский рот; он любит ощущать себя победителем — любит чувствовать под собой содрогания женской плоти.

И теперь он берет ее так, как ему привычно. Навязчивая мысль о том, что все это — совсем не то, чего хотелось бы ей, совсем не то; эта навязчивая мысль делает его еще более напористым и сильным.

Она не противится. Не отвечает ему даже учащением дыхания; она словно исполняет обыденную повинность, не затрагивающую ее сознания.

Но вот все кончено. Телесная суть смолкает, вновь пробуждается душа. Приходят те чувства и мысли, что приходят обычно. Отвращение. Досада на самого себя. Стыд. И самое страшное — страх — а вдруг все то, что он делает, в итоге при-

ведет его к безумию? Вдруг отъединит от обычных людей? Вдруг он уподобится ей, и ему все будет безразлично, и постепенно он утратит, прервет все связи с внешним миром? Ведь он и теперь ведет двойную жизнь. Уже теперь он замечает, что сделался молчаливым, все чаще замыкается в себе, общение с людьми досаждают ему. Возможно, все это — признаки надвигающегося безумия. Но он вовсе не хочет терять рассудок, уподобляться ей, не хочет.

Пояс завязан. Ключ! Вот он, торчит изнутри. Не забыл запереть дверь. Еще одно доказательство того, что все эти сомнения, угрызения, метания — всего лишь условность, почти мнимость. Нет, он не безумен, ведь не забывает принимать меры предосторожности, запирает дверь изнутри. Нет, потеря рассудка не грозит ему.

Вот он уже готов уйти. Обыденные заботы припоминаются. Кстати, ведь это заботы о ней! Он вернется в дом и прикажет служанке пойти к ней вечером, как обычно, накормить ужином, прибрать в комнате. Да! Он заботится о ней.

Он стоял, отвернувшись. Но внезапно вздрогнул. Его огнем огло странное, паническое ощущение — она смотрит осмысленно! Нет, невозможно! Этого не бывало и быть не может! Нет!

Прежде чем он успевает подумать, сделать хотя бы шаг, он испытывает новый приступ страха, ужаса. Но что же так пугает его в этот жаркий безмолвный день?

Что такого страшного могло произойти в этой обыденной тишине большого двора?

Самый заурядный звук.. нет, не один звук... Вот ключ выпал из замочной скважины, с легким стуком упал на пол. И тотчас — знакомый обычный звук. Но звук этот ужасает. Это... Снаружи повернулся ключ!

Но ведь этого не может быть! Ключом владеет он один! Его заперли? Что это?

Страх! Панический страх! Он оборачивается и встречается глазами с ее взглядом. Осмысленный взгляд. Она смотрит на него с досадой и отвращением. Или ему просто кажется?

Он не двигается. Не приближается к двери. Стоит посреди комнаты. Он безоружен. Но постепенно возвращается к нему прежняя уравновешенность. Надо подождать! Пусть первым действует тот, кто запер его!

Он не ошибся! Тот, невидимый, начинает действовать. Новый поворот ключа. Отпирают двери! Что ж, он достаточно силен телесно для того, чтобы противостоять!

Дверь раскрывается медленно. И что-то странное, таинственное в этой медлительности.

На пороге человек в белом тюрбане и красно-желтом шелковом халате. В руках — музыкальный инструмент — от деревянного полушария тянутся вдоль длинной деки туго натянутые струны — тамбур.

В первый миг он даже не воспринял, не разглядел, какое лицо у вошедшего. Он лишь узнал одежду, инструмент, характерную посадку головы.

Но мертвый не может вернуться! Разве не сам убивал? Разве не был на похоронах?

И внезапно...

1. Чамил — Анадол

Бруса — место моего рождения. Здесь, в столице нашего государства — государства воинов-османов, я впервые открыл глаза и начал познавать окружающий мир.

Сначала был дом, отец был, была мать, была кормилица, няня, слуги и служанки. После был город, город с чаршией — торговым кварталом, где селились мелкие ремесленники вблизи своих лавчонок. После мой мир начал расширяться. Я узнал название местности, в которой находился город. Название это звучало, как название звучной, чуть гортанной песни — Анадол, Анадол, Анадол!

Анадол — моя родина. Я сижу впервые на спине смиренного старого коня. Мне страшно немного. Отец сказал, что я не упаду. Отец едет позади меня. Я понимаю, что мне не должно быть страшно, но мне все равно страшно. Слуга ведет коня за повод. Я сижу в седле. Меня покачивает на ходу.

— Посмотри вокруг. Не думай все время о коне. Подумай о том, что ты видишь вокруг, — это я слышу спокойный и доброжелательный голос отца.

Я удивлен — откуда он знает, что я все время думаю о коне и не смотрю по сторонам? Сделаю так, как он говорит!

Мне пять лет. Я широко раскрываю рот и шумно вдыхаю воздух, набираясь храбрости. Воздух очень чистый, даже вкусный какой-то. Я сосредотачиваюсь и добросовестно начинаю смотреть по сторонам.

Где раньше были мои глаза? Я вижу маленькие масляные деревца, усыпанные мелкими округлыми плодами. Я вижу широкие поля. Колышутся сгустившиеся стебли. Среди желто-зеленых колосьев я замечаю яркие красные маки. Все это очень красиво! Все это — Анадол!

Я ощущаю разреженность воздуха.

— Почему такой воздух? — громко спрашиваю я. Оборачиваясь, сидя в седле, я еще боюсь и поэтому говорю громко, чтобы отец услышал меня.

— Потому что мы скоро подьем к высокой большой горе, — отвечает отец.

Дорога и вправду пошла вверх. Становится прохладно, но я тепло одет и мне только нравится, что легкий ветерок румянит жарко мои детские тугие щеки.

Мы поднимаемся. Я уже вижу вдали купола и минареты моего родного города. Значит, мы уже высоко! Я не боюсь высоты.

Небо голубое-голубое! Редкие белые облачка на нем видятся такими яркими и пушистыми.

И вдруг мои представления о том, что такое высота, меняются. Потому что я вижу гору. Гора огромна и многоцветна. Вершина ее далеко-далеко от меня. Белая, заснеженная вершина. А сама гора, она разноцветная. Голубоватая, темная, коричневая, серая. Разная! Гора составлена, сложена из выступов и едва приметных тропок и нависающих карнизов, и крутых склонов. Гора!

Белые облака тают вблизи заснеженной вершины.

Отец подъезжает ко мне.

— Эта гора называется Олимп!— говорит отец.— Когда-то этой землей владели эллины. Это было очень давно. Они верили, будто здесь, на горе, обитают их боги, языческие боги. Главного своего бога они звали Заном, или по-иному — Зевсом. Они представляли себе его в виде высокого полунагого человека с благородными чертами лица, обрамленного кудрявой бородой. Они верили, будто Зан сидит на вершине Олимпа на золотом троне, рядом со своим верным орлом, и повелевает громами и молниями.

Я слушаю рассказ отца, вот, хотел было сказать, что слушаю, как сказку. Но нет, сказки рассказывает моя старая няня, тетушка Зухра, и в сказках — все выдумка, я знаю! А то, что рассказывает отец, оно вправду было. Мой отец очень умный и знающий. Он улем — ученый, толкующий Коран. Отец, может быть, самый умный улем, поэтому у него есть титул — мевляна. Но другие улемы, они небогаты, а мой отец — богат, он — приближенный султана.

— Эллинов победили римляне, — продолжает отец, — и дали их богам свои имена. Потом пришли другие воинственные народы и разрушили государство римлян, а оно было велико и обширно. Тогда наследниками римлян сделались византийцы. А теперь эта земля принадлежит нам. Потому что мы завоевали ее силой оружия. Мы — ее хозяева и наследники. Теперь нам принадлежит ее прошлое и мы создадим ее будущее!

Здесь прерывается мое воспоминание. Разумеется, я уже не помню, как мы вернулись домой. Но помню, что в моем детском воображении вместе с духами-джиннами и прекрасными перьями из сказок тетушки Зухры поселились языческие боги эллинов. Иногда мне даже снится огромный Зан, игра-

ющий со своим орлом, высоко-высоко, на вершине горы Олимп!

Итак, отец считал меня одним из тех, кому предстояло со-здать будущее этой земли. Но будущее было для меня неясным и туманным. Куда яснее было прошлое, ведь оно воплощалось так вещно, так живо. Статуи обнаженных юношей и улыбающихся девушек протягивали руки мне навстречу. За много столетий эти бедные руки были отбиты. Но юноши и девушки улыбались по-прежнему и приветливо тянулись об-рубками былых стройных рук навстречу тем, кого видели пе-ред собой. Земледельцы здесь выпаживали прямо из земли расписные черепки и целые сосуды, красно-черные, разрисо-ванные затейливыми узорами, и с этих сосудов улыбались все те же прелестные люди — красные контуры на черном, чер-ные — на красном. А статуи были тоже раскрашены, и на место зрачков вставлены черные камешки.

Странно было то, что для тех жителей здешних мест, что поселились здесь до нас, все это оставалось таким же чуждым, отдаленным, каким могло показаться самому простому осман-скому воину.

Я вспоминаю гору Олимп, как я шел к ее подножью. Бли-зился день свадьбы моей дочери. Дом и двор наполнились людьми. Начались визиты с поздравлениями. Дочь, юная, счастливая, украшенная драгоценностями, в алых шальварах из тяжелого шелка, принимала подруг и родственниц. По обычаю, юный жених не должен был бывать у нас. Но он все кружил верхом, поодаль от дома. И каждый день приезжал отец жениха с богатыми подарками. А предстояла еще и сама свадьба. Музыканты, трапеза, гости. Я решил проехаться за город, подальше. Я чувствовал себя немного утомленным. Спешился и, ведя в поводу коня, двинулся к подножью горы. И вдруг услышал топот копыт. Меня догоняли. Я обернулся... Да, в тот день, в день той странной находки я вновь вспом-нил то, о чем старался не вспоминать.

Но я помню и другой Олимп — Олимп моего детства. Вот я ступаю на тропку, цепляясь за ребристые камни, карабка-юсь. А впереди меня легко, словно горный молодой козел, несется вверх мой старший брат Хасан. Он оборачивается, и его юное лицо смеется.

— Чамил! Чамил! — окликает он меня.

Я люблю его, хочу подражать ему и потому усердно караб-каюсь по склону, забыв о страхе.

Хасан был старше меня лет на пятнадцать. Он был сыном первой, старшей жены моего отца. Звали ее Пашша, она очень хорошо вышивала и учила этому мою мать. Мне нрави-лось иногда заглядывать в ее комнату, она всегда угощала меня сушеными фруктами, изюмом.

Помню Хасана двадцатипятилетним. Он подавал большие надежды. Отец собирался сделать его улемом — ученым толкователем Корана, меня же мечтал видеть прославленным воином. И все вышло наоборот. Я тянулся к ученым книгам, а брат был увлечен воинским искусством.

По характеру Хасан резко отличался от отца. Насколько отец славился своим спокойствием, уравновешенностью, умением примирять спорщиков, настолько Хасан отличался взбалмошностью, когда ему хотелось высказать свои мысли, ничто не могло остановить его.

— Зачем ты это сказал? — порою спрашивал отец своего старшего сына. — Да, это тонкая и остроумная мысль, но зачем было высказывать ее вслух? Ведь все равно никто не поймет тебя. Более того, тот человек, которому ты доверил свою мысль, глуп и перетолкует твои слова тебе же во вред! Неужели так трудно сначала подумать, а после — говорить!

Брат и не думал оправдываться, искренне соглашался с отцом и снова поступал по-своему.

То было время, когда войска наши приблизились к землям сербов. По указанию султана воздвигли крепость. И вот однажды несколько сербских воинов подскакали к нашей крепости, хмельными голосами они выкрикивали угрозы, стреляли из луков в ворота. Когда из крепости показался наш разъезд, сербы обратились в бегство. Но как ни горячили они своих коней, наши всадники нагнали наглецов. В стычке погибло несколько наших. В то время полководец Хаджи Мехмед лежал больной, крепость поступила под начало моего брата Хасана. Он приказал углубиться в сербские земли. Разве мы не получили права на это? Поход прошел очень и очень успешно. Важен был этот поход еще и тем, что все чувствовали — сербские земли рано или поздно войдут в пределы нашей державы, так что брат мой сыграл роль, что называется, первой ласточки. Но, несмотря на такие обстоятельства, всех, конечно, поразило прибытие самого султана.

Выделяясь белым пышным тюбаном с кисточкой, украшенной жемчугом, чуть скашивая иронически черные зрачки продолговатых больших глаз, ехал султан впереди свиты. Конь под ним белый, седло и сбруя нарядные. У султана мясистые сильные губы, алеющие в чаще черной бороды, и орлиный нос. Таким видел мой брат султана Орхана.

Добрались до небольшой церкви. Строение оказалось темным, приземистым. Султан сошел с коня. Пожелал войти вовнутрь. Сделал знак группе особо доверенных лиц следовать за ним. Брат отъехал немного в сторону от остальной свиты. И вдруг Орхан вскинул руку, приглашая его следовать за собой. Хасан спрыгнул со своего коня и также вошел в церковь.

Внутри в церкви обреталось все, что и должно обрётаться в христианских храмах. В сущности, самое интересное во всех этих церквях, конечно, разрисованные стены. Эти изображения не похожи на изображения, сделанные эллинами. Церковные росписи как-то скованны, грустны, нет в них безоглядной эллинской радости.

Эта церковь также была разрисована. Все это я знаю по рассказам брата, и знаю, что особенно ему понравились изображения хрупких светловолосых девушек в белых одеяниях.

Заложив руки за спину, султан оглядывал пестрые стены. Люди из свиты поглядывали на моего Хасана, ведь султан отличил его. А султан Орхан между тем вскинул руку и громко заговорил.

— Отныне все это канет в небытие! — он повел рукой. — Здесь, на этих землях, родятся новые люди и новые стены! — Затем он немного повернул голову и, не обращаясь ни к кому в отдельности, коротко бросил:

— Поджигай!

Все поспешно покинули строение. Подскакал воин с факелом и поджег церковь.

И тут (некстати, как и всегда) овладело моим братом бесовское желание высказать вслух свои мысли. Решено — сделано! Но говорить интересно, когда кто-то тебя слушает (или хотя бы делает вид, будто слушает!). Если признаться откровенно, моему брату было все равно, кто его слушает и слушает ли вообще. Лишь бы рядом находился какой-то человек. Если уж на моего Хасана найдет, человек этот немедленно, сам того не желая, делается его доверенным.

На сей раз судьба, должно быть, решила сыграть с моим старшим братом злую шутку, потому что рядом с ним оказался не кто иной, как Мукбил Челеби, первый придворный сплетник, доносчик, интриган. Вот с этим-то Мукбилем Челеби Хасан и заговорил, будто с самым ближайшим другом.

— Какая нелепость, — начал Хасан, — воображать, будто что бы то ни было может кануть в небытие!

Мукбил ответил взглядом, полным интереса и сопереживания. Разговор велся, разумеется, вполголоса, чтобы не слышали. Но говорить с Мукбилем Челеби, пусть даже и вполголоса, все равно, что орать на всю базарную площадь, — все-все будут знать!

— И эта торжествующая напыщенность! Если уж воину захотелось поджечь, разве нельзя это сделать молча и решительно? Иначе я невольно вспоминаю историю одной продажной гречанки по имени Таис. Александр Македонский взял ее с собой в поход, и она приказала поджечь великолепный дворец; кажется, она сочла прекрасных каменных быков — стра-

жей ворот и дверей — символом деспотизма! — брат улыбнулся насмешливо.

Мукбил Челеби сделал большие глаза.

— И возможно ли создать, выстроить, родить нечто совершенно новое? Подобное мнение — такая же мнимость, как и пресловутое убеждение в том, что существует некое окончательное небытие!

Мукбил Челеби внимательно выслушал как рассуждения о небытии, так и о возможности или невозможности рождения чего-то совершенно нового. В результате мой старший брат Хасан подвергся опале. Султан Орхан при виде его делал то-скливую и досадливую физиономию. Я полагаю, что султан Орхан вовсе не был настолько глуп или легковверен, чтобы всерьез принимать наветы Мукбила Челеби! Просто султан понял, что брат мой при всей своей храбрости человек ненадежный, эгоистичный и не знающий удержу. Ведь Хасан даже не задумался о том, кому он поверяет свои мысли, не думал о последствиях своей откровенности, спеша удовлетворить свою страсть к оригинальным монологам. Разумеется, мой отец по-прежнему пользовался уважением при султанском дворе. Он повел себя умно, но, увы, у него не хватило силы воли показать всем, будто он отвернулся от родного сына. Результатом было то, что отцу предложили назначение в Айдос, на крупную административную должность. Отцу удалось уговорить Хасана, который оставался не у дел, поехать со всеми нами.

Сначала мне не очень хотелось покидать Брусу. Это был мой город у подножья моей горы! Но после я заметил, что мать даже рада предстоящему отъезду. В Айдосе жил ее отец, там остались ее сестры, мать радовалась возможности повидать своих родных. Она принялась рассказывать мне о том, что я увижу прекрасный пролив Босфор, и мне захотелось увидеть его. Я уже не так жалел о том, что покидаю мой Анадол, мой Олимп, мою Брусу. Но судьбе угодно было, чтобы, прощаясь с миром моего детства, я все же заплакал.

Мы двигались медленно, целым караваном, довольно-таки пышным. Мужчины ехали верхом, женщины — в крытых повозках. В придорожных селах останавливались, меняли коней. Я то ехал на коне вместе со взрослыми, а то пересаживался в повозку к матери. В десять лет я уже хорошо держался в седле и не боялся пускать коня в галоп. Иногда мы ночевали на открытом месте. В сумеречном воздухе вдали я различал очертания моей горы, моего Олимпа! Мы разжигали костры. В те дни я впервые принял участие в охоте. Отец любил охоту, держал отличных гончих псов и славился своими соколами. Но прежде он не брал меня на охоту. Я

увидел теперь совсем близко, как сидит благородная птица, чья головка прикрыта кожаным колпачком, на согнутой в локте руке сокольничего, спрятанной в большую рукавицу. Вот колпачок сдернут, и сокол молниевым камнем взмывает в небо. В этих местах водились куропатки, округлые птички, местные жители почитают их символом женской верности и преданности домашнему очагу. Приятных, домашних женщин они зовут «куропатками». Надо сказать, очень вкусное жаркое получалось из этих куропатоk. Служанки хлопотали у костров под надзором моей матери и Пашши, матери Хасана; звенели медные котлы и сковородки, вкусно пахло супом и жарким. И эти звуки и запахи казались какими-то странными на открытом воздухе, когда вокруг зеленела трава, а вдали голубела горная вершина.

Однажды днем мы с отцом отъехали от остальных. Солнце чудесно пригревало. Мы ехали шагом и молчали. Я вскоре понял, что отец направляет своего коня к определенной цели, что-то хочет показать мне.

Мы немного свернули с дороги и поехали по зеленой траве. Маслинное деревце с тонким стволом и легкой шапкой листвы осеняло старый большой камень, выделанный в виде плиты. Плита эта была совсем старая, камень виделся каким-то изнуренным, какая-то старческая смиренная тоска ощущалась в нем. Отец спешил, за ним спешил и я.

— Вот,— сказал отец,— это могила Омира*,— и замолчал.

Отец стоял, задумавшись. Кажется, ему было все равно, задам ли я ему какой-либо вопрос или же разделю его задумчивое молчание. Я рассматривал каменную плиту. Странно, что вначале я спросил о надписи на ней, а уж после — о том, кто он, этот Омир.

— Что здесь написано? — тихо спросил я.

— На языке эллинов здесь высечено «хайре», что означает и «прощай» и «радуйся», это слово всегда можно найти на древних эллинских надгробных плитах.

— «Прощай»,— заметил я,— это понятно. Ведь мертвый уходит от живых! И это как будто с ним прощаются и он тоже будто обращается к тем людям, что прочтут надпись, и прощается с ними, с каждым отдельным человеком. Но я не понимаю, почему «радуйся»? Ведь это все же могила! Кто же радуется на могиле?

— Должно быть, это мертвый призывает живого: радуйся, пока живешь, радуйся жизни! А живой напутствует ушедшего: радуйся в смерти, будь беспечален!— отец улыбнулся задумчиво.

* Омир — Гомер — вариант произношения (Примеч пер)

Мне все это показалось каким-то красивым, до того красивым, что глаза чуть защипало, я сжал веки, сдерживая слезы.

И вот тогда-то, чтобы не заплакать, я и спросил отца:

— А кто был этот Омир?

— Эллинский древний музыкант и певец. Он складывал длинные песни о древних богах и славных воинах и пел эти песни на пирах, сидя в темных залах у очага, а воины ели жаренное мясо тучных быков, пили вино из грубо выделанных золотых чаш, а смоляные факелы горели...

Как всегда, отец немногими словами нарисовал яркую картину, увлекшую мое воображение. Но ему не пришлось продолжить свой рассказ. К нам подскочил Хасан. Я увидел его улыбку и сам невольно улыбнулся. Он надул щеки и строил мне гримасу. Я не мог не рассмеяться. Отец тоже улыбнулся, но одними глазами.

— Что я вижу? — воскликнул Хасан. Погружены в ученые беседы! И ничего вокруг не видят, не замечают!

Я удивился. Мне казалось, что я все вокруг прекрасно разглядел: и плиту на могиле Омира, и надпись, и деревце. И тогда я вдруг ясно осознал, что, глядя на одну и ту же картину, разные люди замечают разное, это зависит от характера человека. Вроде бы это совсем просто, но приходит к тебе не сразу, как, впрочем, многое простое.

— Чего же мы не видим, по-твоему? — улыбнулся отец.

— Посмотрите, какие розы!

И от этого возгласа брата, словно по волшебству, все переменилось. У меня явилось какое-то новое зрение. Печальная надгробная плита, одинокое деревце. Но рядом с этой плитой цвел розовый куст! Круглые нежные розовые цветы чуть светились, тонко темнели листья, шипы казались коготками изящных птиц. В одно мгновение я постиг, почему «хайре», высеченное на могильной плите, означает и «прощай» и «радуйся». И разве возможно иное?

Хасан наклонился, не слезая с коня, качнулась его темная меховая шапка, он сорвал цветок. Но, конечно, укололся о шипы и, смешливо наморщившись, сунул пальцы в рот, совсем по-детски. Отец едва сдержал смех. В этой поспешности, в этой неосторожности сказывался характер Хасана.

— Розы расцвели над могилой Омира, — проговорил отец. — Розы нашего Анадолы!

Но Хасану не было интересно узнать, кто такой Омир. Хасан оборвал стебель и заткнул цветок за ухо. И умчался, улыбающийся, быстрый, сам похожий на цветущий куст.

2. История замужества Зенобии

Запомнился мне и конец того нашего путешествия. Вот все мы — отец, мать, Хасан, я, Пашша, вся наша челядь, стеснились под каким-то высоким деревянным навесом, укрепленным на столбах, тоже деревянных. На железных цепочках высоко подвешены большие прямоугольные фонари. Но фонари не горят, потому что день. Тут же громоздится наша поклажа. Мы ждем, когда за нами приплывут лодки, чтобы перебраться на другой берег. Я вижу много воды, по ней скользят вдали длинные, с приподнятыми носами лодки, в лодках — люди, издали кажущиеся такими маленькими. Вон виднеется заостренная башня минарета, вон какая-то стена, вся в полукруглых окнах.

Видно, лодки за нами приплывут еще не скоро. Мать приказывает служанкам вынуть еду. Но отец говорит ей, что хочет показать мне кофейню*. Я радуюсь и принимаюсь торопить его. Дома мне не давали кофе. Мать говорила, что от этого напитка у детей кружится голова. Но теперь, если уж мы с отцом идем в кофейню, я наверняка попробую таинственную темную жидкость. Я весь поглощен этим ребяческим желанием. На время забыты Анадол, гора Олимп, мои слезы на могиле Омира. Кофе! Кофе и только он! А все же мы с Хасаном чем-то похожи; видно, был у нас в роду кто-то такой нетерпеливый. Да!

Вдвоем с отцом идем в кофейню. Зал очень большой и высокий. Потолок и стены выложены пестрыми узорными плитками, от этого комната видится такой светлой и праздничной. Посреди зала — маленький плоский бассейн с фонтаном. Фонтан тоже небольшой, струи тонкие и плещут тихо. Вдоль стен тянутся длинные сплошные, покрытые коврами сидения — миндеры. Люди сидят, сняв туфли, и пьют кофе из маленьких чашек. Возле одного старика я вижу кальян. Дома у нас никто не курит кальян. Мне очень хочется подойти поближе и рассмотреть этот занимательный для меня предмет, который я прежде видел лишь издали, но я знаю, что нехорошо так открыто проявлять свое любопытство. Мы снимаем туфли и садимся на свободные места. Я оглядываюсь. Вон там готовится кофе. В маленьких металлических чашечках — джезвах. Много таких ярко начищенных сосудиков поставлено в длинной нише. Другие джезвы стоят на очаге, в каком-то мелком раскаленном песке. Над очагом — красивый навес, похожий на вытянутую треугольником башенку граненую, на

* Авторский анахронизм в XIV веке кофейен еще не было (*Примечание*)

каждой грани нарисована разноцветная гирлянда. Башенка опоясана круглой полкой, полка также уставлена чашками и джезвами. Склонясь над очагом, хлопочет слуга в темном кафтане и длинной, похожей на бутылку шапке. Мне все это так занято, так интересно. Я предвкушаю вкус кофе. Меня охватывает какое-то странное щекотное наслаждение — я, невзрослый, сижу рядом со взрослыми и делаю то же, что и они, буду пить кофе. На медном подносе нам несут чашечки с темным горячим напитком, чашечки с холодной водой, душистое варенье. Я хочу взять свою чашечку, но отец, уже держа свою на уровне губ, осторожно предупреждает меня:

— Пей не торопясь, по глотку. Когда впервые пробуешь кофе, он редко кому нравится. К этому напитку привыкаешь постепенно.

Отец говорит так спокойно, не поучает, а будто беседует со взрослым, равным ему человеком. Он отпивает из чашечки. Я следую его примеру. Кофе горячий и горький. Очень хочется выплюнуть, но я сдерживаюсь и проглатываю. Отец отпил холодной воды, взял на маленькую позолоченную ложечку варенья. Я тоже съедаю немножко вкусного варенья и запиваю водой. Во рту уже не чувствуется горечь. Сейчас немного подожду и глотну еще кофе.

Этот сложный процесс — глоток кофе, ложечка варенья, два глотка воды — совершенно поглощает мое внимание. И вдруг я слышу возглас, обращенный к моему отцу.

— Кара Ибрахим!

— Акча Мурад! — радостно откликается отец.

Я поднимаю голову. Перед нами остановился, прижав ладонь к груди, худощавый человек, сквозь реденькую бородку просвечивает его морщинистая шея, тюрбан накручен какими-то такими витыми полосами, узкие глаза приветливо улыбаются. Странно, но я помню многих знакомых и приятелей отца, могу их описать и сегодня, хотя минуло столько лет, но как описать отца — не знаю. Он был довольно высокий, пропорционально сложенный человек с приятными чертами лица, глаза были карие, волосы и борода — темно-каштановые. Но разве это описание? Отец — это надежность, защита, отец всегда существует, всегда объяснит непонятное, придет на помощь. Таким я воспринимал его в дни своего детства. Но и это не описание! Так что уж лучше отказаться от бесплодных попыток и просто любить память об этом человеке.

Отец представляет меня своему другу.

— Это Чамил, мой младший сын.

Я почтительно здороваюсь. Акча Мурад ласково мне отвечает. Он спрашивает о Хасане. Завязался разговор между моим отцом и его другом. Я к тому времени уже перестал быть наивным ребенком, который открыто показывает, как ему инте-

ресна беседа взрослых, жадно прислушивается и, не выдержав, задает вопросы, а взрослые принимают гнать его от себя, опасаясь, что он разболтает их секреты. Нет, я уже не был таким. В десять лет я уже усвоил манеру, свойственную детям подобного возраста; тихо сидел, приняв равнодушный вид, опустив глаза, не произнося ни слова, и усердно занимался своим делом, то есть, прихлебывал горький темный кофе, ел варенье и запивал все это холодной водой. А на самом деле я наострил уши и жадно впитывал все, о чем говорили отец и его друг. Теперь они говорили о моем деде, отце моей матери, айдосском сановнике. Позднее я узнал, что всякий раз, когда разговор заходил об этом человеке, вспоминалось, как он женился второй раз. И теперь отец и Акча Мурад заговорили об этой истории.

Акча Мурад присел рядом с нами. Ему принесли кофе. Я заметил, что он и отец уже выпили по две чашки, а я все еще возился с одной. Мне стало неловко, я покраснел, почувствовал себя самозванцем среди всех этих взрослых мужчин, привычно и с удовольствием попивавших горячий напиток. К счастью, никто не обращал на меня внимания. В сущности, и я по-своему наслаждался, если не горечью и крепостью темного кофе, то, во всяком случае, сладостью варенья и занимательной беседой отца и его друга.

Из этой беседы я узнал историю Зейнаб, второй жены моего деда по матери.

Эта история в чем-то походила на сказку. И было вдвойне интересно слушать сказку, героями которой оказались живые люди, жившие и живущие на самом деле.

Зенобия родилась в сербских землях. Отец ее владел обширными земельными наделами, которые обрабатывались зависимыми от него земледельцами. Отец Зенобии был знатного рода. Подобно всем знатым господам в сербских землях, он воздвиг укрепленный замок и жил в нем вместе с семьей. Жена его отличалась красотой. Они долго не имели детей. Наконец появился на свет долгожданный ребенок, но это оказался не сын-наследник, а всего лишь дочь. Отец, достигший уже преклонного возраста, впал в гневливое отчаяние и сгоряча приказал умертвить нежеланную девочку. Позднее меня всегда поражало, с какой легкостью, как бы не видя в подобных поступках никакого греха, сербы и греки убивают своих младенцев, если те почему-либо не угодны им, или подкидывают, бросают на произвол судьбы. К счастью, мать не исполнила зловещего приказа и тайком передала ребенка надежной кормилице. Спустя год в семье появился и сын. Тогда отец пожалел о дочери, и мать утешила его, показав ему девочку, живую и здоровую. Сыну дали имя Леко, а дочь называли Зенобийей.

Дети росли и были умны, но некрасивы. Впрочем, внешность мальчика не очень тревожила родителей. А вот некрасивость девочки огорчала их. И отец и мать были уже далеко не молоды, и, когда сыну минуло пятнадцать лет, а дочери шестнадцать, родители скончались почти в одно и то же время.

Юный Леко унаследовал отцовские земли и замок-крепость. Ожидалось, что юноша все это потеряет, станет жертвой алчности соседей, таких же знатных и воинственных, каким был его отец. У сербов так ведется, когда хотят расширить свои владения люди знатные, они просто идут войной на соседа, иной раз даже на близкого родственника, и захватывают его земли и имущество или же терпят поражение. Леко, несмотря на свой юный возраст, сумел отразить несколько подобных набегов и даже присоединил к своим наделам кое-какие наделы соседей. С ним стали считаться, пошла молва о его воинской доблести.

Что касается Зенобии, то лет в семнадцать она вдруг начала чудесно меняться. Существует такой тип женщин, они поздно созревают, долго остаются свежими и красивыми; как правило, они высоки ростом, у них пышные волосы и сильные гибкие тела. Вот и Зенобия начала расцветать. Худая и длинная девчонка на глазах превращалась в прекрасную пышноволосую рослую юную женщину. Все, что прежде казалось некрасивым в чертах ее лица, теперь обрело некую завершенность и пропорциональность. Прежде рот казался слишком большим, но, когда округлилось лицо, нельзя было отвести глаз от этих полных, изящно выпуклых губ.

В округе заговорили о красоте сестры удалого Леко. Если прежде он был достаточно равнодушен к сестре, то теперь гордился ею. Она жила в крепости, как молодая властительница, в услужении у нее находились не простые служанки, но девушки благородного происхождения из обедневших знатных семей. Постепенно в характере Зенобии развились такие черты, как спесивость, заносчивость, презрение к окружающим. Многие сватались к ней, но она всем отказывала, и брат ей во всем потакал. Что касается его самого, то он объявил, что женится лишь после того, как выдаст замуж сестру. Он также отличался непомерной гордостью и спесью.

В конце концов стало известно, что к Зенобии решил посвататься Маркос. Этот человек был одним из самых знатных местных князей, он был царского рода. Нрав у него был самый что ни на есть буйный и разбойничий, храбростью он обладал беспредельной, жестокость его доходила до чрезвычайности. Казалось бы, при таких свойствах характера он должен был сделаться не меньше, чем победителем всех и вся и повелителем многих земель. Но ни деньги, ни имущество не держались в его руках. Он все пропивал, прогуливал, щедро

одаривая своих приятелей, таких же разбойников, как и он сам. Единственным его достоянием оставались оружие и верный конь.

И вот этот-то человек и решил посвататься к Зенобии. Этот разбойник и буян, знатнейший из знатных и бедный, как церковная крыса. Хотя я никогда не понимал, отчего греки сравнивают бедняков с церковными крысами. Пожалуй, церковную крысу можно счесть достаточно состоятельной личностью, ведь в ее распоряжении — изобилие вкусного лампадного масла и множества свечных огарков.

Узнав о грозящем сватовстве, Леко несколько струхнул. До сих пор судьба хранила его от каких бы то ни было столкновений с Маркосом. Да и Маркос не проявлял как будто никакого интереса к прекрасной половине рода человеческого. Сербы верят, будто в горах обитают красавицы, духи гор, покровительствующие храбрым воинам. Сербы зовут их вилами. Но вилы эти не похожи на наших нежных и гармоничных гурий и пери, вилы воинственны и жестоки. Вот приятели Маркоса и распускали слухи о том, будто ему покровительствует такая вила, она якобы заворожила его оружие и коня, сделала его неуязвимым и даже находится с ним в любовной связи. И многие верили этим небылицам.

В замок Леко Маркос нагрянул неожиданно. Он объявился перед замком, затрубил в рог. Вроде бы он пришел с миром, и не опустить подъемный мост, не отпереть ворота было бы неучтиво и противно законам этой страны. Маркоса не сопровождали его воины (которых, впрочем, правильнее было бы назвать шайкой), а только двое самых близких друзей и сподвижников. Стоит и о них сказать кое-что. Реласа называли Крылатым, потому что на спине к его доспехам были прикреплены небольшие медные крылья, ярко блестящие в солнечные дни. Павлос был по происхождению грек, кто были его родичи, никто не знал, но сам он выдавал себя за сына болгарского царя. Царь якобы тайно обвенчался с его матерью, но затем вынужден был жениться по расчету на дочери одного из своих бояр и через некоторое время скончался, так и не успев узаконить права Павлоса на болгарский престол, поэтому престол достался его сыну от второй жены. Однажды мать Павлоса в каком-то с кем-то разговоре упомянула о правах сына на царский престол. Тогда вдовая царица приказала схватить мальчика и бросить его в подземную тюрьму, что и было исполнено незамедлительно. Дверь замуровали и не давали ребенку еды. Но, когда спустя год решили посмотреть, что стало с юным узником, оказалось, что он жив и здоров. Тогда царица приказала убить его. Но тут мальчику удалось бежать. Это свое вранье Павлос положил весьма складно на музыку

и часто исполнял, подыгрывая себе на струнном инструменте, который сербы зовут гузлой, должно быть, этот инструмент ведет свое происхождение от греческой кифары. Новый болгарский царь не один раз обращался к правителю сербов, прося выдать ему Павлоса (ведь Павлос выдавал себя за его брата и претендовал на престол!). Но царь сербов отделивался отговорками, вероятнее всего потому, что, прежде чем выдать Павлоса болгарам, надо было его поймать, а поймать его было не проще, чем поймать проливной дождь или буйный ветер. Интересно, что Павлос обзавелся сторонниками даже и в самой Болгарии. А, впрочем, что здесь удивительного? Народ вечно недоволен любым нынешним правителем и все свои надежды возлагает на будущего правителя, и, ослепленный радужной перспективой исполнения несбыточных надежд, народ порою оказывает поддержку заведомым авантюристам и самозванцам, словно бы не замечая их жестокости, вероломства и коварства.

Когда я, еще ребенок, слушал всю эту историю (а слышал я ее не один раз), меня смущало то, что этот Павлос был музыкантом. Понятие «музыканта» для меня всегда соотносилось с древним Омиром. Я убеждал себя, что Павлос просто не мог быть настоящим, истинным музыкантом. Разве может настоящий музыкант добиваться такой суетной цели, как царский престол? Нет! Ведь он повелевает безграничным царством звуков и слов. Откровенно говоря, так я продолжаю думать и сейчас, прожив долгую жизнь и многое испытав.

Итак, в обществе мнимого музыканта Павлоса и Крылатого Реласа Маркос объявился у стен крепости Леко. И тому ничего не осталось, как впустить не очень-то желанных гостей.

Сначала они вели себя скромно и ничего не говорили о цели своего приезда. Леко также принимал их без всякого парада, как и положено принимать гостей, явившихся запросто, без свиты. Их препроводили в одну из трапезных и угостили сытным обедом, сдобренным крепким вином. После обильных возлияний Маркос заговорил об охоте с кречетами. Леко было подумал, что, слава Богу, пронесло, и вести о сватовстве оказались пустыми слухами. Но, когда опьяневший Маркос, пристально вглядываясь в лицо гостеприимного хозяина своими разбойничьими глазами, наглыми и мрачно-смеющимися, принялся распространяться о том, как сильный кречет камнем падает на куропатку, до Леко дошло, что весь этот разговор об охоте — обычная аллегория сватовства: куропатка — невеста, кречет — жених. Должно быть, этим греческим сравнениям научил Маркоса Павлос.

Леко пришла было в голову мысль — запереть незваных гостей в трапезной и просто-напросто прикончить. Ведь в

крепости было полно воинов Лeko. Но тут он подумал, что его станут осуждать — это не дело — напускать на трех человек многих воинов. После этот Лeko жалел о том, что не привел свой замысел в исполнение.

Маркос вынул из-за пазухи золотое яблоко — свадебный знак, яблоко было выковано из чистого золота, Маркос мог себе такое позволить. Разговор пошел в открытую.

— Выдай за меня замуж свою красавицу сестру! — предложил Маркос. — Породнимся, объединим наших воинов и не будет нам равных по богатству и силе!

Блеск золотого яблока слепил юному Лeko глаза. Но он прекрасно понимал, что на Маркоса полагаться нельзя. Ибо Маркос — человек, лишенный основательности. Все его обещания — ветер! Он прокутит не только награбленное им, но и кровное имущество Лeko пропьет, пустит по миру жену и детей, с которыми ему очень скоро надоеет возиться. Но отказывать грубо и прямо Лeko не желал. Он ответил, что не стесняет волю сестры; если она захочет, пусть соединяет свою судьбу с избранным ею человеком. Лeko не сомневался в том, что сестра откажет Маркосу. А если не откажет? Ну, тогда он что-нибудь придумает! Лeko решил не загадывать далеко.

День выдался солнечный, ясный. Деревья золотисто светились осенней листвой. Красавица Зенобия приняла новых претендентов на ее руку в обширном внутреннем дворе. На ее пышных волосах сверкал золотой венец. Она облачилась в одно из своих самых роскошных одеяний — длинное платье из тяжелой, расшитой плотными золотыми нитями ткани. Две девушки-прислужницы поддерживали широкие рукава, свободно повисающие; четыре девушки удерживали длинный широкий шлейф, сияющий в солнечном свете, словно искристая переливчатая река. Красавица смотрела гордо и надменно.

— Сестра, — начал Лeko, — за тебя сватается благородный Маркос. Дай же ему ответ!

Зенобия оставалась недвижимой, словно прекрасный языческий идол.

— Красавица! — Маркос слегка склонил голову. — Стань моей женой! Я знатен и смел! Я — ровня тебе, по рождению я даже выше тебя! Ты будешь подругой прославленного Маркоса, а я — супругом прекрасной Зенобии!

Зенобия молчала, даже не шевельнулась. По лицу нетерпеливого жениха пробежала тень досады.

— Что ж! — произнес он, сдвинув широкие темные брови. — Не желаешь выйти замуж за храбреца Маркоса, выходи за кого-нибудь из его друзей. Вот Крылатый Релас, он не уступит мне ни в смелости, ни в благородстве. Выбери его!

Вот Павлос, он сын царя болгарского! И это будет достойный выбор!

Маркос смолк.

Зенобия смерила стоящих перед ней мужчин надменным и презрительным взглядом. Затем сделала знак своим служанкам и хотела было круто повернуться и уйти. Но Маркосом уже овладело бешенство. Стиснув зубы, он выхватил из ножен меч. Леко в ужасе замер. Павлос успел схватить Маркоса за руку, но сам грохнулся наземь, поверженный могучей дланью. Однако удар уже был смягчен; впрочем, и мягкий удар мечом, особенно, когда бьет такой умелец, каким был Маркос, может наделать много вреда. Красавица упала, обливаясь кровью, удар пришелся по лицу.

Львиным прыжком отпрыгнул Леко подальше, выхватил из-за пояса рог и громко затрубил. И тотчас, словно бы из-под земли, выскочили его воины. Павлос и Релас были зарублены в мгновение ока. Маркос уложил нескольких человек, потом еще нескольких. С криком: «Дорогу! Дорогу!» он пробился к конюшне, вывел своего верного коня, вскочил в седло. Конь скакнул в ров. Мост был поднят. Но верный конь огромной птицей вынес лихого всадника вверх.

После этого страшного происшествия долго ни слуху ни духу не было о Маркосе. Затем он снова вроде бы объявился. Утверждали даже, что он нисколько не изменился, не постарел. А если так, я думаю, это был какой-то очередной проходимец, решивший выдать себя за известного воина. Нашлись, конечно, и такие, что выдавали себя за Павлоса и Крылатого Реласа.

Несчастная Зенобия долго хворала, а когда поправилась, стала прятаться от людей. Появлялась лишь прикрыв лицо покрывалом из дорогой ткани. Лицо ее, некогда столь прекрасное, теперь обезображивал широкий плотный рубец, неприятно алеющий на нежной коже.

Между тем Леко начал подумывать о собственной женитьбе. Тут и выгодная партия представилась. Грек, правитель Айдоса, предложил ему в жены свою красивую и юную дочь, а взамен попросил руки его сестры. Несомненно, правитель Айдоса знал об уродстве Зенобии, да если бы и не знал, Леко не собирался никого обманывать. Странная была судьба у этой женщины — один посватался за нее, подчиняясь своей минутной прихоти; другой пожелал взять ее в жены тоже по прихоти и желая получить такого союзника, как Леко. Впрочем, забегая вперед, скажу, что Леко оказался плохим союзником. Когда наши воины осадили Айдос, Леко благоразумно не явился на помощь своему тестю.

Этот правитель Айдоса был уже немолод, вдов и много пил. Бедной Зенобии несладко приходилось с ним. И вот...

Уверяли, будто однажды ночью ей приснился странный и очень яркий сон. Ей приснилось, что она летит в пропасть и, как это всегда бывает во сне, хочет закричать и не может. Наконец страшный полет завершился. Она упала на землю, стало больно и жестко, и она потеряла сознание. А когда очнулась, боли уже не чувствовала, но мучила мысль о том, что выбраться невозможно. Внезапно перед ней явился рослый и красивый человек. Он поднял ее на руки и понес, легко скользя по отвесному склону. Потом он откинул шелковое покрывало и поцеловал ее. Они подошли к ручью, странный человек снял с молодой женщины одежду, омыл ее тело свежей водой и надел на нее новую одежду. Молодая женщина ясно, как наяву, видела его лицо. Этот сон поразил ее. Невольно она снова стала на что-то надеяться; на то, что в ее жизни могут произойти перемены.

Вскоре после этого началась осада Айдоса нашими войсками. Спустя несколько дней Зенобия, стоя у башенного окна, смотрела вниз. Сражение как раз приостановилось. Айдосцы отступили, укрывшись за воротами города. Внезапно молодая женщина вздрогнула и едва не вскрикнула от изумления. Она увидела человека, приснившегося ей! Это был мой дед Абдурахман Гази.

Зенобия написала письмо на греческом языке, привязала письмо к небольшому камню, а камень — к длинному тонкому шнуру. Она хотела было спустить письмо на шнуре, но затем раздумала, ведь ее могли уличить. Тогда она просто бросила камень. И — о чудо! Камень упал прямо перед копытами коня, на котором горделиво и уверенно восседал мой будущий дед. Он спешил и поднял письмо. Абдурахман не знал греческого и отнес письмо полководцу Акча Кодже. Тот прочел послание, начинавшееся словами: «О ты, человек, явившийся мне в сновидении!..» Далее Зенобия писала, что он должен явиться с несколькими доверенными людьми на условленное место и она откроет им ворота.

— Кто же решится пойти на это таинственное свидание? — спросил Акча Коджа.

— Кто же может идти, кроме меня! — Абдурахман Гази даже изумился.

— Это дело следует обделать с умом! — сказал еще один полководец — Конур Али.

И вот вскоре отряды наших воинов понеслись к воротам крепости. Ударили. Айдосцы ответили. И тогда наши отступили. Причем это отступление скорее напоминало поспешное бегство. В Айдосе воцарилось праздничное настроение. А ночью Абдурахман Гази пришел к стенам крепости, на условленное место, указанное в письме. Его сопровождало несколько самых преданных воинов. Зенобия спустила веревоч-

ную лестницу, и Абдуррахман смело поднялся в башню. Оттуда он прошел к воротам города, стража была пьяна, он отворил ворота и впустил своих воинов. Беспрепятственно они вошли во дворец, где нашли владетеля Айдоса, супруга Зенобии, пьяным. Абдуррахман Гази объявил ему, что его правление кончено. Наутро, когда к стенам города подошел с войском Акча Коджа, город уже был в руках Абдуррахмана Гази, жители сдались на милость победителя.

Акча Коджа приказал Абдуррахману Гази сопровождать к султану сокровища, принадлежавшие правителю Айдоса, и прекрасную Зенобию. Абдуррахман привез сокровища и молодую женщину в Эни Шехир — тогдашнюю резиденцию султана. И султан подарил ему часть сокровищ и женщину. Абдуррахман Гази видел, что Зенобия влюблена в него. Он не мог отказать влюбленной женщине, хотя и было обезображено шрамом ее лицо. И вот он сделал ее своей женой. И они и сейчас счастливо живут в Айдосе.

Эту историю, похожую на сказку, я впервые услышал тогда, в кофейне, десятилетним мальчиком. Мне очень-очень захотелось увидеть своего деда и прекрасную Зенобию (она уже давно звалась Зейнаб), героев этой сказки. Я знал, что это мое желание скоро исполнится, и с нетерпением ждал.

3. Сельви — Айдос

В дом моего деда Абдуррахмана мы приехали ночью. Я был совсем сонный. Смутно припоминаю свет фонарей и ламп, суетню слуг и служанок.

Я проснулся утром и сразу осознал, что я в чужом доме, на чужой постели. Почему-то у постели моей сидела мать. Впрочем, эта странность быстро разъяснилась. Оказывается, в ночь нашего приезда я простудился и несколько дней пролежал в жару и бреду. Теперь, увидев, что я очнулся, мать нежно целовала мои щеки и благодарила Бога за мое исцеление. Я был ее единственным сыном двое других — мои братья — умерли в раннем детстве, еще до моего рождения. Мать пребывала в постоянной тревоге за меня, но обычно не показывала вида и даже мало ласкала меня, чтобы никак не выдать своего тревожно-нежного отношения ко мне. Думаю, я никогда не заслуживал подобного отношения. Ни тогда, в детстве, ни после — в юношеские и зрелые годы. Я всегда оставался спокойным, немного углубленным в свой внутренний мир, но отнюдь не настолько, чтобы считаться человеком не от мира сего. Я был лишен честолюбия. Кто знает — может

быть, именно эти свойства моей натуры сделали меня довольно счастливым человеком и помогли перенести мучительное ощущение душевной боли после той странной и страшной находки... Но о том — не сейчас... позднее расскажу о том...

— Очнулся, Чами? — прозвучал нежный голос матери.

Я улыбнулся ей. Она коротко рассказала мне о моей болезни. Я чувствовал себя немного ослабевшим. Было приятно лежать на мягкой чистой постели, иногда потягиваться, вытягивать ноги; ощущать, как тело обретает прежнюю силу, чувствовать себя предметом нежной бережной заботы.

Мать принесла мне квашеного молока и лепешку. Усадила меня, облокотила на приподнятую подушку. Я начал есть и ел с удовольствием. Мать с улыбкой смотрела на меня.

Внезапно дверь распахнулась. Я подумал сначала, что это отец. Но отец никогда не входил так резко и уверенно. Шаги его были мягкими.

В дверном проеме возникла женщина. Она была невысокая, нарядно одетая, но выражение ее лица, узкого, с мелкими, заостренными какими-то чертами, было неприятным, злым, напыщенным и в этой напыщенности — глупым. Она казалась вовсе не старой; может быть, даже моложе моей матери.

— Мальхун! — повелительно обратилась она к моей матери. — Посади его к столу! — она указала на меня. — Пусть ест за столом!

Я сразу понял, к какой категории женщин следует отнести эту. У моей матери Мальхун была в Брусе такая подруга, жена кади. У нее не было сыновей, и она постоянно делала моей матери замечания, убеждая ее горячо в том, что меня совершенно неверно воспитывают и не тому учат. Наверное, и у этой женщины нет сыновей, вот она и срывает свою досаду на тех, кто сыновей имеет.

«Интересно, — подумал я, — кто эта надоеда? Гостья дедушкиных жен или какая-нибудь домоправительница...»

— Мальхун! — продолжала женщина. — Ты разве не собираешься сегодня же вывести его в сад?

И тут произошло чудо. Моя мать, всегда спокойная, но гордая и строгая, служанки боялись послушаться ее, вдруг произнесла тихим голосом, кротко склонив голову:

— Я еще боюсь выводить его на открытый воздух, бедный малыш, он еще так слаб! Но, когда он немного окрепнет, я непременно последую вашему совету, госпожа Зейнаб!

Зейнаб! Это Зейнаб? Я не верил своим ушам. Но ведь этого не может быть, просто не может — и все! Зейнаб должна быть совсем другая, другая! Я снова посмотрел на нее. На лице — никаких следов удара мечом. Ни одного, даже самого

маленького шрамика! Лицо так нарумянено и набелено, что кожа давно утратила свой естественный цвет. Я пристально посмотрел, изучая ее лицо. а вдруг под этими белилами и румянами найдется хотя бы маленький шрамик — подтверждение сказки... Но нет! Обидно! Я был еще слаб, не сумел сдержаться и заплакал.

— Нельзя плакать, ты огорчаешь мать! Такие большие мальчики не должны плакать! — тотчас обратилась ко мне госпожа Зейнаб.

Я сделал вид, будто не слышу ее слов. Так вот почему мама почтительна донельзя с этой женщиной — ведь госпожа Зейнаб — жена моего деда по материнской линии. Теперь она оставалась его единственной женой, две старшие жены уже умерли, одна из них приходилась матерью моей маме.

У госпожи Зейнаб и вправду не было сыновей.

Самое забавное во всем этом, конечно, было то, что я и после много раз слышал историю о шраме и покорении Айдо-са, об изумительной красавице, обезображенной по прихоти могучего воина и спасенной силой любви. Эта история существовала словно бы параллельно реальной госпоже Зейнаб и ее реальной жизни. И если бы даже (я уверен!) любому очередному рассказчику этой истории показали бы госпожу Зейнаб во плоти и обвинили бы его во лжи, он в ответ мог бы спокойно пожать плечами и заявить, что не лжет ни в малой степени. Я даже полагаю, что сказочная история окажется сильнее скучных сведений о реально происходивших событиях, она переживет эти скромные и порою даже несколько косноязычные сведения и в нее будут верить много веков спустя после того, как истлеют кости госпожи Зейнаб и всех остальных действующих лиц сказки.

Впоследствии я понял, что правдой было только то, что Зенобия действительно приходилась, правда, не сестрой, а дочерью одному из сербских князей. Отец выдал ее замуж за правителя Айдо-са, вступив с ним в союзнические отношения, которые сам после и нарушил, добровольно перейдя на сторону османов. После покорения Айдо-са Зенобия стала женой Абдурахмана Гази. Вот и все!

Да, и вот еще что: Зенобия и в самом деле отличалась спесивостью и злым неприятным нравом. В сущности, она была глупа и не сведуща ни в чем, кроме того, что непосредственно касалось ее благополучия.

Я быстро поправлялся после своей недолгой простуды. Разумеется, я заметил, что матери вовсе не хочется задерживаться в доме, где распоряжается госпожа Зейнаб. Но какое-то время мы все равно должны были гостить здесь, этого требовали правила благопристойности. Отец, впрочем, уже присмотрел для нашей семьи соответственное жилище.

Однажды, когда я лежал в постели, мне показалось, что дверь слегка приоткрылась, кто-то робко заглянул и тотчас спрятался. Мне стало любопытно, я сел. Но тотчас же уловил звук легких шагов. Казалось, это отбежал от двери ребенок. Я так и подумал. Значит, в доме есть дети? Мне очень захотелось познакомиться с этим ребенком, поиграть с ним. Так сложилось, что мое воспитание было домашним, я мало общался со сверстниками и мечтал о таком общении.

Вскоре я услышал за дверью голоса.

— Нет... нет... — смущенно произносил детский голос.

— Не бойся, — убеждал мужской, старческий и надтреснутый, — Чамил — добрый мальчик, я знаю...

Узнав о том, что я «добрый мальчик», я покраснел и уткнулся лицом в подушку. Было как-то странно это слышать, вот так, из-за двери.

А вскоре дверь распахнулась, и в комнату явилась целая процессия. Впереди шла моя мать и ласково улыбалась мне, за ней следовала служанка с подносом, на котором я тотчас разглядел сладости и разные другие вкусные вещи; в частности, мой любимый сладкий плав. Замыкал процессию сгорбленный хрупкий старик в домашнем распашном халате. Старик ступал, волоча ноги. Одной рукой то и дело потирая поясницу. На его лице явственно виднелась печать времени — лицо сморщилось, как печеное яблоко, щербатый рот сильно запал. Это и был мой дед Абдуррахман Гази, герой сказочной истории о покорении Айдоса. Когда-то он и вправду отличался несомненной храбростью, но рослым и могучим воином, конечно, не был никогда. За руку мой дед вел девочку, примерно моего возраста. Девочка шла, опустив голову, явно стесняясь меня. Одетая она была в длинное пестрое платье, из-под которого видны были края красных шальвар, обшитые золоченой тесьмой, такую тесьму зовут «назик»-«нежность». Волосы девочки были заплетены в две длинные косы и спускались на спину.

Дед подошел к моей постели, пока мать и служанка хлопотали, устанавливая поднос на столике, и ласково прощамкал:

— Здравствуй, милый! Рад видеть тебя в добром здравии. Не позволишь ли ты нам разделить с тобой скромное угощение? — глаза его смотрели лукаво и по-доброму; очень черные, яркие зрачки походили на маслинки.

Я в свою очередь смутился и тихо произнес.

— Здравствуйте...

Приблизилась мать. Дед погладил ее по голове, она улыбнулась:

— Ну же, Мальхун, — сказал он, — представь меня господину Чамилу!

— Чами, это твой дедушка Абдурахман, мой отец, — мать наклонилась и оправила мне подушку. — А эта девочка — твоя тетя Сельви, ее мать — госпожа Зейнаб.

— Да-а, — протянул дед, опускаясь на маленькую круглую скамеечку у столика. — Это Сельви, моя последняя радость в этой земной жизни, мое утешение! Вот дождусь ее свадьбы, а там можно и покинуть этот мир!

Девочка подняла глаза и посмотрела на своего старого отца с тревожной нежностью. Меня, помню, поразила серьезность и глубина ее взгляда. Хороша она была необычайно! Прежде мне казалось, что самая красивая из всех женщин, виденных мною, моя мать. Но теперь я вынужден был признаться самому себе, что никогда еще не видел таких красавиц, как десятилетняя Сельви. Она была поистине луноликая, округлое личико и нежное-нежное, я впервые понял, почему красивое девичье лицо в любовных стихах сравнивают с лунной и персиком. Какой нежной смуглотой розовели щеки Сельви. А когда ей случалось раскраснеться, румянец был точь-в-точь розовые нежные лепестки. А маленький нежный алый рот... А черные полумесяцы тонких бровей... А этот нежно округленный подбородок... А волосы, темно-каштановые с чудесным шелковистым отливом... А маленькие ступни в домашних туфельках, а нежно-точеные детские еще руки... А как чудесны были ее огромные, чуть округленные глаза в длинных загнутых темных ресницах, будто живые темные шмели кротко замерли на розовых лепестках. Но я уже и тогда догадался, что эти глаза могут выражать не только нежную глубокую серьезность, но и безоглядную страсть, боль, отчаяние, тоску.

Сельви стеснялась меня. Ничего не оставалось, как приняться за еду. Девочка ела совсем мало. Меня также смущал ее серьезный взгляд. Спустя некоторое время к нам присоединились Пашша, мать Хасана, и сам Хасан. Они приветливо беседовали с дедом, не обращая внимания на Сельви. Им не представили ее, значит, они уже видели ее прежде. Затем пришла госпожа Зейнаб, недолго посидела с нами, сделала несколько замечаний моей матери и, к моему огорчению, увела свою дочь.

Через два дня я уже был на ногах и занялся исследованием дедушкиного дома. Я и сам понимал, что брожу по дому в надежде снова встретить Сельви. Я хорошо помнил, как она заглянула в дверь комнаты, где я лежал. Она хотела увидеть меня, познакомиться со мной. Она так же одинока, как я! Она растет в покоях своей властной матери, без сверстниц-подруг; отец, быть может, единственный близкий ей человек. А что, если она просто разочаровалась во мне и нарочно теперь избегает меня?

Кроме моей матери и Сельви, у деда Абдуррахмана было еще несколько сыновей и дочерей, все они уже обзавелись собственными семьями. В Айдосе жили две мои тетки. Но у госпожи Зейнаб Сельви была единственной дочерью. Госпожа Зейнаб одевала ее нарядно и изящно, пригласила учительницу грамоты; одна старая рабыня, опытная в искусстве танца, учила Сельви танцевать и красиво двигаться. Разумеется, все занятия проходили только в присутствии матери.

Я начал страдать. Ко мне еще не пригласили учителей, отец отложил это на то время, когда мы поселимся в собственном доме. Он занимался покупкой дома и земли, устройством Хасана в военный гарнизон Айдоса, и редко бывал с нами, со мной и с матерью, с Пашшой. Мать проводила дни в отведенных ей комнатах, сидя с Пашшой за вышиванием. Их искусные вышивки смягчили сердце спесивой госпожи Зейнаб, она даже стала беседовать с ними, даже училась у них; а они, женщины умные, относились к ней почтительно, ведь она была хозяйкой дома.

У меня было вдоволь времени для страданий. До этого я несколько раз считал себя влюбленным, то в одну служанку моей матери, то в девушку-гостью. Но с этой девочкой все было совсем иначе. В прежние мои влюбленности я гордо говорил себе, даже убеждал себя, что влюблен; влюбленность приближала меня к взрослым, сказать себе: «Я влюблен!» было все равно, что потихоньку прокрасться в комнату отца и примерить его белый нарядный тюрбан. Тюрбан слишком еще велик для моей черной, стриженной ежиком детской головы, кисточка свисает на глаза, но все равно на какой-то миг ощущаешь себя очень значительным, причастным к большой и интересной взрослой жизни. Но о моем желании видеть Сельви я никогда не осмелился бы сказать — «любовь»! Я просто страдал, не видя ее; искал ее и не понимал, почему мне так больно и почему эта боль имеет свою сладость.

Но судьбе было угодно, чтобы я на короткое время отвлекся от моего чувства к Сельви. Дед ласково пенял отцу за то, что я еще не обрезан. Отец, нежно и трепетно любивший меня, все откладывал обряд обрезания, считая, что у меня слабое здоровье, хотя и понимал, что поступает дурно. Дед убедил его в том, что в зрелом возрасте обрезание переносится тяжелее и уговорил проделать этот священный обряд, пока мы гостим в его доме.

— Это будет хороший повод для праздника в вашу честь! — говорил дед.

Речь шла о мужском священнодействии, и строптивая госпожа Зейнаб, часто поступавшая наперекор желаниям мужа, на этот раз не осмелилась противиться.

Я был немного напуган, но и торжественно настроен. Началась подготовка к церемонии. Мыли, убирали комнаты и залы. В обширном внутреннем дворе жарко запылали жаровни-мангалы. Разнесся вкусный запах жареного мяса. В большом котле кипела жидкая халва.

Помню, как собрались гости, как отец молчал и в его молчании я ощущал тревогу; как Хасан ободрял меня.

— Это быстро! И совсем не так уж больно! Зато ты станешь истинным воином Пророка!— Хасан улыбнулся, смягчая улыбкой торжественность своих слов.

Это действительно оказалось быстро. Но больно было. И пришлось снова лечь в постель. Сначала было даже обидно. Я лежал, мне было больно. А дом гудел весельем, играли музыканты, звучали песни, плясали танцоры. Гости ели вкусное угощение. Но потом праздник пришел ко мне. Я сидел на широкой постели, нарядный, облокотившись на подушки. Музыканты играли в моей комнате. Мне давали все самое вкусное. Каждый спешил сделать мне подарок. Деревянные игрушки, жестяные свистульки, это, конечно, не считая многих дорогих и ценных предметов, пока имевших большую ценность для моих родителей, нежели для меня самого.

Стемнело. Зажгли красивые медные лампы. Решили, что мне надо отдохнуть. Комната моя вновь опустела. Полный новых впечатлений, я и сам не знал, чувствую ли я себя усталым. На какое-то время я остался один. И вдруг... Сердце радостно забилося! Я узнал эти легкие шаги! Сельви!

Она вошла быстро, осторожно и робко — розовый лепесток, гонимый ароматным ветром. На узорах настенного темно-красного ковра заколебалась ее легкая тень.

Мы оба молчали, стесняясь говорить. Наконец она смущенно произнесла:

— Тебе больно?

Трудно описать мое состояние! Разумеется, обо мне заботились мать, отец, брат, няня, но это все было так обыкновенно, даже докучно. Как передать тот восторг, который охватывает душу, когда любимое обожаемое существо проявит хотя бы тень заботы о тебе!

— Нет,— тихо отвечал я.

Она устремила на меня долгий взгляд, серьезный и глубокий.

Затем робко приблизилась к постели и протянула мне короткую снизку голубых бус. Считается, что эти бусы помогают от сглаза. Эти голубые бусы я сохранил и ношу как браслет на запястье. Но тогда я не осмеливался протянуть руку навстречу милому подарку. Сельви положила бусы на одеяло.

— Это тебе,— сказала она тихо-тихо.

— Почему ты пряталась от меня? — невольно вырвалось у меня. — Ты не хотела говорить со мной? Ты не хочешь?

— Нет. Я не пряталась, — она смолкла, затем еще тише произнесла: — Я хочу говорить с тобой!

И убежала, слышав издали шаги кого-то из взрослых.

С тех пор я стал часто видеть Сельви. Она сделалась моим проводником по дедушкиному дому. Дом, скучный и чужой, теперь ожил, затеплился мягким теплом.

Сердцем дома оказалась кухня. Просторная, с высоким потолком, сияющая блеском металлической посуды и утвари; каменным полом, чисто вымытым, добела выскобленными скамьями вдоль стен. На скамьях уютно лежали пестрые подушки и простые ковры. Очаг никогда не простаивал без дела. Готовилась горячая пища, жарились кофейные зерна, запекали сладкие плоды инжира. Служанки входили с кувшинами из внутреннего двора, где была установлена каменная плита — чешма, из которой текла струя чистой холодной воды, проведенная от лучшего колодца. Служанки переговаривались, сплетничали, напевали. Было тепло и уютно, а перехватить что-нибудь на ходу гораздо интереснее, чем сидеть вместе со взрослыми за тщательно приготовленной трапезой! Мы оба, я и Сельви, так и стремились на кухню. Оказалось, у девочки все же было свободное время, и она умела ускользнуть от бдительных глаз своей матери. Сельви по натуре была серьезной девочкой, но, когда она изредка шалила, в темных глазах ее вспыхивали странные огоньки, пугавшие меня каким-то оттенком безумия. Жизнь моя обрела новый смысл — говорить с Сельви, бродить вдвоем по саду, убежать в кухню, прятаться. Нам ужасно нравилось бегать в саду наперегонки и играть в прятки. Помню, как однажды мы сидели на ступеньке деревянной садовой лестницы, приставленной к плоской крыше одного из строений в саду. Мы взобрались не так уж высоко. Это был отдаленный уголок сада, буйно разросся здесь шиповник.

— Интересно было бы жить в таком домике, совсем одной, — вдруг задумчиво произнесла Сельви.

Мы сидели рядом. Она натянула на растопыренные пальчики тонкую бечевку и выкраивала из бечевки странные причудливые сплетения, приговаривая тихо. «Дом... колыбель... дорога... могила...» — старинная игра маленьких девочек нашего народа. Я молчал. Вслушивался в звучание ее голоса, тихо посматривал на нее. Мне было хорошо. И ей тоже. Мы не нуждались в беседе, в обмене мыслями...

Но вот отец наконец-то приобрел подходящее жилище, и мы всей семьей перебрались в наш новый дом. Я прощался с Сельви, едва сдерживая слезы. Она тоже, казалось, вот-

вот заплачет. Мы утешали друг дружку — ведь все равно мы живем в одном городе, будем приходить в гости друг к другу.

Так и вышло. Мы продолжали часто видеться. Миновал год. Оба мы подросли. Я стал замечать новые странные черточки в характере Сельви. Порою на нее находило какое-то желание дикового озорства. В глазах загорались эти пугавшие меня странные огоньки безумия. Озорство ее в таких случаях оказывалось довольно странным. Например, однажды привезли мясо. Мясо собирались разделять во внутреннем дворе. Запалили мангал. Мы вертелись поблизости, наблюдая работу взрослых. Внезапно, улучив минуту, когда мы были во дворе одни, Сельви схватила коровью ногу с сохранившимися шерстью и копытом, взяла ее на руки, как куклу, и заговорчески зашептала мне.

— Эту ногу надо спасти! Надо спасти!

С этими самыми своими огоньками в глазах она побежала через кухню в дом. Я — за ней. После мы выбежали в сад. Сельви принялась бегать по саду. Потом начала смеяться; и все повторяла, смеясь:

— Надо спасти! Надо спасти!

Я следовал за ней, хотя мне сделалось как-то не по себе. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы мы не попались на глаза дедушке Абдуррахману. Он вышел в сад, увидел меня, растерянного и немного испуганного; увидел Сельви, такую странную. На миг лицо его приобрело выражение какой-то печальной покорности судьбе. Это мгновенное выражение еще больше напугало меня, передо мной словно бы приоткрылась вся безысходность бытия взрослых, когда время надежд прошло и нельзя ничего изменить. Но тотчас же лицо дедушки сделалось спокойным и ласковым. Он осторожно приблизился к дочери, бережно взял ее за плечо. Но Сельви вывернулась каким-то резким, странно враждебным движением и снова побежала. Затем вдруг замерла. Отец снова подошел к ней. Теперь она притихла и чуть заметно дрожала. Он взял у нее из рук эту несчастную коровью ногу, она послушно отдала. Отец погладил девочку по голове и позвал за собой, она пошла. Я остался в саду один. Мне было не по себе. Я, одиннадцатилетний мальчик, пытался разобраться в своих чувствах. Эти странные состояния, периодически находившие на мою Сельви, отдаляли меня от нее. Меня смущало то, что такую ее я не мог любить, она вызывала во мне какое-то подсознательное отвращение. Но я, подверженный этому отвращению, был неприятен самому себе. Я впервые столкнулся с проблемой — следует ли пытаться изменить свою натуру, или покорно подчиниться ей. Но все же я оставался ребенком. И просто думал о том, как хорошо было бы, если

бы Сельви всегда была моей чудесной Сельви, серьезной девочкой с такими нежными глазами, а не этим странным и пугающим меня диковато-озорным существом. Я не знал, как добиться этого, и в первый раз помыслил о Боге, как о подателе благ и исполнителя просьб. Мне захотелось просить Бога прямо сейчас, здесь, в саду. Но произнести свою просьбу вслух я не осмелился. Я только чуть закинул голову и робко глядел в небо, сосредоточенно и напряженно думая о Сельви и о том, что я прошу, умоляю Бога. Внезапно мне пришло в голову — а как бы отнестся к моей просьбе, к моей мольбе тот самый Зан, в которого верили эллины, будто он сидит на вершине Олимпа и повелевает громами и молниями. Но тут же я испугался — ведь это грех: сравнивать истинного Бога с языческим идолом! Я наклонил голову, сжал пальцы обеих рук и мысленно думал о моей покорности Богу, о том, что я всегда останусь грешным и виновным перед ним, и о том, чтобы он спас Сельви; мне все чаще казалось, что ей угрожает опасность. Но я устал думать обо всем этом, я никогда прежде не переживал ничего подобного и поспешил тихо пойти домой.

Помню еще один странный приступ, случившийся с моей Сельви. Мы были в доме ее отца, на кухне. Вдруг она вскочила, все с теми же огоньками в глазах, принялась скакать по скамьям, вскрикивая и размахивая руками. На меня она не обращала внимания. Я выбежал из кухни, позвал взрослых, а сам поспешно ушел. Я снова был неприятен самому себе, потому что Сельви вызывала во мне чувство отвращения, а ведь этого не должно, не должно было быть!

4. Панайотис — монастырь

Мне исполнилось двенадцать лет. По-прежнему я учился дома, ко мне приглашали учителей, я уже читал по-гречески и по-латыни, ознакомился с книгами славян, прекрасно овладел персидским и арабским языками. Мне очень хотелось начать изучение какого-нибудь франкского языка. Отец одобрил это мое желание.

— Наша держава крепнет, — говорил он, — скоро понадобятся послы во франкские страны и ученые переводчики. Следует нам знать обычаи, нравы и книги франков!

У меня по-прежнему не было друзей, даже с Хасаном я виделся не так уж часто, брат служил в айдосском гарнизоне. Сельви по-прежнему оставалась моим горем и моей радостью. Я никому не рассказывал о своих чувствах к ней.

В тот день я обедал у дедушки Абдурахмана. После трапезы мы втроем, он, я и Сельви, прогуливались по саду. Я обмолвился о своем желании изучать франкские языки.

— Ну, этому горю можно помочь,— улыбнулся дедушка.— Я знаю одного ученого греческого монаха, он долго жил во франкских землях. Пусть он и будет твоим учителем!

— Но согласится ли он? — спросил я.— Ведь зачастую эти неверные почитают за грех само общение с нами!

— Согласится, согласится,— дед махнул рукой.— Он добрый человек, мой приятель, и согласится за небольшую плату. А помнишь, Сельви,— старик обратился к дочери,— как мы проезжали мимо монастыря?

— Нет,— отвечала Сельви своим обычным голосом, тихим и нежным.— Я не помню.

В тот день она была моей Сельви, тихой, нежной, серьезной.

— Как же не помнишь? — удивился ее отец.— Мы еще разбили шатер на поляне и провели чудесный день! Жарили ягненка на вертеле. Даже твоя мать,— он усмехнулся,— была очень даже добра и весела.

— Правда, не помню,— произнесла Сельви и покраснела.

«Может быть, это еще одно следствие ее странного недуга,— подумалось мне.— Может быть, бедняжка время от времени теряет память...»

Снова змеей шевельнулось в глубине души ненавистное мне чувство отвращения к Сельви. Боже, неужели никогда не кончатся мои мучения?!

Кто мог ответить на этот вопрос, который я даже и не мог никому задать...

В один из вечеров после этого разговора в саду мы с Сельви были на кухне. Темнело. Но было еще рано зажигать лампы. Прислужницы столпились вокруг старухи, частенько захаживавшей в дом деда. Она слыла гадалкой и знахаркой, а также знала много страшных историй о духах пустыни и демонах ночи. Имя у нее было самое что ни на есть неподходящее для ее нынешнего вида — Лейла. И почему только человеку не дозволено иметь для каждого возраста новое имя? Тогда не пришлось бы сморщенную, как сушеный финик, старуху звать Лейлой!

В тот вечер Лейла рассказывала о призраке музыканта. Это юноша в нарядной одежде, играющий на тамбуре. Время от времени призрак музыканта является в домах знатных османов и навлекает беду на людей, обитающих в доме. При слове «музыкант» я подумал вновь об Омире, о его могиле. Вспомнился Анадол, мой родной город Бруса, мне стало грустно. Сельви напряженно слушала старуху. Вдруг Сельви вскрикну-

ла. Это просто дерево колыхнуло в окне листвою. Но бедная девочка, напуганная страшным рассказом, испугалась.

— Перестаньте болтать!— резко обратился я к старухе.— Это все небылицы и противно воле Аллаха!

— Если молодой господин не желает...— старуха при-
молкла.

Служанки надулись. Я понимал, что им хочется слушать дальше, и вовсе не намеревался мешать им. Я только хотел увести Сельви.

— Пойдем, Сельви,— я приблизился к ней.

Она пошла за мной с той покорностью, какая часто бывала свойственна ей. Она дрожала. Я злился на старую Лейлу. Когда мы проходили через темные комнаты, Сельви молча и испуганно ухватила за мою руку. В коридоре показался слабый свет. Кто-то медленно приближался к нам. Даже мне сделалось как-то не по себе. А Сельви громко и пронзительно закричала. Странная закутанная фигура двинулась быстрее. Мы оцепенели. Вот она уже перед нами, держит в руке светильник. Сельви упала ничком на ковер. Я невольно зажмурился на миг. А уже в следующее мгновение услышал голос госпожи Зейнаб, матери Сельви:

— Доченька! Боже! Что с тобой?

Поставив светильник, госпожа Зейнаб наклонилась над лежащей девочкой, обняла ее, помогла подняться.

— Мама,— тихо проговорила Сельви.

Убежать, скрыться я не догадался, и легко себе представить, что было дальше. На меня обрушился гнев госпожи Зейнаб, надо, впрочем, признать, что в чем-то она была права.

— Это все из-за тебя!— кричала госпожа Зейнаб, обращаясь ко мне.— Не смей мучить мою дочь! И чтобы ноги вашей больше не было на этой проклятой кухне! Я убью этих служанок, чтобы не смели болтать глупости, пугающие детей!

И как она догадалась!

Госпожа Зейнаб внезапно смолкла и залилась слезами. Мне стало жаль ее. Я тихонько ушел.

На следующий день я узнал, что ночью у Сельви случился странный приступ. Она разбудила весь дом пронзительными криками. Кричала, будто видит музыканта, который предрекает ей несчастье! Мать сидела у ее изголовья, уверяла, что в комнате никого нет, но Сельви кричала и плакала. Потом вскочила, заметалась, едва могли удержать ее. Бедная девочка потеряла сознание и лежит в горячке. Дед Абдуррахман и госпожа Зейнаб в страшном горе. В доме держат совет опытные лекарки. Моя мать поспешно оделась, и двое наших рабов-негров отнесли ее в крытых носилках в дом ее отца, где

она оставалась весь день. К вечеру Сельви стало лучше. Мать вернулась и позвала меня.

— Ты знаешь, Чами,— она казалась немного смущенной.— Лучше тебе пока не бывать в доме дедушки Абдуррахмана...— она хотела было что-то мне объяснить, но осеклась, затем решительно сказала:— Ты умный мальчик, даже и не мальчик уже, совсем почти взрослый. Сельви очень больна. Но мы все надеемся и будем надеяться на ее выздоровление. Госпожа Зейнаб думает, что общение с тобой дурно влияет на здоровье ее дочери. Госпожа Зейнаб — мать, и у нее есть свои права...— она замолчала.

— Да,— сказал я.— Я все понял. Я тоже от всей души желаю Сельви здоровья и даже готов не видеть ее, если это ей поможет.

Мать признательно улыбнулась мне.

Что я чувствовал? Гадко было на душе. Ведь я солгал. Я притворился, будто не видеть Сельви — это для меня жертва во имя здоровья той же Сельви. А на самом деле, когда мать попросила меня не ходить в дом деда, я испытал что-то вроде облегчения. Значит, мне и самому хотелось этого? И я был рад, когда решили за меня, как бы помимо моей воли, снять с моих отроческих плеч бремя вины и ответственности. Значит, я не люблю Сельви? Не люблю за то, что она больна? Но ведь такая нелюбовь отвратительна! Но если я не люблю, я не могу заставить себя... Значит, я такой! Пусть Бог наказывает меня! Когда-нибудь я состарюсь, буду немощным и противным, и пусть тогда я буду умирать в одиночестве и небрежении, пусть! И я вновь ощутил ту безысходность бытия, тот замкнутый круг, который ощущают взрослые. Да, я выросл.

Но невозможно постоянно грызть и мучить свою душу! Я все чаще вспоминал слова деда о пригородном монастыре, обещание договориться с монахом, который будет учить меня франкским языкам. Я и сам не знал, чего в моем желании больше, чего я, в сущности, хочу — учиться или просто хоть как-то соприкоснуться с домом Сельви!..

В конце концов я решился и попросил мать напомнить деду о его обещании. Прошло недолгое время, и мать сказала мне, что я через несколько дней поеду в монастырь, отец и Хасан поедут со мной.

Я заранее радовался предстоящей поездке. Мне казалось, эта поездка освежит мои мысли, прогонит уныние.

И вправду чудесно было ехать шагом по берегу пролива, углубиться в лес, вдохнуть прохладный воздух, пропитанный ароматом трав и листвы.

Монастырь высился на холме. Он немного напоминал крепость. А, может быть, это когда-то и была крепость. Смутно припоминаю, как нас впустили в ворота, расспросили о цели

нашего приезда. Отец показал письмо моего деда Абдуррахмана для отца Анастасиоса. Оказалось, монах ушел в лес — собирать целебные травы. Нас почтительно попросили подождать. А я, в свою очередь, попросил у отца позволения немного погулять по окрестностям. Отец согласился и отпустил меня.

Я бегом спустился с холма. Было хорошо ощущать свое тело в движении — сильное молодое тело. Вот я уже иду по лесу. Я не очень хорошо знаю названия растений и теперь жалею об этом. Но если этот монах Анастасиос собирает целебные травы, значит, он многое знает о растениях. Попрошу, чтобы он и этому поучил меня!

Вдруг странные нежные звуки поражают мой слух. Это флейта! Как странно слышать флейту в лесу! Откуда? Тотчас вспоминаются древние божества эллинов. Они верили в лесных козлоногих юношей — сатиров. Конечно, это все язычество, но... если и вправду существуют сатиры, я почему-то не испытываю ни малейшего страха перед ними. Эллинские языческие божества всегда представлялись мне добрыми, взбалмошными и немного смешными.

Я решил найти таинственную флейту. Кто же это играет? Я иду медленно. Раздвигаю осторожно ветки кустов.

Наконец-то!

Удивительная картина! Словно оживший рисунок с древнего эллинского кувшина! На выпуклом холмике, покрытом зеленым мхом, прижавшись спиной к стволу невысокого дерева, стоит мальчик, года на два постарше меня, лет четырнадцать. Он одет в темную короткую рубашку. Одна стройная голая нога чуть согнута в колене и выставлена вперед, на другую ногу он свободно перенес всю легкую тяжесть юного своего тела. Его лицо кажется мне странным и привлекательным. Шея у него длинная, я видел такие у эллинских статуй. Стройный нос, но кончик чуть утолщенный и от этого лицо кажется таким милым и немного смешным. Брови почти срослись на переносице. Волосы не совсем светлые, но и не темно-каштановые, немного выующиеся. На щеках и подбородке уже пробился первый, смешной еще пух — начало будущих усов и бороды. Юноша играет на двустольной флейте. Я видел такие, опять же на рисунках на эллинских сосудах, но не думал, что и сейчас кто-то может играть на такой флейте. Два ее ствола разведены в разные стороны, звук такой странный, тонкий, беззащитный.

Я вышел из чащи кустарниковых листьев. Юноша опустил флейту. Он не боялся, просто смотрел на меня выжидающе. Я улыбнулся ему. И он улыбнулся в ответ. Странное у него все же было лицо. Когда он улыбался, глаза делались узкими, карие смешливые глаза выражали дружелюбие. Как причудливо,

должно быть, перемешались в этом юноше кровь древних эллинов и кровь тех пришельцев, которых франки зовут славянами, болгарами, тюрками. Верно, были в его роду и ромеи-римляне, и сами франки. Улыбаясь, он слегка выпячивал губы.

— Ты сам сделал этот инструмент? — спросил я, указывая на его флейту.

— Это не настоящий, — ответил он дружелюбно. — Секрет настоящего утерян. Это я просто связал вместе две продольные флейты — вот и все.

— Может быть, и Омир был когда-то таким, как ты! — сказал я.

— Омир был слепой, — он посмотрел на меня с любопытством.

— Но не всегда же! — мне захотелось показать свои познания. — Сначала он, должно быть, был воином, и только потом, когда его ранили и он ослеп, стал певцом и музыкантом.

— Возможно и такое, — миролюбиво согласился юноша.

Он мне все больше нравился. Мне очень захотелось подружиться с ним.

Я не стал дожидаться, пока он проявит интерес к моей скромной особе, и спросил первым:

— Как твое имя?

— Меня зовут Панайотис.

И снова он не спросил, как же зовут меня. Но я назвал, не дожидаясь вопроса:

— А меня — Чамил.

Он дружески улыбнулся.

— Ты здесь поблизости живешь? — снова я первым задал вопрос.

— Да.

— А знаешь ли ты большой монастырь?

— Монастырь пресвятого архангела Михаила? Знаю. Я там живу.

— Ты — монах? — я отступил на шаг.

— Нет. Мать отдала меня на послушание. Но, я не хочу становиться монахом. Мне просто нравится учиться у отца Анастасиоса.

— Но и я хотел бы у него учиться! А правда, что он знает многие франкские наречия?

— Правда! И у него есть такие франкские книги! Но, если ты будешь у него учиться, ты сам увидишь!

— Отец Анастасиос хоть и неверный, гяур, но приятель моего деда Абдуррахмана, — выпалил я. И тотчас пожалел об этой нечаянной фразе.

Панайотис состроил гримасу. Но совсем не разозлился. И уже через несколько секунд его лицо приняло задумчивое выражение.

— Прости меня,— сказал я.— Я не хотел тебя обидеть.

Он пожал плечами и улыбнулся мягко. И вдруг сам предложил мне пойти с ним:

— Пойдем поищем отца Анастасиоса. Хочешь?

— Хочу!— я почувствовал, что краснею от удовольствия.— А как мы его найдем?

— Он в лесу, собирает целебные травы. Он славный. Добрый такой и веселый.

Мы пошли вместе. Я спрашивал у него названия деревьев и растений, и видел, что ему приятно отвечать мне.

«Наконец-то у меня будет друг!— думал я.— Вот кому я расскажу о Сельви! Вот кто поймет меня и подаст добрый совет!»

И тотчас же пришла в голову мысль: а если когда-нибудь от чего-нибудь и Панайотис изменится, как изменилась Сельви из-за своей болезни? Неужели я и его разлюблю? Меня с новой силой охватило презрение к себе самому. Я думал о том, где пролегает граница, отделяющая в одном человеке здоровье от болезни. Когда, в каких случаях можно говорить, что человек изменился настолько, что это уже и не он, а что-то совсем другое...

Так мы шли и шли. И вдруг я понял, что именно сейчас могу открыть Панайотису свою тайну.

— Ты... любил кого-нибудь? — осторожно начал я.

— Да,— Панайотис обернулся ко мне, и я был поражен серьезностью его лица и глаз. Мои собственные страдания вдруг показались мне незначительными. Панайотис умел любить совсем иначе, чем я.

— Я любил одну девочку,— начал я.— Мне нравилось видеть ее, говорить с ней. Но у нее случаются какие-то странные приступы, вроде приступов безумия. Да, приступы безумия. Это отвращает меня от нее. Но я чувствую себя каким-то предателем и несправедливым человеком.

— Но разве ты виновен в том, что больше не любишь ее? Не все ли равно, по какой причине ты разлюбил ее? Зачем приказывать своему сердцу? Пусть оно будет свободно!

— А тебя не смутило бы такое? Не отдалило бы от любви?

— Думаю, нет,— ответил он серьезно после короткого раздумья.

— А если бы она так изменилась, что это была бы уже не она?

— Все равно хоть что-то, какая-то тень бывшего осталась бы!

— А если нет?

— Думаю, здесь дело в том, насколько сильна моя фантазия; смогу ли я вообразить, будто в обезумевшем существе я узнал свою прежнюю любовь... Если смогу, значит, она не изменилась.

— А я вот не могу,— грустно признался я.— Должно быть, у меня бедное воображение!

— Совсем не обязательно!— горячо возразил он.— Просто сила твоей фантазии, так уж получилось, направлена не на любовь, а на что-то иное. Например, на книги!

Мне понравилось такое объяснение моего поведения. Панайотис показался мне очень тонко мыслящим.

Так мы бродили по лесу, пока не столкнулись с тем, кого искали, с отцом Анастасиосом.

Это оказался пожилой белобородый монах с большой корзиной в руке. Корзина была наполнена разными травами. Панайотис приблизился к нему и поцеловал ему руку. Монах, весь в черном, оглядывал меня и Панайотиса. Лицо у него оказалось широкоскулое и отнюдь не изобличавшее благородное происхождение, красноватое, обветренное, глаза серые. Он не походил на местных жителей.

— Это Чамил, наш гость,— представил меня Панайотис.— Он приехал учиться у тебя франкским наречиям, но поскольку он считает тебя неверным, то еще не знает, захочешь ли ты учить его!— говоря все это, мой друг смеялся.

Меня удивило, что Панайотис разговаривает со своим старым учителем, как со сверстником.

— Что ж,— заметил монах,— возможно, юный воин Пророка и прав, именуя меня неверным. Ведь я не всегда был греком и не всегда — монахом; стало быть, изменил чему-то в своей сути.

«Вот и этот толкует об изменении сути одного человека», — подумал я.

— А кем же вы были, когда не были ни греком, ни монахом? — осторожно спросил я.

— Я рожден франком от родителей-франков. Они дали мне имя Крэтъен. Итак, я был франком и подданным римской церкви. Я согласен учить тебя. У тебя славное лицо.

— Я — внук Абдурахмана Гази!— вспомнил я.

— О, тогда я просто обязан учить тебя, и притом — бесплатно! А что, старый грешник еще жив? Много мы с ним выпили кипрского вина, а еще больше мимо рта протекло!

— Дедушка жив и здоров,— сказал я.

— Страшно рад этому! А Курица как поживает?

— Какая курица? — разумеется, я удивился.

— Какая? Госпожа Зейнаб! Разве может быть другая?

— И она здорова,— я представил себе, что сказала бы госпожа Зейнаб, если бы услышала, как ее обзывают Курицей, и

невольно приснул. Кроме того, мне было странно узнать, что мой дед, по пять раз в день совершавший намаз — молитву с омовением, оказывается, когда-то пил вино! С христианином! А теперь он даже не заехал в монастырь, разбил шатер на поляне! А если недуг Сельви — наказание за его юношеское нечестие? Но тут ход моих мыслей прервался, мы вошли в ворота.

Отец передал монаху письмо деда. Затем обговорили условия моего учения. Мне очень хотелось почаще встречаться с Панайотисом, и я обрадовался, узнав, что буду ездить в монастырь.

— Но и я требую соблюдения одного условия, — строго сказал мой отец. — Ты, господин Анастасиос, не должен отворачивать моего сына от правой веры, не должен соблазнять его.

— Я не собираюсь делать это, — ответил монах. — Я буду учить вашего сына по мирским книгам.

Отец согласился.

На стенах монастырской приемной я увидел несколько изображений христианских святых, греки зовут их «иконами» или «образами». Отец и Хасан тоже обратили на них внимание. Наш упрямец Хасан, верный своей привычке высказывать собственные оригинальные мысли, не думая о том, не обидит ли это собеседника, сказал монаху:

— Краски совсем свежие! Эти изображения написаны совсем недавно. Но ведь они не дают никакого представления о том, как изменилась жизнь на этой земле, ничего не говорят о нас, например, — Хасан повел рукой, указывая на себя и на моего отца; я стоял поодаль и потому не попал в очерченный рукой моего брата невидимый круг. — А ведь жизнь этой земли немыслима без нас, мы создаем ее заново, ее и ее людей! Разве не так?

— Образа пишутся по определенному канону, — спокойно ответил отец Анастасиос. — Нарушать этот канон нельзя. Образа пишутся не для того, чтобы отразить живую жизнь, но для того, чтобы передать людям хотя бы тень божественной благодати! Изображения, отражающие жизнь, совсем иные. Я видел такие в земле франков. В болгарском селении Бояна я также видел прекрасные изображения людей, но это не иконы, это другое. А, впрочем, сейчас я вам кое-что покажу.

Он отворил створчатую дверцу маленького деревянного шкафа и вынул еще одну икону — совсем небольшую. Он повернул ее к нам. Панайотиса он куда-то услад, и мне было немного грустно.

— Вот, посмотрите!

На доске была изображена совсем юная девушка. Одета в тяжелое алое платье, подчеркивавшее хрупкость ее фигуры,

девушка сидела на широком троне. Фон был темный, тревожный. На этом фоне платье девушки и ее лицо выделялись как-то тепло, нежно и тоже тревожно. Я посмотрел. Это была Сельви! Она была старше, чем в жизни, будто неведомый художник хотел представить себе, какой она станет, войдя в пору девического расцвета.

— Человек, изобразивший эту девушку, считает изображение иконой святой Параскевы, но мне так не кажется. В этом изображении художник не стремится смиренно раствориться в каноне, но хочет показать именно себя, похвалиться своей любовью!

— И все же это прекрасное изображение! — заметил отец. — Кто же художник? Он жив?

— Это работа послушника Панайотиса. Ему четырнадцать лет. Да вы видели его. Парнишка с флейтой.

— А! — отец улыбнулся. — Юный Омир! Кажется, с ним подружился мой сын.

Я покраснел. Но меня поразило такое совпадение — и в сознании отца внешний вид Панайотиса соотносился с представлением об Омире!

— Они будут вместе учиться у меня, — сказал монах. — Но я надеюсь, — он с усмешкой пригладил бороду, — молодой господин Чамил не станет пытаться обращать моего послушника в свою правую веру?

— Это условие будет строго соблюдаться, — серьезно ответил отец.

Когда я увидел деревянную доску с портретом девушки, я чуть было не воскликнул: «Сельви!» Но сдержался. Потому что мгновенно вспомнил свою беседу с дедом и Сельви о поездке в монастырь. Панайотис, конечно, видел ее! Возможно, как раз когда дед разбил шатер на поляне, во время поездки за город! Значит, Сельви и есть... Это ее он любит! Я вспомнил, как она смутилась и уверяла, будто не помнит о поездке, о монастыре. Я даже обрадовался — стало быть, ее болезнь не зашла еще так далеко, то была не потеря памяти, но влюбленность. Я понимал Сельви. Она сказала, что не помнит, потому что не хотела говорить и слышать, как говорят другие о том месте, где она увидела того, которого любила! Я почему-то не сомневался, что они еще не сказали друг другу ни слова. На эту мысль меня натолкнуло изображение Сельви, сделанное Панайотисом. Такой можно изобразить ту, которой поклоняешься издали, только издали, не зная ее и предаваясь мечтам о ней.

Значит, они полюбили друг друга. На миг мне стало легко: Сельви любит другого, я не предал, не оставил ее, и как прекрасно, что этот другой — такой славный, умный и добрый, и будет моим другом! Я немного обеспокоился — а что

будет, когда Панайотис узнает о болезни Сельви? Но мне почему-то показалось, что это не остановит его. И в то же время какая-то легкая печаль угнездилась в моем сердце, я чувствовал себя покинутым, но, говоря откровенно, эта легкая печаль была мне даже приятна. Я самым искренним образом захотел помочь влюбленным. Я уже представлял себя в самопожертвенной роли посредника, и это тоже было мне приятно.

Сначала я боялся, что отец и Хасан узнают Сельви в изображенной девушке. Но они оба не так уж часто видели ее, и обычно видели мельком. Разговор продолжился. Вскоре я заметил, что брат притих, почти ничего не говорит и то и дело смотрит на икону святой Параскевы с какой-то мрачной сосредоточенностью. Это было странно. Но тогда я не придавал этому особого значения.

Отец стал расспрашивать старого монаха о Панайотисе.

— Родители этого юноши — болгары из Харман Кая. Отца его звали Мануил, по прозвищу Кесе — «безбородый», ибо он всегда брил бороду, оставляя на лице только висячие длинные усы. Когда Эскишехирский бей отказался подчиниться султану Орхану, Кесе Мануил взял сторону Эскишехирского бей, потому, конечно, что надеялся выгадать на ссоре бей с султаном. В битве Кесе Мануил был взят в плен. Но султан сказал, что сердце не дает ему казнить такого храбреца, простил его и отпустил. Кесе Мануил сделался верным слугой султана, но веры не менял. Умер Кесе Мануил от оспы в селении Итбурну. Он оставил своей вдове вот этого мальчика и довольно богатое имущество, а также землю. Госпожа Анна, его вдова, хотела все пожертвовать нашему монастырю, но я удержал ее от этого опрометчивого поступка. Она пожертвовала лишь часть имущества, а также сделала вклад в женский монастырь святой Параскевы, куда удалилась сама. Она считала своего супруга грешником и отдала сына нам, надеясь, что он в конце концов решит принять постриг; но пока я таких склонностей за ним не замечаю. Я и не думаю, что его отец был настолько уж грешен! Не настолько, чтобы сын всю жизнь замаливал его грехи! Бедная госпожа Анна, она была добра и благочестива, но и ее уже нет в живых. Я как умею, управляю имуществом сироты, и надеюсь, когда он закончит свое учение в монастыре, то сможет жить безбедно в поместье покойного своего отца.

— Мой сын говорит, что этот Панайотис — умный и добрый юноша! Он не ошибся? — спросил отец.

— Нет, он не ошибся нисколько! — засмеялся монах. — Думаю, многие добрые люди захотят в будущем иметь такого друга, как Панайотис!

Я смутился и отвернул голову. И тут заметил, что Хасан осторожно и с каким-то странным смущением, обычно ему не

свойственным, чуть подался вперед, сидя на скамье, и коснулся кончиком указательного пальца нежной щеки девушки, изображенной на иконе.

5. Любовь

Отец Анастасиос выполнил свое обещание и учил меня франкским наречиям по мирским книгам. Новый чудесный мир раскрылся передо мной. Я скоро заметил, что книги франков походят на стихи и повествования арабов и персов. В чудесных историях о принцессах и рыцарях я находил много общего с поэмами о Тахире и Зухре, о Лейле и Меджнуне, о прекрасном Юсуфе и гибнущей от страсти Зулейхе. Я сказал об этом своему учителю.

— У тебя острый ум,— похвалил он меня.— Да, франкские книжники многое взяли у арабов, персов, иудеев и древних эллинов. Но все же остались собою, не утратили своих собственных черт.

Мы с Панайотисом жили погруженные в мир чудесных приключений, порою непристойных, порою трагических. История Тнугдала, воочию видевшего подземное царство, милые повествования о девушке на муле, о нежной любви Окассена и Никоветты, хождения хитрого лиса Ренара — все так нравилось нам. Отец Анастасиос рассказывал нам о столицах франкских государств, о больших городах — Париже, Флоренции, Риме, Толедо. Он много повидал на своем веку. Он рассказывал, как учился в университетах Парижа и Болоньи. Студенты живут бедно, но весело. Однажды воспоминания так разгорячили доброго старика, что он, оглянувшись на дверь своей кельи, заговорщицки подмигнув, сказал нам:

— Вот погодите, я сейчас кое-что вам покажу!

С этими словами он вынул из ниши в стене, где хранил свои книги, одну старинную с плотными пергаментными страницами.

— Вот! Это «Кармина Бурана».

В этой книге были собраны веселые песни, сочиненные франкскими студентами на латыни. Мы, Панайотис и я, листали страницы, краснели, прыскали, закусывали губу и, честно говоря, завидовали франкским студентам — они были такими свободными, к их услугам всегда находились искусные в своем ремесле блудницы (если быть совсем уж честным, это вызывало особенную нашу зависть), а мы... Ладно еще Панайотис, он сирота, и отец Анастасиос, его опекун, не станет его так уж стеснять. Но я! Куча родственников следит за каж-

дым моим шагом и, когда придет время, они и женят меня и будут направлять в жизни, и будут пользоваться моими услугами улема, а я, должно быть, стану улемом — ученым толкователем Корана. Целые дни буду проводить в мечети, а дома — жена, дети, все те же родственники — что за скука будет! Нет, надо хорошенько изучить франкские наречия. Вдруг это позволит мне сделаться посольским переводчиком?

Отец Анастасиос взял из рук Панайотиса книгу, раскрыл, и запел приятным, немного дребезжащим голосом:

Будем же радоваться,
Пока мы молоды.
После юности прекрасной,
После старости ужасной
Нас возьмет земля-а-а!..

От звуков этого старческого голоса, от этих простых и правдивых слов мне сделалось грустно, защипало в глазах.

— Я хотел было тебе сказать, Чамил,— отец Анастасиос взял меня за руку своими сухими пальцами,— я хотел было сказать тебе, что не следует быть таким чувствительным! Но внезапно подумал, а чем это дурно — быть чувствительным, сохранять способность проливать слезы над нежными и грустными стихами... И вот я говорю тебе: оставайся таким, каков ты сейчас, мальчик мой!

В одну из книг отца Анастасиоса мы с Панайотисом просто были влюблены. Эту книгу написал флорентиец Джованни Боккаччо, называлась она «Декамерон» — «Десятидневник». Мы с моим другом просто поселились на ее страницах! Каждый из нас представлял себя любовником юной Катерины, которая засыпает на балконе, нагая, в его объятиях, лаская своими девичьими пальчиками его обнаженный член. А на другой день мы уже были настроены возвышенно и серьезно и восхищались кротостью и терпением красавицы Гризельды. Но скоро я заметил, в чем разница между мной и моим другом — я готов был с головой, что называется, погрузиться в книги и жить в их мире, не особенно нуждаясь в мире реальной жизни с ее печалью, глупостями и радостями. Панайотис же был привязан именно к этой реальной жизни, хотел жить, существовать в ней и во имя ее. Возможно, именно поэтому из него не вышло ни иконописца, ни музыканта; он никогда не умел всем своим существом погрузиться в мир вымысла. Но, может быть, он в чем-то был прав?

Какое-то чутье подсказало мне, что не следует заводить с Панайотисом разговор о его любви, он переживал еще ту фазу влюбленности, когда есть одна лишь потребность, одно желание — глубоко затаить свои чувства, лелеять и беречь их в своей душе, ни с кем не делаясь, никому не открываясь.

Но мне все же хотелось завести такой разговор. Я мечтал быть деятельным помощником влюбленных, столь близких моему сердцу. Я давно не видел Сельви, потому что выполнял свое обещание и не бывал в доме деда Абдурахмана, но я знал от матери, что Сельви гораздо лучше, припадки стали намного реже, и родители не теряют надежды на то, что их дочь совершенно поправится. Меня это радовало несказанно. Я думал о том, что я окажу неоценимую услугу моей Сельви; быть может, помогу ей соединиться с возлюбленным, и тем самым заглажу свою вину перед ней, ибо, несмотря ни на что, я все еще чувствовал себя виновным.

И вот случайно нашелся повод заговорить с Панайотисом о его чувствах. Ко мне вдруг обратился доверенный слуга Хасана с несколько странной просьбой.

— Господин Чамил, я слышал от моего господина Хасана, что вы бываете в монастыре архангела Михаила...

— Да, бываю,— подтвердил я, ожидая дальнейших вопросов и не догадываясь, о чем пойдет речь.

— У меня есть одна приятельница, гречанка. Все мы ведь не чужды слабостей! Господин Хасан рассказывал, что видел в монастыре одну красивую икону с изображением девушки, нарисованную молодым тамошним послушником. Не помню уж, как называется эта языческая доска, но вы, должно быть, и сами ее отыщете. Не согласился бы этот послушник списать с нее копию, за плату, конечно; охота мне сделать подарок моей приятельнице; так не согласился бы? И, зная вашу доброту...

Я подумал, что Панайотису будет приятно и получить деньги, которыми он сможет распорядиться по своему усмотрению; и то, что на его икону будут молиться.

— Что ж,— я сделал вид, будто хмурюсь,— дурно, конечно, что ты не склоняешь свою подругу к правой вере, но сам же и даришь ей изображения языческих идолов! Но что поделаешь — человек и вправду подвержен слабостям. Я постараюсь выполнить твою просьбу.

Я рассказал Панайотису о просьбе слуги, и мой друг с удовольствием согласился и принялся за работу. Скоро икона была готова. Слуга пришел на условленное место, мы передали ему икону, а он нам — деньги. В скором времени Панайотис сказал мне, что слуга Хасана передал ему приглашение от женщины, которой подарил икону: эта, де, женщина хочет сама отблагодарить художника за прекрасную работу.

— Но я сказал, что без тебя никуда не пойду!— Панайотис посмотрел на меня.

— Но ты можешь пойти и без меня,— я был тронут, но мне не очень-то хотелось идти в незнакомый дом.

— Ты не хочешь? — спросил Панайотис, и лицо его приобрело немного ребячески-обиженное выражение.

— Я не знаю, зачем... — я смутился и не договорил. — Ты знаешь, мне кажется, я чего-то не понимаю, объясни мне.

— Хорошо! — он решился. — Мы ведь уже взрослые. А я слышал, что любви, то есть телесной любви, следует учиться. Помнишь историю Дафниса и Хлои; мы читали; ведь прежде, чем сделаться супругом любимой Хлои, Дафнис вступил в телесную близость с одной опытной женщиной, которая научила его любви, просветила его...

— Я помню. Но в наших книгах; я имею в виду, не сердись, книги, написанные людьми правой веры, любовь не такова. Разве Меджнун учился любви у продажных опытных женщин? Нет!

— Но ведь тогда есть риск, что в будущем разочаруешь своей неумелостью истинную свою возлюбленную! — воскликнул Панайотис. — А если говорить о ваших книгах, разве не имел Тахир двух жен?

— Но обоим он был супругом, обе были честные девушки!

— Ох, Чами! Ну разве мы...

— Я все понимаю, — прервал его я. — И мне этого хотелось. Но откуда ты знаешь, что эта гречанка — доступная женщина? И потом, ведь у нее уже есть друг — слуга моего брата!

— Ну вспомни истории о блудницах из «Декамерона»! Никакого значения этот ее друг не имеет! И приглашает она нас не случайно, не просто так!

— Меня не приглашает!

— Этот слуга твоего брата просто, я думаю, постеснялся передать приглашение и для тебя; боится, что ему за это достанется от твоих родителей! Но как родители узнают? Ничего они не узнают!

Короче, я согласился идти к пресловутой гречанке вместе с моим другом. Это приключение очень занимало нас. Я немного, впрочем, сердился на Панайотиса; сам не знаю, почему; я понимал, что, говоря об истинной возлюбленной, которую он боится в будущем разочаровать, он думает о Сельви! Но, в конце концов, я ведь и сам желаю, чтобы они соединились в будущем супружескими узами. Думал я и о себе — возможно, и я впервые познаю телесную близость с женщиной. Может быть, Панайотис прав, и действительно следует начинать с опытных женщин...

В назначенный день мы отправились на рынок, нашли лавку ювелира и начали тратить деньги, полученные Панайотисом за копию иконы. Накупили дешевых украшений. Мне показалось, что и сам старый иудей, и его молодой красногубый помощник, и даже слуга-негр, все догадываются, что мы покупаем украшения для подарка продажным женщинам, и поглядывают на нас как-то иронически. Я напустил на себя гордый вид, предоставил моему приятелю расплачиваться, а

сам вышел из лавки, высоко вскинув голову. Но Панайотис, конечно, заметил мое смущение, на улице он, смеясь, ткнул меня кулаком в бок, я толкнул его в плечо, и мы двинулись дальше. Наняли носильщика, завернули в лавку, где продавались ткани; прибавили к украшениям дешевую шаль, но пеструю, нарядную. Потом купили мясо, зелень, фрукты и сладости. Навьючили нашего носильщика и так добрались до условленного места. Слуга Хасана, его имя было Муса, уже ждал нас. Он немного смутился, увидев меня, но я бодро сказал:

— Все мы не чужды слабостей! Главное, что господин Ибрахим, мой отец, и госпожа Мальхун, моя мать, ничего не узнают! Ну и господин Хасан, разумеется, тоже!— я посмотрел на Мусу, как смотрел на слуг мой отец, спокойно, но повелительно.

Слуга кивнул. Но мне показалось, что он озабочен чем-то иным.

Мы углубились в греческий квартал. Приятельница Мусы жила в небольшом доме, на вид довольно чистом. Муса постучал о деревянную дверь медным дверным кольцом. Служанка впустила нас. В тот день я надел нарядный тюрбан; Панайотис был в новом кафтане и в шапке, из-под которой выбивались прядки его темно-светлых волос. Гречанка не показала нам особенно молодой и красивой, длинноногая, сильно набеленная и нарумяненная, руки и шея у нее уже отличались дряблостью. Мы отпустили носильщика, шегольнув в присутствии нашей продажной дамы щедростью. Она приказала служанке готовить ужин, рассыпалась в благодарностях. Я развернул шаль и выложил украшения.

— О!— воскликнула женщина нарочито-певучим голосом.— Это слишком много для меня одной! Мелита!— она позвала служанку.— Ступай, пригласи к ужину Марию и Кристину, пусть девушки развлекут моих гостей.

Услышав слово «девушки», мы с Панайотисом исподтишка переглянулись. Мы с удовольствием предпочли бы девушек нашей любезной хозяйке. Она продолжала болтать без умолку. Хвалила икону Панайотиса. Но я видел, что что-то ее тревожит. Наконец она извинилась и сказала, что служанка очень бестолкова, поэтому лучше ей самой сходить за девушками, это здесь недалеко. Не согласимся ли мы отпустить ее и Мусу ненадолго? Она боится одна идти по темной улице. Выговорив это, она жеманно хихикнула.

Разумеется, мы отпустили ее и Мусу. А сами сидели за кофе с вареньем, волнуясь и не решаясь даже говорить друг с другом.

Явились обещанные девушки. Это, конечно, тоже были потаскухи, но и вправду молодые и довольно красивые. За ужином пили вино. Я молчал и важничал. Муса пытался

острить. Панайотис привел всех в восторг, спев несколько песенок на латинском языке из «Кармина Бурана». Он перевел их содержание на греческий язык, и все смеялись. Потом Муса заиграл на тамбуре. Девушки поднялись, вынули тонкие платочки и начали танцевать. Пригласили присоединиться и нас с Панайотисом. Впервые в жизни я держал за руку чужую женщину, с которой к тому же собирался провести ночь, и двигался в такт ее движениям. Я заметил, что это очень возбуждает. Панайотис заинтересовался тамбуром, даже попробовал играть; у него сразу получилось. Я тогда решил, что подарю ему тамбур! Вечер завершился тем, что хозяйка развела нас по отдельным комнатам, и я познал женскую любовь. Это оказалось приятно. Но странно, все, что проделывала искусная девушка (а я понял, что она искусна); все, что она говорила, казалось мне бледным сколком, почти комичным подражанием тому, что полнокровно жило на страницах книг. После я спросил у Панайотиса, каково его впечатление. И странно, оно было прямо противоположным: ему показалось, что то, что описано в книгах, вторично по отношению к живой жизни. Я же думал иначе: люди просто подражают тому, что описано в книгах или рассказано в легендах, подражают вольно или невольно. Ведь не найдешь на земле человека, который не слышал бы ни одной песни, не знал бы ни одной легенды, даже если он и не умеет читать.

— Вот какое приключение доставила нам твоя святая Параскева!— начал я разговор, спустя день.

Но мой друг не поддержал моего шутивого тона. Он был задумчив и печален. И заговорил со мной прямо, это я в нем особенно любил.

— Меня грызет чувство вины!— сказал Панайотис.— У меня такое чувство, будто я предал...— он вдруг осекся.

— Я понимаю тебя. И чувство вины мне знакомо. Знаешь, Панайотис, я хотел бы, чтобы ты пришел в гости в мой дом. Мне надо поговорить с тобой. Ты не думай, что я не слушаю, не понимаю тебя, перевожу разговор на другое. Нет!

Панайотис согласился. Мы уговорились с отцом Анастасиосом, что он отпустит своего питомца на день (когда мы отправлялись в гости к любительнице икон, мы, конечно, делали это тайно, зато теперь стали такими послушными мальчиками, и скромно просили дозволения отлучиться).

В моей комнате я прежде всего подал моему другу тамбур. Это был старинный с прекрасным звучанием инструмент, инкрустированный перламутром, подарок Хасана.

— Это,— сказал я,— должно принадлежать тому, кто заставит это жить в звучании! То есть тебе!

Он посмотрел на меня, улыбнулся своей детской улыбкой, чуть выпятив губы, и принял подарок.

Немного развеселившись, он откинул крышку сундука, вынул один из моих халатов и тюрбан и примерил. Затем встал передо мной, смеясь, с тамбуром в руках, в распахнутом халате, в криво надетом тюрбане.

— Призрак музыканта! — засмеялся я.

— Что это за призрак? — спросил Панайотис.

Я рассказал ему о призраке юноши с тамбуром, там, где является этот призрак, следует ждать беды! Панайотис выслушал меня и сказал, что это красивая легенда. Я замолчал, внезапно вспомнив то, что моя мать недавно говорила о Сельви. Сельви хорошо себя чувствует, очень расцвела, но иногда по ночам ей чудится призрак музыканта, тогда она вскрикивает и с трудом успокаивается. По ходатайству деда Абдуррахмана старуху Лейлу, принесшую в их дом историю о призраке музыканта, изгнали из города. Я твердо решил поговорить с Панайотисом именно сейчас.

— Сядь, Панайотис, — попросил я.

Он послушно опустился на подушку, держа в руках тамбур.

— Я должен сейчас сказать тебе много важного для тебя, для меня и еще для одного человека. Ты, конечно, помнишь, как я рассказал тебе о своей детской влюбленности в большую безумием девочку?

Панайотис кивнул, внимательно глядя на меня.

— Эта девочка — младшая сестра моей матери. Ее имя — Сельви. Думаю, что и ты влюблен в нее.

Он широко раскрыл глаза.

— Ведь это свою любимую ты изобразил на иконе?

Он снова кивнул, не сводя с меня глаз.

— Скажи мне, где ты видел ее? — спросил я.

— У ручья на поляне... они разбили шатер... Должно быть, выехали на загородную прогулку... Она набирала воду в кувшин...

— Она видела тебя? Ты говорил с ней?

— Нет, мы не говорили, — он отвечал с какой-то странной покорностью, — но она обернулась и посмотрела на меня. Она не испугалась... А я убежал... — он пожал плечами и улыбнулся.

— Думаю, и она любит тебя, — я рассказал ему о том, как Сельви смутилась, когда зашел разговор о поездке, как она уверяла, будто ничего не помнит.

Панайотис слушал меня.

— Но я не хочу, — продолжал я, — доставлять бедной девочке горе. Ты должен знать о ее болезни. Это тяжкий недуг. Из кроткого, прелестного и серьезного существа она мгновенно превращается во что-то злобное, страшное, бессмысленное. Ты должен знать об этом! Моя мать говорит, что сейчас ее сестра почти здорова, и только иногда ночью видит перед собой призрак музыканта...

— Тот самый? — тихо перебил меня Панайотис.

— Да, тот самый. И если ты чувствуешь, что не сможешь любить больную, лучше откажись от встречи с ней!

— От встречи?!— Панайотис вскочил, не выпуская тамбура из рук.— Я увижу ее?!

— Подумай прежде! Даю тебе семь дней на размышления! Я верю, знаю, ты не обманешь меня.

— Как я благодарен тебе,— просто сказал мой друг, снова опускаясь на подушку. Он уже снял тюрбан, но так и забыл снять халат.— Я тоже должен сделать тебе одно признание. Тогда, у гречанки, эта девушка, с которой я был,— он опустил глаза.— Она хвалила мою икону и все выпрашивала, а может, и вправду существует на свете та красавица, которую я нарисовал. И в конце концов я все рассказал. Как увидел Сельви. А она все выпрашивала. Как выглядели родные девушки, которую я увидел. И я рассказал все, что успел тогда заметить. А теперь я думаю, не грозит ли Сельви опасность. Вдруг ее хотят похитить? И я клянусь тебе, что никогда больше не стану ходить к продажным женщинам! Я все вытерплю, я буду терпеливо переносить ее недуг, никогда не оставлю ее; как бы она ни изменилась, для меня она всегда останется единственной и самой прекрасной!

— Я верю тебе. А все эти расспросы о девушке, которую ты изобразил; да, все это странно. Пока непонятно. Но за Сельви дома следят. И ведь есть мы — ты и я!

Он обнял меня и расцеловал в обе щеки.

Пошло время, отведенное Панайотису для раздумий. Я стал напряженно думать, как устроить его встречу с Сельви, как дать ей знать о нем. Сам я теперь не говорил о семье Сельви, о деде Абдуррахмане. Но чутко прислушивался к тому, что говорили об этом другие. За общей трапезой мать иной раз заговаривала о деде и его семье. Я слушал молча. Мать довольно часто навещала своего отца. Она сказала, что дня через два собирается навеститься к деду Абдуррахману. Меня немного удивило, когда Пашша, первая жена моего отца, мать Хасана, предложила моей матери:

— Поправимся вместе, Мальхун. Я просто пропадаю со скуки!

Обычно Пашша была молчалива и не особенно любила ходить по гостям. Но то была мелочь, о которой я быстро забыл, и вспомнил лишь много времени спустя.

Я принял самое простое решение. Проникнуть в дом деда тайком. Я хорошо знал этот дом, все ходы и выходы. И, стало быть, я пробираюсь в дом, поговорю с Сельви, расскажу ей о Панайотисе, а после устрою их встречу.

Я знал, что в доме деда днем часто не запирают маленькую садовую дверь. Она выходила в глухой переулок, стиснутый с

двух сторон белыми беззаконными стенами домов. Здесь же теснилось несколько деревьев. Я затаился в тени раскидистого карагача и выжидал. Затем осторожно подкрался к дверце. Она оказалась заперта. Я снова вернулся к стволу дерева. Было еще рано. Возможно, дверцу еще не отперли с ночи. Я оказался прав. Прошло еще несколько часов, и слуга-садовник отпер дверь, подмел и полил мостовую перед домом, и вернулся в дом, уже не запирая дверцу, а просто прикрыв ее. Я прокрался в знакомый сад. Здесь почти ничего не изменилось, и странно было крадучись пробираться по дорожкам, где я не так уж давно бродил желанным гостем.

Я спрятался за беседкой. Надо было появиться осторожно, чтобы не напугать Сельви. Я стал ждать. Наконец увидел ее. Она прошла с госпожой Зейнаб, та очень постарела, лицо обрюзгло, щеки отвисли. А Сельви и вправду чудесно расцвела, теперь она была точной копией девушки, изображенной на иконе. Ей уже исполнилось пятнадцать. Они прошли через сад на кухню. Затем вышел в сад дедушка Абдурахман. Он одряхлел, согнулся, опирался на трость с набалдашником в виде львиной головки. Он медленно заковылял к беседке. Я не знал, что предпринять. Дед вошел в беседку, присел на скамью. Посидел немного. Потом выпрямил спину и чуть подался вперед. Я затаил дыхание.

— Чами, это ты? — тихо позвал дед.

Голос его не был угрожающим, даже наоборот, затаенная радость слышалась в этом голосе. Прятаться дальше, пожалуй, было глупо.

— Я... это я! — с этими словами я тихо выбрался из кустов позади беседки. — Как вы меня углядели, дедушка?

— Так хорошо ты прятался! — дед хмыкнул. — Старый воин Османа Гази еще на что-то годен! Вот тебя выследил!

Мы оба засмеялись.

— Рад я тебе, — сказал дед. — И зачем только госпожа Зейнаб отлучила тебя от дома!

— Она курица! — лукаво откликнулся я.

— А! Этот грешный монах, старый гяур отец Анастасиос! — дед широко, во весь рот ухмыльнулся.

— Как ваше здоровье, дедушка? — спросил я.

— Что говорить обо мне? — он замолк и вдруг прямо спросил: — Ты хочешь видеть Сельви?

— Хочу, — я почувствовал, что краснею предательски, — я ведь люблю ее, как любил бы родную сестру! — Это была правда!

Дед устремил на меня испытующий взгляд все еще черных глаз, они так мало выцвели от времени.

— Подожди здесь, — сказал он. — Я приведу ее.

Я остановился в затененном уголке беседки, чтобы кто-нибудь из домашних случайно не заметил меня. Сердце силь-

но билось. Я любил их обоих, и Сельви, и Панайотиса, и чувствовал какую-то сладкую горечь оттого, что у них будет и даже уже есть то, чего, быть может, никогда не даст мне судьба — взаимная искренняя любовь!

Сельви шла рядом со своим отцом, бережно поддерживая его под руку. Я вспомнил, как в детстве увидел их в первый раз. Тогда и она была ребенком, чудесной девочкой. А теперь стала совсем взрослой, юной и цветущей, и что-то потаенное появилось, чувствовалось в ней. Они приблизились ко мне.

— Ну, вот он! — дед указал на меня набалдашником своей трости.

Мы с Сельви молчали, не могли говорить. Мысли мои мешались. Я не понимал — быть может, я все еще люблю ее, люблю не как сестру? Я машинально взглянул на трость деда. Набалдашник представлял собой голову крылатого льва — то есть гривастую голову и крылья.

— Очень красиво, — я указал на набалдашник.

Сельви посмотрела на меня своим прежним серьезным взглядом; мне показалось, что она благодарит меня за то, что я оттягиваю разговор. Если бы она знала, о чем я хочу сказать ей!

— Эту палку и еще другие подарки прислал мне мой старший сын из столицы, из Брусы! — похвастался дед. — Это поднес ему один лекарь из франкского города Венеции, этот лекарь решил обратиться в правую веру и служить султану!

Боже! Где-то там, за стенами этого сада, этого нашего маленького мира, люди жили честолюбивыми стремлениями, добивались почестей и славы, а здесь я пытался устроить счастье двух влюбленных. Здесь дышала пышная зелень листьев, и розы благоухали нежно и сильно.

Дед опустил ся на скамью. Сельви помогала ему, поддерживая его за локоть.

— Ступайте! — дед махнул на нас рукой. — Походите! Поговорите! В это время сюда никто не заглядывает.

Мы послушно, как маленькие дети, отошли от беседки.

— Ты не сердись на меня? — спросил я, когда мы вдвоём намолчались.

— Нет, — ответила Сельви своим прежним, глубоким и серьезным голосом и добавила: — Теперь уже нет.

Я подумал, что «теперь» — это после того, как она увидела Панайотиса, полюбила его, познала другую любовь, не то детское чувство привязанности, которое мы питали друг к другу несколько лет тому назад.

— Я люблю тебя, как сестру, и хочу, чтобы ты об этом знала!

— Я знаю, — она склонила голову, я увидел нежную светлую ниточку пробора на шелковистых темно-каштановых волосах.

— Я хочу многое открыть тебе. Я буду с тобой откровенным и тебя прошу об откровенности. Слушай меня спокойно и ничего не бойся! Скажи мне правду, ты помнишь ту поездку за город, когда вы разбили шатер? Помнишь?

Поколебавшись миг, она снова склонила голову.

— И монастырь помнишь, ведь помнишь?

Новый кивок.

— И юношу с флейтой? Ведь ты его помнишь?

Панайотис не говорил мне, был ли он тогда с флейтой, но мне почему-то казалось, что был.

Она снова кивнула и стояла, не поднимая головы.

— Не тревожься, Сельви, — ласково сказал я. — Этот юноша — мой друг! Он любит тебя! Ты хотела бы увидеть его и говорить с ним?

— О Чамил! — она снова прижала ладони к груди.

— Жди нас здесь через два дня!

— Так долго! — невольно воскликнула она.

Я не мог не улыбнуться. Я уже снисходительно, как взрослый, относился к любовной горячности этой юной девушки.

— Да, через два дня. Они быстро пролетят. Ты не побоишься выйти в полночь и открыть вон ту дверцу? Сумеешь? Тебе не будет страшно?

— Нет, нет! Страшно? Мне будет радостно!

— Тогда так и сделай. И жди нас.

Мы вернулись к деду.

— Что? Наговорились? — спросил он. — А Сельви повеселела. Приходи еще, Чамил! Жаль, что я не могу оставить тебя обедать. Но, увы, приходится считаться кое с кем! — он зажмурил один глаз и подмигнул нам. Мы с Сельви весело рассмеялись.

Правду говоря, я немного тревожился. Вдруг Сельви испугается ночью в саду? Вдруг увидит свой призрак музыканта? И от потрясения болезнь вернется с новой силой. Я вспомнил, как Панайотис мне рассказал об этих странных расспросах о Сельви и ее семье. И где? В доме продажной женщины! А вдруг и в самом деле какой-нибудь развратник собирается похитить Сельви? Ночью она выйдет в сад совсем одна, откроет дверь, ведущую на улицу!.. Но все же я решил, что бояться нечего. Мы с Панайотисом придем раньше полуночи и будем ждать у двери. Только и всего!

Семь дней завершились. После занятий в монастыре мы с Панайотисом вышли в лес.

— Семь дней прошли, — сказал мой друг.

— Что ты решил?

— Я хочу увидеть ее!

Я и не ожидал иного ответа.

— Что ж, тогда... — и я рассказал ему мой простой уговор с Сельви. — Она будет ждать нас!

Он схватил меня за руку, горячо пожал, и вдруг повернулся и помчался обратно в монастырь. Я не стал дожидаться его возвращения. Я понял, что ему надо побыть в одиночестве.

В назначенную ночь мы подошли к дверце. На этот раз, конечно, Панайотис не отпрашивался у отца Анастасиоса. Мы немного подождали. Было еще рано. Затем я все же осторожно налег на дверцу плечом. Она была открыта! Страшные домыслы полезли мне в голову и, должно быть, отразились в испуганном выражении моего лица.

— Что-то не так? Что-то случилось? — Панайотис тоже встревожился.

— Нет. Все, как уговорено. Только дверь отворена немного раньше, чем надо было. Войдем.

Мы вошли в сад. «Неужели случилось несчастье? — думал я. — Неужели Сельви похищена? По моей вине! Что делать?»

«Прежде всего — не бить тревогу раньше времени!» — откликнулся внутренний голос.

Мы медленно шли по дорожке ухоженного сада. И вскоре — что за радость! — увидели Сельви. Она стояла возле беседки, у розового благоухающего куста. Значит, это она в нетерпении открыла дверь раньше времени и выглядывала на улицу, забыв всякий страх! Быть может, любовь излечит ее от ее недуга? Как мне хотелось этого!

Мы приблизились к Сельви. Она стояла, прижав ладони к груди. Должно быть, от волнения у нее учащенно билось сердце.

— Это мой друг Панайотис, — сказал я. — Он хочет говорить с тобой, Сельви...

При свете луны я видел, что оба они принарядились, а Панайотис даже надушился розовой водой. Они стояли друг против друга, два темных силуэта на смутном фоне лунной ночи, и уже, казалось, готовы были протянуть руки навстречу друг другу.

— Но... — я все же нашел в себе силы говорить дальше. — Не сердитесь на меня, но я не могу вам позволить говорить наедине! Сельви — дочь моего деда, родная сестра моей матери. Я должен беречь Сельви, хотя бы ради них. Но я берегу ее и ради нее самой.

Влюбленные слушали, обернувшись ко мне, лица их смутно белели в светлой темноте лунной ночи. Они молча склонили головы в знак покорности. И снова мне почудилось, что я намного старше их.

Я отошел и стоял немного в стороне.

Они стояли друг против друга.

— Вы узнали меня? — тихо спросил Панайотис.

— Да, — прозвучал ее тихий серьезный ответ.

Молчание. Затем Панайотис спросил:

— Видели ли вы когда-нибудь иконы?

— Я видела.

— Я изобразил вас на иконе и сделал с нее несколько копий. Одну продал, другие отдал людям, не взяв денег, потому что грех мне торговать вашим изображением. Теперь люди молятся на вас.

— Я не достойна этого, — голос ее звучал по-прежнему тихо и серьезно, надрывая мне сердце своей беззащитностью.

— Вы — любимы!

Тишина.

Они молча стояли друг против друга. Затем обернули ко мне молящие кроткие лица.

Я кивнул.

Они подошли к скамье в беседке. Шли, смиренно опустив руки, и словно бы тянулись друг к другу пальцами опущенных рук.

Сели на скамью, рядом, не касаясь друг друга. Молча смотрели друг на друга, повернув друг к другу светлые лица. Я стоял поодаль, тоже молча. Воздух начал светлеть. Близился рассвет.

— Пора, — я тихо подошел к ним.

Они подняли на меня глаза.

Я чувствовал себя жестоким, но я должен был это сказать.

— Я надеюсь на вашу честность, — сказал я. — Я знаю, что вы не будете видеться наедине, не обманете меня. Но если хотите, вы увидите уже завтра в такое же время. При мне, как сегодня.

Они склонили счастливые лица.

Когда мы с Панайотисом шли по глухому переулку, мой друг все еще не произносил ни слова, лишь изредка брал меня за руку и признательно пожимал. Я чувствовал, что ему радостно касаться моей руки, потому что я родственник Сельви.

Теперь они виделись почти каждую ночь. Панайотис показывал Сельви ее изображение на иконе, приносил и другие иконы своей работы. Они говорили мало. И спрашивали друг о друге такое, что мне никогда не было нужно. Например, Сельви спросила, как называла Панайотиса в детстве его мать. Оказалось — Панко. Сельви тоже теперь иногда звала его так.

Я получал огромное наслаждение, наблюдая их любовь, слушая простые, но исполненные глубины слова и фразы, произносимые ими. Иной раз я спрашивал себя, не кроется

ли в этом моем наслаждении некая извращенность. Но, подумав, отвергал такое предположение. Я был уверен, что они не пытаются видиться без меня. И я действительно не мог позволить никакому мужчине, даже моему другу, а тем паче гяуру, видиться наедине с моей родственницей. Это значило бы запятнать позором нашу семью.

Наконец Панайотис спросил меня прямо, могу ли я содействовать его браку с Сельви.

— Да, — ответил я, не колеблясь. — Я все для тебя сделаю. Я даже готов помочь тебе увезти Сельви, но я ставлю два условия, и ты не должен обижаться на мою прямоту.

Панайотис нетерпеливо повел рукой.

— Условия эти таковы, — продолжил я. — Первое — этот брак будет законным браком, а не сожителем. Грех и произносить мне такое слово, когда речь идет о моей родственнице. И второе условие — ты перейдешь в правую веру. Пойми, я не принуждаю тебя! Ты можешь выбрать. Ты свободен. Но супругом Сельви ты никогда не можешь быть, если останешься неверным. Я не убеждаю тебя. Это ни к чему. И ты не проси, не уговаривай, я останусь тверд. Ты свободен и можешь выбирать.

Панайотис молчал, сплетая пальцы рук. Наконец заговорил.

— Я — мужчина, как и ты, — глухо произнес он. — Я не могу менять веру, — он замолчал, должно быть, ожидая, что я все же начну убеждать его, уговаривать, но и я не произносил ни слова. Тогда он заговорил снова.

— Мой отец служил османам, не меняя веры!

— Но ведь он не просил руки дочери султана, — я улыбнулся. — Я вижу, Панайотис, тебе тяжело. Я и сам не знаю, как повел бы себя, очутившись на твоём месте. Ты сам должен все взвесить, что тебе нужнее и дороже — твоя вера или твоя любовь.

— Отец Анастасиос сменил римскую веру на греческую, но все же он остался христианином, — задумчиво, как бы рассуждая с самим собой, произнес мой друг. — Чамил! — он заговорил моляще и порывисто. — Сельви любит меня! Что станет с нею, если ты не позволишь нам соединить наши судьбы? Выдержит ли ее рассудок?

— Ты призываешь меня уступить тебе ради Сельви, а сам ты ничем не хочешь поступиться ради нее! Еще раз прошу, не сердись, не надо этой торговли. Подумай и решай. Чем скорее ты решишь, тем лучше! Я не хочу, чтобы ты тянул время, обманывал меня и Сельви.

— Позволь мне сегодня ночью увидеть ее!

— Я не должен этого делать, но я уступаю. Сегодня ты увидишь ее. После этого — выбирай сам!

Ночью мы, как обычно, пришли в сад. Мы уговорились ничего не говорить Сельви — это было справедливо — ведь выбор предстоял не ей, а Панайотису.

Влюбленные снова, как прежде, сидели на скамье, молча глядели друг на друга, говорили обычные слова. Затем, как обычно, расстались.

Сельви думала, что мы придем и в следующую ночь.

Когда мы с Панайотисом шли по переулку, я собирался напомнить ему о необходимости выбора. Я подумал о том, что он может нарочно тянуть время, встречаться с Сельви, она будет жить надеждами. Но тотчас я огорчился: неужели я отдаляюсь от своего друга, становлюсь подозрительным и злым? Нет, следует говорить с ним по-доброму.

И я решил не напоминать, а просто сказал:

— Если ты сделаешь свой выбор, дай мне знать.

— Да,— ответил он грустно.

На следующее утро он пришел к нам в дом. Меня разбудил слуга и сказал о приходе Панайотиса. Я удивился.

— Как ты добрался за ночь из монастыря так скоро?

— Я ночевал в пригороде у одного знакомого торговца.

— Присаживайся.

Я приказал принести еду. Но Панайотис не стал есть. Он выглядел встревоженным.

— Ночью у Сельви был приступ,— начал он.— Она снова видела этот самый призрак музыканта, кричала...— голос его задрожал.

Мне показалось, что он как бы обвиняет меня, я почувствовал раздражение.

— Откуда тебе известно? — спросил я.

— Я знаком с мальчиком, который всегда ходит с их поваром на рынок за провизией. Он мне сказал,— Панайотис опустил голову.

— Ты свел знакомство со слугой из этого дома и ничего не говорил мне!

— Я не считал, что это так уж важно,— он смутился.

— И потому скрывал от меня! Панайотис! Я не хочу, чтобы мы становились врагами, пойми. Глядя на тебя, я все больше убеждаюсь в том, что любовь — несправедливое, дурное чувство, толкающее людей на дурные поступки, на ложь и преступления. Мир не должен строиться на началах любви, ибо она в основе своей несправедлива! Я подумал об этом еще тогда, в первый раз, в саду, когда ты сказал Сельви, что сделал из ее портрета икону, идола, которому люди будут молиться. Ты считаешь это естественным и даже красивым, чтобы люди молились изображению женщины, почитали ее не за какие-то благородные свойства ума и души, но просто потому, что твое капризное воображение сделало ее объектом твоей страсти.

— Но разве не почитаете вы семью Мохаммеда?

— Семью Мохаммеда почитают за то, что этих людей избрал Бог, возложив на их плечи тяжкий груз богоизбранности. Человеческая любовь здесь ни при чем!

— А в Послании апостола Павла к коринфянам говорится о том, что нет ни веры, ни добрых дел, если нет любви!

— Я не хочу обсуждать послания неверных! Если в них пророки гяуров призывают людей любить друг друга человеческой любовью, преисполненной дурных страстей и несправедливости, тем хуже для них!

— Что с нами случилось, Чамил? Мы уже почти враги. Как мне горько! Как тяжело!

— Не считай себя виновным. Я виноват. Я содействовал твоей встрече с Сельви. Я не должен был делать этого. Но еще не поздно. Останемся друзьями. Ты больше не будешь видеться с Сельви, она забудет тебя!

— Я люблю ее! И я боюсь, что мы все — ни ты, ни она, ни я — ничего не сможем забыть! — в голосе его послышались слезы.

Я тоже заплакал, не пряча слез.

— Мы оба предали ее, — говорил я. — Мы оба ничем не хотим пожертвовать ради нее!

— Дай мне еще подумать, — глухим и срывающимся голосом попросил он.

— Хорошо, — я отвернул лицо.

— Я все думаю, — тихо продолжил Панайотис, — что означает этот призрак музыканта?

— Болезнь, — устало произнес я.

— Нет, не это... Но вдруг это всего лишь прошлое, которое еще вернется, возродится...

— Если бы это было так, он, вероятно, был бы одет в эллинскую одежду, — заметил я.

Панайотис несколько смутился.

— И еще, — я смотрел на него, — что означает это возрождение прошлого? Не есть ли это всего лишь пустые слова? Существуют смерть и рождение. Но как может родиться вновь то, что уже умерло! Как может нарушиться поступательное течение времени?

— Мы знаем лишь одно время, а кто ведает замыслы Бога о времени! И разве ты не веришь в возможность воскресения?

— Воскресение мертвого тела не есть новое рождение!

— Завтра я скажу тебе мое решение. Ты ведь приедешь к отцу Анастасиосу?

— Да, — ответил я, — приеду ради тебя и Сельви.

Вскоре после ухода Панайотиса слуга сказал мне, что вечером все званы к деду Абдурахману, приехал из столицы его старший сын.

Вечером я сидел вместе с другими гостями у деда. Тот был весел, радовался тому, что сын его в милости у султана, вспоминал прошлое. Подобно многим старикам, он вцеплялся в нить беседы, не желая отдавать другим возможность говорить. Но рассказы его были трогательны и все интересны. Я слушал и думал о том, что, должно быть, и эти рассказы неправдивы, и все в мире неправдиво, и можно искать правду лишь в собственной душе и только от самого себя можно чего-то требовать.

Дед вспоминал основателя державы Османа Гази, каким он был благочестивым, добрым, заботился о вдовах, сиротах и прочих бедняках, устраивал для них трапезы. Он оставил своему сыну Орхану короткое завещание — дед торжественно поднял указательный палец и заговорил нараспев:

— Если будут искушать тебя непокорством перед Всевышним, не поддавайся! Не совершай ничего, что было бы противно заповедям Божиим! Испрашивай совета ученых богословов, познавших священный закон. Прежде чем поступать как бы то ни было, обдумай хорошенько свои поступки. Будь добр с теми, которые покорны тебе. Не скупись на милосердие и благодать, пусть служат тебе не из страха, но ради твоей доброты!

Мне стало грустно. Это были правдивые и мудрые слова, но, быть может, и они были всего лишь словами, не оказывающими влияния на действительные поступки людей? Прежде меня всегда трогало то, что после смерти основателя великой державы остались пара сапог, походная сумка и кафтан с вышитым на спине полумесяцем, сшит был этот воинский кафтан из прочного сурового полотна, идущего на паруса. Теперь же я вслушивался в слова деда и во всем сомневался. Я ощущал пустоту в душе, а человеку нужно что-то такое, чему бы он мог поклоняться без сомнений и колебаний.

Внезапно из покоев госпожи Зейнаб, где сидели женщины, послышались крики и плач. В саду поднялась суета. Все мы встревожились. Я тотчас подумал, не случилось ли чего с Сельви.

Дальше помню суматоху, шум. Привели плачущего мальчишку, того самого слугу повара, с которым Панайотис свел знакомство. Из носа у мальчика текла кровь, его уже били. Оказалось, что случайно застали у той самой дверцы в сад. Он признался, что проводил Сельви до площади, где ее ожидал Панайотис верхом на коне. Панайотис увез ее. Куда они направились — мальчик не знал. Он сказал, что Сельви ушла по своей доброй воле. Госпожа Зейнаб хватилась, что долго не видит дочери, кинулась искать Сельви, слуги побежали в сад, там и схватили мальчишку, когда он возвращался домой.

Услышав о судьбе дочери, госпожа Зейнаб закричала страшным, диким и пронзительным криком, перешедшим в

какой-то вой, словно животное, потерявшее своего детеныша. Вдруг дед Абдурахман вскочил. Движения его сделались быстрыми, хищными и страшными. Глаза сузились от ярости. Никто не успел помешать ему. Он бросился вперед, схватил несчастного мальчишку за горло и с такой силой ударил головой о стену, что брызнул мозг. Я впервые видел такое. На миг у меня помутилось в глазах. Я увидел мертвое тело, тотчас же как-то странно скорчившееся, худое тельце подростка, увидел кровь, какую-то странную белесую слизь, вещество мозга. Удар был настолько силен, что голова раскололась надвое. И это сделал мой дед, кроткий и смешливый, побаивающийся своей жены. Потому что в нем жил и другой человек, тот самый, что взбирался отважно на стены осажденных крепостей и мог по нескольку дней не слезать с седла.

Значит, вот она, любовь, пресловутая любовь во всей своей красе! Вот они, последствия чудовищных пристрастных чувств. Вот она, жертва любви, несчастный слуга, случайно, ради нескольких медяков, замешавшийся во все это! Что же делать мне?

— Я виноват во всем! — я говорил громко, почти кричал. Я рассказал все. Дед лежал ничком на полу, прикрыв голову руками, жалкий, слабый, он своей худобой и скорченностью странно напоминал подростка, которого только что убил. Брат, отец, старший сын деда Алаэддин, смотрели на меня злобно, презрительно, сурово. Несколько человек удерживали бившуюся в их руках госпожу Зейнаб, она рвалась ко мне, растопыривая пальцы, хотела своими длинными ухоженными ногтями, окрашенными в красное, выцарапать мне глаза. Я стоял неподвижно. Тихо и с достоинством подошла моя мать, закутанная в покрывало, обняла меня за плечи и увела в пустую комнату. Я опустил на маленькую скамеечку и закрыл глаза.

Я чувствовал себя запятнанным, оплеванным, усталым, я не понимал, зачем жить, во что верить в этой жизни. Я тупо думал о том, как уйти из этой жизни, уйти без боли, исчезнуть, не оставив после себя отвратительного трупа.

— Коней! Седлайте коней! — раздались мужские голоса. Особенно выделялся громкий и яростный голос Хасана, моего старшего брата.

Вот уже застучали копыта по мостовой. Должно быть, люди в домах просыпались и гадали, что же случилось. Женщины пугались, маленькие дети плакали.

— Любовь! — с горькой иронией думал я. — Все это наделала любовь!

Я вспомнил полусказочную историю византийского полководца Василиса Дигениса Акрита, ради того, чтобы соединиться со своей возлюбленной царевной, он перебил целое

войско; а когда умирал, задушил возлюбленную, чтобы она никому не досталась, ни с кем не могла соединиться после его смерти.

— Любовь! Худшее, страшнейшее из искушений дьявола! А я-то воображал, будто творю добро! «Любовь» и «добро» — это несовместимые понятия. Почему познание дается такой ценой, ценой унижений, боли и страха, почему?

В окне посветлело. Громко защелкала перепелка. Утренний холодок обнял меня.

Последующие дни прошли в суете и многословии, в унижении и позоре.

В ту ночь погоня сначала разделилась. Одни отправились в монастырь, другие — в родное селение Панайотиса — Харман Кая. До этого селения было довольно далеко, и они вернулись лишь на другой день. Ими как раз предводительствовал Хасан. Он был в ярости. Дом Панайотиса и еще несколько домов были сожжены и разграблены, погибли несколько жителей селения. Но ни Панайотиса, ни Сельви в селении не оказалось. Другие участники погони поехали в монастырь архангела Михаила. Хорошо, что разъяренный Хасан не отправился с ними, он мог бы поджечь монастырь и тогда ему пришлось бы предстать перед судом. Начался стук в ворота монастыря. Крик. Настоятель грозился, что пожалуется султану. Наши кричали, требовали, чтобы им выдали Панайотиса. Сначала их уверяли, что его в монастыре нет. Наши не верили и совсем рассвирепели. Хотели обыскать монастырь. Монахи противились. Наконец вышел отец Анастасиос. Он признался, что Панайотис здесь и сейчас выйдет, и просил не убивать юношу. Ему ответили, что Панайотис будет предан суду. Вскоре вышел Панайотис. Ему связали руки. Он не сопротивлялся, выглядел совершенно подавленным. Отец Анастасиос проводил Алаэddина, старшего брата Сельви, в свою келью. Там на деревянной скамье сидела несчастная девочка. Отец Анастасиос рассказал, что Панайотис привез Сельви, провел ее в монастырь через заднюю дверь, тихо постучался в келью отца Анастасиоса, умолял о помощи. Панайотис уверял, что девушка согласна принять крещение, просил о венчании. Отец Анастасиос спросил девушку, согласна ли она принять крещение и обвенчаться с Панайотисом. Она кивнула. Но отец Анастасиос понял, что это девушка из богатой и знатной семьи, и решил потянуть время, чтобы не навлечь на монастырь беду своим необдуманным согласием. Он почтительно попросил Сельви подождать, увел Панайотиса за дверь, где принялся убеждать юношу отказаться от своего намерения; говорил ему, что похищение девушки, даже с ее согласия,— дурной

поступок. Панайотис продолжал умолять, говорил о своей любви. Отец Анастасиос не отказывал ему прямо, тянул время, потому что боялся, вдруг Панайотис увезет девушку неизвестно куда. Так рассказывал отец Анастасиос. Тем временем, прибыли крытые носилки для Сельви. Печальная процессия двинулась в город. Панайотиса везли со связанными руками и с непокрытой головой. Глаза его воспалились до красноты, небритое лицо потемнело. Он сгорбился в седле и смотрел прямо перед собой. Его стерегли наши всадники.

Отец Анастасиос и Панайотис клялись, что Сельви чиста, что Панайотис не касался ее. Моя мать рассказывала, что и сама Сельви подтвердила это. Она отчаянно плакала и все повторяла:

— Зачем, зачем он не захотел стать моим мужем? Зачем он ждал этого крещения, этого венчания? Разве нужно было все это? Если бы он сразу, сразу стал моим мужем, нас уже никто не мог бы разлучить! Никто!

Госпожа Зейнаб вдвоем с опытной повитухой тщательно осмотрела дочь и убедилась в том, что Сельви действительно не лишилась девственности. Конечно, это обстоятельство немного смягчало вину Панайотиса. Я тоже почувствовал некоторое облегчение, узнав об этом, ведь все же Панайотис был моим другом, я любил его.

Сельви я не видел, теперь ее стерегли и берегли денно и ночью, не спуская с нее глаз. Панайотиса в ожидании суда заключили в городскую тюрьму. Не удалось мне повидаться с отцом Анастасиосом. Его судили церковным судом и приговорили к ссылке в отдаленный горный монастырь. Помимо всего прочего, ему вменили в вину и то, что в келье он хранил мирские порочные книги. Говорили, что старик отправился в ссылку спокойно и с достоинством. Через одного из монахов он передал мне устно (передать письмо монах отказался) много добрых пожеланий, а также одежду Панайотиса, его флейту и тамбур, подаренный мною Панайотису.

Перед судом я добился свидания с Панайотисом. Его привели ко мне в полутемную большую комнату. Руки его по-прежнему были связаны сзади, одежда порвалась и была запачкана, глаза ввалились, лицо похудевшее, бледное с каким-то болезненно сосредоточенным, остановившимся взглядом. Когда Панайотис увидел меня, его выпуклые губы, сильно потрескавшиеся, слабо дрогнули в детской его обычной улыбке. Лицо сильно обросло и это сильнее оттеняло бледность. Я попросил стражника, который сопровождал моего друга, отойти в сторону и позволить мне поговорить с Панайотисом. В комнате не было ни одной скамьи. Мы молча остановились друг против друга.

— Как ты? — спросил я.

Должно быть, не самый умный вопрос. Но надо было с чего-то начать.

— Спасибо,— голос его был какой-то ослабевший, бесцветный.

Он помолчал и добавил:

— Руки только больно. Видишь, связаны сзади и не развязывают мне их.

— Таков порядок,— сказал я.— Но скоро суд, и тогда твоя судьба решится. Потерпи.

Он молчал и умоляюще смотрел на меня. Я догадался, что он хочет спросить о Сельви.

— Она здорова,— мне не хотелось произносить ее имя. Мне казалось, что это словно бы сделает меня причастным к дурному поступку Панайотиса. А впрочем, я ведь и так был причастен ко всему этому, запятнан, испытывал неприятные чувства стыда и вины.

Панайотис ничего не произнес в ответ. Он горбился. Видно, ему было тяжело стоять. Он переступал с ноги на ногу, переносил тяжесть измученного тела то на одну ногу, то на другую. Вдруг он по-детски потянул носом и всхлипнул. У меня сердце задрожало от жалости. Всхлипывая и шмыгая носом, он заговорил почти бессвязно:

— Отец Анастасиос... он... она... Он сказал, что я, что мы... должны... должен отказаться, потому что это навлечет беду на многих людей... А я... она... Надо было увезти ее далеко! Она... Она просила меня: «Панко, увези меня далеко! Уедем далеко!» Панко!..— слезы не дали ему договорить.

— Отец Анастасиос был прав,— сказал я тихо.— Жаль, что ты не послушался его. Теперь он сослан в отдаленный монастырь. Эх, Панайотис, если бы ты видел, как убивались несчастные родители этой девушки, ты бы понял, что есть многое на свете, что выше любви.

— Нет!— голос его зазвучал высоко и отчаянно.— Нет на свете ничего выше любви! Нет!

Я подошел ближе, погладил его по выступающему под рваной рубашкой исхудалому плечу и молча ушел.

Городской суд приговорил Панайотиса к пожизненному тюремному заключению в тюрьме в Брусе. Его должны были увезти из нашего города. Увезти в город моего детства. Мне позволили снова увидеться с ним. На этот раз его руки и ноги были закованы в цепи, но это все же не так больно, как связанные руки.

— Ну, Панко,— я старался говорить ласково, чтобы приободрить его.— Все позади, твоя судьба решилась. Это все равно лучше, чем неопределенность.

Он кивнул.

— А знаешь,— продолжал я,— ты ведь едешь в мой родной город!

— Я знаю,— он попытался улыбнуться, но вышла только дрожь губ.

— Ты увидишь мою родину — прекрасный Анадол. Могила Омира — помнишь? Я узнал, что друзья или родные заключенного могут присылать ему одежду, еду. Я всегда буду делать это! Возможно, я переберусь в Брусу, в столицу, и тогда буду ближе к тебе.

На этот раз ему все же удалось улыбнуться.

— А пока,— я протянул ему большой сверток,— мне позволили передать тебе вот это. Здесь твоя одежда, флейта, тамбур, съестные припасы — немного, на дорогу, и Евангелие, пусть твоя вера утешит тебя. Будь терпелив и помни о том, что у тебя есть друг — я.

— Благодарю тебя за все. И я навсегда останусь твоим другом. Прощай!

— Не будем прощаться навеки, будем надеяться на новую встречу.

Но этот наш короткий разговор оказался последним.

На следующий день Панайотиса увезли.

После всех тревог и унижений можно было обдумать свою дальнейшую судьбу. Отец хлопотал о том, чтобы Хасан и я могли вернуться в Брусу и попасть ко двору. Сам он уже не думал о возвращении, он отяжелел, постарел и предпочитал спокойную жизнь провинции столичной суетности.

Теперь я стал больше времени проводить с братом. Я заметил, каким он стал мрачным, суровым. Я ощущал в нем и жестокость. Многих удивило то, с какой яростью он набросился на жителей в Харман Кая — родном селении Панайотиса. Однажды мне понадобилось о чем-то спросить его или попросить, уже не помню. Я постучал в дверь его комнаты. Он не откликнулся. Тогда я приоткрыл дверь. И был поражен. В стенной беленой нише я увидел изображение Сельви — икону Панайотиса!

6. Хасан

Разумеется, я ни на миг не усомнился в том, что мой брат не сделался неверным. Я просто о многом вспомнил, многое сопоставил, и, соответственно, многое понял. А после я просто многое узнал — от Хасана, от моей матери, а кое-что и сам домыслил.

Увидев изображение Сельви, тогда, давно, когда отец Анастасиос показал нам в монастыре икону Панайотиса, мой

брат влюбился в девушку. Он понял, что это портрет, и решил узнать, кто же эта девушка. Разумеется, Панайотис мог знать, кто она такая. Но спрашивать открыто Хасан, конечно же, не хотел. Он устроил всю эту ловушку со своим доверенным слугой, продажной гречанкой и ее девушками, и таким образом кое-что узнал о Сельви. Он понял, что влюбился в дочь моего деда Абдурахмана. Он поделился со своей матерью и попросил ее посмотреть на девушку и подготовить почву для сватовства. Он слышал о болезни Сельви, но был уверен, что после замужества все ее болезненные припадки и видения пройдут. Он так и сказал матери в ответ на ее возражения, она-то не очень хотела видеть Сельви своей невесткой. Но ради единственного сына, чтобы не огорчать и не раздражать его, все же отправилась в дом моего деда. Сватать Сельви Пашша, впрочем, не стала, но внимательно понаблюдала за ней и за ее матерью. После этого Пашша решила, что девушка больна серьезно, а кроме того, избалована, изнежена. Но опять же, чтобы не огорчать сына, Пашша сказала, что, по ее мнению Сельви еще рано замуж, надо чуть выждать. И тут нетерпеливый Хасан вдруг проявил какое-то мрачное терпение и упорство. И мать его поняла, что он от своего решения не отступится, но не знала, что делать.

Хасану было уже за тридцать. Его мужская жизнь началась довольно поздно, лет в семнадцать-восемнадцать, с двух черных рабынь, которых ему подарила его мать, когда заметила, что сын вошел в возраст любви. Несколько раз Хасана женили на девушках из хороших семей, но характер его с возрастом делался все тяжелее, и жены покидали его, требовали развода, забирали свое приданое и уходили. Таким образом, Хасан довольствовался рабынями, которых сам покупал, да притонами в греческом квартале. На невольничьем рынке он выбирал покладистых полнотелых негритянок, быстро пресыщался и дарил их приятелям.

Казалось, главным в жизни Хасана было совершенствование воинского искусства. Спустя какое-то время он выдвинулся на поле боя при взятии крепости Бига и был назначен командующим айдосским гарнизоном. Ему приходилось подолгу не бывать дома. То было время походов султана Мурада.

Но Хасан не забывал Сельви. После разъярившей его истории с Панайотисом он решил, что пришло время сватовства. Он рассуждал так: на честь девушки легло пятно, ее родители должны быть благодарны человеку, который пожелает взять ее в жены; к тому же Хасан — не пустое место, но лицо значительное. И вот он отправил в дом моего деда опытную сваху. Но Абдурахман Гази и госпожа Зейнаб решительно и твердо отказали. Они сказали, что Сельви больна и что они

не желают, чтобы недуг их дочери отравлял жизнь такому человеку, как Хасан, которого они уважают за храбрость и успехи в воинском искусстве.

Вскоре Хасан снова оставил город, он должен был принять участие в походе на Эдирне.

7. Первый брак Сельви — Юсуф

Я посылал Панайотису в брусскую тюрьму съестные припасы и одежду. Посылать письма заключенным запрещалось. Сельви я так и не видел больше. Но моя мать рассказывала, что она здорова, то есть единственное проявление ее болезни — ночные припадки, когда она видит все тот же призрак музыканта, кричит, плачет. Впрочем, эти припадки случаются не так уж часто.

Я готовился к отъезду в Брусу. Отец уже добился того, чтобы меня и Хасана призвали ко двору. Он предложил мне стать софты — изучающим богословие в медресе. Но я отказался, сказав, что мечтаю быть посольским переводчиком. Отец не стал спорить.

В это время мы потеряли деда Абдуррахмана. После неудачного побега дочери, опозорившего ее, он все хворал. Умер он на рассвете, а до этого целую неделю уже не вставал. Утром пришли к нему и увидели его мертвым. Он умер тихо, во сне. Старого воина хоронили торжественно. Когда по городу быстрым шагом, как положено, несли носилки с его телом, а следом шли в синих траурных халатах его зятя, сыновья, внуки; многие жители Айдоса жалели о нем. Он не был злым человеком.

Сельви потеряла отца, нежно любившего ее. Моя мать рассказывала, что после ее возвращения он запретил госпоже Зейнаб напоминать дочери о побеге и сам не говорил об этом. Был всегда ласков с бедной девочкой. Если бы он прожил еще какое-то время, возможно, не произошло бы то, что произошло.

После смерти мужа госпожа Зейнаб повела совсем затворническую жизнь. Никого она не принимала, в гостях не бывала. Только моя мать навещала ее. Целыми днями Сельви и госпожа Зейнаб перебирали и перекладывали одежду, украшения, белье столовое и постельное, посуду. Эти занятия заполняли их жизнь — проветривание, стирка, чистка — все это, думаю, в состоянии заполнить бытие женщины до отказа.

Но госпожа Зейнаб была женщиной очень эгоистичной. В сущности, это однообразие тяготило ее. Ей хотелось перемен.

И, как женщина недалекого ума, она, недолго подумав, пришла к выводу, что ей необходимо выдать замуж дочь. Свадьба, зять, внуки — все это казалось ей очень интересным и занятным. Кроме того, в глубине ее души теплилось желание доказать соседкам и товаркам, что она сумеет удачно выдать Сельви замуж, несмотря на болезнь Сельви и несмотря на то, что еще была свежа в памяти горожан скандальная история побега с Панайотисом. Впрочем, с мыслями и планами удачного замужества дочери госпоже Зейнаб скоро пришлось расстаться. Все свахи, которых она приглашала, ясно дали ей понять, что мало кто захочет взять Сельви в жены.

Конечно, госпожа Зейнаб подумывала о Хасане. Но дед в присутствии свидетелей взял с жены клятву не выдавать дочь именно за Хасана. Дед считал, что это его долг перед моим отцом — не допустить брака Хасана с безумной Сельви. Нарушить эту клятву госпожа Зейнаб не смела.

Наконец одна из свах посватала Сельви за Юсуфа — сына покойного мевляны Махмуда.

Этот Юсуф жил вместе с матерью и незамужней горбатой сестрой. Женщины отличались благочестием. А что им еще оставалось? Мать Юсуфа была сухощавая, невысокого роста старушка, тонкие ее бесцветные губы всегда были как-то нарочито скорбно поджаты. Семья была среднего достатка.

И все бы ничего, но Юсуф не был особенно умен. И даже хуже того. В чем-то его можно было считать придурковатым, весьма странным. Высокий толстый чернобородый парень лет двадцати шести уже, он целые дни проводил за чтением богословских книг. Но ни пересказывать, что же там написано, ни толковать Коран он не мог. Начав говорить, он, не завершив одну фразу, начинал другую, и мог таким манером говорить довольно долго, и чем дальше, тем бессвязнее. Лицом он был неприятен — слишком круглое, одутловатое какое-то лицо, словно восковое, и вечно сальное. Ходил он странной походкой, не отрывая ног от пола, тяжело шаркая большими ступнями, упрятанными в стоптанные туфли. От него исходил тяжкий тошнотворный запах, какой часто исходит от людей, страдающих излишней полнотой.

Вот какому человеку госпожа Зейнаб собралась отдать свою единственную дочь. Наблюдая жизнь, я порою задавал себе вопрос, почему матери так стремятся выдать замуж дочерей? Думаю, ими движет некое порочно-изошренное мстительное желание, чтобы юные прелестные чистые существа как можно скорее уподобились им и были бы загрязнены родами, спаньем с мужчиной, женскими болезнями. Ведь те же матери зачастую всячески оттягивают женитьбу сыновей. Впрочем, в свое время и я выдал замуж четырех своих дочерей, и матери их очень этого хотели, и дочери мои счастливы в браке. Но,

должен признаться, я не питаю особой любви к женщинам. Однако все это уже не имеет отношения к истории Сельви.

Моя мать пыталась отговорить госпожу Зейнаб, но та настаивала. Как многие неумные люди, госпожа Зейнаб была упряма. Мать говорила о болезни Сельви, о том, что какие-то потрясения могут привести к обострению ее болезни. Но госпожа Зейнаб и слушать не желала. Нет, нет, нет! Сельви, мол, почти совсем поправилась и только иногда видит этот ужасный призрак музыканта.

— Но ведь это значит, что она все еще больна! — печалилась моя мать.

Но госпожа Зейнаб закусил удила.

То обстоятельство, что и сама Сельви вовсе не желает выходить замуж, особенно за Юсуфа, отнюдь не смущало госпожу Зейнаб. Сельви плакала и кричала, а ее мать то пыталась ласково уговаривать девушку, то принималась топтать ногами и бранить ее, даже угрожать.

Сельви теперь чаще видела призрак музыканта, плачем и криком будила всех в доме. Но неожиданно она перестала сопротивляться, успокоилась и, казалось, напряженно чего-то ждала. А то вдруг делалась веселой, смеялась, шутила.

Наступил день свадьбы. Сельви выглядела встревоженной. Прикрыв ее лицо плотным покрывалом, раскинув над ней нарядный балдахин, ее повели в находившийся неподалеку дом жениха. Были и музыканты и угощение. Госпожа Зейнаб успела обменяться колкостями с матерью Юсуфа.

Наконец молодые остались одни в спальне. Свадебный ужин продолжался. Играли музыканты. И вдруг всех потряс страшный вопль. Кинулись к дверям спальни. Крик уже прекратился, сменившись стоном. Это кричал и стонал мужчина. Постучали, затем отворили дверь. Сельви, без покрывала, но одетая, сжалась в углу. На постели стонал Юсуф. Бросились к нему на помощь и увидели, что на шее его вздулась багровая неровная полоса. Стало быть, кто-то пытался задушить его! Мать Юсуфа злобно смотрела на тихо плачущую Сельви.

— Кто это сделал? Кто? — спрашивали его.

Наконец он нашел силы для ответа.

— Призрак музыканта!

Сельви кивала, плача.

Оказалось, что, когда молодые остались одни, и Юсуф попытался обнять молодую жену, она вырвалась и заплакала. В тот же миг откуда-то из-за занавески-ширмы появился в смутном свете медного светильника призрак — юноша с тамбуром. Он бросился на Юсуфа и принялся его душить. Юсуф закричал. Услышав шаги бегущих на помощь, призрак исчез за ширмой.

Принялись выпрашивать у Юсуфа и Сельви, как выглядел призрак. Сельви ничего не отвечала, только всхлипывала, а Юсуф уверял, что это был не кто иной, как сам дьявол!

Но многие решили, что призрак существовал лишь в больном воображении бедняги Юсуфа, а пыталась задушить его сама Сельви. Над госпожой Зейнаб, соединившей двух безумцев, начали посмеиваться.

О первой брачной ночи нечего было и думать!

Сельви попросила свою мать забрать ее из этого дома. Но госпожа Зейнаб рассердилась и зашипела на дочь, призывая ее вести себя прилично, как положено.

Наконец сам Юсуф попросил увести Сельви. Ее, плачущую, увели в другую комнату.

А наутро мать Юсуфа прислала служанку к госпоже Зейнаб с настоятельной просьбой, чтобы та забрала свою дочь. Юсуф заявил, что дает Сельви развод.

— Я не желаю, чтобы меня душили по ночам!

И Сельви, опозоренная вновь, вернулась в родной дом.

О ней сплетничал весь город. В бане, в торговых рядах, в женских покоях богатых домов перемывали косточки бедной Сельви и ее матери.

Но сама Сельви, кажется, не была огорчена. Вскоре к ней вернулось спокойное ровное настроение. Она была тиха и серьезна, иногда улыбалась своей милой улыбкой. Иной раз, ночью, ей снова являлся призрак музыканта, она вскрикивала, но уже не плакала, как прежде, привыкла, должно быть, к этому видению.

Когда все это случилось, Хасана не было в городе. Узнав о незадачливом браке и новом позоре Сельви, он, говорят, рассвирепел. О клятве, взятой дедом Абдуррахманом с госпожи Зейнаб, он уже знал. Да, характер брата сильно изменился по сравнению с юностью. Хасан делался все более мрачным, молчаливым и жестоким. У него даже пропало это прежнее его стремление высказывать свои мысли в любых обстоятельствах, не задумываясь о последствиях. Теперь он говорил мало, часто хмурил брови. В сущности, он был нетерпелив и раздражителен, но его раздражение и досада выплескивались в свирепости во время боевых действий. В Истанбуле его именем, говорят, пугали детей — «Вот придет Гази Хасан! (Воин Хасан)». Брат ни с кем не делился своими планами и надеждами, но любовь его к Сельви не проходила. И я чувствовал, что он продолжает надеяться. Но я не представлял себе, как он намеревается добиться своего. Поводов же для раздражения и мрачности, для свирепой ярости жизнь бедной Сельви подавала ему предостаточно.

8. Новое похищение Сельви — Фазыл

Это случилось вскоре после незадачливой свадьбы Сельви. В городе заговорили о шайке разбойников, орудовавшей на дороге близ леса, ведущей к монастырю архангела Михаила. Случилось несколько нападений на проезжавших торговцев. Затем крупные кражи начались и в самом городе. В бане мать узнала о том, что у нескольких ее приятельниц из местных богатых семей похищены драгоценности. Горожане заволновались. Состоятельные люди стали нанимать стражу для охраны домов.

Тут-то все и случилось.

Бедняга Зейнаб, еще не так давно — властная госпожа, супруга прославленного воина, пользовавшаяся всеобщим, почетом и уважением, теперь утратила все прежнее. Она и сама чувствовала, что ее перестали принимать всерьез, теперь в ней видели предмет насмешек и издевательств, глупую мать сумасшедшей дочери. Уже считалось чуть ли не неприличным приглашать ее в гости, а тем более — самим бывать у нее. Она напрягала все силы, пытаясь вернуть прежнее отношение. Но ее разговоры и действия были неразумны, взбалмошны и ни к чему хорошему не приводили. В бане девушки и молодые женщины сторонились и ее и Сельви. Доверительные беседы смолкали, когда она и ее дочь приближались к щебечущей женской компании, располагавшейся, как обычно, в центре зала на тершене — мраморном возвышении, где можно было прогреться перед купанием. И после купания, когда женщины, раскрасневшиеся, похорошевшие, угощались соленьями и сладостями, госпожа Зейнаб и Сельви вынуждены были сидеть поодаль вместе со своими служанками. Только моя мать оставалась госпоже Зейнаб верным другом. И та, кажется, наконец оценила это ровное дружеское отношение. Значит, не совсем была глупа.

Хасан уже перебрался в Брусу. Но когда умерла его мать Пашша, он, конечно, приехал на похороны. Первая жена моего отца скончалась от разрыва сердца. Она происходила из бедной семьи. Мой отец взял ее в жены по страстной любви, за красоту и доброту. Я думал о странности человеческого восприятия. История первого брака моего отца всегда казалась мне какой-то ирреальной. Трудно было себе представить, что отец когда-то был молодым и влюбленным, а ни меня, ни моей матери не было в его жизни, и Пашша была молодой. В детстве я совершенно не представлял себе этого. Для меня существовала наша семья только в том виде, в каком я ее узнал, — спокойный внимательный отец, мама, Хасан, молчаливая Пашша, которая так красиво вышивала и угощала

меня сладким изюмом. На ее похоронах я вспомнил себя маленького. Как я изменился! Как утратил беспечность и светлый взгляд на мир. А сам мир? Нет, кажется он всегда оставался неизменным, непознаваемым, созданным и развившимся непонятно для какой цели. Это я менялся.

На похоронах Хасан был очень удручен. Я не говорил с ним, чтобы не досаждать ему. А после похорон он скоро уехал обратно в Брусу. Вскоре и мне предстояло покинуть Айдос.

Ужасное нелепое происшествие случилось ночью.

В ворота госпожи Зейнаб постучали. Старый садовник, исправлявший также обязанности привратника, стал спрашивать, кто там. Мужской голос отвечал, что это из столицы, по срочному делу, посланные Алаэddина, старшего сына покойного деда Абдуррахмана. Привратник начал уговаривать людей, стоявших за воротами (а он понял, что там не один человек), подождать до утра. Он говорил, что не может впустить их в дом ночью, и советовал пока поехать в гостиницу — хан — у рыночной площади, где принимают постояльцев в любое время. Но стоявшие за дверью не слушали и настойчиво требовали отпереть. Они уверяли, что дело срочное и чуть ли не касается жизни и смерти Алаэddина, они называли имена его домочадцев. Только потом уже, задним числом, у нас сообразили, что узнать эти имена и подробности жизни Алаэddина было совсем не трудно, он был в Брусе известным лицом.

В конце концов привратник сдался и открыл ворота. Дальше все происходило, как в сказке о разбойниках. Привратника связали и заткнули ему рот. Лица напавших были прикрыты черными платками, и он не мог разглядеть, кто эти люди. Они прошли через сад к дому. Кое-кто в доме уже успел проснуться, но никто еще не понял, что же происходит.

Главарь двинулся прямо в комнату Сельви (значит, он заранее разузнал, как устроен дом). Он вошел в незапертую комнату, имея, вероятно, целью похищение Сельви. Но что-то помешало ему. Тем временем проснулись окончательно слуги и служанки, госпожа Зейнаб. Кликнули на помощь людей из соседних домов.

У разбойников, судя по всему, имелся план действий, но план этот нарушился. Главарь должен был схватить Сельви. На улице ждали кони. Но главарь медлил, не выходил из комнаты девушки. Никакого шума оттуда не доносилось.

Разбойников окружили, взяли их коней. Явились городские стражники. Тут же нападавшие признались, что их главаря зовут Фазылом, он привел их сюда для того, чтобы похитить Сельви. До этого они совершали кражи в городе и в окрестностях города.

Госпожа Зейнаб кинулась в комнату дочери. Все остальные — за ней, и стражники.

Распахнули дверь.

Сельви, побледневшая и напряженная, стояла у окна. Она была одета в ночную одежду. На полу лежал главарь разбойников — Фазыл. Он истекал кровью. Кто-то вонзил ему в горло нож и тотчас вытащил. Разбойник уже был мертв.

Стали спрашивать Сельви. Она отвечала довольно спокойно, хотя голос ее слегка дрожал. Она сказала, что этот человек внезапно ворвался в ее комнату и бросился к ней. Она не спала. Но даже не успела позвать на помощь. Разбойник тотчас был убит. Разумеется, ее спросили, кто же убил разбойника. Она в ответ повела себя как-то странно. Улыбнулась, но глаза ее, как всегда, оставались серьезными. О эта милая ее улыбка! Плотнее закуталась в шаль. И серьезно произнесла:

— Никто.

Один из стражников предложил поискать в комнате нож, ведь Фазыл, несомненно, был зарезан. На ноже должна была остаться кровь. Но в комнате не было ножа. Не было и под окном комнаты, в саду. Вокруг все было истоптано, потому что толпилось много людей.

Когда Сельви произнесла это свое «никто», все сочли это очередным проявлением ее безумия.

Больше ее ни о чем не спрашивали.

Все просто подумали, что она сама убила напавшего на нее человека. А нож спрятала. Теперь все говорили о Сельви с изумлением и с некоторой даже брезгливостью. Безумная девушка-убийца! Даже госпожа Зейнаб стала немного побаиваться ее и говорила с дочерью сдержанно и мягко.

Разбойников допросили. Один из них, Якуб, показал, что был ближайшим помощником Фазыла, это подтвердили и остальные. Однажды Фазыл, Якуб и еще несколько человек из шайки отправились в греческий квартал к продажным женщинам. Там Фазыл увидел икону с изображением прекрасной девушки. Хозяйка сказала, что это безумная Сельви, дочь покойного Абдурахмана Гази. Фазыл загорелся желанием похитить девушку. Он решил, что за нее некому будет вступиться.

Мой отец решительно вмешался во все эти дела. Он строго приказал госпоже Зейнаб оставить всякие попытки выдать дочь замуж. На всякий случай он нанял стражников, теперь дом госпожи Зейнаб охранялся круглые сутки. Несколько лет тому назад отец купил прекрасный загородный дом на берегу Босфора. На лето, когда началась жара, он перевез туда мою мать и госпожу Зейнаб с дочерью.

Перед отъездом в Брусу я приехал за город к отцу.

Зеленые, мягко-холмистые берега, нарядные дома и дворцы столичной знати, проводившей здесь жаркие месяцы; го-

лубое высокое небо, светло-синяя чудесная вода, скользящие по волнам белые парусные суда.

Я приехал поздно вечером, когда женщины уже спали. Долго говорил с отцом, поужинал. Утром проснулся рано и решил искупаться. Я знал, что поодаль есть уединенное место на берегу у самой воды, и направился прямо туда. Но оказалось, что не один я умею рано просыпаться. Я увидел двух наших слуг с мечами. Они кого-то охраняли. Но меня они, конечно, пропустили к берегу.

Чудесный свежий ветерок вызывал желание дышать полной грудью. Несмотря на ранний час, солнце уже начинало пригревать.

У воды, на пестром небольшом ковре сидела госпожа Зейнаб. Я едва мог узнать ее. Она ужасно постарела. Сидела такая маленькая, сгорбленная, сухая. Она увидела меня и посмотрела как-то заискивающе. Я почтительно поздоровался с ней. Она сбивчиво заговорила о хорошей погоде, о полезности морской воды, затем о покойном Абдурахмане и его достоинствах и благородстве его души. Тут она прослезилась, утерла слезы тонким платком, нос у нее покраснел.

— А вон Сельви,— сказала она внезапно.— Вон, видите!

Я посмотрел, куда она указывала. Стройная женская фигура у самой воды. Сельви стояла в отдалении и не могла слышать нас.

— Как вы выросли, Чамил!— произнесла госпожа Зейнаб.— Вы очень похожи на свою мать. У вас такие же умные глаза цвета темных каштанов и благородное лицо.

Я учтиво поблагодарил ее за похвалу.

— Скажите,— госпожа Зейнаб посмотрела на меня с беспокойством,— вы... Вы тоже верите во все это?

Я сразу понял, что она имеет в виду попытку удушения Юсуфа и смерть Фазыла.

— Разумеется, Сельви не могла ничего такого сделать,— без колебаний ответил я.

— А кто...— госпожа Зейнаб не договорила.

Я пожал плечами.

— Я все же думаю,— госпожа Зейнаб зашептала и немного подалась ко мне,— я думаю, что она... Она не помнила, что делает! И потом, она ведь защищалась, спасала себя!

— Ну-у! Не будем говорить об этом,— мягко попросил я. Мне совсем не хотелось говорить о том, как Сельви пыталась задушить одного человека и убила другого.

— А тот? — вдруг спросила госпожа Зейнаб.

И снова я легко понял, о ком она хочет спросить. О Панайотисе.

— Он в тюрьме, в Брусе,— ответил я.— Я посылаю ему одежду и съестные припасы.

Я сказал это вовсе не для того, чтобы похвастаться. Просто мне показалось, что ее интересует, жив ли Панайотис и как ему живется.

— Надо было... — она снова не договорила.

Но по звучанию ее голоса было ясно, что это за «надо было». Надо было выдать Сельви замуж за Панайотиса. Или — надо было позволить Панайотису увести Сельви. Госпожа Зейнаб посмотрела на меня пристально. Когда-то, в ту давнюю ночь побега Сельви, когда я все рассказал, она считала меня виновником случившегося. Теперь она, кажется, вновь считала меня виновным, но уже по иной причине — я был виновен в том, что не помог убежать Сельви и Панайотису. Такое преобразование чувств госпожи Зейнаб несколько меня не удивляло, я уже кое-что знал о людях. Должно быть, основное — это не сердиться на людей и не воображать, будто они плохи, а ты хорош; если они плохи, значит, и ты плох; и хорош ты в той же самой мере, что и они.

Но все же мне показалось, что госпожа Зейнаб очень помучилась. В прежние времена она бы непременно надулась и принялась бы выражать мне свое презрение и досаду на меня. Видно было, что ей и теперь этого захотелось. Но она нашла в себе силы подумать и понять, что я не виноват. И чтобы показать мне, как она мне доверяет, она сказала:

— Вы, должно быть, хотите поговорить с Сельви? Идите к ней.

Я подошел к Сельви. Давно я не видел ее так близко и не говорил с ней. Она обернулась и стояла прямо против меня. Две длинные темно-каштановые косы она перекинула на грудь и, улыбаясь, теребила пушистые кончики. Как и мне, ей пошел двадцатый год. Она еще выросла. Красота ее теперь напоминала прекрасный зрелый плод, налитый свежестью, нежно алеющий румянцем среди скромной темной листвы. Она показалась мне очень спокойной, несколько замкнутой, но вовсе не безумной. В ее темных бровях, в глазах и губах проглядывала прежняя детская серьезность, эта детскость как-то трогательно соотносилась с ее высоким женским ростом и стройной пышностью ее молодого тела, облаченного в простое изящное платье зеленого цвета.

Мы поздоровались. Я ожидал смущения, робости, но она была спокойна. Спокойно, дружески расспрашивала меня о моей поездке, о моих планах. Меня удивило то, что она даже намеком не упомянула о Панайотисе. Она знала, что я еду в Брусу, и не говорила о нем. Впрочем, она ведь не знала, что он в тюрьме в Брусе. Кажется, ей не сказали. Мне вдруг пришло в голову, что ей сказали, будто Панайотис уже мертв, казнен, потому она и не спрашивает о нем. Я заколебался. Сказать ей, что он жив, но в тюрьме? Или не говорить ниче-

го? Она сейчас так спокойна. Может быть, ее судьба еще устроится. А если я скажу ей, что Панайотис жив, начнется бесплодное ожидание и даже, быть может, вернутся какие-то приступы безумия. И я решил молчать.

Так мы беседовали, спокойно и дружески. И я спокойно любовался ее красотой. Я вдруг вспомнил детскую свою влюбленность, боль и радость. Все это исчезло. Теперь я любил Сельви лишь как сестру.

Она сбросила маленькие летние туфельки, открыв нежные ступни. Шальвары, как в детстве, были по краю обшиты узкой тесьмой — «назик»-«нежность» — она называется. Сельви вошла в воду. Я стоял у воды и смотрел на нее. Меня внезапно поразила мысль о том, что Хасан любит ее так терпеливо. Неужели такая любовь недостойна награды? Душа деда не будет сердиться за нарушение клятвы...

— Проходит жизнь,— спокойно сказала Сельви и улыбнулась. Она стояла на мелководье у самого берега, маленькие ступни скрывала вода.

— Сельви, не печалься!— искренне воскликнул я.— Все еще будет хорошо!

И она улыбнулась мне с такой детской открытостью, как будто была намного взрослее меня.

9. При дворе князя Лазара

В Брусе, несмотря на все перемены в моей жизни, захватившие мое воображение и душу, первые мои мысли были о Панайотисе. И я постоянно возвращался к этим мыслям. Я думал о том времени, когда мы вдвоем учились, строили планы, мечтали, беседовали, спорили, бродили по лесу и слушали отца Анастасиоса. Тогда нам казалось, что та жизнь, которой мы жили, еще не была нашей истинной жизнью, что истинная жизнь еще только ждет нас. И вот, можно сказать, что мои мечты о какой-то новой, деятельной, интересной жизни сбываются. А истинной жизнью моего друга оказалась тюрьма. А ведь он был наделен тонким умом и многими дарованиями. Эта несправедливость судьбы наводила на меня уныние. И тут же я говорил себе, что нечего винить то, что называют «судьбой». Лучше мне винить себя. Я виновен в том, что Панайотис оказался в тюрьме.

Я не позволял себе никаких излишеств, хотя у меня теперь были собственные средства, ведь я стал переводчиком при дворе; мои знания, мои способности к изучению языков были оценены по достоинству. Но я предпочитал тратить деньги не на себя, а на своего друга. Покупал для него лучшие съестные припасы, одежду и белье, и посылал в тюрьму.

Иной раз мне приходила в голову мысль, что я должен устроить ему побег. Или хотя бы попытаться увидеть его. Но я гнал от себя подобные мысли. Нет, нет и нет! Чего я добьюсь? Навсегда испорчу жизнь себе, а ему не помогу. Тюрьма охраняется более, чем хорошо, побег не может удасться. А если меня уличат в подготовке побега, самым малым наказанием будет удаление от двора. И что же? Снова прозябание вместо живой жизни? Но допустим наилучший вариант — побег удался и меня ни в чем не заподозрили. Но какое я имею право нарушать законность и порядок в своем государстве? Ведь не я один терплю разлуку с другом! Многие родственники и друзья заключенных разлучены с близкими. Но следует быть терпеливыми, иначе наше государство просто развалится на глазах, а сами мы превратимся в дикарей, которые поступают так, как им взбредет на ум, не задумываясь ни о каких правилах поведения в этой жизни! И чтобы избежать искушения, я даже не ходил мимо тюрьмы.

То было время победоносных походов султана Мурада, преемника Орхана. Наши войска вошли в Румелию. Одна за другой сдавались крепости — Гелиболы, Бентуз, Чорлу, Хисини. У всех на устах были имена прославленных полководцев — Хаджи Илбеги, Гази Эвреноза, Гази Хасана — моего брата. Под их могучим натиском пали Диметока, Кешан, Ипсала.

В это время Хасан предложил собрать христианских подростков и обучать их военному делу, обратив их в правую веру. Так и было сделано. Многие родители сами приводили своих детей, надеясь на то, что они сделают карьеру при дворе или в армии. Этих пехотинцев стали называть янычарами. Их отличительным знаком были белые тюбаны. Из янычаров набирались потом и солаки — личная стража султана. Солаки тоже носили белые тюбаны с воткнутыми в них перьями птиц, были вооружены луками и стрелами и всегда сопровождали султана.

После взятия Эдирне султан Мурад построил в Йени Шехире имарет — заведение, где могли кормиться бедные путники, сироты, неимущие. Многие богатые люди давали деньги на содержание имаретов. А за городом была построена отшельническая обитель — завие. В Биледжике в честь взятия Эдирне воздвигли две мечети. Большую мечеть воздвигли в Брусе. А в Каплудже султан Мурад также приказал построить имарет и медресе для обучения будущих богословов. Это приказание было скоро исполнено. Так отпраздновали победу под Эдирне. Под власть султана перешел и Ниш. Затем Караман и Конья.

В битве при Карамане приняли участие войска сербского князя (его иные звали царем) Лазара. Он нарушил недавно

заключенный мирный договор и в союзе с боснийцами напал на наши войска. Это, впрочем, дорого Лазару обошлось; однако он своего вероломства не оставил.

Было решено отправить к Лазару посольство во главе с Эвренозом Гази, храбрым воином и далеко не глупым человеком. И должность переводчика в этом посольстве должен был исправлять я.

Наконец-то начала сбываться моя мечта о путешествиях. Сначала ближние земли, а за ними последуют и дальние. (После я и вправду побывал во многих франкских городах и часто думал при этом: и почему наши мечты не исполняются, пока мы молоды и в состоянии оценить сладость исполненной мечты? И всегда думал о Панайотисе. Другого такого друга я не обрел. Может быть, тому был виной мой тяжелый характер, чуждый легкомыслию, мое вечное стремление к поискам логики? Не знаю.)

В свите Эвреноза Гази я ехал, оставив позади других всадников и повозки. Было раннее утро, только что рассвело. Эвреноз Гази решил, что мы можем поехать короткой дорогой через горный проход в то время, как остальные поедут кружным путем.

Это был очень узкий горный проход. Мы ехали гуськом, один за другим. У выхода, довольно тесного, нас ожидала засада. Было нас всего человек десять. Эвреноз Гази приказал скакать во весь опор, чтобы прорваться. В нас полетели копыта неверных. Мы ответили ударами своих копий.

— Берегите переводчика! — крикнул Эвреноз Гази. — Он нам еще пригодится!

Так я осознал преимущества моего образования, моих знаний. Если быть откровенным, я вовсе не желал участвовать в битве, в стычке, в чем угодно, не желал! Осознание того, что я могу быть убит или сам убить кого бы то ни было, приводило меня в отчаяние. Несколько воинов окружили меня, чтобы защищать. Я видел, как Эвреноз Гази и сербский воин бились копьями. Эвреноз Гази, резко отведя руку, послал копьё, оно пробило его противнику грудь и вышло через спину. Я успел увидеть оскаленный рот умирающего, кровавые пузыри в уголках губ, и отвернул лицо.

Сербы, после того, как наши воины убили несколько человек, обратились в бегство.

— Интересно мне увидеть, как будет изворачиваться эта старая лисица Лаз, когда мы расскажем ему о нападении его вздорных гяуров на нас, неприкосновенных послов! — заметил Эвреноз Гази.

Теперь мы ехали через сербские земли. Это были земли весьма обширные. Две реки протекали на этих землях (впро-

чем, и теперь протекают) — Малая и Великая Морава. Мне пришлось наблюдать разлив этих рек — как настоящее море — птица не долетит до другого берега. Подданные Лазара жили — каждый в своей крепости, но являлись ко двору. Местные крестьяне очень бедны, в то время как одежда и убранство домов воевод и князей ослепляли варварским богатством. Мы приблизились у крепости Звечан к границам земель, которыми управлял зять Лазара — Вук Бранкович. Остановились и послали Вуку весть о своем прибытии. Он выехал нам навстречу. Держался он гордо, ехал в сопровождении большой свиты. Кроме Звечана, в его управлении находилось еще несколько крепостей — Приштина, Вылчитрын, Трепча. Вук заявил, что слышал о нападении на наш отряд и сожалеет об этом недоразумении. Эвреноз Гази принял это извинение. Но, разумеется, мы не верили Вуку и думали, что нападавших мог послать и он сам. Вук гордился своим древним родом, и это служило постоянным источником ссор и стычек при дворе.

Целью посольства было — предупредить Лазара о необходимости соблюдения тех договоров, которые он заключил с султаном Мурадом. Но уже нельзя было сомневаться в том, что никаких договоров Лазар соблюдать не намерен. Имелись сведения о том, что он собирает войска, рассылает своим союзникам, родственникам и подданным просьбы и приказы о поддержке его войск. Султан Мурад также готовился к решительной битве. Таким образом, основной целью нашего посольства становилось наблюдение за действиями Лазара. Несмотря ни на что, он оставался сильным противником и следовало понять его, что называется, изнутри.

Расскажу немного о прошлом Лазара, поскольку это может пролить некоторый свет на его характер.

Родом он был из небогатой и даже не очень знатной семьи Гребляновичей. В то время Сербией правил Стефан Неманич, много содействовавший ее процветанию. По его приказанию возводились церкви и крепости, он привлекал ко двору умелых иконописцев, и церкви, расписанные при Неманиче, еще и по сей день радуют глаз. Двор Неманича, как и дворы многих неверных властителей, отличался непомерной пышностью и порочностью. Охота, пиры, кровавые ссоры — вот что составляло смысл жизни Стефана Неманича и его приближенных и вассалов.

В числе прочих пороков этого правителя было и предпочтение общества мальчиков и юношей женскому обществу. В этом он, можно сказать, не знал себе равных. Его окружали юноши самых разных типов — одни носили женское платье и подражали женщинам в поведении, другие, хотя и одевались по-мужски, но также с женственной пышностью. Особенно

мила была Стефану редко встречающаяся разновидность подростков, тонких в кости, смуглых и большеглазых, соединяющих в своей натуре юношескую безоглядность с девической нежностью.

Маленький Лазар рано потерял родителей, отец его погиб в какой-то очередной стычке, а мать вышла замуж в дальние земли, не давала о себе знать, и о ее смерти Лазар узнал, уже став взрослым. Мальчик остался на попечении деда. Детство Лазара проходило в полуразрушенной крепости, в бедности. Его ничему не учили, потому что в Сербии презирают образованных людей. Считается, что уметь писать и читать — дело монахов. Встретить князя или воеводу, который хотя бы раз в жизни держал в руках книгу или перо, — просто невозможно. К своему духовенству они относились (и сейчас относятся) довольно странно — одновременно и презирают (ведь духовный сан несовместим с воинскими добродетелями, а воинские добродетели — это единственное, что они ценят) и боятся (потому что они дикари, язычники по самой своей природе, и опасаются, что рассерженный поп или монах может наслать на них беду). Монахи, затворившись в монастырях, пишут книги, но сами и читают эти книги. Книги эти представляют собой летописи происходящих событий или толкования Евангелия. У франков же книги — мирские, занимательные, и потому читают их многие люди. То же — у персов и арабов. Мне всегда казалось это весьма важным. Если и у нас появится много книг о любви и страстях, и книги эти будут читаемы многими, мы навсегда одолеем франков, и будущее будет принадлежать нам. Эта идея особенно ярко сложилась в моем сознании во время моего пребывания при дворе Лазара. Как мне хотелось поделиться этими своими мыслями с Панайотисом! Я чувствовал себя совсем одиноким. Несколько раз мне снилось ночью, будто мой друг здесь, со мной. Мы едем рядом вдоль речного берега. Кони наши поворачивают головы друг к другу и словно бы улыбаются. Все горести кончились, все забыто, и мы снова вместе! Я не отвожу глаз от его доброго лица, уже окаймленного темной бородкой, но все еще юного, от почти срастающихся на переносице темных бровей. Он смотрит на меня внимательно, серьезно и чуть-чуть смешливо. Темные, чуть вьющиеся волосы выбиваются из-под маленькой темной меховой шапки. Я говорю, говорю, спешу поделиться с ним всеми своими сокровенными мыслями, всеми наблюдениями... Просыпался я, чувствуя, что подушка влажна от слез

Но вернусь к истории князя Лазара, пока оставив собственные горести и радости в стороне.

Итак, маленького Лазара не учили ни читать, ни писать. Иногда его возили в ближний монастырь. Но к монахам и

попам, как я уже говорил, отношение было самое дикарское, как у язычников — к своим жрецам, которых следует бояться, иначе они могут наслать беду. От слуг (впрочем, их оставалось в запустелом доме немного) Лазар научился разным порокам и грязным словам. Дед учил его спеси и презрению к простым крестьянам и беднякам. Хотя и сам жил бедно. Но ведь Гребляновичи были какого-никакого, а знатного происхождения. У деда, когда-то страстного охотника, еще оставались остатки бывшего великолепия — пара соколов и несколько гончих. С его легкой руки мальчик пристрастился к охоте. По возвращении с охоты начиналось беспробудное вечернее пьянство. Если не удавалось залучить к себе кого-нибудь из соседей, старик пьянствовал со слугами. Он поил и мальчика, забавляясь, когда тому делалось худо от выпитого.

Дед Лазара отличался беспечностью и не думал о будущем внука. Но мальчик рос. И глядя на его расцвет, старик все чаще вспоминал известное ему пристрастие правителя Стефана. Старик воображал себе, что вот он при дворе, его почитают и даже побаиваются, и все это благодаря красоте и очарованию внука.

Но, очнувшись от этих мечтаний, он снова видел себя в грязной рубашке, на грязном запустелом дворе, в покоях, где с потолка сыпалась штукатурка, а в иных потолок уже успел рухнуть.

Наконец старик решил. Лазару уже минуло двенадцать. Утром дед приказал слуге принести свежей воды из колодца и сам принялся умывать внука. Неуклюжими пальцами он оттирал застарелые полосы грязи. Мальчик жмурился, вертелся, жаловался на боль. Но вот и его чистое лицо, раскрасневшееся, продолговатое, с большими темными глазами, нежное и в то же время юношеское. И сам он тонкий в кости, но видно, что эти тонкие мускулы сильны. Мечтания воскресли с новой силой. Старик велел мальчику одеться в чистое. Холщовая рубашка оказалась с прорехой под мышкой, кожаные штаны изношены, короткий кафтан узок в плечах.

Но это было еще не самое страшное. Ведь никаких связей, никакой протекции при дворе старик не имел.

В городе ему даже негде было остановиться. Не было и денег — заплатить за ночлег. Старик свел дружбу со стражниками у городских ворот. Они давали поесть и позволяли ночевать в караульном помещении. Но расплачиваться за это приходилось Лазару, ибо стражники отличались тем же пристрастием, что и правитель Стефан.

Прошло несколько дней, а старик так и не придумал, как ему оказаться вместе с внуком при дворе. Он знал, что не только он, но и люди богатые охотно пристроят своих сыно-

вей к Стефану и будут всячески стараться не допускать к нему чужих мальчиков.

Лазар не испытывал особого удовольствия, угождая стражникам. Они, случилось, ссорились из-за него. Однажды свидетелем такой ссоры стал один из приближенных Стефана. Въезжая в ворота, он разглядел подростка, которого тянули — каждый к себе — двое стражников, осыпая друг друга грубой непристойной бранью. Мальчику, должно быть, было больно, он вскрикивал и отбивался. Приближенный правителя подъехал поближе и удивился красоте мальчика. Как раз в это самое время родственники очередного фаворита Стефана взяли при дворе большую силу. Но этот парнишка, судя по всему безродный бедняк, конечно, завладеет сердцем правителя, и тот удалит от себя многих... Всадник сделал повелительный знак стражникам отпустить подростка и приказал ему:

— Ступай за мной!

Во дворце он расспросил мальчика, затем выслал со службой немного денег для деда. Старика уведомили о том, что благородный господин оставляет его внука при себе, и велели ехать домой. Неизвестно, что собирался предпринять дед Лазара, потому что ночью его нашли мертвым за воротами города. Умный приближенный Стефана не желал, чтобы исполнению его планов мешали абсолютно не нужные ему люди. На смерть старика никто не обратил внимания. Полагали, что он погиб в какой-нибудь пьяной драке, какие вспыхивали здесь ежедневно во множестве. А Лазар, зажив новой жизнью, не печалился о деде.

Лазара представили Стефану, и все вышло, как задумывалось. Красота мальчика покорила правителя. Лазар сделался его единственным фаворитом. Сначала Лазар был послушным орудием в руках того придворного, который представил его Стефану. Но с возрастом Лазар осознал свою силу и сам выучился интриговать. Многие князья и воеводы, более дальновидные, отлично понимали, что этот юноша, властный, спесивый, капризный, как все фавориты подобного рода, беспечный и страстно любящий всевозможные удовольствия, угрожает гибелью царству. Несколько раз его пытались убить, но заговорщики были схвачены, кто-то из своих же их и предал, и казнены со всей жестокостью.

Но, несмотря на всю свою власть над сердцем Стефана, Лазар ощущал себя во дворце чужаком, красивой игрушкой, которую бросят, едва пресытятся ею. Кроме того, он боялся, что после смерти Стефана разом утратит все!

На пирах Лазар всегда служил Стефану виночерпием. Со времен эллина Ксенофонта с его «Киропедией» — историей воспитания древнего персидского царя Кира — всем известно,

кого называют «виночерпиями», кто бывает виночерпием — мальчик-любовник.

Обдумав свое положение, Лазар пришел к выводу, что только выгодная женитьба поможет ему удержаться на той ступени лестницы бытия, куда он успел вскарабкаться. Он даже уже выбрал себе девушку, на которой собирался жениться. К желанной свадьбе вели две дороги: первая — влюбить в себя девушку, похитить ее, сделать так, чтобы ему уже не могли отказать. Но этот вариант исключался — девушка, которую Лазар выбрал, и смотреть бы не захотела на парня-любовника, пусть даже и царского! Тогда оставалась вторая дорога — улестить царя, чтобы тот сам стал Лазару сватом. Эту дорогу Лазар выбрал и сумел добиться своего.

Все было подготовлено и удалось даже лучше, чем мечталось Лазару. На царский пир было приглашено много вассалов, в основном, это были те, что часто противопоставляли свое мнение царским решениям. Этот пир запомнился, и еще много лет спустя его помнили под названием «Пир непокорных».

Лазар, как обычно, наливал вино из кувшина в золотую чашу и подавал Стефану. Все заметили, что в тот вечер Лазар был неулыбчив, выглядел обиженным, то и дело надувал свои красивые губы. Царь, напротив, поглядывал на своего любимца с доброй усмешкой. Все, что случилось после, было заранее задумано Стефаном и Лазаром.

Лазар несколько раз переполнил чашу, и вино пролилось на царский кафтан. Когда это случилось в третий или четвертый раз, царь спросил:

— Почему ты все время переполняешь чашу, Лазар? Что тебя печалит?

— Государь,— ответил Лазар (так между ними было уговорено),— погляди вокруг! Все мои ровесники давно женаты, имеют детей, наслаждаются прелестями своих жен, лишь я один, словно дерево в долине!

Никто не знал об уговоре Лазара с царем, все замерли, услышав такую дерзость из уст царского любовника. Царь тоже сделал вид, будто огорчен, смущен и будто обдумывает слова юноши.

— Что ж,— сказал наконец Стефан,— твое желание вполне законно. Я тоже давно уже думаю о твоём будущем. Но неужели ты полагаешь, я женю тебя на дочери какого-нибудь свинопаса или коровьего пастуха! Я подобрал для тебя кое-что получше! Ступай в Южную башню, Лазар, и принеси золотое яблоко — свадебный дар.

Лазар быстрым шагом покинул пиршественную залу. Кое-кто уже начал догадываться, что все происходящее обговорено заранее. Вскоре вернулся Лазар и принес золотое яблоко.

На пиру, вместе со своими многочисленными сыновьями, находился один из богатейших, знатнейших и самых непокорных вассалов Стефана — Богдан Юг. Его младшая дочь, юная Милица, еще не была просватана.

Царь Стефан взял из рук Лазара золотое яблоко и задумчиво удерживал на ладони. Князья и воеводы, имевшие дочерей на выданье, чувствовали себя не в своей тарелке — никто не хотел бы отдать свое дитя мальчишке, подставляющему зад, пусть даже и самому царю.

Но вот Стефан поднялся и вышел из-за стола. Держа в руке золотое яблоко, он решительно подошел к тому концу стола, где важно восседал Богдан Юг в окружении своих воинственных сыновей.

Все поняли, что независимости непокорного вассала приходит конец, и смотрели на него, не скрывая злорадства.

— Нет, — машинально шептал старый Юг, — нет, нет, нет!

Царь приблизился, отдал поклон, протянул Югу яблоко и, как настоящий сват, произнес обычную фразу:

— Говорят, живет в твоём саду красавица-куропатка? Не позволишь ли ей перелететь в наш терем?

И снова поклонился.

Все ждали.

Юг встал и принял яблоко дрожащими руками.

Лазар скромно остановился в стороне.

Царь гордо распрямился и оглядел своих подданных:

— Слушайте же! Сегодня верный наш сподвижник Богдан Юг просватал свою красавицу-дочь не за какого-то безродного мальчишку, но за наследника нашего престола и всего сербского царства. У меня нет ни супруги, ни детей, и наследником своим я объявляю Лазара Гребляновича!

Так Лазар сделался зятем богатого и знатного человека, мужем красавицы и наследником престола. Чего еще желать?

Говорят, пока не скончался Стефан, Лазар только считался мужем Милицы, но на самом деле им не был. Впрочем, Стефан умер спустя недолгое время после того, как объявил Лазара своим наследником и женил его. Разумеется, сразу пошел слух, что Стефан был отравлен Лазаром, которому поскорее хотелось занять престол, да и стать настоящим мужем своей красавицы-жены. И тут Лазар показал себя. Несколько сплетников он посадил на кол, злые языки смолкли.

Милица, супруга Лазара, воспитывалась в строгости, отец и братья берегли ее. Сначала она горько плакала, не хотела идти за Лазара, но ее согласия, конечно, никто не стал спрашивать. Постепенно она привыкла к своему мужу, он был не хуже других людей, которых она знала; например, ее братьев, да и его красота и мужская сила пришлись ей по нраву. Я ее видел всего несколько раз. Это была уже пожилая женщина

со следами былой красоты, все еще стройная, несмотря на многочисленное потомство. Она редко выходила к гостям, предпочитая проводить время в своих покоях.

Лазар порою бывал злым, жестоким, необузданным, но этого мало для того, чтобы быть правителем. Он не умел обдумывать свои действия, легко поддавался чужому влиянию, любил лести. Его супруга была гораздо умнее его и часто подавала ему разумные советы. Но по обычаю этой страны он презирал женщин и не желал прислушиваться к словам жены. В тех же случаях, когда он все-таки это делал, получалось совсем недурно. Мне рассказывали, как однажды царица пришла на пир вместе со своими придворными дамами и стала уговаривать Лазара не тратить столько денег на вино, вспомнить Стефана, как по приказанию последнего воздвигались и украшались церкви и крепости. Именно тогда Лазар отдал приказ о воздвижении Раваницы — монастырской крепости. Это, кажется, было единственное, что он построил за все время своего правления.

При Лазаре местные князья и воеводы снова принялись отстаивать свою независимость в бесконечных стычках друг с другом. Он оставался на престоле, кажется, лишь потому, что все время шел на уступки, во многом власть его была чисто номинальной.

Лазар был отцом большой семьи. Сына его звали Стефаном. Позднее Стефан стал вассалом султана Баязида. Дочери Лазара были замужем за различными воеводами и князьями. Одну из дочерей он выдал замуж за царя Иоаннеса Болгарского, надеясь, что болгарский царь станет его союзником. Но этого не произошло. И болгарский царь Иоаннес Шишман, зять Лазара, и его брат Иоаннес Сырцемир, оба признали свою вассальную зависимость от султана. А Иоаннес Шишман даже отдал в жены Мураду свою сестру Тамар. Когда же Лазар призвал этого своего зятя привести войска и принять участие в битве на Косовом поле (о которой я еще буду говорить), Шишман войска не привел. Два зятя Лазара постоянно жили при дворе, звали их Вук Бранкович и Милош Обилич. Они отличались из столицы лишь для того, чтобы время от времени обьезжать подвластные земли.

Мы приехали в столицу поздно вечером. Вук Бранкович сопровождал нас. Наш обоз ехал следом.

Город производил впечатление разбойничьего притона. Пьяные выкрики, драки, всадники с факелами. Ворота многих домов были широко распахнуты, несмотря на поздний час.

Мы попали в тот редкий день, когда во дворце не было пира. Эвреноз Гази, несколько его ближних людей и я, ждали Лазара в покое, стены которого были украшены коврами гру-

бой местной работы, совсем не похожими на персидские или арабские. Я немного волновался, готовясь к своей роли переводчика.

Лазар вышел к нам быстрым шагом. На нем была длинная холщовая рубаша, поверх которой он небрежно накинул что-то вроде алого суконного кафтана. Ноги его, обутые в мягкие сапоги, ступали легко. Ему было уже лет шестьдесят, он явно был сильно пьян, волосы всклокочены, лицо избороздили глубокие резкие морщины. Но глаза его смотрели с определенным очарованием, а все еще видимая природная стройность, изящный овал лица, нежная впадинка на подбородке, маленьком и округлом, все это напоминало о его прошлом царского любовника и красавца. Бороду он брил, длинные лохматые усы свисали книзу. Странно, но я нашел в нем нечто общее с Хасаном, моим братом. Я бы и сам затруднился определить, что у них было общего, но, несомненно, они в чем-то относились к одной человеческой разновидности.

Эвреноз Гази сделал шаг навстречу Лазару и произнес приветствие. Лазар хмурился. Когда глава нашего посольства кончил говорить, я передал его слова на сербском языке. Это произвело неожиданное впечатление. Лазар резко обернулся ко мне. Дернул себя за ус. Подошел, положил мне ладонь на плечо, заглянул испытующим взглядом мне в лицо. Затем вдруг поцеловал меня в щеку, дыша перегаром, и заговорил бессвязно:

— Парень! Ты по-нашему знаешь. Ты не думай! Я ваших ненавижу, но кого люблю, того уж люблю! Ты молодец! Не храбрец, нет,— Лазар помотал головой,— не храбрец, но молодец!— тут Лазар обернулся к Вуку Бранковичу. — Накорми их! Завтра будем говорить!— и он, чуть пошатываясь, вышел.

Эвреноз Гази и остальные едва сдерживали смех. Даже зять Лазара Вук улыбнулся. Затем он повел нас в отведенные нам комнаты. Эвреноз Гази сделал распоряжения о наших воинах и повозках. После, обдумывая слова Лазара, я нашел, что они вовсе не были такими уж глупыми и бессвязными. И оценил он меня весьма своеобразно. В чем-то и меня можно счесть молодцом, а вот храбрецом я действительно никогда не был. И часто я вспоминал стихи древнего поэта эллинов, Архилоха, который потерял щит на поле боя, потому что бежал, зато остался жив и продолжал творить стихи. Многие не понимали меня, а этот пьяный дикарь Лазар понял, едва услышав и увидев. Должно быть, что-то в нем такое было!

На следующий день Лазар принял нас уже официально. В приемной зале находились две его дочери, супруги Вука Бранковича и Милоша Обилича. Обе были одеты с поистине варварской пышностью. Невольно я вспомнил старую легенду

о госпоже Зейнаб-Зенобии, о том, как она вышла к разбойнику Маркосу в нарядной своей одежде.

Не стану останавливаться подробно на всех многочисленных словах, произнесенных князем Лазаром и Эвренозом Гази, представителем султана Мурада. Я переводил. Эвреноз Гази вежливо напоминал Лазару о его обещаниях, о скрепленных печатями договорах. Лазар заверял, что непременно все свои обещания выполнит, все условия договоров, заключенных им с султаном, будет соблюдать.

— Зачем же мне дразнить льва!— уверял Лазар.

— Как прекрасно, что вы это понимаете!— почтительно отвечал Эвреноз Гази.

Но и он, и Лазар, и все остальные отлично понимали, что никакого мирного сосуществования уже не будет, все договоры — бумажный хлам, все обещания — пустые слова. И все в итоге будет решаться на поле битвы, силой оружия!

Лазар то и дело улыбался мне. Я было встревожился, не имеет ли он дурных намерений по отношению ко мне. Но почувствовал, что он вовсе не собирается соблазнять меня. Должно быть, ему просто нравилось, что я так хорошо говорю на его родном языке. Моя невоинственность тоже, кажется, оказывала на него умирительное действие; возможно, он вспоминал себя, невоинственного, хрупкого юношу, опуская в этих воспоминаниях все порочное и грязное, и вспоминая с горечью лишь свою ребяческую беззащитность и одиночество.

— Бедный парень! Ты совсем один!— обратился он ко мне. И я снова подивился тому, как он понимает меня, и почувствовал к нему нечто вроде симпатии.

Одарив подарками Эвреноза Гази и его приближенных, Лазар приказал особо поднести мне нарядную одежду, золотую чашу и несколько книг, написанных сербскими книжниками-монахами. Я искренне поблагодарил его. Книги были украшены интересно сделанными рисунками. Эти книги и теперь я сохраняю в своей домашней библиотеке.

Вечером все мы были приглашены на пир. Меня поразило беспробудное пьянство, непомерное обжорство приближенных Лазара, то, как невоздержанны они были на язык. Обращаться друг к другу с бранными словами считалось среди этой знати самым обычным делом. По залу, между скамьями, бегали породистые охотничьи псы, им кидали куски мяса. Мне и остальным нашим было неприятно. Опьяневший Лазар пытался заставить нас пить. Эвреноз Гази велел мне перевести, что пить нам запрещает наша вера. Я перевел.

— Переведи им!— приказал Лазар.— Вера их собачья и сами они собаки!

— Этих слов я переводить не буду!— спокойно ответил я.

Думаю, по интонациям голоса Лазара наши догадались, что ничего хорошего он не сказал.

— Не будешь,— произнес Лазар с внезапной пьяной грустью, совершенно неожиданной после его недавней ярости.— Не будешь и не будешь! Все равно я их ненавижу, а ты мне как сын!— он отвернулся от нас и махнул рукой, словно отмахивался от всех на свете мыслей, и своих и чужих.

Две отличительные черты я заметил при дворе Лазара — непомерная роскошь и непомерная же грубость нравов.

Женщины у сербов ходят с открытыми лицами. Мужчины презирают их, избивают, но и сами женщины в жестокости не уступают своим отцам и мужьям. Здесь часты случаи убийства новорожденных детей.

Однажды Лазар пригласил нас на охоту. Когда мы вернулись и шли по дворцовым покоем, вдруг раздались отчаянные женские крики, брань. Лазар двинулся на шум. Мы все — следом за ним. Всей толпой вошли в один из дворцовых залов. И что же? Дочери Лазара, жены Вука и Милоша, безобразно дрались. А их придворные дамы не смели различать их. Одна ударила другую по лицу рукой, пальцы которой были унизаны тяжелыми перстнями. У ее сестры хлынула кровь из носа, заливая шитое золотом платье. Они бранились, выкрикивая оскорбительные слова — каждая — в адрес мужа сестры. Драка случилась из-за того, что обе они выхваляли достоинства своих мужей, их знатность, богатство и мужскую силу, нимало при этом не стесняясь в словах. Лазар с помощью их мужей едва сумел разнять этих разъяренных волчиц.

Еще один случай, говорящий о нравах сербских женщин. Женился крестник царя, молодой князь Лазар Раданович. Я воспользовался приглашением, чтобы посмотреть, как у сербов справляются свадьбы.

Жених с огромной свитой отправился за невестой. Невеста была дочерью вдовы одного из полководцев царя Лазара. Обширный двор замка заполнился толпой шумных друзей жениха. Пора уже было нести приданое невесты и вести ее самое. Из дома донеслись крики. Крики эти приближались. Наконец выбежала нарядная, но растрепанная невеста. Щеку ее украшала кровоточащая ссадина. Невеста держала в руках вышитую холщовую мужскую рубаху. Следом бежала ее мать, проклиная дочь страшными проклятиями. Девушка обернулась и не постеснялась у всех на глазах ответить матери тем же. Тогда мать выхватила из кожаных ножен, подвешенных к поясу, острый нож и швырнула его в родную дочь. Нож по счастью вонзился в деревянный столб, поддерживавший потолочные балки, и только потому девушка осталась жива.

Мать схватили за руки увели в дом. Она извивалась, плевалась и бранилась, продолжая проклинать дочь. Вынесли сундуки с приданым, погрузили на повозки. Счастливая невеста вручила жениху вышитую холщовую рубаху. Они ехали рядом верхами. После мне пояснили, что рубашка эта издавна хранилась в роду невесты. Якобы эта рубашка обладала какими-то чудодейственными свойствами. Невеста решила ее взять для своего жениха, мать же хотела оставить для младшего сына, брата невесты. Из-за этого и разгорелась ссора, завязалась драка, окончившаяся победой девушки.

Впрочем, довольно обо всем этом.

Дело близилось к развязке. Мы тайком отослали султану несколько важных донесений. Лазар открыто собирал войска, вербовал союзников. Когда Эвренос Гази напомнил ему вновь о его обещаниях, Лазар даже не потрудился выдумать что-то в свое оправдание. Он просто объявил, что посол султана вместе со свитой и всеми своими воинами остается у сербов в заложниках. Я перевел эти слова. Эвренос Гази спокойно выслушал. Лазар приказал держать наших взаперти в отдаленных комнатах дворца.

— Только его оставьте!— указал он на меня.

Я сначала хотел было гордо заявить, что желаю разделить участь остальных, но потом сообразил, что принесу гораздо больше пользы, оставаясь на свободе, и ничего не сказал. Эвренос Гази удовлетворенно кивнул, и я понял, что сделал верный выбор.

10. Битва на Косовом поле

Султан Мурад также собирал войска. Лазар послал на разведку нескольких своих воинов. Вернулся только один из них. Он рассказал, что товарищи его были убиты и проклинал зверство османов. Любопытно, как бы он сам поступил с пойманными разведчиками противника? Вероятно, погладил бы по головке и отпустил домой!

— Господин мой!— уверял вернувшийся разведчик.— Я видел войско османов, видел их оружие. Наше оружие сильнее, а людей у нас больше, по крайней мере, в три раза!

Эти сведения очень ободрили Лазара.

Помню, он призвал меня к себе и говорил со мной. Он показался мне нервным, беспокойным, то и дело дергал длинный ус чуть подрагивающими пальцами.

— После моей победы все ваши будут казнены!— пообещал он.— Кроме тебя!

Когда Лазар говорил, трудно было понять, издевается он над собеседником или говорит всерьез. Такая манера свойственна многим пьяницам и преступникам. Я промолчал в ответ на его слова.

— Боишься? — спросил он.

— Да, боюсь, — спокойно ответил я. — Но если будешь казнить Эвреноза Гази и его спутников, казни и меня!

— Эх, парень, — он потрепал меня по плечу, — молодец ты! Не храбрец, а молодец! — повторил он. Должно быть, ему самому эта фраза казалась очень удачной.

Я молчал. Лазар нервно ходил по комнате.

— А трепану я ваших! Трепану! — он остановился против меня.

Мне стоило больших усилий сдержать улыбку. Этот пьяница собрался «трепануть» наших полководцев. «Трепануть» моего брата Хасана. Интересная идея!

— Не веришь? — спросил Лазар.

Я ничего не ответил.

— Не веришь, знаю! — он вдруг сел на покрытую ковром скамью, обхватил голову руками и глухо заговорил. — Горе мое! Вот так, разбудишь льва, раздразнишь тигра, на змею наступишь, хвост ей отдавишь, — он рассмеялся нервным смешком. — Камнем волка шибанешь. Ну и все! Отдувайся после, как знаешь!

— Еще есть время, — сказал я мягко. — Еще можно исполнить свои обещания и соблюсти договоры!

— Какая мне польза от позднего раскаяния! — он махнул рукой. — Мне одно осталось — биться не на жизнь, а на смерть! А ты ступай, Чамил, ступай!

Я вышел.

Вскоре Лазар отдал приказ не выпускать меня из дворца. Но внутри я мог ходить свободно. Опасался ли я за свою жизнь? Пожалуй, нет. Я заметил, что, когда смерть угрожает не тебе одному, а многим людям, с которыми ты связан, эту угрозу как-то легче переносить. Я много думал о Панайотисе. Мне казалось, что то, что мне сейчас угрожает гибель, сближает меня с моим другом, терпящим пожизненное заключение.

Обо всех событиях и подробностях битвы рассказал мне Хасан. Рассказ его я записал и сейчас передам. Но начну со своих впечатлений.

Я видел из окна своей комнаты, как Лазар, его зятя, многочисленные родственники его жены, его приближенные рыцари выезжали из дворцовых ворот. Они представляли собой довольно внушительное зрелище. Следом выбежала супруга Лазара, Милица, она подбежала к его коню, покрывало на ее

волосах развеивал ветер. Лазар наклонился к ней с коня. Позднее я узнал, что она просила мужа оставить при ней кого-либо из ее многочисленных братьев и племянников. Я видел, как Лазар подзвал их взмахом руки. Они подскакали, окружили его. Он что-то говорил им, предлагал любому из них остаться. Но все отказались. Опечаленная царица ушла во дворец, она плакала, утирая слезы покрывалом. Любопытно, что сын Лазара, Стефан, не участвовал в битве. Он был в плохих отношениях с отцом, жил в отдаленной крепости и не бывал при дворе.

Между тем войска Мурада перешли Малую Мораву. Развивались алые знамена, гремели боевые барабаны. Ехали прославленные полководцы: Али паша, за ним — мой брат Хасан Гази, следом — Челеби султан Баязид, старший сын и наследник султана Мурада. За Баязидом — субаши Эйне бей, Якуб Челеби, Саруджа паша. Замыкающим был сам султан Мурад.

Остановились в местности, которую мы теперь называем Гюмюш Хиссар. Это ровная местность, без оврагов и скал. Разбили шатры. Местность Гюмюш Хиссар напоминала бурное море, а шатры — парусные суда среди разбушевавшихся волн. Воины в доспехах сновали, словно стаи железных рыб.

С несколькими верными приближенными, в числе которых был и мой брат, султан отъехал довольно далеко. С холма он разглядел войско Лазара. Несмотря на то, что многие союзники не поддерживали его, Лазару удалось собрать весьма значительное войско.

Султан Мурад долго вглядывался в движущуюся массу людей, затем тихо произнес:

— О, Аллах! Во имя деяний посланца божия Мохаммеда пошли милость правоверным! Не дай мне стать виновником их гибели!

Затем состоялся военный совет. Сначала Мурад обратился к своему сыну Баязиду:

— Что ты предлагаешь, милый мой? Этот гяур собрал огромное войско. Такого я и не предполагал! Может быть, мне защитить наших пехотинцев рядами верблюдов?

— Прежде мы этого не делали, — ответил Баязид. — Пусть у неверных огромное войско, но с нами божья милость и благословение Аллаха! Прежде мы побеждали, одолеем врага и теперь. А если погибнем, то погибнем мучениками за правую веру!

Мурад похвалил Баязида, затем обратился с тем же вопросом о верблюдах к Али паше.

— Грех прикрывать себя, когда ведешь священную войну — газават, — заговорил Али паша. — В битве за веру следует упо-

вать на одного лишь Аллаха! Он не допустит победы неверных!

Мурад кивнул и спросил о верблюдах моего брата Хасана.

— С одной стороны, это хорошо, — сказал Хасан, — верблюды были бы надежным прикрытием нашим пехотинцам, истоптали бы коней противника. Но, с другой стороны, всем известно, что верблюды очень пугливы. Если они испугаются шума, поднятого наступающими войсками, то повернут назад, начнут топтать наших воинов. Вот почему я считаю, что следует отказаться от плана с верблюдами. Вспомните, что случилось с Искандером Двурогим, Македонским царем и полководцем, когда он бился с индийским правителем Фурихиндом. Тот поставил впереди своего войска боевых слонов. Искандер приказал напугать слонов, они повернули назад и истоптали воинов Фурихинда.

— Это разумные доводы, — заметил султан. — Что же ты предлагаешь?

— Впереди надо поставить пехотинцев, вооруженных луками и стрелами. За ними ударят воины с мечами и саблями.

Султан одобрил это предложение.

Выставили часовых, и лагерь притих.

Ночь выдалась темная, мрачная, сильный ветер нес тучи темной пыли.

В шатре султана оставались его сын Баязид, а из остальных полководцев — Али паша и мой брат Хасан.

Султан велел им ложиться. Брату не спалось, он лежал с открытыми глазами, слушал вой ветра, думал о своей жизни, о своей любви к Сельви. Вдруг ему начинало казаться, что он в этой жизни — всего лишь песчинка, гонимая темным ветром, и все — все равно — останется он в живых или погибнет! Все равно — будет ли он счастлив или проведет отмеренное ему время в тоске и горе! Все — все равно!

Брат разглядел в темноте, как Мурад поднялся, омылся, как положено, водой из кувшина, встал на колени, склонил голову на землю и принялся горячо молиться. Брат слышал, как он произносит вполголоса слова молитвы, а снаружи шумел темный ветер.

— Господи, Боже мой! — молился Мурад. — Сколько раз ты, во благодати своей внимал моим мольбам и не оставлял меня! Услышь меня и сейчас! Рассей страшный мрак, пошли дождь, чтобы улеглась пыль! Озари мир своим светом, чтобы смогли мои воины увидеть войска неверных и биться с ними! О Господи, все в руке твоей — и люди и земли! Даруй победу, кому пожелаешь! Я всего лишь один из ничтожных рабов твоих. Тебе ведомы все мои мысли, все мои тайны. Мне не нужно

богатство. Я иду на поле битвы не для того, чтобы обратить побежденных в рабов. Единственное мое желание — искренне и преданно пытаться заслужить твое благоволение. Господи, сделай меня жертвой ради моих воинов и подданных, только не оставляй их побежденными в руках неверных, не губи моих людей! О Боже, не допусти, чтобы люди погибли из-за меня. Даруй нам победу! Возьми мою жизнь, прими мою жертву! Я душу и жизнь свою отдам во имя того, чтобы мои правоверные остались живы! Господи, возьми меня к себе. Да сделаюсь я жертвой во имя правоверных. Ты сотворил меня борцом за правую веру, позволь мне претерпеть мученичество во имя ее!*

Так молился султан Мурад. И Всевышний услышал его горячую молитву. Облака покрыли небосвод, и благодатный дождь пролился на землю. Ветер стих.

Совсем иначе прошла эта ночь в лагере князя Лазара. Выкатили бочки с вином. Началось обычное пьянство. Сподвижники и союзники Лазара развлекались, продавая друг другу и обменивая воображаемых пленников. Они говорили о том, скольких перебьют и скольких обратят в рабство. Вук Бранкович предложил ударить ночью. Но другой зять Лазара, Милош Обилич, уверял, что это унизит достоинство царя. Решили дожидаться утра.

Рассвело и стало видно, что день будет солнечный, теплый, но не жаркий. Хасан вышел из шатра султана. Было еще тихо. Он посмотрел на траву. По крупному изогнутому стеблю карабкался большой темный жук, в тени травинок суетились муравьи. Крохотные дети природы жили своей, отдельной от человека жизнью, нисколько не заботясь о том, что могут погибнуть под натиском его мощной стопы.

Но вот зазвучали боевые трубы. Всадники садились в седла, пехотинцы проверяли готовность оружия. Чавуши — предводители отрядов ободряли воинов. «Вперед, борцы за правую веру! Сегодня день верховных ваших усилий! Покажем свою храбрость, свою доблесть! Отблагодарим повелителя нашего за хлеб-соль, за наших добрых коней, за острые сабли, за прекрасные празднества, данные в нашу честь! Вперед!»

Войско строилось — центр, фланги, обоз. Султан Мурад с полководцами поместился в центре. Отряд за отрядом впереди войска встали дворцовые гвардейцы. Баязид и Хасан поместились справа. Эйне бей — в левом крыле. Справа поставили свои отряды Сарухан, Айдын, Саруджа паша. Сзади находился обоз.

* Подлинная молитва султана Мурада (*Примечание автора*)

Султан Мурад приветствовал воинов. Он обещал им богатые дары и безграничные милости. Великий визирь Али паша прочел утреннюю молитву. Затем раскрыл Коран наугад и попал на стих о том, что избранные должны бороться с неверными и двуличными. Али паша поцеловал страницу.

Лазар также выстроил свои войска. Многие из его рыцарей запаслись веревками и цепями.

— Глупость!— сказал Вуку Милош Обилич.— Не могу себе представить османских полководцев связанными, закованными в цепи, плененными!

— Что же делать? — спросил Вук.

— Теперь уже выхода нет,— ответил Милош.— Будь что будет!

Оба войска двинулись навстречу друг другу, чтобы сойтись в битве на Косовом поле.

Справа встали стрельцы из лука под командой Хамидоглу, слева — под командой его сына Мустафы Челеби.

Мой брат Хасан Гази и Михалоглу Искандер бей готовы были врезаться в неприятельские фланги.

— Будем хитрить!— сказал мой брат.— Когда неверные, закованные в броню, скажут с обнаженными мечами в руках вперед, они все сметают на своем пути. Поэтому нужно обратиться в притворное бегство, обойти неприятеля с тыла и ударить тяжелыми палицами.

Полетели тучи стрел.

Наши пушкири во главе с бесстрашным Хайдаром зарядили пушки. Посыпались ядра, сметая все на своем пути.

Между тем, враги оттеснили наших стрельцов и ударили по центру. Им удалось добраться до обоза и уничтожить часть обозных слугителей.

И тут с обеих сторон слепящими молниями засверкали сабли. Стрелы летели градом. Разносились стоны раненых, крики о помощи.

Баязид, сын Мурада, видя, какая опасность угрожает войску, встревожился.

Он приказал выкликать: «Неверные разбиты и бегут! Неверные разбиты и бегут!» В наши войска всегда набирают таких голосистых парней, которые должны ободрять остальных подобными возгласами. Этим ребятам платят особую плату, называют же их «бозюнджилер».

Словно сокол в стаю ворон, Баязид врезался в ряды неверных. За ним последовали остальные полководцы во главе своих отрядов.

Вдруг конь под Баязидом споткнулся. Баязид упал. Вот вот накинута на него веревочная петля. Но он вырывается, молнией взлетает обратно в седло и принимается сечь невер-

ных саблей, как жнец сечет колосья под корень. Правоверные с криками «Велик Аллах!» наступают неудержимой волной.

Противник сметен.

Еще не успело зайти солнце, а Косово поле уже покрывают горы трупов. Мертво посверкивает сплюснутая ударами палиц серая броня. Тошнотворно пахнет кровью. Каркая, слезаются вороны. Рыцарское войско Лазара разбито. Сербское царство пало.

Вдали наши всадники добивают остатки вражеского войска.

Султан Мурад, окруженный несколькими телохранителями, идет через поле. Ему прокладывают дорогу среди трупов. Он знает, чувствует, что должен пасть жертвой во имя правоверных, и удивлен тем, что все еще жив!

Внезапно Мурад видит, что к нему направляется вражеский воин. Воин этот ранен, обливается кровью, его шатает. Телохранители Мурада хотят остановить этого человека, но султан приказывает.

— Не трогайте его. Пусть приблизится.

Воин приближается с трудом. Вот он склонился перед султаном. И вдруг ударяет Мурада кинжалом.

Мгновенно отлетела душа Мурада.

Неверного, убившего султана, тут же посекли. Это был Милош Обилич, зять Лазара.

В шатер султана быстро вводят обоих его сыновей. Старшему, Баязиду, суждено унаследовать престол. Младший, Якуб, должен быть убит, чтобы в корне пресеклась возможная опасность династической смуты. Якуб достойно встречает смерть.

Лазар схвачен и ему тотчас отрубают голову.

Баязида провозглашают султаном.

Я нисколько не удивлюсь, если когда-нибудь Лазар, из-за которого погибло столько людей, будет объявлен у сербов святым. Неверным это свойственно — поклоняться побежденным полководцам и дурным правителям.

11. Торжественный прием во дворце

Посольство Эвреноза Гази было освобождено. Мы прибыли в Брусу героями. Столица встречала победителей, печалилась о смерти султана Мурада и праздновала воцарение султана Баязида.

Снова я в Брусе, в городе, где я родился и провел первые годы своей жизни. Я думаю о Панайотисе. Мне странно, что,

пока происходили все эти бурные события, он по-прежнему жил в своей темнице, одинокий, лишенный новых впечатлений. Я поспешил отослать ему одежду и еду.

Снова рядом со мной Хасан, мой старший брат. Он находит, что я окреп и возмужал. Я нахожу его усталым и еще более помрачневшим, но не говорю ему об этом. Он показывает мне письма отца и матери. Они очень тревожились за нас и радуются нашему возвращению. Они хотят, чтобы оба мы приехали в Айдос — отдохнуть.

Далее я вспоминаю торжественный прием во дворце. Множество сановников в роскошных одеждах. Море тюбанов и высоких шапок. Светильники разливают яркий свет. Возносятся мраморные колонны и легкие арки, выложенные пестрыми плитками. Послы из франкских стран приветствуют султана. Султан Баязид щедро оделяет милостями победителей сербского войска, не забывая по завету своего отца ни великих, ни малых. Я тоже оделен золотом и землей.

Мой брат Хасан преклоняет колени перед тронем султана. Он просит о милости. Он жаждет единственной награды — пусть милостивый султан позволит ему взять в жены Сельви, дочь покойного Абдурахмана Гази. Хасан рассказывает о клятве, которую Абдурахман Гази взял, умирая, со своей жены Зейнаб. Казалось бы, почему сразу нельзя удовлетворить просьбу храброго полководца? Ведь на одной чаше весов справедливости — клятва, данная женщиной умирающему старику, она поклялась не отдавать в жены Хасану свою дочь; для того, чтобы не погубить Хасана, связав его судьбу с судьбой безумной девушки. Но на другой чаше — желание самого Хасана, зрелого человека, отвечающего за себя. Но можно ли сделать исключение? Можно ли отменить клятву, данную человеку, который давно уже мертв? Ведь если сделать исключение один раз, придется после вновь и вновь допускать исключения, пока нарушение клятвы не сделается самым обычным делом!

Султан обещает обдумать просьбу моего брата, посоветоваться с законниками. И действительно, через несколько дней великий муфтий выносит свое решение. Мудрое, как решения древнего иудейского царя Сулеймана. Клятву дала госпожа Зейнаб и должна ее соблюсти. Но после смерти госпожи Зейнаб Хасан может попросить руки Сельви у ее опекунов, и ему не должны отказать!

Светлым солнечным днем я прощаюсь с братом. Я еду в Айдос к родителям, Хасан остается в Брусе. Он говорит, что не в силах видеть Сельви. Он передает мне письмо, в котором просит прощения у родителей. Я думаю о его любви к Сельви. Странная любовь! (Но, кажется, любовь всегда бывает

странной, а если не странная, то, должно быть, не любовь!) Хасан никогда не говорит ни о каких достоинствах Сельви (а какие у бедной больной девушки достоинства? Разве что ее красота и обаяние!), его любовь — некая данность. Вот у человека есть руки, глаза и есть любовь! И любовь эта — такая же необъяснимая частица его существа, как руки или глаза!

— Ну, что мне делать? — Хасан стоит у стремени моего коня. Я сижу в седле. — Убить эту надоедливую докучную старуху? — Я понимаю, что речь идет о госпоже Зейнаб, как не понять! — Придушить ее ночью под маской разбойника с большой дороги? Отравить, как Лазар отравил своего покровителя Стефана? — Хасан смеется нервным коротким смешком. Это напоминает мне смех Лазара.

— Ничего! — отвечаю я. — Ничего не делать! Не сердись на меня! Совсем ничего не делать, потому что делать нечего! — я улыбаюсь. — Просто ждать!

Хасан тянет меня по-детски за руку. Я нагибаюсь с седла и обнимаю брата. Мы хохочем горестно и насмешливо, на большой анадольской дороге. Странная группа — смирный конь, пеший полководец и склонившийся с седла всадник. А вдали на голубом небе светло белеет вершина Олимпа — моей горы. И впереди на дороге, должно быть, уже цветут розы на могиле Омира.

12. Жена Хасана

В какой-то момент своей жизни человек замечает, что время пошло быстрее. Еще недавно я был ребенком, еще недавно полдень тянулся бесконечно, а ночью не хотелось ложиться спать, ночь тоже казалась бесконечной, и было страшно окунуться в эту темную скучную бесконечность. Я не понимал, как это дедушка спит не только ночью, но и днем; а теперь я сам не прочь вздремнуть в полуденный зной. И, должно быть, не только с отдельными людьми так бывает. Вот еще недавно казалось, что нет никого сильнее рыцаря на коне, закованного в прочную тяжелую броню. И вот рыцари наголову разбиты нашей пехотой. Началось новое время — время регулярной армии, в которой пехота — основная сила. А когда-нибудь и это время пройдет и начнется какое-нибудь новое время.

Я провел несколько лет во франкских землях, увидел города, о которых прочел в книгах, — Венецию, Флоренцию, Париж. Об этом я, наверное, когда-нибудь и сам напишу книгу. Я женился. У меня семья — две жены, четыре дочери, три сына. Я женился отнюдь не по страстной любви, обеих

невест мне подыскала мать. Это смирные девушки из хороших семей. Все мы любим друг друга мягкой спокойной любовью, бережно и внимательно относимся к детям. Мне приятно вступать в телесную близость с моими женами. У меня есть некая уверенность, что и им это приятно. Хотя, впрочем, всякий человек, в чем-либо уверенный, выглядит немного комично.

Хасан участвовал еще в нескольких победоносных военных походах. В Брусе он выстроил себе огромный дом. В доме прекрасное убранство, много дорогих ковров и тканей, много красивой утвари и посуды. Этот дом ждет Сельви.

Умер отец. От какой-то внутренней болезни. Мы с Хасаном приглашали к нему самых дорогих и умелых врачей, но ничего не помогло. Как я жалел тогда, что не изучил лекарское искусство!

Перед смертью отец передал мне опекунство над Сельви. Я стал ее официальным опекуном. Теперь, когда Хасан захочет жениться на ней, он должен будет просить у меня позволения.

— А вдруг ты не позволишь мне!— грустно усмехается Хасан.

— Может статься, может статься!— подыгрываю ему я.

Моя мать и госпожа Зейнаб очень постарели, очень сдружились. Целыми днями могут сидеть в саду у фонтана и беседовать о разных пустяках, которые им приятны,— о болезнях старости, о мазях и притираниях для кожи лица, о вышивании, о приготовлении разных варений и солений.

Сельви скоро исполнится тридцать. Она все так же хороша. Время, должно быть, решило на какой-то период оставить ее в покое. Она уже не выглядит двадцатилетней, но все равно выглядит гораздо моложе своего настоящего возраста. Можно сказать, что она здорова, только грустна. И как-то изредка вспоминает о призраке музыканта. Мы скрываем от нее сватовство Хасана. Кто знает, как бы она приняла это известие. Пусть уж она все узнает после смерти госпожи Зейнаб. Если госпожа Зейнаб вообще когда-нибудь умрет! Возможно, она просто переживет нас всех.

Я живу в Брусе, но время от времени наезжаю в Айдос, где остались женщины — мать, госпожа Зейнаб, Сельви. В Айдосе теперь спокойно, им ничего не угрожает, да и дома их надежно охраняются по моему распоряжению.

Иногда я испытываю потребность думать о Панайотисе. Я не забываю его. Но мне не хочется предаваться мыслям о нем дома, где в соседних с моей комнатой покоях играют дети, плачут и смеются, а женщины суетятся, занимаются своими обычными женскими делами. У меня большой дом. Я могу

уединиться в своей комнате или в библиотеке. Но дома я не хочу думать о Панайотисе. У меня делается такое ощущение, будто кто-то неведомый и издевательски-ироничный подслушивает мои мысли, посмеивается над ними. Для того, чтобы подавить это ощущение, я отправляюсь в кофейню. Где ты, моя первая кофейня? Та, из детства! Та, на берегу Босфора. Та, где я впервые узнал горький и странно манящий вкус кофе. Та, где я впервые услышал сказочную историю госпожи Зейнаб-Зенобии, после слышанную мною столько раз, и так непохожую на правду! А потом оказалось, что правда хитра, и не всегда то, что видишь, что можешь потрогать пальцами, и есть правда.

Теперь кофейня для меня — что-то привычное, обыденное. Меня здесь знают. Служитель знает, какой кофе я люблю. (Покрепче, разумеется!) Я сижу среди посторонних мне людей. Я хожу в кофейню подальше от дома, чтобы поменьше встречать знакомых. Сажу, отпиваю горячий кофе маленькими глотками и думаю о Панайотисе, о его страшной судьбе, о том, что вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова. У меня ноет сердце от этих мыслей, и слезы навертываются на глаза. Мне так хочется, чтобы мой друг был со мной. Пусть он сильно изменился, пусть он больше не захочет говорить со мной... Я представляю себе, как его освобождают из тюрьмы, как он живет в моем доме, как я окружаю его заботой, и силы его восстанавливаются. Я все продолжаю посылать ему одежду и провизию. Надо бы справиться у смотрителя, жив ли мой друг. Но, сам не знаю, почему, я боюсь сделать это, боюсь лишиться этого ритуального действия — покупки и посылки Панайотису одежды и припасов.

Однажды я вот таким образом сижу в кофейне, когда туда врывается Хасан (он знает «мою» кофейню). Вид Хасана настолько необычен, что все посетители и завсегдатаи как по команде поднимают головы от чашек и подносов. На Хасана смотрят с любопытством. Кое-кто узнал его, и к любопытству добавилась почтительность.

Хасан быстро движется ко мне. У него растерянное и вместе с тем напряженное лицо. Он подходит, снимает туфли и садится рядом со мной. Я приказываю принести для него кофе.

— Что случилось, Хасан? — спрашиваю я.

Он сначала не отвечает, хватается за чашечку, словно за якорь спасения, начинает с жадностью пить, будто это не горячий густой кофе, а студеной вода. Мне вдруг кажется, что он чем-то испуган.

— Что случилось, Хасан? — повторяю я.

Наконец он оставляет пустую чашку.

— Случилось,— упавшим голосом произносит он.— Госпожа Зейнаб умерла!

Эту фразу он выпаливает, как мальчишка — что-то запретное.

Конечно, я должен что-то сказать, сию минуту. Что-то незначительное, вроде «да», или «не может быть», или еще что-нибудь в этом роде. Тогда легче будет начать настоящий разговор. Но я ничего не могу сказать. Я молчу и смотрю на брата. Прославленный полководец, которому пошел пятый десяток, он теперь выглядит явно испуганным, растерянным.

Наконец я нашелся.

— Ну, Хасан,— говорю я.— Это ведь совсем ничего не значит! И никто уже и не помнит о твоей просьбе. Успокойся, Хасан! Ты что же, решил, что тебя насильно заставят? Не хочешь — и не надо. Живи спокойно.

Он внимательно слушает эти мои довольно бессвязные утешения и объяснения (если произносимые мною слова вообще можно так назвать!). В сущности, я хочу сказать ему очень простую вещь — если он больше не хочет жениться на Сельви, ну и не надо. Никто уже и не помнит о том, что он когда-то просил у султана дозволения жениться на ней.

Еще одна человеческая странность — вот человек чего-то до смерти желал, жаждал; и все знали об этой его жажде; кто сочувствовал, кто отговаривал, кто советовал; короче, все были при деле; и вдруг становится возможным исполнить это сокровенное желание самым что ни на есть обычным способом; и человек — в растерянности; он так привык жить осознанием этой заведомой неисполнимости своего заветного желания, что, когда появилась возможность простого воплощения этого желания в живой жизни, человеку стало не по себе; он не может разобраться в своих чувствах; и все сильнее он чувствует, что не хочет, не хочет, не желает исполнения своего желания. Вот это самое, наверное, и происходит сейчас с моим братом.

А далее человек решает, что он просто должен, обязан воспользоваться обстоятельствами и исполнить свое желание. Ведь если он откажется, что подумают люди? Они, разочарованные, будут считать его таким же скучным и обыкновенным, как они сами. Нет, нет, он должен, он обязан, ради людей.

Так я размышляю немного иронически.

Потом я снова возобновляю свои попытки осторожно объяснить Хасану, что он вовсе не должен, не обязан жениться на Сельви. Но, наверное, я перегнул палку; наверное, в моем голосе брат почувствовал какие-то неприятные для него интонации. Теперь он уже не приемлет мои попытки отгово-

рить его от необдуманного решения. Он так и рубит сплеча.

— Я прошу у тебя руки Сельви, — говорит он, — ведь ты ее опекун.

Я понимаю, что отговаривать его, убеждать — бесполезно.

— Я даю свое согласие, — спокойно отвечаю я.

— Благодарю. Я, собственно, за этим и искал тебя.

Брат поднимается, обувается и выходит из кофейни.

«Вовсе не за этим, — думаю я. — Не за этим ты меня искал.

Ну да ладно».

Я приказываю принести мне еще кофе. И принимаюсь грызть себя — может быть, я мало отговаривал Хасана? Поленился? Может быть, попробовать еще раз поговорить с ним? Ведь я знаю, что этот брак не будет счастливым, ни для Хасана, ни для Сельви. И главное — я даже не могу отказать ему! Ведь в свое время было вынесено решение о том, что после смерти госпожи Зейнаб опекуны Сельви не должны отказывать Хасану. Кроме того, я уверен, что Сельви начнет противиться. Придется уговаривать Сельви. Ну, пусть этим займется моя мать. Вот еще хлопоты свалились на мою бедную голову. А я-то думал отдохнуть после целого года в Париже. И вот никакого отдыха не предвидится — ни приятного чтения в прохладном помещении библиотеки, ни игр с детьми, ни милых поездок всей семьей за город — ничего. Придется устраивать свадьбу, уговаривать и утешать Сельви, и еще Бог знает что.

— Хасан просит твоей руки, — объявила моя мать Сельви.

Как я и полагал, Сельви ответила, что не пойдет за Хасана.

Мать принялась уговаривать ее. И чем горячее уговаривала, тем сильнее Сельви противилась.

Хасан был мрачен.

Все мы приехали в Айдос для того, чтобы здесь отпраздновать свадьбу, и потом ехать в Брусу.

Но до свадьбы было еще очень далеко.

Наконец мать сказала мне, что Сельви снова впала в состояние безумия. Болезнь проявилась открыто, как проявлялась в детстве.

Почему-то я нисколько не сомневался, что Сельви просто притворяется. Она это умела. Я еще помнил, как она когда-то притворилась, будто забыла загородную прогулку, во время которой впервые увидела Панайотиса.

Внезапно я поймал себя на мысли о том, что думаю о Сельви, как о чем-то докучном, раздражающем. А ведь я так любил ее в детстве, и после, когда мы выросли, я любил ее, как мог бы любить родную сестру. И вот теперь я совсем не люблю ее. Она раздражает меня.

Бедная Сельви! Теперь ее никто не любит. Она никому не нужна. Один за другим ушли от нее люди, любившие ее. Умер ее отец, вот и мать умерла, Панайотис в тюрьме, я больше не люблю ее; моя мать, кажется, устала от нее. Но ведь остается любовь Хасана. Вот единственный человек, любящий ее теперь. Зачем же пренебрегать этой любовью?

«Решено,— подумал я,— вот об этом я ей и скажу».

Я решил поговорить с Сельви.

Когда я вошел в ее комнату, она поднялась с маленькой круглой скамеечки, на которой сидела у стола, обтянув платьем колени, и нарочитым жестом махнула рукой.

— Пусть он уйдет,— сказала она.

Я понял, что она приняла свое решение — притворяться безумной. Она, конечно, умела притворяться (все умеют), но умела плохо. Я сразу увидел, что она притворяется.

— Я хочу поговорить с тобой, Сельви,— сказал я, присаживаясь на подушку на ковре.

Она в ответ распустила свои длинные волосы, занавесила темно-каштановыми прядями лицо и нарочито-дико поглядывала на меня сквозь эту волосяную завесу.

— Не надо, Сельви,— я кликнул служанку и велел ей принести кофе для меня и для Сельви.

Кофе явился. Служанка ушла.

— Выпьем кофе, Сельви,— предложил я.

Она не отозвалась.

— Послушай, Сельви,— я отхлебнул из чашки,— то есть, ты можешь слушать меня, а можешь не слушать. Зачем эти капризы? Ты совсем одна. Твои родители умерли. Моя мать уже стара. У меня семья и я не могу уделить тебе много времени. А Хасан любит тебя уже много лет. Он будет заботиться о тебе, тебе будет хорошо в его доме. Он готов исполнять любые твои желания.

— У меня нет желаний.

«Хорошо,— подумал я.— Значит, оставила притворство. Отвечаешь, как нормальный человек».

— Соглашайся на брак с Хасаном, Сельви,— я поставил на поднос пустую чашку, выпил воды.— Я прошу тебя об этом. Моя мать просит. Мы будем рады знать, что ты пристроена в этой жизни, что о тебе хорошо заботятся.

— Мой отец не хотел этого брака.

— Твой отец взял клятву с госпожи Зейнаб в том, что она не выдаст тебя за Хасана. Но госпожа Зейнаб умерла. А по указанию самого султана было принято решение — не отказывать Хасану, если он после смерти твоей матери попросит твоей руки. Видишь, я искренен с тобой. Хасан — единственный человек, который любит тебя.

Сельви зло посмотрела на меня, откинула распушенные волосы назад и заговорила, плача:

— Какой ты двуличный, Чамил. Сколько в тебе лицемерия. Ты давно разлюбил меня, ты уже не любишь меня даже, как сестру. Но вместо того, чтобы сказать об этом прямо, ссылаешься на семью, которая, якобы, отнимает у тебя слишком много времени. Когда-то ты разлюбил меня за то, что я была больна. Я не упрекаю тебя, хотя я не была виновна в своей болезни. Ты отнял у меня любимого. Но я снова отказываюсь упрекать тебя. Сейчас ты лицемерно уговариваешь меня выйти замуж за Хасана. Ты ведь знаешь, что я буду несчастна с ним. Но ты во что бы то ни стало хочешь исполнить его прихоть. Ибо его любовь ко мне — прихоть, и, уверяю тебя, прихоть, ведущая его прямым путем к безумию. Обо мне, о моей жизни ты не думаешь. Ты все говоришь о том, что никто не любит меня. Как же ты забыл о человеке, который любит меня, о своем друге? Ведь ты даже не знаешь, жив ли он?

— Сельви, да, я ничего не говорю о Панайотисе. Но вовсе не из лицемерия, а всего лишь потому, что не хочу напрасно мучить тебя, говоря о нем.

Она опустила голову. Кофе она даже не коснулась.

— Я не хочу видеть тебя, разговаривать с тобой. Ты мне неприятен. Уйди. И больше не уговаривайте меня. Ни ты, ни твоя мать. Хорошо. Я выйду замуж за Хасана.

— Я благодарен тебе, Сельви, за твое решение, — учтиво ответил я. И с этими словами покинул комнату.

Началась подготовка к свадьбе. Как всегда — суматоха, шум. Множество покупок.

Хасан уехал в Брусу — подновить свой дом. Вернулся он довольно скоро. Привез много подарков для Сельви — кучу золотых украшений — кольца, браслеты, ожерелья — все это с жемчугом и драгоценными камнями — все вещи прекрасной работы. Даже моя мать, много повидавшая на своем веку, удивлялась этим украшениям и щедрости Хасана.

Еще он привез для Сельви новую служанку — немую девушку. Мне это показалось мрачным.

— Зачем ты взял немую? — спросил я.

— Мне сказали, что она очень искусна в уходе за знатными дамами. Умеет и причесать, и умыть, и одеть. А что немая, так это даже хорошо, меньше будет сплетничать.

Немая служанка была рослая девушка, вся какая-то плоская, с прямыми и светлыми, как пакля, волосами. Ее голубые глаза все время были широко раскрыты или просто казались широко раскрытыми. Ее еще девочкой вывезли из каких-то дальних славянских земель, воспитали в правой

вере, обучили, как холить и украшать женскую плоть. Что-то в ее лице казалось мне неуловимо знакомым, но где я видел подобные черты прежде, я не мог припомнить. Она, как многие глухонемые, была некрасива, но в грубых чертах ее лица проглядывало и какое-то изящество. Например, у нее был красивый подбородок, нежно-округло вылепленный, с маленькой ямочкой.

Хасан пригласил множество гостей.

Сельви вела себя нормально. Ей передали подарки Хасана, она приняла их.

Хасан вел себя немного по-детски. Ему вдруг захотелось, чтобы на его свадьбе были воспроизведены все обычаи свадебные, какие только были. Он все выпрашивал мою мать и других старых людей о свадебных обычаях.

Сама свадьба мне запомнилась как что-то шумное и смутное.

С утра прислали свадебный наряд для невесты — подарок жениха. Когда моя мать развернула и посмотрела, она сказала, что Хасан, должно быть, сошел с ума, так дорого это стоило.

Помню, как я обувал невесту и клал, по обычаю, в ее туфли золотые монеты.

После совершения брачной церемонии Хасан надел на шею Сельви ожерелье в три ряда из золотых же монет.

Свадебный пир в Айдосе длился неделю. Потом невесту (впрочем, теперь уже супругу) Хасана повезли в Брусу. Ехали шумным караваном, с музыкантами и танцорами.

Моя мать рассказала мне, что когда она спросила у Сельви, как прошла брачная ночь, Сельви ответила, что брачной ночи еще не было, Хасан отложил это до возвращения в Брусу. Мне это не очень понравилось, потому что показалось признаком того, что он нервничает и чего-то боится. Но ни я, ни моя мать ничего не стали ему говорить, чтобы не смутить и не раздражить его еще больше.

Я не хотел, чтобы мать оставалась в Айдосе, совсем одна, и был очень рад, когда уговорил ее переехать в Брусу.

Дом, в котором жили отец и мать, я пока сдал внаем. Думал было продать, но после решил, что он мне еще пригодится, когда я буду наезжать в Айдос. Загородный дом на берегу Босфора я запер и решил, что мы будем приезжать сюда на лето. Все эти хлопоты отняли какое-то время.

Что касается дома, где жила Сельви, то он был просто заперт, но это меня уже не касалось, хозяевами были Хасан и Сельви, супружеская пара. Вот пусть Хасан и заботится об имуществе Сельви, я уже заботился достаточно.

13. Безумие

Едва мы прибыли в Брусу, как моя мать тотчас послала служанку в дом Хасана — справиться о Сельви.

Служанка вернулась с известием, что госпожа Сельви никого не принимает. Так сказали служанке.

Мать встревожилась и написала Хасану письмо с просьбой прийти к ней.

Хасан не пришел, но ответил вежливым письмом, извинялся, уведомлял нас всех, что плохо себя чувствует (должно быть, переутомился на свадьбе) и потому не выходит из дома. Сельви при нем, и они оба вполне счастливы.

Я чувствовал во всем этом что-то странное и зловещее. Но с возрастом у меня пропала всякая охота к приключениям. В конце концов, почему я должен приглядывать за Хасаном и его супругой, вмешиваться в их семейную жизнь? «Что я — сторож брату своему?» — как говорят христиане.

Но мать все тревожилась. Она написала письмо Сельви. Та не ответила. Мать стала изо дня в день говорить мне, что я должен пойти к Хасану и все узнать.

— Что я должен узнать? — раздраженно спрашивал я.

Мать упрекала меня в пренебрежении интересами семьи.

— Наоборот, — заметил я. — Я только и делаю, что целыми днями забочусь о тебе, об Амиде и Фатиме (мои жены), о детях. А ты хочешь, чтобы я еще и вмешивался в жизнь Хасана.

— Но разве ты не чувствуешь, что с Хасаном и Сельви что-то неладное творится? Разве ты не чувствуешь?

Да, конечно, я это чувствовал. И знал, что мне придется в скором времени вмешаться во что-то ужасное и нелепое, и сотворят это ужасное и нелепое, конечно же, Хасан и Сельви. Я все знал, все чувствовал, обо всем догадывался. Я просто оттягивал время. Но я знал, что рано или поздно меня, любителя нормальной жизни, непременно привлекут в нелепые сети каких-нибудь безумных поступков Сельви и Хасана.

Так все и случилось.

Однажды ранним утром нашу семью разбудил громкий стук в ворота и крики:

— Отворите! Отворите скорей!

Все мы вскочили, наспех накидывая одежду. Моя маленькая дочь, годовалая Малика, заплакала и никак не могла успокоиться. Это еще увеличило суматоху в доме. Кормилица укачивала малышку. Другие дети тоже проснулись и поглядывали любопытными и испуганными глазенками.

Я очень люблю своих детей. И теперь я был страшно раздражен тем, что нормальная жизнь моих детей нарушается

Бог знает из-за чего, из-за чьих-то прихотей и глупостей. Те времена, когда я сам жил своими прихотями, например, покровительствовал любви Панайотиса и Сельви, те времена давно прошли.

Я велел кормилице и няне увести детей, а привратнику приказал отворить ворота.

У ворот стояли стражники из городской стражи. Они привели... Ну, вы догадываетесь, кого? Да, вы не ошиблись, правильно угадали. Конечно, они привели Сельви!

Она была похудевшая, измученная. И, по всему видно, совершенно обезумевшая. И не притворялась на этот раз. Глаза ее смотрели одичалым взглядом, лицо потемнело, волосы свалились и поредели. Она молчала, смотрела прямо перед собой и будто ничего не видела. Ноги ее были босы. Стражники, обходя дозором рыночную площадь, заметили какую-то женщину, сидевшую на земле. Они подошли поближе и узнали Сельви. Они ее видели, когда Хасан устроил в Брусе свадебное торжество и показал невесту гостям и другим горожанам, всем, кто званый или незваный явился на свадьбу.

Ее повели к дому Хасана. Но она, видно, поняла, куда ее ведут, вырвалась и побежала очень проворно. Стражники побежали следом за ней. Она бежала прямо к моему дому. Они поняли, что она не хочет возвращаться к Хасану, и решили оставить ее у меня.

— Дело здесь нечисто, — сказал один из них.

Мать расплакалась при виде Сельви, обняла ее, повела в дом.

Бедную Сельви умыли, одели. Но она все сидела молча, понутив голову.

— Надо послать за Хасаном и потребовать от него объяснений, — сказала моя мать.

— Не стоит посылать, — ответил я. — Думаю, он сам скоро явится — требовать объяснений от нас!

— Сельви должна остаться у нас, — решила мать. — Что он сделал с ней? Уж не сошел ли он с ума?

— Вольно же всем сходить с ума! — сердито бросил я. — Только я обязан всегда быть разумным и серьезным.

Разумеется, днем в наш дом пожаловал Хасан.

— Я пришел взять Сельви, — уже с порога заявил он. — Вот и носилки со мной.

Выглядел Хасан, как обычно.

— погоди, — заметил я, — сначала объясни, почему Сельви оказалась на площади и в таком виде? Нам ясно, что она убежала из твоего дома. Но почему? Что произошло между вами? Почему ты лгал моей матери, будто у вас все хорошо?

— Это что, допрос в суде? — заносчиво спросил Хасан.

— Нет, это просто попытка узнать, что же произошло с младшей сестрой моей матери.

— Я не обязан давать тебе отчет.

— Но она больна.

— Дома ее лечат. Приходится держать ее под замком. Вот служанка не доглядела, Сельви и сбежала.

— Немая служанка? — вспомнил я.

Он кивнул.

— Да, немая.

— Хасан, почему ты не давал нам знать о болезни Сельви?

— Я боялся, что вы подумаете, будто я дурно обращаюсь с ней и она из-за этого заболела.

— Обычно ее болезненным припадкам всегда предшествовали какие-нибудь потрясения.

— Потрясение было.

— Какое?

— Брачная ночь!

— Но... — вопрос замер у меня на губах. Я примерно представлял себе, что могло произойти в брачную ночь.

— Но вы стали мужем и женой? — тихо спросил я.

— Да.

— В чем же дело? Ее так потрясла обычная боль? Или ты был груб с нею?

— Нет.

— Что же тогда?

— Виновен не я.

— Она?

— Нет.

— Кто же?

— Не все ли тебе равно?

— Может быть, ты хочешь сказать, что Сельви потеряла девственность еще до первой ночи с тобой?

— Сказать так, значит, оскорбить ее!

— Но мое предположение верно?

— Да.

— И теперь ты мстишь ей, держишь ее взаперти.

— Нет, не так.

— Что же тогда?

— Не могу сказать. Ни тебе, Чамил, ни кому-нибудь другому. Никому.

— Сельви останется у нас.

— Нет, нет! — воскликнул он с отчаянием.

— Она больна.

— Я сам ухаживаю за ней Чамил! Не отнимай ее у меня. После той первой ночи я осознал, что не могу жить без этой телесной близости с ней

— Ты хочешь сказать,— строго начал я,— что вступаешь в телесную близость с больной, не помнящей себя женщиной? Это дурно, Хасан.

— Не тебе меня учить. Мальчишка! Это моя жена.

— Она останется здесь, пока здоровье ее не поправится.

— Нет!

— Ступай домой, Хасан.

— Нет, я не домой пойду,— выкрикнул Хасан.— Я пойду отсюда прямо в суд! И пусть суд решит, где должна находиться женщина — в доме своей сестры и ее сына, или же в доме своего мужа!

14. Игра

Когда Хасан ушел, я прошел в комнату Сельви.

Она сидела на постели и, натянув на растопыренные пальцы обрывок тонкой бечевки, играла в эту старинную игру — вывязывала на пальцах разные узоры, фигуры, что-то отдаленно напоминающие. Девочки, когда играют в эту игру, обычно приговаривают что-то вроде: «дом, гроб, колыбель» и так далее, в зависимости от того, на что по их разумению подходят фигуры.

Но Сельви играла молча. Увидев меня, она посмотрела равнодушно и продолжала играть. Она не узнавала меня.

Я сел напротив нее и задумался.

Я вспомнил, как она играла, когда мы были детьми, в ту же игру, сидя рядом со мной. Тогда я любил ее. Потом перестал любить. Ее болезнь убила мою любовь. Потом я любил ее, как сестру. Сейчас я совсем не люблю ее. Разумеется, я не властен над своим сердцем. Но все же я чувствую, что это дурно — то, что я не люблю, то, что я разлюбил ее из-за ее болезни.

Я подумал о своей семье, о детях. Я люблю моих детей. Во имя этой любви я многим готов пожертвовать. Но сейчас я вдруг понял, что моя любовь к детям отдаляет меня от людей. Мои дети — это одно, а все остальные люди — нечто иное. Интересами этих остальных людей я всегда готов жертвовать во имя своей семьи.

Значит, мои дети, моя семья, моя любовь к моей семье — все это всего лишь повод для того, чтобы не любить людей.

Я внушаю себе, что та жизнь, которую я веду, это нормальная жизнь, а всякий, кто пытается жить и любить иначе — ненормальный человек, и его чувства не имеют особого значения, кажутся мне несерьезными, нелепыми, ненужными и никчемными.

Вот к чему я в этой жизни пришел. Вот так огрубели и уплощились мои чувства.

Я сижу против безумной Сельви и смотрю на ее игру. Сельви не узнает меня.

15. Суд

Хасан действительно отправился в суд, и пришлось мне отправиться к городскому кади в качестве ответчика.

Хасан обвинил меня в том, что я незаконно держу в своем доме его жену.

Я ответил, что моя мать — родная единокровная сестра жены Хасана, у них один отец. Кроме того, я был опекуном жены Хасана до ее замужества.

Кади счел, что все это не является достаточным основанием для того, чтобы жена Хасана жила в моем доме без согласия своего мужа.

Я указал на то, что внезапная болезнь Сельви — несомненно, есть следствие того, что муж плохо обращается с ней.

Но Хасан возразил, что может представить свидетелей, старых слуг и служанок, которые подтвердят, что Сельви болела и прежде.

Суд был отложен, и в следующий раз Хасан привел свидетелей, которые подтвердили его слова.

Я в свою очередь привел свидетелей (моих слуг и служанок), которые показали, что, когда Сельви привели в мой дом стражники, она выглядела не только тяжело больной, но и грязной, измученной, была плохо одета. Было похоже на то, что за ней плохо ухаживают.

Хасан возразил, что за его больной женой ухаживала служанка, нарочно для того приставленная к ней, и ухаживала хорошо. А если женщина выглядела оборванной, грязной, измученной, то это всего лишь следствие ее побега из дома. Она разорвала платье, когда бежала, и выпачкалась на рыночной площади.

Кончилось все тем, что суд признал доказательства, представленные Хасаном, вполне достаточными для того, чтобы вернуть его жену в его дом.

Нам пришлось отдать Сельви.

Она оставалась все такой же безучастной. Увидев Хасана, вначале стала упираться, затем покорно позволила увести себя. И все молчала.

Моя мать была всем этим очень огорчена, винила себя. А я чувствовал лишь усталость от жизни и оцепенение.

16. Исчезновение

Вскоре после этого мне снова пришлось пережить потрясение.

На этот раз дело касалось тюрьмы.

Султан назначил специальных чиновников — ревизовать городскую тюрьму. Об этом говорили. Я также узнал об этом. И даже втайне от самого себя стал надеяться на то, что, быть может, отпустят на свободу Панайотиса.

Я никогда не забывал моего друга. Он был единственное светлое в моей жизни. Сельви изменилась до неузнаваемости. Хасан стал чужим и враждебным. И только Панайотис в моем сознании, в моей памяти остался прежним. И когда я вспоминал его, я вспоминал и прежнего себя. Мне казалось, что прежде я был чище, лучше.

И вот меня снова вызвали в суд. На этот раз я выступил в роли свидетеля, а также в роли потерпевшего.

Мне задали вопрос, посылал ли я одному из заключенных одежду и провизию.

Я ответил, что да, посылал.

Спросили, сколько лет подряд я это делал.

Я прикинул.

Оказалось, почти двадцать лет (если не все двадцать).

Короче, в руки чиновников, ревизовавших тюрьму, попали съестные припасы и одежда, которые я в очередной раз прислал Панайотису. Чиновники взялись выяснять, кому все это предназначено.

И тут вдруг выяснилось, что много лет подряд я помогаю заключенному, которого нет в тюрьме.

Все, что я присылал, смотритель тюрьмы и другие ее служители просто-напросто делили между собой. Это было тем более легко, что я не справлялся о заключенном друге.

Они бы и последнее, присланное мной, разделили бы между собой, если бы оно случайно не попало в руки чиновников-ревизоров.

Как же все это вышло?

Оказывается, Панайотис даже и не сидел в тюрьме в Брусе ни одного дня.

Он бежал, когда его везли из Айдоса.

Стражники, которые везли его, боялись, что им придется отвечать за то, что упустили важного преступника, приговоренного к пожизненному заключению. Поэтому они добрались до Брусы и там вступили в сговор с тюремным смотрителем и его помощниками. То есть, за определенную мзду смотритель внес несуществующего заключенного в списки.

А тут и я начал присылать одежду и съестное. Иметь такого заключенного, как Панайотис, который существует лишь в общих списках заключенных и потому не доставляет хлопот, а даже напротив, приносит выгоду, оказалось очень приятно, доходно и удобно.

Но вот этой хорошей жизни пришел конец. Все было раскрыто, и пришлось тюремным служителям самим превращаться в заключенных.

Известие о том, что Панайотис все эти годы провел не в тюрьме, более чем ошеломило меня. Значит, все, о чем я так много размышлял все эти годы, все, чем я жил, было основано на мнимости. Значит, во всем этом реальны были лишь мои мысли и чувства, а тот, кому они адресовались, оказался мнимостью, фантомом.

Затем я подумал, что Панайотис, должно быть, бежал далеко, куда-нибудь в земли франков.

И, конечно, я испытывал нечто вроде разочарования. И, конечно, Панайотис, живой, где-то там живущий какой-то жизнью, быть может, похожей на мою, уже не казался мне чистым и светлым. Но я даже не удивился такому обороту своих мыслей, такой смене чувств. Я уже немного узнал и людей и даже себя.

17. Жизнь

Прошло лет десять. Моя мать умерла. Дети росли. Изредка я видел в городе Хасана. Иногда он являлся ко двору. Но что-то словно бы отделяло его от остальной жизни, от людей какой-то невидимой стеной. Порою он выглядел совсем одиачавшим, несмотря на то, что одевался по-прежнему нарядно и богато.

Сельви я не видел. Но поскольку в доме Хасана не было ни похорон, ни поминок, я приходил к выводу, что она жива.

18. И снова исчезновение

Но однажды ко мне пришел один из доверенных слуг Хасана и рассказал, что господин его исчез.

Сначала я не поверил.

Затем напряг память и вспомнил, когда видел брата в последний раз. Это было... я назвал слуге число. Хасан ехал через рыночную площадь.

— И вскоре после того он исчез? — спросил я слугу.

— Да, вскоре. Если только не в тот же самый день!

— День еще выдался очень жаркий, — уточнил я.

Так и оказалось.

Об исчезновении полководца Хасана Гази донесли султану. Он распорядился искать и найти или самого Хасана, или его труп. Управлять имуществом Хасана он назначил меня. Считалось, что это только до возвращения Хасана. Но я уже чувствовал, что Хасан не вернется.

19. Сельви — Бруса

Слуги и служанки в доме Хасана показали мне Сельви. Она сидела взаперти в отдаленном строении во дворе. Когда-то в детстве она, помню, что-то такое говорила, о том, что хотела бы жить в каком-нибудь отдаленном строении. И вот, значит, сбылось.

Она никого не узнавала, но не казалась неухоженной. Ухаживала за ней та самая глухонемая служанка, которую Хасан когда-то нанял.

Сельви не узнала меня. Служанка сказала, что ее госпожа никого не узнает.

Очень изменилась Сельви, страшно подурнела, я тоже с трудом узнавал ее.

20. Страшная находка

Жаль, что это случилось чуть ли не в день свадьбы моей старшей дочери.

Я устал от шума и суеты и решил проехаться за город. Добрался до своей любимой горы.

Вот он, мой Олимп. Я сошел с коня и стал медленно подниматься по склону.

Вдруг — окликают, догоняют меня.

Я обернулся — мой лучший слуга, его отец служил еще моему деду, отцу моего отца.

— Что случилось, Али? На тебе лица нет.

И вправду лица не было.

Я начал поспешный спуск. Слуга мой, напротив, стал подниматься ко мне. Где-то на полдороге мы встретились.

— Госпожа Амида (моя старшая жена) просила вас вернуться. Очень просила.

Я знаю, что моя старшая жена — умная женщина, спокойная, и не станет зря тревожить меня. Поэтому я испугался и всю дорогу до дома, пока мы ехали, выпрашивал у слуги, что же все-таки произошло.

Он отвечал мне, что мои жены и дети, и Сельви — все здоровы.

— Что же тогда?

— Вы все увидите своими глазами. Мне и говорить не хочется.

Ему не хотелось говорить, а я не знал, что думать.

У ворот меня встретила Амида.

— Только не показывай вида! — шепнула она. — Ведь готовимся к свадьбе. Пусть никто ничего не знает. Вот только Али да садовник.

Мы прошли во двор, мимо конюшен и других строений.

Мы перебрались в дом Хасана с год тому назад, потому что я затеял переделывать наш дом.

Из объяснений жены я понял, что садовник должен был что-то перекопать во дворе за домом. Он принялся за работу и вскоре натолкнулся на страшное.

Когда я подошел, они уже лежали на дерюге. Оба трупа. Только что откопанных. Солнце щедро тратило на них, уже ничего не чувствовавших, свои теплые животворные лучи. Должно быть, солнце думало не о них, но о тех мухах и червях, которых уже вскармливала их плоть. Трупы сильно подверглись разложению. Но одежда... Ее можно было узнать... И черты лица... И мой тамбур, когда-то я подарил Панайотису... Да, одним из мертвецов был мой старший брат Хасан, вторым — мой единственный друг Панайотис.

Я пристально вглядывался в его лицо. Это был он. Он снова был со мной. Мне казалось, что лицо его (то, что осталось от его лица) не было лицом зрелого мужчины, разменявшего пятый десяток, но так и осталось лицом семнадцатилетнего юноши. Мой светлый мальчик. Не обманул меня, не изменился. Пришел. Он здесь, со мной.

Хасан был одет в домашнюю одежду. Панайотис — в нарядный красно-желтый шелковый халат и белый тюрбан — призрак музыканта!

Они умерли разной смертью. Хасан — от удара ножом в горло. Панайотис был задушен.

Кто же убийца? Или убийцы? Как оказался здесь Панайотис? Искал Сельви? Бедный мой друг. Он сохранил тамбур — мой подарок. Когда-то я подарил ему и его священную книгу — Евангелие. Кто знает, сохранил ли он эту книгу.

Может быть, Сельви что-то знала о случившемся? Но ее, не осознающую себя, и спрашивать не стоило.

— Думаю, надо бы спросить глухонемую,— предложила моя жена.— Ведь она давно прислуживает Сельви. Она наверняка что-то знает.

Пошли за глухонемой. Отыскали. Я следил, как она себя поведет, увидев трупы. Она не испугалась, только поморщилась.

— Как же говорить с ней? — раздумывал я вслух.

— Знаками,— подсказал Али.

— Много мы пойдем через ее знаки! Здесь история очень запутанная, видно сразу,— заметил садовник.

— Я буду говорить,— произнесла вдруг девушка глухим надтреснутым голосом.

— Ты, стало быть, не глухая и не немая,— сказал садовник.— Зачем же ты притворялась?

— Чтобы больше знать,— ответила девушка этим своим голосом, не повернув головы в сторону садовника.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Анна.

— Где-то я уже слышал это имя.

— Оно часто встречается,— вступила в разговор моя жена.

— Нет. Я не это имел в виду. А! Вспомнил. Так звали мать Панайотиса.

Девушка рассказала, что служила у одной госпожи как рабыня. Однажды она услышала разговор о женитьбе Хасана Гази, о том, что он ищет для своей жены опытную служанку. Когда господин Хасан пришел в гости к мужу ее хозяйки, девушка подкараулила его у ворот и подала маленькое письмо, в котором писала о том, какая она умелая прислужница, и просила взять ее в услужение. Хасан справился о ней у ее хозяев, те все подтвердили. Так она стала служанкой жены Хасана.

— Но зачем ты этого добивалась? — спросила Амида.— Ты была влюблена в него?

— Нет,— девушка покачала головой.— Скорее напротив! Я родом из селения Харман Кая. Этот человек,— она указала на Панайотиса,— приходится мне двоюродным братом. Меня и звали, как его мать, мою крестную.

Так вот чьи черты проглядывали в ее лице — черты Панайотиса.

— После смерти своего мужа госпожа Анна, мать Панайотиса, ушла в монастырь и его отдала в мужской монастырь архангела Михаила. О его имуществе, оставшемся в Харман Кая, заботился один старый монах, очень добрый и веселый, отец Анастасиос. Он позволил нам, мне, моей матери и двум моим братишкам жить в доме Панайотиса. Мы были бедны. Однажды ночью вдруг прискакали турки на конях. Они искали Панайотиса, говорили, будто он похитил девушку. Они

сожгли в деревне несколько домов и убивали людей. Наш дом, дом Панайотиса, сожгли в первую очередь. Мою мать убили, когда она пыталась спасти хоть что-то из имущества. Братья мои сгорели заживо. Я была еще маленькая. Никому не была нужна, осталась сиротой. Никто не заботился обо мне. Панайотиса, говорили, что не то казнили, не то посадили в тюрьму. Отца Анастасиоса сослали в дальний какой-то монастырь.

Девушка посмотрела на лежащие трупы и вздрогнула. Мы все еще не знали, как нам быть. Я и сам не понимал, почему я не прикажу закрыть тела. Или нет, я прекрасно понимал, почему. Потому что я хотел видеть их, смотреть на их полуразложившиеся лица.

— Я бродила по деревне. Голодная. Иной раз меня подкармливали сердобольные женщины. Какие-то путники проходили через Харман Кая и взяли меня с собой. Я доверчиво пошла за ними. Потому что они покормили меня. Мне было восемь лет. Но один из них стал жить со мной, как с женщиной. Я много вытерпела в этой жизни. Всего рассказывать не стану. Мне было так горько и больно, что я решила больше не произносить ни слова. Так и сделала.

Люди, которые увели меня из Харман Кая, сели на корабль и меня взяли с собой. Мы долго плыли. В жаркой стране, где росли высокие деревья с широкими зелеными листьями, меня продали в один дом. Я все молчала. Обучали меня ремеслу, как прислуживать знатным богатым женщинам. Я многое умею.

Приехал к моим хозяевам человек в гости, и меня подарили ему. Снова он вез меня на корабле. Я поняла, что плыву на родину и благодарила Бога. От этого человека у меня было двое детей, но оба умерли сразу после рождения. Переходя из рук в руки, попала я в Брусу.

И вот увидела я того, кто был виновником всех моих горестей. Потому что это господин Хасан сжег наш дом, убил мою мать, и братья мои сгорели!— девушка всхлипнула.

Я внимательно посмотрел на нее. Она была не так уж молода. Ей было уже лет тридцать.

— Господин Хасан,— продолжала девушка, и в голосе ее послышалась нескрываемая злоба,— говорили после, сделал все это из-за любви. Он был влюблен в ту самую красавицу, которую похитил наш Панко. Вот отчего господин Хасан был так свиреп! От любви!— губы девушки скривились насмешливо.— Я решила отомстить за свою погубленную жизнь!

— Ты убила его? — тихо спросила моя жена.

— Я хотела убить его. Но когда я узнала его жизнь, я поняла, что убить его было бы для него благодеянием. Нет, надо было, чтобы он жил и мучился, мучился!

А он мучился!

Сейчас расскажу вам, почему.

Вот что рассказал мне Панко.

Когда его везли в тюрьму в столицу, ему удалось бежать, захватив с собой один сверток, что дал ему на дорогу его друг Чамил. Я знаю, это вы, — она указала на меня. — Перед ним снова раскрылась жизнь. Он мог идти, куда угодно. Мог бежать в далекие земли. Но он предпочел явиться к своей возлюбленной, к той самой девушке. Она обрадовалась, увидев его, но бежать с ним больше не пожелала. Она сказала, что их новый побег принесет людям новые несчастья. Она уже знала о том, что случилось в Харман Кая, а мальчика-слугу, который тогда помог им бежать, убил ее разгневанный отец. И вот она не захотела бежать во второй раз. Пожалела людей, чужих, просто за то, что это люди. Просто. За это и я ее после жалела, когда судьба нас свела.

И вот Панайотис стал прятаться. В Айдосе рассказывали такую легенду — о призраке юноши-музыканта, который несет несчастье. Панайотис пробирался к своей возлюбленной, облачившись в такой костюм, в каком, как рассказывали, является этот призрак. Он думал, что если его кто и увидит, то и примет за этот призрак, а не за живого человека. Да и девушка время от времени говорила родным, будто видит призрак музыканта. Они решили, что, если от их любви появится ребенок, они откроются людям и уже никто не сможет разлучить их. Но от великой любви дети, должно быть, не рождаются, а только от грязи и горя, — она вздохнула. — Так и жили влюбленные. Иногда девушка говорила Панайотису, что из-за нее он губит свою жизнь, зарывает в землю свои дарования. Но он отвечал, что в жизни ему нужно лишь одно — она!

Он прятался, скрывался. Порою просто скрывался в ее доме.

Потом девушку решили выдать замуж. За слабоумного. В первую же ночь Панайотис пробрался в спальню новобрачных и, когда муж хотел обнять молодую жену, Панайотис едва не придушил его. После тот утверждал, будто его чуть не придушил призрак музыканта.

Спустя еще какое-то время девушку хотел похитить разбойник, и снова Панайотис спас ее, он убил разбойника.

А думали на девушку, будто это она сама убила разбойника и едва не удушила нежеланного мужа.

Так они жили и только грустили оттого, что у них не было детей.

Но вот девушку выдали замуж за господина Хасана, а я стала ее прислужницей. Сначала я готова была ненавидеть ее

за то, что она была красива, за то, что ее любили такой любовью, за то, что она была косвенной виновницей моей злой судьбы. Но, когда я ее увидела и стала служить ей, я полюбила ее за кроткий нрав и доброту. Я стала поверенной ее тайн.

21. Брачная ночь

В первую их ночь Панайотис явился в своей одежде музыканта. Он хотел помешать господину Хасану. Но тот, недолго раздумывая, схватил саблю, с которой не расставался, и ударил беднягу. Панайотис упал.

Трудно мне рассказывать о том, что было дальше, как плакала бедная госпожа, как обезумевший господин Хасан овладел ею грубо и злобно.

Он вызвал доверенного слугу, и вдвоем они закопали труп в саду.

Я пришла к этой странной могиле, чтобы оплакать мертвого, ведь он мне приходился братом, из всех моих родных я потеряла его последним.

Стала я оплакивать его и тихо причитать, и вдруг заметила, что земля шевелится.

Я кинулась раскапывать могилу. И ногтями, ногтями. Обломала ногти, после опомнилась — побежала за лопатой. Разрыла землю. Он был еще жив, дышал, хотя и много крови потерял. Я перенесла его в самый дальний угол двора, в одно заброшенное строение, выходила его.

А госпожа с той ночи потеряла рассудок. Господин Хасан запер ее во дворе в одном строении, неподалеку от того строения, где я скрыла Панко.

А дальше было вот что.

Господин Хасан не мог без госпожи. Он тайком пробирался к безумной и овладевал ею. А она не узнавала его. Ей, похоже, было все равно.

Панайотис поправился, но свою безумную возлюбленную не покинул.

Так они оба и приходили к ней. Только господин Хасан — для телесной любви, а Панко — просто сидел и смотрел на нее, плакал и умолял ее очнуться. Но она не слышала.

Много времени прошло. Я ухаживала за госпожой. Очень я боялась, что столкнутся господин Хасан и наш Панко. И однажды они столкнулись.

Господин Хасан растерялся при виде музыканта, которого сам когда-то убил и похоронил. А Панко ударил его ножом в горло.

И тут произошло самое страшное. Госпожа дико закричала.

— Я призрак музыканта, призрак музыканта! — кричала она.

Никто не мог услышать ее в самом дальнем углу двора. А она вдруг бросилась на Панайотиса, повалила его, схватила за горло, и была такая страшная — зубы оскалены, словно клыки, глаза выпучены, кровью налились. И рычала, как зверь.

— Вот тебе, Хасан! Вот тебе! — бормотала она.

Потом отскочила в сторону. Я глянула на лицо Панко и поняла, что он мертв, лицо посинело. Я хотела подойти к нему. И тут вдруг она двинулась ко мне на четвереньках, урча, как животное.

Я перепугалась и бросилась бежать.

Только на следующий день осмелилась прийти туда. И подумала: «А вдруг мне все приснилось?»

Трупов не было. Моя безумная госпожа кротко сидела на постели. Я с опаской подошла к ней, она была тиха. Я заметила землю у нее под ногтями и поняла, что все было наяву, а земля под ногтями — это оттого, что она зарыла трупы. Лопата была неподалеку. Но где она их зарыла? Сказать она не могла. Да я бы и побоялась спрашивать. И искать я боялась. Страшно мне казалось — найти, раскопать двух мертвецов. Так и не искала.

22. Анна

— Ты страшную историю рассказала, Анна, — задумчиво заговорил я. — Она так непохожа на правду, что, наверное, она и есть сама правда, голая, нагая правда. Ты много испытала горя. Прошлого не вернешь. Но скажи мне, чего бы ты хотела? Чем бы я мог тебе помочь?

— Я хотела бы вернуться в Харман Кая, на родину. Снова увидеть берег Босфора, и монастырские стены, и родное селение.

— Хорошо, Анна, — ответил я. — Я прикажу, чтобы тебя доставили на родину, дам тебе денег и приданое. Ты еще молода и еще можешь быть, если не счастлива, то хотя бы спокойна.

Девушка кивнула, затем произнесла нерешительно:

— У меня есть еще одно желание.

— Какое? — спросил я.

— Приведите мою госпожу сюда. Пусть она простится со своим возлюбленным. Сколько раз бывало, что такие страш-

ные потрясения возвращали разум самым безнадежным безумцам.

Я велел жене привести Сельви.

23. Смерть Сельви

Мы увидели, как Амида ведет под руку бедную Сельви, а та волочит ноги по земле и горбится.

Вот они подошли к нам. Вот Амида подвела несчастную поближе, и та увидела своего возлюбленного.

И чудо произошло.

— Панко! — вскрикнула Сельви звонким юным голосом. На мгновение распрямилась, будто стала прежней, юной и прекрасной, и сердце мое забилося, как в юности, как в детстве.

Все вернулось. На миг, но вернулось!

А Сельви бросилась к телу Панайотиса и упала на него.

И сердце ее больше не билось.

Эпилог

Мы похоронили всех троих по-разному. Хасана — в нашей усыпальнице. А Панайотиса и Сельви — на кладбище, где хоронят самоубийц, ибо только там можно хоронить вместе людей разной веры. Могилы Панайотиса и Сельви — рядом. И розы там цветут. И одно маленькое деревце выросло, славное такое.

Анна теперь живет в Харман Кая. Она вышла замуж за одного местного жителя. Они живут хорошо. У них трое детей. Две девочки и маленький мальчик, которого зовут Панко. Я этому очень рад, потому что мне вера не дает назвать кого-нибудь из внуков в честь моего друга-христианина, как, впрочем, не мог бы и он назвать кого-нибудь из своего потомства в мою честь. Зато в семье одной из моих дочерей растет маленькая Сельви.

Недавно я возвращался из Харман Кая, где навещал семью Анны; поиграл с маленьким Панайотисом и подарил ему серебряную погремушку и несколько золотых монет — «на зубок».

Проезжая мимо монастыря, я увидел толпу. Подъехал поближе и спросил, что происходит. Мне сказали, что сейчас повезут по окрестным селам чудотворную икону святой Параскевы. Я спешил и еще приблизился. И увидел икону.

Это была одна из удачных копий с той давней иконы Панайотиса. Я увидел Сельви. Она словно бы выглядывала из-за множества людских голов, и смотрела на меня тихо и серьезно.

Все вернулось. Это была она. Такая, как в детстве. И я любил ее.

Люди поклонялись ей, ее изображению, даже не зная, кто она. Ибо они поклонялись именно ей, моей Сельви, а не святой Параскеве.

Можно было смеяться над людьми. Люди странные. Легковерные. Жестокие. Безоглядно добрые. Люди!

У меня защипало в глазах. Я вспомнил, как отец Анастасиос говорил, что я не должен стыдиться своих слез.

Быстрым шагом я прошел через толпу. Меня пропускали, давали дорогу, расступались, не понимая, что делает турок вблизи христианского монастыря.

Я подошел к своему коню, уткнулся лицом в его теплый дышащий бок и заплакал.

ВРАЧ-АРМЯНИН

1*

Зима сорок третьего года застигла меня в Париже. О, снисходительные милые мои читатели, Бога ради, только не воображайте себе такого беззаботного путешественника, склонного к философическим размышлениям и ведущего дневник, в который небрежно вносятся утонченные наблюдения и оригинальные мысли. Ради Бога, ничего подобного.

Я выслан из страны, ведущей кровавую изнурительную битву с двумя безумно-гигантскими колоссами — Россией и Америкой. В этой стране, которую, в сущности, я люблю, я пришелся не ко двору. Сколько мыслей и чувств отдано немецкому языку, немецкой литературе, немецким городам, немецкой философии. Скольким проходимцам бурные демонстрации страстной приязни и подыгрывание самым низменным инстинктам продажных политиков принесли желанную награду — сомнительные лавры «друзей» той или иной страны, того или иного народа. Только не мне, разумеется. Ибо моя любовь не такова.

«А чего бы ты хотел, Бора? — задаю себе вопрос. — Чтобы на улицах Берлина приветливо указывали пальцами на тебя — "вот идет лучший друг немецкого народа"?»

Мои губы (уже старчески сморщенные, чего греха таить) кривятся в иронической улыбке. Чего бы я хотел? Пожалуй, понимания немногих. Чтобы когда-нибудь немецкий юноша раскрыл наедине с собой страницы моих книг и после подумал (вопреки всем современным издевательствам над чувствительностью): «Какая грустная жизнь, какая любовь...»

* Роман «Врач-армянин» впервые увидел свет в 1920 году. В последние годы своей жизни Этергюн переработал роман, дополнив его рядом эпизодов, навеянных трагическим опытом Второй мировой войны. Данный перевод выполнен по изданию, вышедшему в свет спустя несколько месяцев после смерти автора. Издание было осуществлено в Бонне (ФРГ), недолго просуществовавшим турецким издательством «Китар» («Книга»)

Я пришелся не ко двору. Кажется, я в этом мире с самого рождения — не ко двору. В детстве — единственное, изнеженное, балованное дитя, надежно огражденное от окружающей действительности немецкими и французскими волшебными сказками, проходящими домашними учителями, ведущими занятия в присутствии любящей матери. Сказки Гофмана были моей обыденной реальностью, а песни моей няни, крестьянки из Анадольской бедной деревни, будоражили сердце, смущали, даже пугали. Мне всегда хотелось в одиночестве любить эти сладостные до слез напевы. Но я вырос, и вот к моей любви уже тянулись ярлыки — «родина», «народ», «патриотизм». Я — не ко двору.

Я родился через пять лет после бедственного события Ферие, приведшего к власти в 1876 году Абдул Гамида II. Отец, сумевший обеспечить мне европейское воспитание, дал мне возможность продолжить образование в Европе. Я вернулся на родину в 1909 году, в час торжества младотурецкой демократии. Душа, окрыленная надеждами, сердце, переполненное чувствами, сотни планов и замыслов. Тридцатилетнюю, названному «правлением тирании», пришел конец. И... в итоге я оказался не ко двору. Теперь я на все смотрю несколько иначе. Как? Возможно, у меня еще будет случай рассказать вам.

Итак, я покинул родину и теперь возвращаюсь. Я возвращаюсь в страну, где у меня не осталось родных. Смогу ли я обрести друзей? Да, да, именно так обстоят дела. Я понимаю, что иной шокированный моими простыми искренними словами ревнитель патриотизма уже готов проклясть меня. Но мне уже все равно.

Последние двадцать лет я занимаюсь тем, что потихоньку старею. Окружающее меняется на глазах. Литературные и театральные направления, одежда, поведение женщин и молодежи начинают раздражать меня. Хорошо хоть у меня хватает ума понять — это старость.

Вот и сейчас я чувствую себя в Париже чужим. Город мрачен. Зима, война. Я лежу одетый на постели в дешевой гостинице на окраине города. Кажется, прежде здесь было что-то вроде общежития для рабочих из Алжира. Мне холодно, одиноко. Я знаю, что вокруг, в домах, живут люди, семьи, дети. Но я чужой. Мне не досталось места в этих обычных клубках человеческих привязанностей и неприязни. Я — не ко двору. Как всегда, в моей жизни.

Я не имею права надолго задерживаться в этом городе. Я должен ехать. Меня так и подмывает совершить последний в моей жизни авантюрный нелепый поступок — изорвать в клочки документы и махнуть пешком куда-нибудь по Фран-

ции. Дойти до Марселя пешком. Или до Бреста. В сущности, разве я знаю Францию? Только Париж. И не тот холодный сегодняшний, нет, совсем другой Париж.

Конечно, я не решусь на такую авантюру. А ведь вот когда-то я сказал себе, что буду странствовать по Германии, подобно средневековому студенту, из одного университета в другой. И ведь это осуществилось. Впрочем, тогда мои документы были несколько иными, чем сейчас, и давали мне полное право переезжать из города в город и даже свободно бродить по стране. И я был молод и здоров. А сейчас...

Я был молод, и Париж был молод — город начала века. И век был молод — век двадцатый. И авто на мостовых Парижа были редкостью, а конные экипажи — обыденностью. А Лувр... А Версаль... А цветы на улицах... И женщины, и фиалки... Мой Париж — Париж Ренуара и Мане и стиля «либерти»... И ничего этого никогда больше не будет — ни того Парижа, ни тех женщин, ни моей юности — ничто не повторится. Какая вечно новая банальность — ничто не повторится.

Турецкий юноша. Дома, в истанбульском доме, его тетки скрывают лица под яшамаками — тонкими покрывалами. Он свободно говорит на трех европейских языках — на немецком, на французском, на английском. Соломенную шляпу — канотье — он чуть сдвигает на лоб — так делает отец с феской — движение почти инстинктивное. У молодого человека волосы каштановые, сам он белолицый, а брови — темные. И маленькие, аккуратно подстриженные усы. Этот молодой человек — я. Кто я? Тогда я принадлежал некоему всемирному парижскому братству интеллигентов. На застланной персидским ковром кушетке в ателье художника-француза я сидел рядом с экстравагантной русской поэтессой. Что-то говорил испанец-журналист, сотрудник парижской газеты. И немец, один из первых учеников Штайнера, развивал натурфилософские теории. Или теософические? Мне было все равно. Мне нравилось слушать, и смотреть, и дышать, и видеть милые молодые лица. И встречать доброжелательные дружеские взгляды молодых глаз.

Нас всех обманули. Молодых всегда обманывают. Кто? История? Природа? Оказалось, что юность преходяща, а новый век ничуть не лучше предыдущих — тоскливое одиночество, жесткость, непонимание.

2

Стук в дверь возвращает меня к моей сегодняшней действительности. Нет, это нельзя назвать стуком. Скорее деликатное

постукивание. Но меня охватывает страх. Я мгновенно осознаю, что высылка из Германии и приезд на родину, где меня никто не ждет, — это еще не самый худший вариант. А если меня решили убить, убрать? Если это будет обставлено как этакое случайное убийство? Или что-то не так в документах, и меня посадят в тюрьму. Я моментально ощущаю свой возраст — отяжелевшее тело, ревматические колени, близорукие глаза, в дурную погоду все колет, ломит, ноет. Боже, как хороша свободная жизнь — читать Виктора Маргерита и прихлебывать кофе. Я люблю удовольствия подобного рода. Я трус. Я хочу жить. Я не герой, я бедный литератор; возможно, далекий потомок эллина Архилоха, поэта, бросившего щит на поле битвы и спасшегося бегством для того, чтобы продолжать писать стихи.

Но, кажется, я уже начинаю иронизировать. Что-то мне подсказывает, что это тихое, даже робкое постукивание ничего общего не имеет с угрозой таинственной насильственной смерти или с перспективой тюремного заключения.

Я приподымаю голову, опираюсь на локти, стаскиваю с постели свое несчастное шестидесятилетнее тело и, шаркая ревматическими ступнями, обутыми в разношенные туфли, плетусь по весьма сомнительной чистоте паркету к двери. Там, за дверью, уже услышали мои шаги, и постукивание замерло.

Открываю дверь. На пороге молодой человек, в легком, не по сезону, пальто. Шляпу он уже снял и держит в руке. Лицо довольно славное, но ничем не примечательное. Я не успел спросить, что ему нужно. Он посмотрел на меня с некоторым разочарованием и недоверием. Мне становится неловко. Мне жаль, что я разочаровал этого незнакомого юношу. Мне становится смешно. Но тут у меня возникает сакраментальная мысль: «А вдруг это читатель?» Читатель, поклонник творчества. Мне смешно, потому что я знаю, что это не так. Это не читатель. Не мой читатель, во всяком случае. Я собираюсь пригласить его войти.

Незнакомец чуть подается вперед. Я делаю протестующий жест, помешавший ему смять фетровую шляпу, которую он держит в руке. Наверное, это ошибка. Он перепутал комнаты. На самом деле ему нужен вовсе не я, а кто-то другой.

— Мсье, вы действительно турок? — выпаливает молодой человек.

Теперь я вижу, что он совсем еще молод — года двадцать три, не больше. Но по виду — еще моложе. Начинаю чувствовать себя очень старым и по-отечески снисходительным. Неужели турок в современном Париже столь же экзотическая фигура, как в царствование Людовика XVI? Нет, сегодня на

меня накатил какой-то безумный приступ нелепой ироничности. Мне хочется ответить мягким голосом: «Да, дитя мое, я турок. Что вам угодно?» Сдерживая смех, я прикусываю верхнюю губу. Я ничего не понимаю.

— Простите, мсье! Я не хотел обидеть вас. Вы...

Наконец-то я приглашаю его войти. Он продолжает сумбурно извиняться. Я стаскиваю с него пальто и усаживаю на стул. Многострадальная фетровая шляпа оказывается на моей постели.

— Вы знаете мое имя? У вас ко мне дело? — кажется, я задаю вполне разумные вопросы.

Он, в свою очередь, начинает отвечать мне, и я узнаю много сравнительно интересных сведений.

Он назвал свое имя — Жан и фамилию, которую я здесь приводить не буду (такая у нас впоследствии сложилась договоренность). Выяснилось, что он — наборщик и, соответственно, работает в типографии. Вчера он работал в ночную смену и потому сегодня днем он дома. Портье моей бедной гостинички — его близкий друг. Портье сказал Жану обо мне. Но, увидев меня, Жан засомневался, он иначе представлял себе турка.

— Да, — заметил я, стыдясь собственных банальностей. — Вы, должно быть, представляли себе феску, чалму, ятаган и шаровары.

Тон мой явно отдавал меланхолией. Юноша смутился и наклонил голову. Вероятно, что-то подобное он себе и представлял.

Этот молодой человек ничего обо мне не знал. И вообще, ему нужен был не я, но турок. То есть, желательно интеллигентный турок. И когда он меня увидел, он...

Тут я все понял. Я понял, что, когда он меня увидел, он счел меня слишком интеллигентным для турка; он не мог поверить в то, что встречаются столь интеллигентные турки. Должно быть, мой взгляд ясно выразил мое понимание и меланхолическую укоризну. Молодой человек еще более смутился. Но я вовсе не собирался предъявлять чрезмерные требования к этому мальчику, учившемуся в школе на окраине Парижа, где ему в основном внушали, что Франция — великая страна. Я сказал Жану, как меня зовут, и скромно отметил, что я действительно интеллигентный турок, и даже более того, — я писатель, турецкий писатель.

Он продолжил свои объяснения. Дело в том, что его жена Мадлен... то есть, не она сама, но ее покойная мать, мадам Надин...

Мне стало хорошо. Я почувствовал, что со мной произошло приключение. И это было приятное приключение и оно, кажется, имело отношение к моему литературному труду.

Дом номер семь выглядел вполне прилично. По лестнице мы поднялись на третий этаж. Не так уж высоко, я не успел запыхаться, и тоже выглядел прилично — как парижский многоквартирный дом с окраины. Квартирка оказалась однокомнатная, очень опрятная, но скудость военного времени все же ощущалась, как-то витала в воздухе.

Когда я увидел молоденькую хозяйку, жену Жана, и спящего в колыбели малыша, мне стало не по себе. Такие маленькие дети всегда трогают меня до слез своим очарованием.

Мадлен, должно быть, приходилась ровесницей своему молодому супругу. Юная парижанка с городской окраины — скромное домашнее платьице, неподкрашенные свежие губки. Порою она мило встряхивала темными, коротко стриженными волосами.

Мне сразу же захотелось предложить им денег или чего-нибудь из еды. Но у меня ничего не было. Такое внезапное желание разыгрывать роль святочного ангела перед совершенно посторонними молодыми людьми может показаться сентиментальным. Но это желание было совершенно искренним. Что же касается сентиментальности и романтичности, то я знаю, мне это свойственно и отнюдь не представляется постыдным.

Мы сели за стол. Пустой, покрытый пестрой клеенкой, стол казался чрезмерно большим для этой небольшой комнаты. Кофе мне не предложили. Но я понял, что это не было проявлением негостеприимства, просто у них не было кофе. Мне снова сделалось грустно, неловко; захотелось сделать им какой-нибудь подарок. Тотчас вспомнились времена, когда у меня были деньги. Как жаль, что сейчас у меня ничего нет.

Но как я обрадовался, что все-таки могу доставить им удовольствие, да и самому мне было интересно.

Они и вправду обратились ко мне с очень необычной просьбой.

Молодая женщина объяснила мне, что ее покойная мать оставила дневник, написанный частью по-французски, частью — по-турецки. Разумеется, я выразил удивление. Но когда я узнал некоторые обстоятельства жизни мадам Надин (или Наджие-ханым), я не то чтобы перестал удивляться, но испытал много приятных ощущений.

Пока мы беседовали, проснулся двухлетний Даниэль. Молодая мать, что-то ласково приговаривая, подхватила ребенка на руки. Теперь она поддерживала разговор, то и дело прерывая себя обращениями к малышу, покачивала его, улыбалась его улыбкам. Мальчик посмотрел на меня широко раскрыты-

ми глазками и залепетал какие-то слова на своем детском языке. Я смотрел на его нежное округлое личико, на эти большие внимательные глаза и, как и многим одиноким старикам, мне приходила в голову мысль о том, что отсутствие жен, детей и любовниц — отнюдь не самое страшное в этой жизни; но, когда не имеешь внуков — это по-настоящему грустно.

4

Что касается французской части дневника мадам Надин, то Мадлен считала, что эти записи представляют ценность лишь для ее семьи. Но вот записи, сделанные по-турецки, молодая женщина не могла прочесть и потому полагала, что они могут содержать какие-нибудь интересные сведения, пригодные для опубликования.

Меня тронула своеобразная наивность этой маленькой практичной парижской домохозяйки. Впрочем, я давно заметил, что многие, вполне практичные люди, проявляют наивность во всем, что касается сферы искусства, будь то искусство слова или живопись, или сцена. Но как быстро, однако, эти наивные практики научаются извлекать из того, что они считают искусством, деньги или же известность.

Итак, дневник турчанки, волею судьбы кончившей дни в Париже. Я увидел в этом что-то созвучное своему грустному жизненному пути.

Забегая вперед, скажу, что я прочел «турецкую часть» дневника Наджие-ханым и, заручившись согласием Мадлен и Жана, опубликовал (с некоторыми сокращениями, разумеется). Книга даже имела определенный успех, благодаря которому несколько улучшилось материальное положение молодой семьи. Но это все случилось уже в самом конце войны.

А пока, прикрываясь тонкими страницами, я бросал внимательные взгляды на молодую женщину с ребенком на руках, пытаясь увидеть в их лицах нечто характерное для моих соотечественников и, вероятно, и для меня самого. Порою мне казалось, что я различаю это таинственное нечто, смутно напоминающее о светлых, почти ирреальных днях раннего детства.

5

Итак, мое возвращение на родину было приятным. Можно сказать, я возвращался не один, меня сопровождали слова

юной моей соотечественницы — Наджие-ханым. Короче, Мадлен и Жан доверили мне «турецкую часть» ее дневника.

Впрочем, они позволили мне прочесть и то, что было написано по-французски.

Конечно, жизнь Наджие-ханым — мадам Надин могла предоставить материалы для написания нескольких романов. Бедняжка, она умерла в больнице от какого-то затяжного старческого заболевания, лишившего эту несчастную женщину разума.

Страстная и отчаянная, она чем-то напомнила мне мятущихся героинь Достоевского. Думаю, она заслуживала лучшей участи. Она была талантлива, своеобразно мыслила, отличалась утонченным вкусом и до ужаса была непрактична — обаятельный тип турчанки из богатой семьи. Не знаю, сохранились ли еще такие женщины...

Разведенная молодая женщина, она жила у родителей. Но вот без гроша, оставив за собой целый шлейф сплетен и скандальных пересудов, она уезжает в двадцать первом году в Париж вместе с черкесским князем, офицером русской армии, которого гражданская война в России вынудила бежать в Истанбул. Далее — исполненная бедности, мелочных ссор, забот, — жизнь парижской окраины. Бедняжка Наджие-ханым совершенно не годилась на роль окраинной мещаночки, также, впрочем, как и ее муж странно выглядел в роли парижского таксиста. Далее — самоубийство мужа, нищета, хождения по благотворительным учреждениям, и наконец — удачное замужество дочери, зять-наборщик сумел дать семье, что называется, верный кусок хлеба. Но истощенная выпавшими на ее долю испытаниями, мадам Надин вскоре после рождения внука тяжело заболела и скончалась, никого не узнавая перед смертью.

Эта женщина была мне близка своим стремлением к странным, авантюрным поступкам. Я и сам во многом таков. Хотя в моей жизни всегда существовал сдерживающий фактор — мои занятия литературой, потребность совершать авантюрные поступки постоянно заглушалась не менее насущной потребностью трудиться за письменным столом. Если бы мне довелось встретить Наджие-ханым в свои сравнительно молодые годы; вероятно, после короткого периода душевной близости и телесных удовольствий она начала бы меня мучить вольно или невольно, я счел бы ее взбалмошной и нелепой, и мы бы расстались, ненавидя друг друга. Но если бы мы встретились сейчас, пожилыми людьми, нам было бы о чем поговорить, чем поделиться.

Кажется, я давно и отчасти благополучно пережил тот период, когда максималистски делишь человечество на враждебные группировки — на мужчин и женщин, на врагов и пат-

риотов, на борцов и предателей, и так далее. Впрочем, для меня это был период; для многих знакомых мне людей это оказалось не периодом, но жизненной сутью. Кажется, почти все так живут, кроме таких странных индивидуумов, как Наджие-ханым или ваш покорный слуга. Именно поэтому мы в этой жизни — не ко двору.

Если человек совершил один странный поступок, ему уже легче совершить другой, еще более странный. Так и второму браку Наджие-ханым предшествовал достаточно необычный эпизод, словно бы подготовивший ее к дальнейшим странностям.

Об этом эпизоде и повествует «турецкая часть» ее дневника, с которой я и собираюсь вас ознакомить. Как вы увидите в дальнейшем, Наджие-ханым не датировала свои записи. Описанные ею события заняли примерно год — с середины четырнадцатого до середины пятнадцатого года.

Иногда, листая страницы дневника этой странной женщины, я вспоминал детство — маленький городок с полуразрушенным мостом и старинной мечетью, быструю звонкую речушку; дом почти деревенский моего деда, сюда наша семья порою наезжала летом. Вспоминаю я и свою первую любовь, все эти смутные и странные ощущения, боль и радость, вызванные одним лишь коротким лицезрением соседки — девочки лет пяти-шести. Вспоминаю ее большие серьезные глаза, длинное платьице, широкий белый платок, покрывающий черноволосую головку. Я так и не заговорил с ней. Я был чуть старше нее. Возможно, если бы мы заговорили, я испытал бы разочарование. Но, когда я читал дневник Наджие-ханым, мне казалось, что та девочка из моего детства выросла, и, сделавшись взрослой юной женщиной, не утратила своего детского таинственного обаяния. И вот она говорит со мной, говорит, поверяя мне свою грустную, странную, немного взбалмошную, удивительную душу.

Послушайте и вы ее голос и не сердитесь на мои старческие комментарии, которыми я изредка позволяю себе перемежать ее рассказ.

6

...ни за что не буду ставить число, название месяца и год! В конце концов это дневник женщины, а не бухгалтерский отчет ее меркантильного супруга о положении дел в конторе. Так и только так!

В сегодняшнем дне, как всегда, перемешаны черное и светлое.

На лето мы переехали на дачу в Тарабью. С балкона дачного особняка моего отца открывается приятный вид на Босфор — светлая зелень листвы на берегах и темно-голубая вода.

Особняк моего отца. В этом вся суть. Хотя дела моего супруга идут совсем не так уж плохо (насколько я могу судить по его разговорам с моим отцом), но лето мы проводим в особняке моего отца. Поэтому Джемиль дуется и то и дело находит повод придираться ко мне и испортить мне настроение. Ничто так не портит настроение, как мелочные придирки человека, чувствующего себя униженным и зависимым. Доля истины во всем этом, конечно, есть. Джемиль зависит от моего отца. Джемиль — человек нервный, а мой отец не склонен к деликатности; во всяком случае, когда речь идет о Джемиле.

Мама, кажется, чувствует себя виноватой передо мной. Еще бы, ведь она так хотела выдать меня замуж, сбить с рук. Теперь она пристально следит за каждым словом, за каждым жестом Джемиля и то и дело пеняет ему за то, что он дурно обращается со мной. Как хорошо, что мы вынуждены жить вместе только в дачный сезон.

Когда я еще воображала, что между мной и Джемилем могут возникнуть нормальные человеческие отношения, я всячески старалась примирить его с моими родителями. Я ломала голову над тем, что же делать мне. Когда я принимала сторону Джемиля, он принимался чуть ли не с пеной у рта упрекать меня в притворстве. Когда я пыталась нежно уговаривать маму, она начинала кричать, что не выносит этой моей притворной ласковости.

Теперь я перестала думать о том, чтобы успокоить их. Возможно, мне не следовало так быстро сдаваться; возможно, со стороны я выгляжу отвратительно. Но кому я интересна? Кто видит меня со стороны? Кто, кроме меня самой? Ведь в других семьях все то же самое — бесконечные семейные дразги и мелочное выяснение отношений. Вот и я теперь живу бездумно, как другие молодые женщины. Огрызаюсь, спешу ответить обидой на обиду. Считаю, что я чуть ли не центр вселенной и что я во всем права. Я перестала обдумывать, оценивать свои действия, чувства и мысли. Порою у меня возникает странное ощущение, будто я превратилась в разжиревшую бабу-распустеху, которая весь смысл жизни ощущает в еде, и давно перестала сдерживать свое чревоугодие. Разумеется, у меня не такая уж плохая фигура, я слежу за своей внешностью; но разве я не забросила свою душу, разве не позволяю ей коснеть в эгоизме и самовлюбленной лени? Да, и еще раз да! Что еще я могу себе ответить!

Джемиль. Чтобы имя так не подходило человеку! Не знаю, смеяться мне или плакать.

Но лучше вернусь к описанию сегодняшнего дня.

Приморские чайки. Это ужасно! По утрам они поднимают неопиcуемый галдеж на балконе. Издали эти птицы такие красивые, но когда ежедневно слышишь отчаянные, надрывные, хриплые вопли... Вот уж поистине живая аллегория человеческих отношений — в книгах — одно и очень даже красиво, а вблизи — в жизни... Я придумала — чайка — аллегория брачной жизни, издали и вблизи.

В истанбульском доме Джемиля у нас давно уже отдельные спальни, но здесь, в Тарабье, мы разыгрываем для моих родителей скучную комедию семейной жизни. Приходится проводить ночи вместе и по утрам выходить из общей спальни под бдительным и подозрительным взглядом моей любящей матери.

О, эти ночи! Муж закутывается в халат и спустя короткое время начинает громко храпеть. Прежде мне даже казалось, он это нарочно, демонстративно. Но потом я поняла, что этот храп для него вполне естествен. Я в пеньюаре устраиваюсь на самом краю широкого супружеского ложа и... принимаюсь за чтение. После откладываю книгу и засыпаю. Будят меня обычно крики чаек.

Сегодня с утра Элени, моя греческая служанка, гладит белье. Вчера прачка окончила стирку, и мне досталось от матери за то, что, во-первых, я, по ее мнению, переплатила прачке; а во-вторых, не записала белье.

Итак, вчера — мать, сегодня — наступила очередь Джемиля. Вошел в кухню и сунул нос в корзину. Вынул наугад белую кофточку и потряс на вытянутых руках. Затем последовал скандал. А горничная между тем гладила с самым что ни на есть преданным видом и с удовольствием слушала. На этот раз мне досталось за то, что кофточка стоит не менее пяти лир, а надевала я ее всего несколько раз, и вот уже она ни на что не похожа. И все это выкрикивалось прямо мне в лицо. Я отпрянула и вся сосредоточилась на том, чтобы брызги слюны, которые так и летели изо рта моего супруга, не попали мне на лицо и на руки. Последним усилием я заставила себя сдержаться и не крикнуть ему, что отец дал за мной большое приданое и что не только эта несчастная кофточка, но и сама контора Джемиля возникла благодаря деньгам моего отца. Я сдержалась, заставила себя сдержаться, хотя, возможно, Джемиль, сам не вполне осознавая свое желание, ждал, что я напому ему об этих пресловутых деньгах. Тогда он мог бы накричать на меня еще сильнее.

Может быть, я решилась бы дать ему пощечину, может быть, он бросился бы на меня с кулаками. И все это... принесло бы ему облегчение. А мне? Стыдно признаться, но такой вариант не исключен — и мне буйная безобразная ссора могла бы принести облегчение.

Происшествие с кофточкой случилось еще до завтрака. Во время завтрака приятные проявления семейного согласия умилялись. Завтракаем по-французски — все вместе за круглым столом. Приходится терпеть нервическую заботливость мамы, которая каждое утро смотрит на меня таким взглядом, будто хочет во что бы то ни стало углядет признаки беременности. И почему-то именно утром она на меня так смотрит. Она что, полагает, что ночью я забеременею, а утром она увидит? Боже, какая я ужасная! Какие гадкие, циничные мысли. И это я, которая с отвращением отложила «Une vie» Мопассана, потому что этот роман — «Жизнь» — показался мне непристойным и грязным.

Отец жует с мрачным видом. Мама и Джемиль следят за каждым моим глотком. Иногда мама велит мне есть одно и не есть другое. При этом она многозначительно поднимает брови и озабоченно смотрит на Джемиля, как бы намекая всем своим видом на мою возможную беременность. Неужели она и вправду ничего не видит, не замечает, не понимает, что наш брак — мнимость? Ну как можно быть такой? Лицо Джемиля принимает саркастическое выражение. Я чувствую, что раздавлена всей этой унижительной ситуацией. Да, мне неприятно вступать с ним в интимную близость. Я не могу себе представить, что существуют на свете женщины, которым было бы приятно ложиться в постель с мужчинами. Я понимаю любовь, душевную близость, но только не этот гадкий стыд. Мне непонятно его грубое презрение, за которым, я чувствую, кроется бездна всевозможного, не ведомого мне неприличия.

Дома Джемиль не упустит случая упрекнуть меня в том, что я слишком много ем. Ему приятно таким образом унижать меня. В присутствии моих родителей он, конечно, не станет делать мне таких упреков, но по-прежнему следит за мной. Меня даже поражает, как он замечает, запоминает такие мелочи — сколько я съела гренков, сколько тартинков намазала маслом. Откровенно говоря, я и вправду люблю отве-
дать чего-нибудь вкусного, это ведь доставляет такое удовольствие. Не понимаю женщин, которые ограничивают себя в еде ради того, чтобы сохранить стройность. Впрочем, мне легко не понимать их, когда я смотрюсь в своей отдельной спальне в нашем городском доме в зеркало, вделанное в дверцу большого шкафа, волшебное стекло отражает довольно

тонкую фигурку. Так что я могу себе позволить съесть что-нибудь вкусненькое... Но какие это все пошлые рассуждения. Зачем?... Разве на самом деле я такая? Разве я пошлая, самолюбленная, почти комичная?

Иногда, когда мы все вместе за столом, на меня находит какое-то затмение; мне начинает казаться, будто я принадлежу к некоей маленькой дружной семье, где все искренне любят друг друга, где все мило и дружески. У меня появляется какая-то странная потребность добродушно шутить. Что в этом странного? То, что в нашей семье это совершенно не принято. И, откровенно говоря, не думаю, чтобы я умела шутить. Наверное, мои шутки, да еще в той атмосфере, что царит за нашим столом, выходят неуклюжими как слон в посудной лавке.

Вот и теперь. Я съела два гренка с маслом и быстро выпила свою чашку кофе-о-ле — кофе с молоком. Остальные еще не пили кофе.

— Какая я глупая, — я засмеялась. — Сама себя оставила без кофе! И куда торопилась?

Далее произошло вот что. Отец кинул на меня неприязненный взгляд. Я не нравлюсь отцу. Он всю жизнь заботился обо мне, но я никогда не нравилась ему. Мне кажется, он воспринимает меня как неуклюжее, глупое, нелепое существо. И в этом качестве он меня жалеет. Мама поспешно передала мне свой кофе.

— Возьми, Наджие.

Я взяла ее чашку и отпила. Тут вступил Джемиль. Началась обычная гротескная фантасмагория. Джемиль с апломбом уверял маму, что ему вовсе не жаль для меня лишней чашки кофе, но в конце концов я замужняя женщина и должна избавиться от ребяческих привычек и стать серьезной. Если каждому предназначена одна чашка кофе, значит, каждый и должен выпить одну чашку, не больше. Нет, ему не жаль, но суть в принципе. В семейной жизни необходима упорядоченность, а я совершенно безалаберна. И так далее, и так далее.

Мама заявила, что это ее чашка и она вольна поступать со своей чашкой, как угодно; например, передать мне. Я тоже не сумела удержаться и принялась горячо доказывать мужу, что моя мать не ребенок и может сама распорядиться своей чашкой кофе. Мама высоко подняла тонкие брови и посмотрела на Джемиля этим своим озабоченным многозначительным взглядом, она, конечно, хотела сказать, что, может быть, я беременна и потому мне следует уступать. Джемиль прекрасно понял ее взгляд, немного запрокинул голову и саркастически захохотал. У него длинная смуглая, крупно сморщенная шея.

Под морщинами бугрится кадык. Мама приняла на себя оскорбленный вид.

И тут вступил отец, как басовая партия в комической увертюре. Он вспомнил свое нищее детство, когда на завтрак ничего не полагалось, кроме черного хлеба и маслин. Затем распространился об утрате исконных народных традиций; о том, что все наши беды — от обезьянничанья — мол, если у французов мужчины и женщины сидят вместе за столом и пьют кофе, то и мы должны!

— А если в Париже выдумают ходить без штанов, то и мы бегом туда же? — набычившись, он посмотрел на нас. Его красная феска напоминала петушиный гребень.

Можно считать, что на этой мажорной ноте утренний концерт завершился. Я ни слова больше не произнесла. Отец, мама и Джемиль обменялись еще несколькими сумбурными репликами, но это уже было так — затишье после бури.

После завтрака мне удалось ускользнуть от разговора с матерью. В спальне я уселась перед трельяжем и медленно водила серебряной щеткой по своим темным распущенным волосам.

Я думала о том, что все было бы гораздо проще, если бы все мы решились прямо высказать, почему мы недовольны друг другом. Тогда вдруг выяснилось бы, что никаких сложностей, никаких психологических тонкостей — нет. Все просто. Но мы никогда ничего подобного не сделаем. Нам легче обманывать самих себя, убеждать себя в том, что мы друг дружку ненавидим, предъявлять абсурдные требования. Правда нас пугает. Почему? Быть может, потому что в ее наготе выявится абсурдность и бессмысленность самой сути нашего существования?

Но разве могут мои родители признать, что прожили свою жизнь как-то не так? Тогда придется поставить вопрос: а как же следовало ее прожить? Но они не знают ответа. И никто не знает.

А Джемиль? Допустим, он честно признается самому себе, что ему женитьба на мне нужна была только для того, чтобы мой отец оказал поддержку его коммерческим начинаниям. Но он не может думать о самом себе так дурно. И для чего нужна ему эта контора? Какого жизненного идеала он стремится достичь? Я не знаю. Формально можно предположить, что ему хочется безбедной обеспеченной жизни, уважения окружающих. Мне все эти его устремления кажутся мелкими. Я презираю его. А он презирает меня, я для него — ничемное ничтожество. Если бы у него была контора и не было бы меня в придачу, наверное, он был бы по-своему счастлив. Но он даже не хочет прямо сформулировать в своем сознании это

свое желание. Зачем ему дразнить себя? Ведь избавиться от меня все равно невозможно. И вот он утешает себя мелкими придирками. Возможно, при этом он искренне верит, что все это — для моего же блага.

Итак, ни родители, ни Джемиль не могут говорить правду.

Остаюсь я. Почему я живу этой лживой жизнью? Чего я хочу? Что я могу? Уйти от мужа, оставить родителей и сделаться домашней приходящей учительницей французского языка? Нет, я не решусь, у меня не будет рекомендации и будет скандальная репутация. Я не найду работы. Я изнежила себя и привыкла бездельничать.

7

В голубом шелковом платье, запахнув белый тонкий шифоновый чаршаф, иду по набережной. Волосы я сегодня заколола высоко. Чуть помахиваю синим бархатным ридикюлем с золотой застежкой.

Когда идешь вот так, вдыхая нежный странный аромат морской свежести, начинает казаться, что в твоей жизни еще все впереди. Конечно, на самом деле ничего впереди нет, кроме сурового взгляда отца, попреков мамы и Джемиля и моего отчаянного желания отстоять свое право на эти прогулки в одиночестве.

Но лучше я не буду об этом думать. Наверное, я все-таки красива. Я чувствую, что на меня смотрят. Молодые женщины смотрят с некоторой подозрительностью. Порою мне кажется, они видят во мне что-то вроде соперницы. Я знаю, они жены состоятельных людей; у них, конечно, есть любовники, я догадываюсь. Да, эти молодые женщины имеют право относиться ко мне настороженно. Я одета так же элегантно, как они. И незачем лгать самой себе, я красивее них. Но я ничего не понимаю в их жизни. А они, в свою очередь, не понимают, что скрывается за этим моим непониманием — наивность, глупость, утонченное кокетство? Кое-кого я знаю. Например, Сабире-ханым. Ибрагим-бей, ее муж, получил богатое наследство, которое и проматывает теперь вдвоем с женой. Это говорила мама. Но я всегда обрываю такие разговоры, не люблю сплетен. Хотя... может быть, это даже приятно — посиживать с подругами вокруг изящного мангала-жаровни, попивать ароматный чай и немножко сплетничать... Но у меня нет подруг. Я помню, когда я была маленькой девочкой, Сабире приходила к нам в гости вместе со своими родителями. Помню, она тогда стала мне рассказывать о ка-

ком-то соседском мальчике, с которым она будто бы целовалась, пока они играли в прятки. Нам было лет по семь. Мне показалось, что целоваться это ужасно, а все время думать о мальчиках скучно.

Фасих-бей в белом костюме вежливо здоровается со мной. Я наклоняю голову. В сущности, он симпатичный, блондин, усики, довольно стройный. Наверное, донжуан. Намного моложе моего мужа, холеный, не знавший нужды. Вдруг меня охватывает непрошенная жалость к Джемилю. У него была трудная жизнь, полная лишений. Для него брак со мной — большая удача. И, может быть, он все же любит меня? Может быть, у нас еще наладятся хорошие отношения? Мне вдруг захотелось поверить в это.

Конечно, я могла бы стать такой, как все. Могла бы завести интрижку. Хотя бы с тем же Фасих-беом. Его взгляд выражает восхищение. И какую-то немножко нарочитую почтительность. Он как бы говорит мне этим взглядом: «Только прикажи, только согласишься, я готов исполнить любое твоё желание». Но я чувствую, что он пошлый и неинтересный человек. Во мне его занимают только стройная фигурка, пышные волосы, большие темные глаза. Однажды в Кадыкее, на площади у моря, он подошел ко мне. Я шла под руку с Джемилем. Мне было стыдно за его грубоватое крестьянское лицо, изборожденное ранними морщинами, за его мешковатый костюм. Фасих-бей поздоровался с нами и завел разговор о театре. Я горячо откликнулась, с жаром принялась рассуждать о маленьких пьесах Метерлинка, которые недавно прочла. Если бы их можно было увидеть на нашей сцене! Я заговорила о том, что надо непременно перевести пьесы Метерлинка на турецкий язык. У меня даже мелькнула мысль — а если я это сделаю, а Фасих-бей поможет опубликовать мои переводы или передаст их в театр, ведь у него, кажется, так много знакомств. И вдруг я заметила, что Фасих-бей смотрит на меня с некоторым изумлением. Я устыдилась своей горячности и замолчала. Я поняла, что его удивил мой искренний интерес к литературе, к театру. Ведь для него самого все эти умные разговоры — не более, чем предлог для начала любовной связи. Возможно, он думает, что я чуточку не в своем уме, экзальтированная дурочка. Во всяком случае, он почтительно отклонялся, а мне, как водится, досталось от Джемиля за то, что я так увлеченно беседовала с мужчиной.

Джемиль, Джемиль, Джемиль... Про себя повторяю его имя, в такт своим легким (я знаю, что легким) шагам. Надела светлые лакированные туфельки на высоких каблуках. Быть красивой и элегантной так приятно! Повторяю про себя имя мужа и улыбаюсь, как будто бы поддразниваю всех этих

одетых в светлые летние костюмы молодых мужчин, которые прогуливаются по набережной.

Мужчины смотрят на меня. Женщины завидуют. Дурочки! Мне ведь никто из ваших кавалеров не нужен.

Иногда (или нет, даже довольно часто) я воображаю себе молодого человека, умного, тонко чувствующего, он влюбляется в меня... Дальше... Мне жаль Джемиля... Нет, совершенно ребяческие мечты. Я инфантильна.

Все-таки превратиться из почти восемнадцатилетней старой девы в молодую женщину — не так уж неприятно. Я уже полгода замужем и через полгода мне исполнится девятнадцать. Из французских романов я знаю, что это — возраст любви. Но никакой любви на свете нет! Есть только Джемиль. Я озорно улыбаюсь и ускоряю шаг.

Те, что никогда не бывали на море, полагают, что все это очаровательно — сине-зеленые волны, лодки, песок и разноцветные камешки, голубое небо. И чайки вдали. И все это и вправду было бы очаровательно, если бы чайки всегда держались подальше от людей. Но они имеют обыкновение свободно летать над набережной.

Прощайте, приятная прогулка, высокая прическа и светлый шифоновый чаршаф! Чайка нагадила мне прямо на голову. Браво, Наджие! И ты еще примеряешься к роли трагической или романтической героини? А на самом деле ты просто комический персонаж. Да, да, да!

Я растерялась. Что делать? Стремглав бежать домой в таком виде? Хороша я буду, нечего сказать. Взять экипаж? Я беспомощно оглянулась и почувствовала, как слезы навернулись на глаза. Вот она, моя судьба! Мне плохо, но ведь это смешно. Вот он, мой смешной брак с Джемилем. Мне плохо в этом замужестве, но ведь это же смешно!

Какой-то человек протягивает мне носовой платок. Я так и застыла, со слезами на глазах, с носовым платком в руке. Человек отбегает, что-то кричит, окликает кого-то. Подъезжает экипаж. Человек помогает мне сесть. Что-то говорит кучеру. Экипаж трогается.

Только оставшись одна в экипаже, я наконец очнулась и воспользовалась любезно предложенным мне носовым платком. Должно быть, я ужасно выгляжу. Куда меня везет этот кучер? Впрочем, я уже вижу: домой. Мне снова становится смешно — неужели я полагала, что меня похитят... Но кто был тот незнакомец? Он расплатился с кучером. Странно — я запомнила, что делал этот человек, но не запомнила, как он выглядел, что говорил. Молодой или пожилой? Не помню. Чужой носовой платок. Еще и из-за такой мелочи Джемиль

устроит мне скандал. Все равно не миновать скандала. Все всё видели. Наверняка насплетничают маме и Джемилю. На всякий случай потихоньку выбрасываю носовой платок.

8

Так и есть! Небольшой предобеденный скандал! Ну и пусть. Сама не понимаю, почему это мной овладело какое-то бесшабашное настроение. Как будто должно произойти что-то интересное! Но чего же я жду? Чего я могу ждать? Что такого интересного может произойти? Да ничего. Разве что чайка нагадит на новую прическу, незнакомец предложит носовой платок, а наемный экипаж отвезет домой.

За обедом отец много рассуждал о том, что скоро начнется война. Джемиль начал строить предположения — как может новая война повлиять на финансовое положение нашей семьи.

Война. Порою мне кажется, что люди, которые занимаются политикой, это какие-то особые люди. От их решений зависят судьбы всех остальных людей. Не могу себе представить, чтобы политики были такими, как мой отец или Джемиль, так погрязали в мелочах, так скучно и нетонко мыслили.

Но, конечно же, я не ребенок, я знаю, что такое война для обыкновенных людей. Я помню, как мы с мамой проезжали мимо барачков у крытого рынка, где нашли приют беженцы. Помню наших родственников, вынужденных покинуть свой дом в Румелии. Разумеется, меня все это напрямую не касалось, я по-прежнему была сыта, хорошо одета, жила спокойно и удобно. Но меня терзал стыд, я стыдилась своего благополучия. И еще одно мне было стыдно видеть — почему люди не умеют нести с достоинством свои несчастья? Из всех этих мелочных вязких недомолвок и намеков, которые доносились до моих ушей, я прекрасно поняла самую суть ситуации: отец и мать не хотели, чтобы родственники задержались у нас и всеми способами выживали их; а те, в свою очередь, кланчили у отца деньги. Кончилось, впрочем, хорошо, им удалось с помощью моего отца купить дом, и дядя мой, который у себя в Румелии был судьей, нашел себе в Истанбуле какое-то занятие.

И ведь все это происходило совсем недавно. За два года — двенадцатый и тринадцатый — мы пережили две Балканские войны. Все эти сербы, греки, болгары, как они стремились разорвать на части нашу бедную страну, а ведь еще совсем

недавно все мы жили в одной стране. Наверное, разрушить большой красивый дом, потому что он обветшал, гораздо проще, нежели всем вместе привести его в порядок. И я не понимаю европейцев. Какое счастье, что отец никогда не додумывался запретить мне читать французские газеты. Интересно, почему иные из них эту остервенелую драку из-за каждого клочка земли называли «освобождением от турецкого ига»? Отнять что-то у турка означает «освобождение»! Но ведь греки, болгары, сербы, албанцы и друг у друга оспаривают территории. «Освобождаются», значит, друг от друга? Рушат один большой дом — государство османов — и лепят на его месте мазанки-развалюхи, зубами и когтями вырывая друг у друга каждый кирпичик, каждое бревнышко.

Господи, Надеж, а тебе-то какое дело до этого всего? Твоя судьба все равно остается твоей судьбой — судьбой молодой женщины, которую выдали замуж за человека немолодого и некрасивого, лишь бы сбыть с рук, как говорится; сбыть с рук, потому что ты странная, чудачка; а твой муж на тебе женился по расчету... «Ну и пусть!» — повторяю. — «Ну и пусть!» Все равно политика волнует меня; несмотря ни на что, мне кажется, что в конечном итоге она оказывает влияние на все наши частные единственные судьбы, меняет наши самые сокровенные мысли и самые интимные чувства.

9

Перед самым отъездом на дачу наведальась в книжный магазин Куюмджяна. Наконец-то из Парижа прислали несколько книг Достоевского на французском. Я давно мечтала прочесть романы этого писателя. Представляю себе, как все это может выглядеть в подлиннике, на русском языке. Наверное, прелесть необыкновенная! Теперь Достоевский и Толстой — мои кумиры. Серьезно подумываю: не начать ли мне изучение русского языка. Кажется, он очень сложный.

Ночи провожу наедине с Достоевским. Достоевский и я — одно, спящий храпящий Джемиль — совсем-совсем другое.

Читаю, и глаза мои наполняются слезами. Утыкаюсь лицом в подушку, сдерживаю всхлипывания, прикусываю кружевной кончик наволочки. Достоевский — это что-то странное и удивительное.

Сегодня читаю «Кроткую». В сущности, похоже на меня — неравный брак и несчастная молодая женщина. Но сколько в ней достоинства и серьезности, какое отсутствие мелочности, какая чистота. Почему я не могу быть такой? Меня портит и

развращает благополучие — наряды, лакомства, уютный дом. Но все равно уже с завтрашнего дня начну новую жизнь. Буду терпелива с мамой. Джемилю стану отвечать спокойно и без раздражения. Не буду ссориться с ними по пустякам. Но что считать пустяками? Например, когда я иду одна на прогулку, ни Джемиль этого не хочет, ни мама. Но ведь это вовсе не пустяк, не кокетство, я должна, мне просто необходимо побыть одной среди совсем посторонних мне людей на набережной; без мамы, без отца, без Джемиля. Что же делать? Надо научиться отстаивать свое право на эти прогулки спокойно, не капризничая. А, впрочем, кто сказал, что у меня есть такое право? Вот вариант вполне в стиле Достоевского — смириться и не выходить из дома одной. Нет, не могу. А что сделала бы на моем месте Аглая, та, которая полюбила князя Мышкина? Просто уходила бы, никого не спрашиваясь, и не унижала бы себя мелочными ссорами. Я похожа на нее. Она ведь тоже выросла в богатой семье, и родители ее были такими пошлыми людьми. Я — Аглая. Сонечка Мармеладова или Кроткая — недостижимый идеал. Даже Настасья Филипповна — недостижимый идеал. Нет, я — Аглая, просто Аглая.

Как-то легче становится жить, как-то удобнее и свободнее располагаешься в обыденности своей жизни, когда отыщешь свое отражение в какой-нибудь прекрасной книге.

10

Так уж получилось, что я у родителей — единственный ребенок. Первые детские годы я провела в маленьком городке, в горах. самого городка не помню. Мне было лет пять, когда дела отца пошли на лад и наша семья переехала в Истанбул. Из раннего детства помню маленький дворик, развесистое ореховое дерево. Мать наливала мне воды в маленькое корытце, и я весело плескалась, купала свою деревянную куклу, стирала ее платица. Кажется, помню наш отъезд. Или это была просто прогулка в экипаже? Какое-то чудесное чувство оттого, что едешь куда-то, движешься вперед, слышишь, как стучат по каменистой дороге подкованные копыта. Меня усадили в глубине экипажа, мне темно; кажется, громоздятся какие-то баулы и узлы. Но снаружи просачивается свет; я чувствую, что там, снаружи, ветер. Мне хочется туда. Вот экипаж останавливается. Меня выносят на руках и опускают на землю. Передо мной — безбрежный зеленый весенний луг. Я бегу. Бегу, бегу, бегу. Я впервые чувствую свое тело, оно живет, оно дышит и радуется каждой клеточкой. Я бегу, а луг

не кончается. Мне хочется бежать по бесконечному лугу. Мне кажется, что я убежала уже далеко-далеко. Но на самом деле мои маленькие ноги не могут убежать далеко. И луг вовсе не безграничен. И взрослые легко могут меня догнать, подхватить на руки и посадить снова в темный экипаж. И, конечно, так в конце концов и случилось, только я этого не запомнила.

Не знаю, думали ли мои родители о моем образовании, когда я была совсем маленькой. Наверное, нет. Они, кажется, даже и не относились ко мне всерьез; они все надеялись, что родятся сыновья. Но с каждым годом эта надежда становилась все более эфемерной и наконец угасла совсем. В то же время отец мой с каждым годом богател. Он уже принадлежал к тому кругу, где было принято брать гувернанток-француженок для воспитания дочерей на европейский манер.

Я знаю, что многие люди на всю жизнь запоминают кормилицу, няню, тех, кто воспитывал и ласкал их в раннем детстве. У меня не было няни, мама сама присматривала за мной или поручала меня служанке. Пожалуй, первым человеком, оказавшим на меня влияние, стала моя тетя Шехназ, старшая сестра моей матери. Шехназ-ханым родилась от первого брака моего деда, и когда я с ней познакомилась, она была уже пожилой женщиной. Это произошло, когда отец перевез нас в Истанбул. Мама и тетя Шехназ приходились друг другу сестрами, но их разделяло более двадцати лет и они были совсем разные. Мама не помнила своего отца, он умер, когда ей еще и года не исполнилось. Девочка воспитывалась в бедной семье своей матери-вдовы. Мама родилась в 1876 году, в год переворота, когда на престол взошел Абдул Гамид II. Позднее я узнала, что дедушка был знатным и богатым придворным, сумевшим поладить с двумя султанами. Впрочем, несчастья деда начались уже при Мураде V, который в том же роковом году правил всего несколько месяцев. Приход к власти Абдул Гамида всего лишь довершил падение моего бедного деда. Шехназ приходилась сестрой моей маме, но выросла совсем в иной обстановке. Она всегда сожалела о том, что маму выдали замуж за простого торговца, моего будущего отца; и даже когда он сделался солидным коммерсантом, продолжала смотреть на него несколько свысока.

Ко времени нашего переезда в Истанбул, тетя Шехназ была бездетной вдовой. Мне она очень обрадовалась и тотчас принялась учить всему, чему в свое время обучили ее самое, дочь знатного эфенди. Она читала мне вслух сочинения Вехби, поэта XVIII века, стремившегося сделать турецкий литературный язык более близким к тому, на котором говорят.

Необычайный мир страстной любви раскрылся мне в газелях Баки и Физули, произносившихся нараспев нежным, чуть надтреснутым голосом тети. Она внушала мне, что я должна гордиться тем, что прихожусь соотечественницей этим прекрасным поэтам; она всячески стремилась доказать, что все написанное ими имеет прямое отношение и ко мне. Я и вправду гордилась. Тетя Шехназ умерла, когда мне было девять лет. Помню, я так плакала, что родители опасались за мое здоровье.

Вскоре ко мне стала приходиться учительница французского языка. Мадемуазель Маргарита была уже не молода, одевалась строго. Глупо, наверное, но я запомнила, как мне хотелось поддержать ее зонтик и как эта мечта сбылась. Был ли у мамы зонтик, или зонтик мадемуазель Маргариты оказался первым зонтиком, который я увидела вблизи, и потому так заинтересовал меня, не помню. Но помню, как раскрыла его и держала над головой; мне вдруг показалось, что я — это уже и не я, а совсем другое существо, какая-то фантастическая взрослая женщина. Какими я тогда представляла себе взрослых женщин, тоже не помню.

Меня также поразило странное (то есть, по-моему странное) отношение моих родителей к мадемуазель Маргарите. Да, они обходились с ней вежливо и, по-видимому, хорошо платили ей. Но, когда они говорили о ней между собой, они ее презирали. И — самое для меня удивительное — вовсе не за какие-то свойственные ей недостатки или дурные свойства, но просто за то, что она не была турчанкой, не была мусульманкой, была чужая. Теперь такое отношение уже не удивляет меня. Я уже давно знаю, что христиане презирают евреев, евреи — христиан, и те и другие — армян, которые, хотя и христиане, но какие-то не такие. И все презирают и ненавидят друг друга. За что? За мнимость. Потому что на самом деле все люди очень похожи. Большинство — скучные и пошлые, и малая часть — интересные и талантливые. Но увы, сколько талантливых людей обращают свой талант на то, чтобы всячески пестовать и лелеять в душах бедного, обделенного талантом большинства эти самые презрение и ненависть.

Конечно, я была странным ребенком. Я испытывала потребность мыслить и чувствовать наперекор мыслям и чувствам своих родителей. Мне уже тогда казалось, что, если я разделю их мысли и чувства, это словно бы причислит меня к серому и скучному какому-то множеству; а мне уже тогда хотелось принадлежать к тем, которых мало, которые как-то выделяются из этого множества, проблескивают алыми огоньками в этом сером сумраке.

Узнав о том, что родители презирают мадемуазель Маргариту, я всячески старалась выразить ей свое доброжелательное отношение. Но она не проявляла желания подружиться со мной. Она, как и мои родители, явно принадлежала к пресловутому «множеству». Она, конечно, тоже презирала моих родителей, презирала за то, что они не были французами, не были католиками, были «чужими». Но меня она хвалила за прилежание и находила у меня способности к изучению французского языка. Эти похвалы, отмеренные строгим голосом, доставляли мне большое удовольствие.

Когда я впервые прочитала сказку о Красной Шапочке, мне открылись новые загадки. Это было совсем не похоже на те красивые стихи, что мы читали с тетей; но это было так просто, так понятно и близко мне. И говорилось в этой сказке о маленькой девочке, такой же, как я; впервые в жизни я могла отождествить себя с героиней литературного произведения. И это было произведение, написанное иноверцем, «чужим».

Неожиданно мне пришлось на мысль сделать эту прелестную Красную Шапочку турчанкой и своей подружкой. Я дала ей имя — Айше. Я прогуливалась в нашем дворе между деревьями и про себя беседовала с ней, придумывала, как мы вместе путешествуем (мадемуазель Маргарита тогда как раз начала преподавать мне географию). Я сама дивилась своим выдумкам. Много раз меня тянуло взять тетрадку и записать приключения моей Айше. Но каждый раз некий необъяснимый страх перед чистыми белыми листами останавливал меня. После я узнала из книг, что подобный страх свойствен и многим настоящим писателям.

Итак, еще не достигнув десяти лет, я уяснила себе, что произведения, написанные иноверцами и «чужими», могут быть тебе гораздо ближе, нежели то, что пишут твои соотечественники и единоплеменники.

С тех пор я прочла много произведений нашей, турецкой литературы. Я заучивала наизусть стихи Тевфика Фикрета, совсем неплохие романы Ахмеда Мидхата и Веджихи. Шинаси, Кемаль, Сами и те, что последовали за ними — Зия Гекалп, Али Джаниб Енте́м — все это можно назвать нашей новой литературой. Но я откровенно признаюсь себе: пока это все не идет ни в какое сравнение с Достоевским, Золя, Флобером, Толстым. Впрочем, теперь ведь я знаю, что и русская литература еще в начале прошлого века была подражательной и слабой. А теперь Европа, кажется, просто молится на Толстого и Достоевского. Может быть, такое же чудо произойдет и с турецкой литературой? Но ведь русская литература — литература могучего и обширного государства. Может ли небольшое и

слабое государство обладать большой литературой? Не знаю, смогу ли я хоть когда-нибудь ответить на этот вопрос. Наверное, для того, чтобы дать такой ответ, надо всерьез изучить литературу разных стран и народов.

Перечитала то, что я сейчас написала, и вдруг мне показалось, что самое прекрасное на свете — быть свободной и одинокой, сделаться ученой женщиной, ни от кого не зависеть, путешествовать. Или нет, одинокой — не надо. Пусть рядом будет человек... который... который понимает тебя...

11

Сегодня мы с Джемилом приглашены в гости на виллу Мухсин-бея. Значит, целый вечер мне придется терпеть ужасную вульгарность Муаззез-ханым и ее приятельниц. Хотелось бы побить одной, писать и перечитывать написанное, а вместо этого занимаешь свой ум пустяками. Выбрала для сегодняшнего вечера белое платье из тяжелого шелка и черный шелковый чаршаф. Буду выглядеть немного вызывающе. Пусть Муаззез и ее товарки позлятся.

Утром побродила по набережной. Неужели я схожу с ума? Такое ощущение, будто за мной кто-то следит. Но это не страшно, а, наоборот, приятно. Нет, конечно, это все мои фантазии.

12

Ночь. Допишу о сегодняшнем вечере. Произвела впечатление. Почувствовала, что Джемиль даже гордится мной.

Но это началось еще, когда я вышла к нему. Он посмотрел на меня как-то странно. Какое-то заискивание было в его взгляде. Меня раздирали противоречия — я не люблю его, но мне было жаль его, мне было приятно чувствовать, что он восхищается мной. Я знаю, я известная фантазерка, и немедленно в моей душе расцвела очередная химерическая фантазия — Джемиль поймет меня, я полюблю его, мы сделаемся счастливой парой.

Когда мы возвращались, почувствовала, что мне страшно наедине с ним в экипаже. Чего же я боялась? Да, да, я почувствовала, что ему хочется интимной близости со мной. И этого я боялась. Я просто даже растерялась. Я почувствовала себя беззащитной мученицей. Я сжалась и совсем притихла.

В доме все уже спали. Мы вошли в спальню. Я робко попросила Джемиля выйти и подождать, пока я переоденусь. Но он не уходил. Я положила сумочку на подзеркальник и смущенно скрестила, сжала пальцы опущенных рук. Джемиль приблизился и сказал какую-то пошлость, что-то вроде того, что я — «его красавица». Я почувствовала, как дрожат мои губы.

— Я... переоденусь... — выговорила я еле слышно.

Джемиль улыбнулся. Тускло блеснули неровные серые металлические коронки во рту. Они показались мне не то чтобы хищно оскаленными, но какими-то совсем-совсем чужими. Как будто бы рядом со мной очутился не человек, не мой супруг, но неведомое и неинтересное существо, с которым для меня невозможно никакое общение. Никакого контакта, никакой близости.

Я ни на что не могла решиться. Не могла закричать, не могла убежать.

Джемиль резко дернул мой чаршаф, отбросил на пол. Грубо схватил и сжал мои груди под платьем. Мне стало противно. Но сама не знаю, почему я сдерживала слезы. Почему я не заплакала?

Тяжелая шелковая ткань мешала Джемилю. Я видела, что его одолевает нетерпение. Странно, я все видела словно бы со стороны. И это мое видение «со стороны» было для меня залогом того, что все в конце концов кончится, надо только совсем немножко потерпеть.

Джемилю хотелось поскорее сорвать с меня платье. Но его крестьянская бережливость одержала победу над его телесным желанием. Он неуклюже попытался стащить с меня платье. Хотел даже задрать его мне на голову, я невольно сделала слабое движение протеста, чуть отпрянула. Он поморщился и пробурчал, чтобы я сама сняла платье и побыстрее. Я молча и покорно начала расстегивать лиф. Но он не переставал шупать мои груди и бедра под платьем. При этом он ухмылялся. Во всех его жестах и ухватках ощущалась какая-то грубая простецкая расчетливость. Может быть, в деревнях крестьяне так прицениваются к скотине? Он мешал мне раздеться. Я беспомощно замерла в расстегнутом платье. Он грубо поцеловал меня в губы. Его жесткие, колючие от усов, пахнущие крепким табаком губы так вдавились в мой рот, что я почувствовала боль в деснах.

Ну зачем я стою, как девственница в первую ночь? Пусть все это поскорее кончится. Я решительно отстранила Джемиля. Быстро распустила волосы, сняла платье, успела накинуть поверх белья легкий домашний халат-мешлах

Джемиль повалил меня на постель, откинул полы, неуклюже задрал сорочку. Теперь его шершавые руки стаскивали с меня отделанные кружевом панталоны.

Его костистое, но тяжелое тело навалилось на меня. Стало трудно дышать. Я собралась с силами; наверное, как человек, которого пытаются.

За ночь он проделал это раз пять или шесть.

Я не плакала. Наконец он уснул и спокойно похрапывал. Какое-то удовлетворение ощущалось в этом храпе. Я чувствовала себя опозоренной, раздавленной, сломленной. Вдруг сердце замерло в груди холодным комком — только не беременность! Этого состояния я боялась больше всего на свете. Я довольно равнодушна к детям. У меня никогда не возникало желания иметь ребенка. Материнские обязанности всегда казались мне пошлыми. Но ребенок, беременность от Джемиля — ничего более ужасного не могу себе представить. Никогда, никогда, никогда! Я покончу с собой.

Если бы я сейчас могла заплакать, растопить этот ледяной комок в груди. Но не могу, никак не получается. Хочется умереть немедленно, сейчас же.

Надо подумать о книгах, о литературных героях — это всегда приносит облегчение. Странно, я никогда не соотносила себя с Анной Карениной. А ведь много общего — муж намного старше... Да нет, глупость! Ничего общего. Муж Анны — утонченный аристократ, и сама она старше меня лет на десять, и такая спокойная, рассудительная...

Утомившись, я крепко уснула.

Проснулась. Шторы отдернуты. Яркий солнечный свет заливает комнату, блестит на позолоченной отделке мебели. Повернулась на спину. Джемиль в одном белье распылил на руках мои кружевные панталоны, которые вчера сам же и разорвал. Озабоченно оглядывает прорехи и вдруг обращается ко мне почти дружелюбно и раздражается невнятным монологом о непрочности «этого дурацкого французского белья». Такое с ним бывает — после тех редких ночей, когда на него находит желание близости со мной и когда он это свое желание грубо удовлетворяет, ему вдруг начинает казаться, что теперь я не могу не разделять все его представления о деньгах, об экономном ведении домашнего хозяйства, и прочее в том же духе. Но тут покорность и робость покидают меня. Я вскидываюсь, как тигрица. Может быть, яркий свет солнечного утра придает мне смелости. Я сама себе отвратительна и смешна, мне отвратителен и смешон Джемиль с моими панталонами в руках.

— Оставьте меня! — искренне выкрикиваю я традиционные слова разозленной женщины. — Не смейте больше никог-

да прикасаться ко мне! Я ненавижу вас! Вы слышите? Ненавижу! Не приближайтесь ко мне!

Он смотрит на меня с такой брезгливостью, с какой простолудины должны смотреть на сумасшедших, особенно на сумасшедших женщин. Ну вот, я угадала.

— Сумасшедшая! — буркнул Джемиль, кинул на постель злополучные панталоны и вышел из спальни, хлопнув дверью.

Мы с ним слишком разные для того, чтобы понимать друг друга и друг другу сочувствовать. Больше ни за что не подпущу его к себе.

13

Я, Бора Этергюн, перелистываю тонкие страницы дневника моей юной единоплеменницы Наджие-ханым.

Я пережил свою молодость. Двадцатый век ушел далеко вперед, а я остался позади, там, у самых его истоков, в мире романтического идеализма. Теперь уже не встретишь молодых женщин, подобных Наджие-ханым; теперь мы закалены двумя мировыми войнами, и мне, старику, уже не понять, какие проблемы волнуют современных молодых женщин... Поэтому я снова раскрываю дневник юной женщины «моего времени» и с головой ухожу в него.

14

За обедом отец говорил, что какой-то студент из Австро-Венгрии, не то хорват, не то словенец, убил какого-то герцога или принца. Я не вникала. Отец считает, что теперь непременно начнется война*. Турция по его мнению, будет участвовать и примет сторону Германии. Потом отец и Джемиль заговорили о том, что может произойти на европейских биржах.

Любопытно — они справедливо опасаются войны, которая может нанести чувствительный удар по их финансовым делам; но в то же самое время они ждут от войны каких-то территориальных приобретений для Турции, каких-то побед. Когда они рассуждают о финансах, они оба очень практичны

* Имеется в виду убийство Гаврилой Принципом эрцгерцога Фердинанда, послужившее формальным поводом для начала Первой мировой войны

и скучны, когда судят о победах на войне и о возврате исконных наших земель, делаются примитивны и неприятны.

О беременности старалась не думать. Если дам себе волю, совсем сойду с ума, воображая себя беременной.

15

Ночь прошла спокойно. То есть, как было заведено прежде. Я читала, повернувшись к мужу спиной, он не обращал на меня внимания. Должно быть, решил, что лучше не связываться с сумасшедшей. Вот и хорошо.

Днем на набережной снова чувствовала, что кто-то наблюдает за мной. Пыталась определить, кто же это, не сумела. Сама-то я не отличаюсь наблюдательностью.

16

Думаю и думаю о возможной беременности после той гадкой ночи. Из всех сил стараюсь не думать, стараюсь отвлечься. Иногда это удается, но тотчас же снова возникает навязчивая мысль. Здравый смысл подсказывает мне, что я вовсе не беременна, но мое отчаянное воображение мчит на всех парах и увлекает меня в какие-то фантазмагорические бездны тоски и безысходности.

После прогулки перечитала написанное прежде. Надо мне отвлечься. Я вспоминала свое детство и обучение у мадемуазель Маргариты. Что же было дальше?

Мне исполнилось четырнадцать, и отец посчитал мое образование законченным. Занятия с мадемуазель Маргаритой прекратились. Мы простились друг с дружкой легко. Сначала я даже порадовалась прекращению занятий, мне казалось, что теперь я смогу гораздо больше времени уделять чтению. Я уже наметила, какие французские книги и журналы закажу в книжном магазине. Отец и мама, конечно, посердились, но деньги на книги я получила. С наслаждением окунулась в мир вымысла, который для меня был живее окружающего меня мира скучной реальности. Особенно захватила меня «Человеческая комедия» Бальзака. Несколько раз перечитала «Отца Горио» и «Гобсека». Помню, это было зимой. Как приятно в теплой комнате переживать приключения людей, живущих жизнью, совсем не похожей на твою. Мне

тогда вовсе не хотелось ставить себя на место кого-нибудь из героев и героинь моих книг, мне просто нравилось следить за их жизнью, мне казалось, что я могла бы провести так всю свою жизнь, за книгами, в наблюдении за жизнью героев и героинь.

Но родители, разумеется, хотели выдать меня замуж. Они полагали, что четырнадцать лет — достаточный возраст для вступления в брак. И дело было вовсе не в какой-то их злонамеренности. Маму выдали замуж в тринадцать лет. Думаю, если запретить деревенским девушкам вступать в брак в тринадцать-четырнадцать лет, они воспримут подобный запрет трагически. Почему так? Во-первых, большинство людей в мире так воспитаны — самым главным им представляется телесная близость. И во-вторых, ведь брак дает девушке средства к существованию — муж содержит ее. Кстати, именно в этом я вижу основной недостаток романтических пьес вроде «Чувствительной девушки» Тархана. Можно сколько угодно рассуждать о том, что девушка имеет право выбрать себе в мужа того, кого она полюбила. Но разве может сделать верный выбор девушка, ничего не знающая о жизни? Нет, только человек образованный, имеющий в жизни какое-либо серьезное занятие, может распорядиться собой. Если девушка будет сама себя содержать, если общество позволит ей быть образованной честной труженицей, тогда проблема выбора мужа перестанет быть главной в ее жизни. Но я поняла уже давно — это все пустые мечты. Нет и, наверное, не может быть такого общества. И если у девушки нет родителей или опекунов, если женщина лишилась кормильца-мужа, то или им предстоит трудиться за гроши, стирая чужое белье или обучая и воспитывая чужих детей, или же им нужно продать свое тело, и тогда они, возможно, преуспеют.

Я не хотела выходить замуж. В четырнадцать лет я уже знала, что значит зависеть от других. Я понимала, что зависимость от мужа будет куда более тягостной, нежели зависимость от родителей. Когда мама сказала мне, что говорила обо мне со свахой, я резко заявила, что замуж не выйду. Мама, конечно, пожаловалась отцу. Отец накричал на меня, а, увидев мое упорство, кинулся с кулаками. Мама встала на мою защиту. Они принялись кричать, обвиняя друг друга в том, что я избалована и своенравна.

Отец все-таки успел несколько раз ударить меня. Не слушая моих возражений, мама раздела меня, заахала при виде большого синяка на спине, сама, без помощи служанки, сделала мне компресс и после долго бранила отца за то, что он не знает удерживать гнев и мог бы меня убить. Отец сердито сказал, что ему больше нет дела до меня, пусть мать сама заботится о моем будущем.

Мама приняла свое решение — продолжать переговоры со свахами, не обращая внимания на мое капризничанье. И тут неожиданно мне помогли сплетни. Да, да, самые обычные женские пересуды, когда за чашечкой кофе или чая переминают косточки отсутствующим подругам и соседкам. О моей строптивости начали сплетничать. Меня ославили чудачкой, чуть ли не сумасшедшей. Кто явился источником подобных сплетен? Все очень просто. Конечно же, слуги.

Но мне это все было на руку. Меня оставили в покое. Свахи теперь просто не брались выдать меня замуж. А тут еще я решительно отказалась выходить к ним для смотрин. Мама рассыпалась в смущенных и путаных оправданиях, объясняя мое поведение ребяческим упрямством балованного ребенка. Но свахи в ответ только иронически поджимали губы.

Могли бы родители воспитать меня как-то иначе? Думаю, в любом случае я осталась бы собой. Чем диктовалось мое упрямство? Конечно, желанием зажить иной жизнью, не быть такой, как все вокруг. Но сейчас я понимаю: это вовсе не означало, что я стремилась к какому-то определенному образу жизни, реально существовавшему где бы то ни было. Нет. Я уже знаю, что любая конкретная, реально существующая жизнь не устраивает меня. Я всегда буду стремиться что-то (или все) изменить, быть не такой, как другие.

Но если спуститься, как говорят, на землю, то зачем лгать себе самой; упрямясь и отказываясь от замужества, я поступала неправильно. Результат моего упрямства был самый что ни на есть естественный и неблагоприятный для меня. Я вышла замуж за человека, с которым у меня нет ничего общего. Но как же это произошло? Не хочу слишком спешить с выводами. Все обдумаю и завтра запишу.

17

Нет, положительно, за мной следят! На набережной чувствую чей-то пристальный взгляд. Если бы я читала о таком в романе, мне было бы интересно, но в этой реальной моей жизни мне как-то странно переживать подобный интерес к моей скромной особе. Если бы это происходило на страницах романа, я подумала бы, что в меня влюблен какой-то незнакомец, влюблен искренне и страстно. Но в жизни, я знаю, такой любви не бывает, в жизни существует только похоть, сдерживаемая практицизмом.

Снова появились навязчивые мысли о беременности. Все-му виной нервы и праздность. Но чем я могу заняться? Вы-

шивание, вязание, шитье для дома — это все не то, это не работа, не труд, приносящий удовлетворение. Неужели нет на свете такого труда, который давал бы и радость и деньги на жизнь? Перевести что-нибудь интересное с французского и предложить в какое-нибудь издательство, отослать в редакцию журнала? Боюсь, что во мне увидят просто праздную бездельницу, решившую побаловаться литературой. И разве на самом деле это будет не так?

Но кто же за мной следит? Или мне чудится? Сегодня собиралась записать историю моего злосчастного замужества, но нет настроения. Отложу на завтра. Смешно — как будто кто-то заставляет меня! Нет, я свободна. Свободна, как птица в клетке, — клетка большая, удобная, делай, что хочешь, клюй зерна, купайся в корытце, перелетай бестолково с места на место, чирикай бесцельно. Только одного нельзя — улететь в неведомый мир.

18

Кажется, сегодняшнее «сегодня» — это именно то «сегодня», когда я намеревалась приняться за описание моего замужества. Пиши, Наджие, пиши, хоть раз в жизни исполни намеренное.

Почти четыре года я была свободна; в определенном смысле, разумеется. То есть, могла свободно читать книги и не тревожиться об угрозе замужества. Тогда я даже не задумывалась о том, что покупаю книги на деньги отца.

Мне минуло семнадцать. Я знала, что почти все мои сверстницы уже замужем, имеют детей. Мама часто заводила разговор о том, что вот, мол, встретила такую-то, у ее дочери уже двое детей; и при этом смотрела на меня с грустным укором.

Я почувствовала, что мне начинает надоедать мое добровольное затворничество в мире героев и героинь романов. Теперь я с волнением ждала, что мама позовет меня, предложит мне выйти к гостям или отправиться в гости вместе с ней. Я стала думать о возможности реальной любви; о том, чтобы меня кто-то полюбил, а я полюбила бы его. При этом я воображала себе какие-то препятствия, преграды, запреты, которые нам, влюбленным, придется преодолеть. О телесной стороне любви я, в сущности, никакого понятия не имела.

Я знала, что совсем не некрасива, но не подозревала о том, что меня считают сумасшедшей; то есть, какие-то смутные подозрения были, но не придавала этому значения. Я

оглядывалась вокруг в поисках человека, которого могла бы полюбить. И, конечно, я не находила такого человека. Да и кого я могла найти? Мой отец не был настолько богат, чтобы привлечь внимание, например, молодых инженеров, кончивших курс в Германии, или сыновей разорившихся аристократов. По любви никто, кажется, не женился; завести интрижку было гораздо спокойнее с замужней женщиной или с дамой полусвета, из тех, что прогуливаются на приморской площади в Кадыкее. Но это все я поняла чуть позже.

Мама уловила мое настроение и все чаще ходила со мной в гости или звала меня, чтобы я вышла к нашим гостям. Мне теперь было приятно появляться на людях нарядно одетой. Вместе с мамой я заезжала в магазины и стремилась купить модную одежду. Мама сначала противилась, но в конце концов соглашалась со мной. Много в современной моде ей казалось некрасивым и неприличным, но в то же время она желала, чтобы я была одета не хуже других; убедившись, что тот или иной фасон «носят все», она покупала мне желанное мною платье.

Меня начала тревожить мысль о том, что я могу остаться старой девой; я чувствовала, что это очень оскорбительно для меня. Сегодня я задаю себе вопрос: а чего я, в сущности, боялась? Того, что другие станут говорить обо мне. «старая дева Наджие»? Нет, меня не тревожило мнение окружающих меня людей. Пожалуй, на меня действовали французские романы, в которых иной раз описывалось, как презирают старых дев, как они озлоблены и смешны. Я все больше склонялась к мысли о том, что надо выйти замуж. Положение молодой замужней женщины, даже если она замужем за нелюбимым, казалось мне интереснее одинокого существования презренной старой девы.

Ах, как я мало знала жизнь! Еще меньше, чем теперь. Я знала, мама поймет, что я согласна выйти замуж. Но я и не подозревала о том, что найти мне жениха не так-то просто. Мама достаточно разбиралась в той действительности, где мы жили, для того, чтобы не воображать, будто в меня кто-то влюбится в гостях и явится к отцу просить моей руки. Она снова начала переговоры со свахами. Ей приходилось выслушивать унижительные намеки на то, что меня считают сумасшедшей, унижительные отказы. Приходилось бедной маме упрашивать и задаривать свах. А я-то, дурочка, уже вошла в роль девушки, руки которой добывается нелюбимый.

Дошло дело и до смотрин. Боже, кому меня прочили в невестки! Толстые вульгарные женщины, одутловатые лица набелены, брови насурмлены, чаршафы, яшамаки и ферадже —

из прошлого века. Мама даже поссорилась с отцом. Одна такая «будущая свекровь» изъявила согласие сделать меня женой своего вдового сына — владельца какой-то мастерской на рынке, не то кожи там выделывались, не то зеркала гранились, — не помню. Все это сопровождалось такими ужимками, будто старуха оказывала одолжение моей семье. Отец считал, что это предложение следует принять, все равно лучше не найдем. Но мама возразила ему решительно и резко. Она сказала, что не хочет видеть меня несчастной, что я не приживусь среди таких грубых и необразованных людей, что не для того она меня растила и берегла. Я чувствовала себя униженной, но в то же время я поняла (чуть ли не впервые), как сильно любит меня моя мать.

Конечно, были и другие варианты знакомств — более современные, когда мы с мамой приходили в гости в квартиры, обставленные европейской мебелью, сидели в гостиных с фортепиано. Слушая, как играют другие молодые женщины и девушки, я поняла, что они получили более тщательное образование, чем я. Однажды я сказала отцу, что хотела бы научиться играть. Но эта, в сущности, невинная просьба оказалась переполнившей чашу капель — отец выплеснул на меня все копившееся в его душе раздражение. Мне стало жаль его, ведь он тоже чувствовал себя униженным, имея взрослую незамужнюю дочь. Короче, пианино мне так и не купили. Наверное, теперь я могла бы настоять на покупке инструмента, но зачем? Из каприза? Особых музыкальных способностей у меня все равно нет. Это будет всего лишь новым поводом для ссоры с отцом и Джемилем.

В европейски обставленных гостиных со мной несколько раз беседовали «женихи» — молодые люди. Я старалась быть вежливой, но, наверное, говорила глупости, высказывала слишком необычные суждения, слишком горячо рассуждала о книгах. Я плохо помню своих тогдашних собеседников; забыла даже, у кого мы бывали в гостях. Помню, что мама все больше молчала, опасаясь сказать что-то не то. В сущности, мне было все равно, кто из этих молодых людей женится на мне. Все они не были мне неприятны. Я ни в кого из них не могла влюбиться, но выйти замуж за кого-нибудь из них была бы согласна. Но никто не сделал мне предложения.

Меня немного тревожила грустная мысль — почему я ни в кого не влюбляюсь? Пусть это была бы несчастная, неразделенная любовь, но все же — любовь. Я убеждала себя, что мне просто не в кого влюбиться. Я и сейчас пытаюсь убедить себя в этом. А быть может, дело во мне? Быть может, я неспособна любить? Я слишком рационалистическая натура?

«И тут появился Джемиль», — написала я. Но ведь это неправда. Джемиль вовсе не появился внезапно. Он довольно давно служил в конторе моего отца. Джемиль был терпелив и старателен. Он все силы положил на то, чтобы овладеть ремеслом бухгалтера, и мой отец считал его одним из своих самых лучших служащих. Джемиль охотно соглашался на сверхурочную работу и не требовал повысить жалованье.

Несколько раз мне приходилось сталкиваться с Джемилем; то есть я его видела, слышала, как он о чем-то говорил с отцом. Вот и все.

Мне и в голову не приходило причислить Джемиля к своим возможным женихам.

Джемиль родился и вырос где-то на западе Малой Азии в захолустном городишке. В школе он выучился читать и заучивание наизусть сур Корана воспринимал, как что-то досадное и докучное. Еще бы, ему ведь не объясняли смысл прочитанного. Таких учителей, как моя тетя, у него никогда не было. В школе мальчиков колотили палкой по пяткам. Да и дома Джемилю приходилось не слаще. Семья была большая; отец, промышлявший извозом, часто болел. Я заметила, что Джемиль и сейчас любит каленый горох и медовые рожки — простонародные лакомства его детства.

Ни с кем из своих родных Джемиль никогда не знакомил меня. То ли он стыдится их, то ли понимает, что, пока он зависит от моего отца, не следует демонстрировать многочисленных родственников. Я знаю, у Джемиля есть братья и сестры, родители его умерли.

Джемиль приехал в Истанбул на свой страх и риск, без гроша, необразованный, неотесанный, дома его семья жила скорее крестьянской жизнью, нежели городской. Какое-то время Джемиль работал грузчиком в порту, самостоятельно изучил французский язык; в конторе моего отца прошел путь от прислужника-метельщика до главного бухгалтера. В сущности, его жизненный путь имеет много сходства с жизнью моего отца.

Иногда Джемиль кажется мне стариком, а ведь он вовсе и не стар; он старше меня меньше, чем на десять лет.

Джемиль, вероятно, толковый финансист. Благодаря его смекалке, отец провел в год Балканских войн несколько удачных финансовых операций. Одно время меня волновал вопрос — насколько честно были проведены эти операции? Глупый в общем-то, вопрос. Что я могу знать о честности при совершении денежных сделок? Ничего. Если даже мой отец и

Джемиль не были абсолютно честны, то, во всяком случае, они не были хуже других, а другие отнюдь не были ангелами. Так я думаю.

Джемиль купил и обставил небольшой дом (тот, где мы и живем сейчас). Дом двухэтажный, как хорошо было бы жить там не с Джемилем, а с кем-нибудь другим, но... пустые мечты, как всегда.

Вскоре после того, как Джемиль купил дом; отец узнал, что Джемиль собирается жениться. Помню, отец сказал об этом маме, та грустно вздохнула; она всегда вздыхала, когда до нее доходила весть о чьей-либо женитьбе или замужестве. Мои родители еще не знали, что Джемиль намеревается вступить в брак со мной.

Джемиль решил прибегнуть к услугам свахи. Кажется, он считал не деликатным — прямо сказать отцу о своем намерении.

Сваха обо всем сказала моей матери. Мама поспешила сообщить отцу. А отец... Отец немного растерялся. То он готов был выдать меня замуж за кого угодно, хоть за простого ремесленника, а теперь, когда впервые просили моей руки, это застало отца врасплох. Странно, но он, страстно желавший моего замужества; оказывается, совсем не мог себе представить меня замужней женщиной, и каким должен быть мой муж, отец не представлял себе. Джемиль был человеком деловым, способным, мог еще многого добиться. Отец знал его как человека воздержанного, порядочного; знал, что он здоров. Казалось бы, никаких препятствий к заключению брака не находилось. И все же отец никак не мог оправиться от растерянности. Наконец он принял самое что ни на есть мужское решение: пусть мать определит мою судьбу.

Мама тоже была смущена. Она очень осторожно рассказала мне о предложении Джемиля. Я видела: она боится, что я разозлюсь, расплачусь горькими слезами, заупрямлюсь. Но ничего такого не произошло. Мама еще не кончила говорить, а я уже вжилась в свою новую фантазию, материал для которой я, конечно же, почерпнула из романов.

Мне вообразился страдающий от деспотизма моего отца, беззаветно влюбленный в меня человек; пусть он не получил должного образования, зато он способен испытывать сильные чувства; я буду внимательна к нему, я помогу ему восполнить пробелы в его образовании, мы будем беседовать о прочитанном. Вот какие у меня появились мысли. Разумеется, ничего нет проще, чем посмеяться над собой тогдашней. Но стоит ли? Да, теперь я чуть получше разбираюсь в обыденной жизни, но все равно я слишком многого не знаю. И разве, утра-

чивая наивность, мы не утрачиваем чистоту души? Стоило бы о такой утрате пожалеть!

Итак, я не закапризничала, не рассердилась, а скромно спросила.

— Можно мне с ним поговорить?

Я увидела, как мама обрадовалась, и тогда я испытала удовольствие от своего скромного и достойного поведения. Никогда еще я не видела маму такой радостной. Она поспешно пообещала мне, что скоро мы встретимся в гостях у одной из ее старых приятельниц.

20

Мамина приятельница и ее престарелый супруг жили в довольно ветхом доме. Европейской мебели там не было. На полу в гостиной — персидский ковер, на тахте — красное бархатное покрывало. Пожилая служанка принесла кофе на серебряном подносе старинной чеканки.

Я сидела рядом с мамой, скромно склонив голову, но за этой смиренной позой скрывалась радостно-возбужденная душа. Чему я радовалась? Тому, что наконец-то моя жизнь изменится. Я стану замужней женщиной, испытаю новые чувства.

Джемиль сидел напротив нас и молча прихлебывал кофе. Я потихоньку разглядывала моего будущего мужа. Худощавый, он казался неуклюжим. Новый костюм сидел на нем мешком. Вероятно, и феска была куплена новая и топорщилась как-то смешно. Я поняла, что его темные волосы зачесаны назад. Кажется, волосы у него были хороши. Да они и сейчас разве плохие? Только все равно я не могу себя заставить прикоснуться к этим волосам.

Вот Джемиль поднял голову. Глаза у него темнели как-то смутно из-под тяжелых век. Очень заметны были морщины на смуглом лице. Это не были морщины старости, но обычные морщины крестьянской зрелости, крупные, резкие.

Что я чувствовала? Попробую сама себе объяснить.

Прежде всего — собираясь встретиться с Джемилем, я воображала, что я не только более образованна, чем он, но и чувства у меня богаче и тоньше. Я не отдавала себе отчета в том, что смотрю на него сверху вниз. Мне и в голову не приходило, что и он может относиться ко мне точно так же. А ведь все так просто — ему, самолюбивому человеку, уже кое-чего добившемуся в жизни, вовсе не хотелось, чтобы какая-то

взбалмошная девчонка поучала и воспитывала его. Напротив — это он думал, что, вступая в брак со мной, делает мне одолжение, мне и моим родителям. Джемиль уже приобрел свой жизненный опыт, сделал свои выводы, а я, в сущности, собиралась опровергать эти его выводы, внушать ему свои мысли и чувства. И дело было совсем не в том, что в обыденной жизни Джемиль был опытнее меня. Ведь и я успела прожить на свете почти восемнадцать лет, и я накопила некий опыт, обобщила свои впечатления, сделала выводы. Просто мы — Джемиль и я — никак не совпадали друг с другом и потому ничего не могли друг другу дать. Это даже странно — два человеческих существа, вполне могущих соединиться телесно, абсолютно несоединимы духовно.

Я посмотрела прямо ему в глаза. И вдруг ощутила свою беспомощность. Я ничего не могла сказать ему взглядом; я не понимала, что говорит выражение его глаз. Мне стало не по себе. Мне захотелось, чтобы его губы задвигались, чтобы он произносил слова. Может быть, тогда мы сможем что-то сказать друг другу?

Взгляд мой скользнул чуть вниз. Я заметила, что Джемиль смущенно сплетает и расплетает свои сильные, крупные и длинные пальцы. Это меня тронуло. Хотя сейчас я думаю, что это тронуло меня именно как проявление слабости. А слабость Джемиля означала мою возможность доминировать, чувствовать себя сильной. Почему смутился Джемиль? Он вовсе не был слабым человеком, он сильный, я знаю. Предполагаю, что, глядя на меня, он угадал мою взбалмошность, и опасался, что я все испорчу какой-нибудь глупой выходкой, и тогда все его надежды на помощь моего отца пошли бы прахом. Ради справедливости добавляю сейчас, что, возможно, я ошибаюсь, и смущение Джемиля было вызвано какими-то иными причинами.

И еще одно: я ощутила, что присутствие этого человека заставляет меня держаться спокойно, серьезно, даже несколько скованно, говорить мало; что вообще-то не было мне свойственно.

Но заговорила я первая.

— Прекрасная работа, не правда ли, эфенди? — я указала на серебряный поднос.

— Да, красиво, — ответил он.

Затем опустил руку и ногтем постучал по серебру. Мне этот жест показался забавным. Я хотела было сдержать улыбку, опасаясь, что Джемиль истолкует ее как насмешку над ним; но все же решила, что ему будет приятно, если я улыбнусь дружески. И улыбнулась.

Он тоже улыбнулся. Обычно люди, когда улыбаются, хохочут. Джемиль не составлял исключения. Улыбка его вы-

ражала добродушие и какое-то неожиданное озорство. Я подумала, что, должно быть, в детстве он был озорным мальчишкой. Мысль о том, что этот взрослый мужчина был мальчишкой, заставила меня снова улыбнуться. Многих людей трудно представить себе детьми.

Джемиль сказал, что слышал о моей образованности. Я покраснела. Ему это, кажется, понравилось.

— А вы любите читать? — спросила я.

Конечно, это был глупый вопрос. Джемиль улыбнулся, как улыбаются взрослые лепету ребенка, не вникая особенно в смысл; и ответил, что у него мало времени остается на чтение. Но тут же добавил, что читает газеты.

— Выпейте еще кофе, — любезно предложила Джемилю мамина приятельница.

Он охотно взял чашку. Я поняла, что наш разговор нелегко дается ему, он боится сказать что-то не то.

Мама и ее приятельница исподволь взяли нить беседы в свои надежные женские руки. Они принялись наперебой говорить Джемилю о моей застенчивости; о том, как в наши дни легко выдумать о честной и порядочной девушке Бог знает что, только потому, что она скромная, образованная и не хочет выходить замуж за кого попало. Мне было неловко. Щеки мои горели. Джемиль молча кивал.

И вдруг я почувствовала, что он как-то странно смотрит на меня. Такое я испытывала впервые. Я не понимала, в чем суть этого взгляда, но это не было простое восхищение моей красотой; это было нечто тревожащее меня, одновременно и пугающее и бессознательно влекущее. Теперь-то я давно поняла, Джемиль посмотрел на меня взглядом опытного сильного мужчины; прикидывая, хороша ли я буду в постели. Во взгляде его блеснуло какое-то удовлетворение, которое показалось мне животным и неприятным, но это, наверное, был самый обычный мужской взгляд. Но мне все равно неприятно. Я не хочу, чтобы на меня смотрели как на животное, пригодное для телесных забав. Это унижает мое человеческое достоинство. А может быть, я просто холодная женщина? Уже много раз за время моего замужества я задавала себе этот вопрос.

Мама ласково напомнила мне, что нам пора домой. Я послушно поднялась, вежливо простилась с маминкой приятельницей и с Джемилем. Я чувствовала, что моя вежливость производит на него приятное впечатление, и мне это было приятно.

Мама прощалась с ними обоими многословно, выражая надежду на новые встречи.

Джемиль простился сдержанно и очень почтительно. Он по-европейски поцеловал мне руку. У него были чуть влажные губы, это прикосновение взволновало меня.

Дома, когда я уже переоделась, расчесала на ночь волосы, и прилегла с книгой (впрочем, не помню, какую книгу я хотела читать в ту ночь), дверь моей комнаты приоткрылась, и вошла мама.

— Ты еще не спишь, Наджие? — нерешительно спросила она, останавливаясь в дверях.

Я все еще испытывала желание быть послушной, даже покорной. На самом деле я вовсе не такова, но желание быть такой частенько находит на меня. Я поспешно приподнялась, спустила ноги с постели, села, отложив книгу. Нерешительность в голосе мамы смутила меня.

— Я не сплю, мама, не сплю. Что-нибудь случилось?

— Ничего. Просто хотела бы поговорить с тобой.

— Да, да, конечно.

Я поднялась. Мы сделали несколько шагов навстречу друг другу. Присели на постель.

— Тебе понравился Джемиль? — спросила мама, помолчав.

Я совсем не хотела сейчас лгать ей и молчала, опустив голову. Она ласково провела ладонью по моим волосам, привлекла меня к себе и поцеловала в щеку.

— Я понимаю, — начала мама, — Джемиль — простой необразованный человек, — она говорила извиняющимся тоном, мне захотелось успокоить ее, ободрить. — Но твой отец, Наджие, сказал, что из Джемиля будет толк. — Мама чуть отстранилась и посмотрела на меня испытующе.

— Да, кажется, он незлой человек, — пробормотала я.

— Милая Наджие, мы с отцом — не вечны. Не дай Бог что-нибудь случится, ты останешься одна...

— Мама, не говори так! — перебила я.

Я совершенно искренне не хотела слышать подобных речей. Дело в том, что когда-то в детстве я тайком мечтала, что с отцом и матерью что-нибудь случится, и я останусь одна. Я не представляла себе, что же может произойти дальше, мне просто хотелось остаться одной. Я всегда понимала, насколько дурны эти мои мечты и старалась всячески подавлять их.

— Не говори, не говори, — грустно передразнила меня мама. — Все может случиться.

— Я согласна выйти замуж за Джемиля, — быстро произнесла я.

— Да что ты мне здесь играешь в послушную девочку! — мама немного рассердилась. — Никто тебя не принуждает выходить замуж!

Я давно заметила, что мама очень точно угадывает, определяет некоторые дурные мои свойства. Например, она может заметить, когда я притворяюсь не такой, какая я на самом деле. Но, с другой стороны, а что плохого в таком притворстве? Я ведь и вправду хочу стать лучше...

— Я не влюбилась в Джемиля,— сказала я.— Но, думаю, мы с ним сможем ужиться.

— Значит, ты хочешь выйти за него замуж? — мама смотрела на меня.

И вдруг я догадалась. и отцу, и ей страшно принимать решение. Когда встал вопрос о том, выдавать ли меня замуж за Джемиля, отец испуганно отстранился и все возложил на мать. Но и маме страшно. И вот она хочет, чтобы я сама решила свою судьбу.

В сущности, чего мне хотелось? Изменить свою жизнь? Я никогда не умела просчитывать наперед. Да, просто изменить свою жизнь. И для этой перемены представлялась возможность: замужество.

— Да,— твердо ответила я.— Хочу выйти замуж за него.

Мама вздохнула.

— Ты уверена? — спросила она.— Мы ведь не заставляем тебя.

Я понимала, что она боится. вдруг я буду несчастна в браке. Тогда она будет всю жизнь мучить себя. Но я уже чувствовала, что я не из тех, которые всю свою жизнь терпят одно и то же страдание. Я уже тогда знала, что моя жизнь будет представлять собой цепочку перемен. Надо только быть чуть более терпеливой...

— Я уверена, что мы с Джемилем сможем жить вместе,— я взяла маму за руку и нежно погладила.

Мама снова вздохнула, снова поцеловала меня в щеку и ушла.

21

Начали готовиться к свадьбе. Мама принялась знакомить меня с моим чейзом — приданым. Отец сделался ласков со мной и с мамой. Он то и дело заводил разговоры о том, что прежде с замужеством и женитьбой справлялись куда легче, нежели теперь. Судьбу молодых часто решали родители и при этом ухитрялись учесть все — и характеры будущих супругов и их имущественное положение, потому и браки выходили счастливыми. Отец усмехался и напоминал маме о том, как он вошел в комнату новобрачных и поднял покрывало, а мама, которой еще не было тринадцати... Тут мне становилось

смешно, я прыскала. Мама, притворяясь сердитой, прерывала отца и просила его уйти и не мешать нашим женским делам. Отец радостно смеялся и послушно уходил. Пожалуй, это были счастливые дни. Родители решили, что до свадьбы я не буду видиться с Джемилом. Это меня вполне устраивало. Откровенно говоря, я боялась, что если еще увижусь и поговорю с Джемилом, то просто раздумаю выходить замуж и откажу ему. Я понимала, что, если после все-таки захочу выйти замуж, мама уже не сможет найти мне жениха.

А пока я с удовольствием перебирала и рассматривала все то, что составляло мое приданое. Впрочем, помимо различных предметов обихода и одежды, отец дал за мной деньги. Крупная сумма была положена в банк на мое имя. В брачном договоре по настоянию отца указывалось, что эти деньги, так же, как и приданое, принадлежат мне. В случае развода я могу взять все свое приданое и деньги; кроме того, Джемиль обязан будет выплачивать мне определенную сумму из своих доходов. Казалось бы, все эти условия были невыгодны Джемилю и унижительны, но он согласился. Он правильно полагал, что та помощь, которую окажет ему мой отец, искупает все унижения и невыгодные пункты брачного договора.

Развод? Это нереально. Я даже не знаю, как это делается. Как бы я могла пойти против всех — против родителей, против Джемиля, ведь никто из них не хочет развода. Самое парадоксальное то, что и я не хочу. Почему? Потому что я ленива и несамостоятельна? Нет, иногда мне кажется, что просто потому, что еще не пришло время. Когда же оно придет и придет ли? Думаю, да. Более того, мне кажется, тогда мы все будем этого желать — и мои родители, и Джемиль, и я, разумеется.

Но я отвлеклась. Итак, о моем приданом. Я и не предполагала, что мама столько скопила для меня. Кольца, серьги, браслеты — все это золотое, массивное, унизанное рубинами и бирюзой. Ковры — это покупал отец. Он объяснял мне, что это настоящие персидские ковры.

— Эх, ты ничего не понимаешь! — восклицал он.

Я покорно наклоняла голову. И правда — разве я понимала, как нелегко было скопить для меня все эти дорогие и красивые вещи.

Посуда — медная, золотая, серебряная, фарфор. Атласные стеганые одеяла, подушки, перины, половики и покрывала, мутaki — тугие подушки для тахты. Отрезы атласа, бархата и шелка. Все это было переливчатое, яркое и такое нежное, приятное на ощупь. А одежда — легкие халатики-энтари, узорчатые вышитые головные платки-йемени, чаршафы, фе-

радже старинного покроя; крытые атласом шубы; парчовые, шелковые, бархатные платья.

Все это перевезли в новый дом, купленный, как я уже говорила, Джемилом. Он тоже деятельно готовился к свадьбе. Купил в огромных количествах муку, масло, сахар, пряности, рис. Пожалуй, я должна была бы запомнить точно, в каких именно количествах он все это купил; ведь с тех пор он столько раз попрекал меня, сетуя на то, как он потратился на свадьбу.

На свадьбе были какие-то наши дальние родственники. Приехали и родственники Джемиля. Но, по-моему, он даже ни с кем из них не познакомил меня. На его родственниц мне, кажется, указала мама. Это были простые бедные женщины, они стеснялись, оказавшись на такой богатой свадьбе.

Мы с мамой ездили по магазинам и обновили и мой европейский гардероб.

Приходили с поздравлениями и мамыны приятельницы и их дочери — мои сверстницы. Велись какие-то бестолковые, на мой взгляд, разговоры, которые я теперь даже не в состоянии воспроизвести, я слушала-то их вполуха.

Джемиль перед свадьбой, по обычаю, обрил голову.

Сама свадьба... Помню, как я вдруг поняла, что все это делается для того, чтобы Джемиль вступил со мной в телесную близость. Мне стало страшно, захотелось все это прекратить. Но я боялась. Меня подавляли все эти приготовления, шум, суета, множество людей. Наверное, это даже смешно, но мне словно бы неловко было лишать всех этих посторонних людей возможности повеселиться. Кроме того, я не хотела, чтобы родители почувствовали мою тревогу и страх. Может быть, впервые в жизни я хотела доставить родителям удовольствие; хотела, чтобы им было хорошо и спокойно. И я сдерживалась, была сама спокойной, даже ухитрилась казаться сдержанно-веселой.

Конечно, о моей свадьбе, о моем браке с Джемилом уже немало сплетничали. Это может показаться странным, но я и до сих пор всех этих сплетен не знаю. И не думаю, чтобы они так уж были интересны. Просто кумушки всех мастей шепчутся о том, что корыстный Джемиль женился на сумасшедшей Наджие. Вот и все.

Еще немного об одежде. Конечно, мне хотелось бы одеться в белое европейское платье с фатой. Но отец был категорически против. И вот меня нарядили в свадебное платье из тяжелого старинного шелка и покрыли плотным покрывалом.

Праздник, как водится, начался в доме невесты. Позднее мама мне рассказывала с грустной улыбкой, что никогда не

видела моего отца таким веселым. Он, казалось, помолодел на десять лет. Его огромные черные усы распушились и топорщились. (Многие европейцы, я уверена, сочли бы эти усы разбойничьими, а мой отец был самым что ни на есть мирным человеком.) Вместе с молодыми гостями он танцевал зейбек — любимый танец своей юности, и все удивлялись гибкости и изяществу его движений.

Я люблю музыку. В сущности, мне все равно, что именно звучит — прелестные легкие мазурки Шопена, тяжеловесные горделивые инвенции Баха или тягуче-сладостные, плавно льющиеся мелодии нашего Анадолы. Когда я слышу музыку, я забываю о своих мелочных тревогах, заботах и радостях; мне кажется, что я и вправду частица мироздания, а мироздание — это чудесные гармоничные звуки музыки. В любой мелодии я ощущаю это гармоническое начало — будь то Моцарт, Бах, Шопен или турецкий народный танец.

Барабаны, зурны, кларнеты заливисто и громко заполнили двор. Ах, эти протяжно-переливчатые, радостно-плачущие кларнеты! Вот меня выводят из дома. Приветственные возгласы, общий шум, дождем летят мелкие монетки. Я поднимаю голову. Сквозь покрывало я различаю, вижу, как отец с силой разбивает тарелку об утопанную землю двора. Мать льет мне вслед воду, чтобы дорога была счастливой. Музыканты все вокруг заполняют громом веселых мелодий. Отец пришлепывает монету на лоб старому кларнетисту. Отчаянно-надрывный кларнет заглушает даже стук барабанов. Меня сажают в экипаж. Мне уже не страшно. Я — частица мироздания. Я вместе со всеми своими мелочными страхами растворилась в звуках музыки, оттененных звонким топотом копыт по мостовой.

Свадебное торжество продолжается в доме жениха. В сущности, я у себя дома, ибо теперь дом Джемиля становится моим, я буду здесь жить, но я пока не осознаю этого. Я сижу одна, покрытая плотным покрывалом, в какой-то комнате. Немного кружится голова. Я возбуждена. Меня чуточку знобит. Сосет под ложечкой. Хочется есть. Мама приносит мне поднос. Я поднимаю покрывало и торопливо ем, не разбирая вкуса пищи. Кажется, так не положено, но мама ведь не может оставить меня голодной. Я впервые вижу ее такой встревоженной, даже испуганной. У нее дрожат руки. И губы дрожат. Она что-то хочет мне сказать, но у нее не получается. В комнату быстро входит какая-то женщина. Сваха? Начинает выговаривать маме за то, что мама поступает не по обычаю. Мама смущенно произносит, что не может оставить меня голодной. У нее какие-то странные интонации — как будто мне

угрожает опасность и она должна во что бы то ни стало защитить меня. Но эта чужая женщина сильнее моей мамы, на стороне этой женщины — сила давних обычаев. Мама подчиняется и уходит. Я снова сижу одна. Перед свадьбой я несколько часов провела в бане. Теперь мое чистое тело дышит каждой клеточкой, легкое, здоровое.

Но вот меня, уже немного усталую, ведут в другую комнату. Та самая женщина. Она что-то говорит мне, объясняет, поучает. Но я ничего не могу воспринять.

Ну вот, пожалуй, на сегодня довольно. О первой брачной ночи расскажу завтра.

22

Война вот-вот начнется. Это ясно. Турция поддержит Германию. Купила несколько газет, просмотрела. Настроение в связи с войной какое-то странно приподнятое. Или это не странно? Отец сказал, что мы скоро вернемся в город. Отец принес какую-то брошюру, отдал ее Джемилю. Но Джемиль, видимо, не нашел в этой брошюре ничего интересного и небрежно кинул ее на столик в нашей спальне. За брошюру взялась я. Называется она — «Будущее государство Туран». Речь идет о возможности образования такого государства, которое объединило бы всех тюрков Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии. Автор считает, что политические границы — условность. В определенном смысле он, конечно, прав. Сегодня государству принадлежит одна территория, завтра эта территория может расшириться или, наоборот, сократиться. Делаю выписку из этой брошюры — «Нация — это объединение людей, связанных одним языком, общим воспитанием, общей религией и культурой». Кажется, трудно возразить. Но некоторую червоточинку я во всем этом чувствую. Что-то насильственное видится мне в подобных объединениях. Мне куда больше по душе суждение о том, что все подданные Османской империи, кто бы они ни были, какую бы религию ни исповедовали, являются единым народом османов. В этом суждении я ощущаю широту и свободу.

Кто же написал эту брошюру? Ага, Омер Сейфеддин из журнала «Молодые перья». Что же, это на него похоже. Ну, проживем, увидим, к чему нас приведет очередная война. Порою мне чудится, что она будет страшной, как никакая другая, переломает, перекорежит все наши судьбы, все изменит. Но... посмотрим!..

Снова навязчивые мысли о беременности. Как это глупо! Как хорошо, что послезавтра мы возвращаемся в Истанбул. Хочется поскорее оказаться у себя дома, спать в своей, отдельной спальне, избавиться от этой тиранической маминой заботливости. Какая она странная, мама! Иногда бывает такой чуткой и понимающей, но чаще всего совсем ничего не понимает, да мне и не хочется ничего объяснять. А я разве понимаю ее? Наверняка нет.

Прогулялась по набережной. Нет, никто за мной не следит. И в прошлые разы, конечно, никто не следил за мной. Просто почудилось. А жаль! Даже скучно стало и досадно — ну почему никто не следит за мной! И о чем только думаю, дурочка, когда в мире такое творится. Война, люди убивают друг друга, а мне, видите ли, кажется, что какой-то влюбленный незнакомец исподтишка любит меня мною. Дурочка и еще раз дурочка!

Наконец-то вернулись в город. Вместе с Элени, моей горничной, навела кое-какую чистоту. Только что заказала повару обед. Сколько раз я говорила Джемилю, что Элени одна не справляется, просила нанять еще служанку; но он в ответ только ворчит, что я ленива и не желаю, как он выражается, «лишний раз приподнять свой зад» и что-то сделать по хозяйству. Сегодня вспылила, заявила ему, что у меня достаточно денег для того, чтобы нанять служанку, моих собственных денег, которые отец положил в банк на мое имя! Джемиль в ответ заорал, что я глупа как пробка, что еще неизвестно, что сделает с нашими деньгами война; что только такая дура, как я, может в такое время транжирить деньги. Короче, он меня оскорбил, нагрубил мне, довел до слез, но... убедил. Я прикусила язык и, проводив мужа в контору (примерная супруга!), взялась за дневник. Просмотрела старые записи. Я ведь собиралась описать свою первую брачную ночь. Нет, завтра. Сегодня нет настроения.

Только раскрыла дневник, и тут входит Элени и объявляет, что приехала Сабире-ханым. Я, конечно, спрятала дневник в ящик своего стола в спальне и вышла к неожиданной гостье.

Я в светлом пеньюаре, волосы убрала в сетку. Но я знаю, даже в таком виде я куда красивее Сабире. Она сняла чаршаф. На ней черное шелковое платье, на открытой шее поблескивает золотой медальон. Элени принесла чай.

Сабире тщательно причесана, брови подведены, губы накрашены, выглядит старше своего возраста. Она — женщина, дама. Рядом с ней я чувствую себя взбалмошной девчонкой, и мне это приятно.

Сабире тоже оглядела меня (как и я — ее), и вижу — так и застыла от зависти. Наверно, сейчас скажет какую-нибудь гадость.

Ага, вот!..

— А ты все хорошеешь, Наджие, все расцветает. Говорят, чем позднее выйдешь замуж, тем лучше сохранишься.

— Наверно, ты права, — я отпиваю глоток ароматного чая. Меня разбирает смех. Кажется, гостью уже бесит мой спокойный тон.

Мне даже становится жаль Сабире. Конечно, она выглядит старше меня. Ведь у нее есть ребенок, маленькая дочь.

Сабире придвигается поближе ко мне. Она пересказывает мне последние сплетни. В сущности, мы вовсе не подруги, но, надо признаться, эта легкая болтовня никакого неудовольствия мне не доставляет. Напротив, даже приятно вот так бездумно болтать. Гостя снова заводит речь о том, что я похорошела.

— А может быть, ты беременна? — Сабире переходит на таинственный громкий полусшепот.

— Да нет, — неловко бормочу я, — с чего бы это...

А сама холодею. Неужели есть какие-то признаки, которые Сабире, опытная женщина, уже сумела разглядеть? А мама? Почему же мама не заметила? Или заметила? Впрочем, кажется, бедная мама так хочет увидеть меня беременной, что от сильного желания у нее просто могла притупиться эта обыкновенная женская наблюдательность.

Сабире почувствовала, что ее стрела попала в цель.

— С чего бы это! — повторяет она и смеется. — Что за наив, Наджие, дорогая! Нет, это очаровательно — с чего бы это!

У меня от смущения и неловкости разгораются щеки.

— Боже! — Сабире округляет глаза с насурмленными ресницами. — Ты краснеешь, словно гувернантка, попавшая в беду! Ты ведь замужняя женщина, ты должна быть готова к этому.

— Да, — уныло соглашаюсь я.

Сабире начинает говорить о том, что мне еще предстоит испытать; о неприятных недомоганиях, свойственных первым

месяцам беременности. Я чувствую себя так, словно бы я — несчастная мелкая зверюшка, попавшая в капкан.

— А может быть, я и ошибаюсь,— доносится до меня голос Сабире.

Я невольно наострила уши.

— А может быть, я и ошибаюсь. Беременность не так-то просто определить. Бывают такие женские болезни, которые просто маскируются под беременность.

Ну вот, еще и это...

— Да, бывают,— как ни в чем не бывало продолжает Сабире.

И тотчас спрашивает, бываю ли я у врача.

— Нет,— коротко отвечаю я.

Сабире начинает говорить о том, как дурно я поступаю, перечисляет какие-то ужасающие последствия, к которым может привести подобное пренебрежение своим здоровьем.

Тут я глупо и некстати разоткровенничалась и сказала, что мама настаивает на том, чтобы я показалась опытной повивальной бабке, но я отказываюсь. И зачем только я это сказала? Какие сплетни теперь распушит обо мне и о маме Сабире-ханым?

— Ведь ты уже больше полугода замужем,— доносится голос Сабире.

Как это она все помнит обо мне! А я вот не помню, сколько лет она замужем.

И тут вдруг Сабире хвалит меня за то, что я отказываюсь показаться повитухе. Мол, эти повитухи — необразованные бабы, могут и навредить. Сабире пускается в длинные откровения о женских недомоганиях наших общих знакомых.

— Нет,— завершает она свою речь,— лучше препоручить себя опытному врачу, получившему специальное образование в Европе.

— Но мужчина...— робко возражаю я.— Неловко как-то...

В сущности, Сабире добилась своего — унизила меня, подчинила себе; теперь я, словно повинуюсь ее приказам, то краснею, то бледнею, то пугаюсь и окончательно падаю духом, то начинаю надеяться на лучшее...

— Как?! — Сабире снова смеется и, разумеется, ее смех кажется мне ненатуральным.— Ты, такая образованная, газеты читаешь, и вдруг такие предрассудки, такой фанатизм! Как у наших бабушек! Не ожидала от тебя!

Аллах! Кругом согладатаи! Газету нельзя купить — тотчас подметят, насплетничают, осмеют... Для Сабире, как, впрочем, и для многих других не очень образованных людей, особенно, кажется, для женщин, образованность и... ну не то

чтобы бесстыдство, но отсутствие стыдливости, так скажем,— это одно и то же.

— Да,— резко говорю я,— мне неприятно; мне не хочется, чтобы меня осматривал мужчина, чтобы он видел меня обнаженной. И я настолько образованна, что не стыжусь этой своей стыдливости!

Вот теперь Сабире смущена моей внезапной резкостью. Она возражает мне мягко. Она, мол, вовсе не хотела обидеть меня. Она сама уже несколько раз обращалась к одному молодому врачу по женским болезням и осталась довольна. Он учился в Париже. И это совсем не стыдно. Во всем мире женщины пользуются услугами врачей-мужчин.

— Да, конечно,— я тоже в свою очередь смягчаюсь,— конечно, в этом нет ничего зазорного.

Конечно, нет. Я знаю. Но я не хочу! Вот и все. И пусть я фанатичка, все равно это как-то комично: Сабире-ханым и молодой врач по женским болезням, что-то водевильное, фривольное я чувствую в этом.

Мы говорим еще о каких-то пустяках. Сабире дает мне адрес своего врача.

После ее ухода я недовольна собой. Адрес я сунула в шкапулку на столике в спальне.

26

А кто-то собирался подробно описать свою первую брачную ночь. Глупо! Заставляю себя писать, будто я писательница, которая живет литературным трудом! Подумаешь, Достоевский в юбке! Это выражение, внезапно пришедшее мне в голову, вдруг показалось мне таким смешным, что я невольно громко рассмеялась. И тотчас испуганно оглянулась. Хорошо, что Элени не слышала, иначе моя горничная окончательно уверилась бы в том, что служит у сумасшедшей госпожи. Хотя вообще-то Элени предана мне. Она славная девушка. Родом она из Малой Азии, из пригорода Айдына. Родители ее — небогатые люди, отец — мелкий торговец. Элени рассказала мне путаную историю о женихе, который обольстил ее, нарушил свое обещание, потому что ее отец разорился. Незаконного ребенка Элени воспитывают ее родители, им она отсылает часть своего жалованья. Из-за этого жалованья у меня частые стычки с Джемилом. Он все порывается урезать жалованье Элени. Он убеждает меня, что, если горничная начнет капризничать по этому поводу, я просто могу ее выгнать без рекомендации. А без рекомендации никто ее в хороший дом не

возьмет. Но, разумеется, я подличать, издеваться над беззащитным, подчиненным мне человеком не собираюсь, и всякий раз отстаиваю жалование Элени. А когда Джемиль передразнивает характерное греческое произношение Элени (она не выговаривает шипящих), я просто готова вклепать ему пощечину. В эти минуты его лицо удивительно похоже на лицо детски-бездумно-жестокоего озорного уличного мальчишки. Это странное проявление детскости как-то примиряет меня с ним. Если бы он издевался над Элени как взрослый человек, я бы не могла простить его.

Но, кажется, самое время вернуться к моей первой брачной ночи. Так, на чем же я остановилась? Да, сваха привела меня в спальню, стала что-то говорить, но я так волновалась, что не могла воспринять ее слов. Я машинально оглядела комнату. Здесь мне предстояло стать женщиной. Это была наша общая спальня, комната новобрачных. На вид она представилась мне такой же странной, как и сам этот наш брак. Теперь мне даже кажется, что уже тогда чувствовалось, что в этой комнате соединятся два существа, несоединимые по самой своей сути. И соединение это будет мнимостью.

Стены были покрыты традиционной росписью, но под потолком я увидела европейскую люстру. Окно, закрытое шелковым занавесом, и широкая кровать, покрытая разноцветными покрывалами, пришли, казалось, еще из времен наших бабушек. Но тут же я увидела зеркальный шкаф на немецкий манер и два венских стула. После я узнала, что, подбирая обстановку для своего дома, Джемиль посоветовался с моей мамой. Надо отдать ему должное, чувствовалось, что дом подготовлен к совместной жизни супружеской пары. Но тогда же я поняла, что сам Джемиль по натуре своей был неприхотлив. Все эти приготовления он сделал для меня, для своей жены. Но он не знал, какая я, да и не мог узнать, он не понимал меня. А теперь я знаю, что и его я никогда не пойму. То есть, я имею в виду даже не мотивы его поступков, но его чувства. Для того, чтобы его понять, надо просто полюбить его, а я не могу...

Сваха стала раздевать меня. У меня возникло какое-то странное ощущение — почему-то показалось странным, что вот я, образованная на современный манер девушка, и сваха раздевает меня в брачной комнате, как раздевали свахи моих юных простодушных прабабок. Я почувствовала себя беззащитной. Наверное, это и была беззащитность личности под гнетом законов, традиций, обрядов и всего прочего, что налагается на человека неумолимым началом, которое зовется «обществом».

По обычаю, полагалось перед свадьбою раскрасить мне лицо, нанести сверкающие точки на лоб и щеки. Сейчас бы их смывали розовой водой. Кажется, сваха что-то говорила маме о раскрашивании, но мама как-то замяла этот разговор; она знала, что на это я ни за что не соглашусь. Сваха сняла с меня покрывало, помогла снять украшения и платье и надеть ночную сорочку. Мои длинные волосы она распустила по плечам.

В дверь постучали. Стук был какой-то странный, он показался мне насмешливым. Хотя может ли такое быть — насмешливый стук или грустный стук...

Вошел Джемиль. Он был уже в белье — какие-то длинные бесформенные штаны и широкая рубаша с треугольным вырезом, как бывает у деревенских рубах. Полотно, из которого это белье сшили, было желтоватого цвета и оттого штаны и рубаха казались плохо выстиранными. Бритую голову Джемиль прикрыл небольшой круглой шапочкой.

Сваха что-то сказала Джемилю, оба засмеялись, затем она ушла. Я вдруг поняла, что ушли все, и мои родители тоже. Мы с Джемилем остались одни, не считая слуг, которым до нас и дела нет, должно быть. Впрочем, я еще не знала, какие слуги есть в этом доме.

Я стояла посреди комнаты. Я устала, хотелось присесть или даже прилечь. Но я и подумать об этом боялась. Джемиль мог истолковать это, как знак того, что я готова к близости с ним и даже хочу этой близости. Чего же я хотела на самом деле? Я понимала, что близости с Джемилем не избежать. Я хотела, чтобы все это поскорее кончилось. Но надо честно признаться: в глубине души трепетало желание, чтобы это произошло...

Я стояла, не шевелясь. Джемиль ни слова не сказал мне, не ободрил, не приласкал. Он совершил намаз, причем молился углубленно и серьезно. Я сначала удивилась, после поняла, что для него близость с женщиной — это всегда что-то нечистое, хотя и доставляющее удовольствие. Молящийся Джемиль — это был Джемиль, навеки замкнутый для меня, этими своими чувствами он никогда не стал бы со мной делиться; и думаю, ни с какой другой женщиной не стал бы.

Кончив молиться, Джемиль поднялся и шагнул ко мне. Он улыбнулся; это была улыбка жесткая, улыбка озорного уличного мальчишки, который все понимает и чувствует совсем не так, как я; перед которым я беззащитна, которому я ничего не могу объяснить.

Я знала, что надо молча подчиняться. Улыбаясь, Джемиль жесткими своими руками ощупал мои бедра под тонкой сорочкой, затем помял груди. Мне стало больно, я вздрогнула и невольно подалась назад. Джемиль на мгновение нахмурился.

Губы мои скривились в заискивающей улыбке. Вот еще одна странность — я ведь вовсе не была робкой, смиренной; пожалуй, наоборот, я даже отличалась строптивостью, могла настоять на своем. Почему же я так боялась не угодить Джемилю, так заискивающе улыбалась ему? Сама не знаю. Не могу объяснить. Может быть, в глубине души я все-таки робка и запуганна? Но тоже — почему? Не знаю.

Жесткая рука Джемиля крепко и болезненно для меня обхватила меня за талию. Пальцы другой руки двинулись вниз. Я невольно сжала бедра и слабо вскрикнула:

— Не надо! Не надо!

Грубая рука беспощадно сунулась между моих ног, цепко стиснула междуножье. Мне сделалось мучительно стыдно. Больно. Я напряглась, сдерживая новый крик, усилием воли подавляя инстинктивное стремление сопротивляться.

Джемиль неуклюже поднял меня на руки (вернее, сгреб в охапку) и потащил к постели.

Он положил меня на край постели так, словно бы я и не была человеком, женщиной, а всего лишь каким-то большим мешком с мукой или рисом. Я неподвижно лежала в неудобной позе на боку. Под тонкой сорочкой у меня ничего не было, никакого белья, сваха раздела меня. Сорочка задралась, ноги открылись до колен. Но я, застывшая в судорожном напряжении, не имела сил даже для того, чтобы одернуть подол сорочки. Мне уже было все равно.

Джемиль снял покрывало, переложил (почти перекатил) меня на середину постели. Несмотря на весь ужас, охвативший меня, мне вдруг представилось, что со стороны мы с Джемилем, наверное, выглядим комично. Я не сдержалась и хихикнула. Но это неуместное хихиканье скорее походило на истерическую икоту, нежели на настоящий смех.

Я закрыла глаза. Джемиль молчал, только слышалось его громкое, учащенное дыхание. Он снова принялся щупать меня. Позднее я поняла, что таким образом он возбуждает себя. До моих ощущений ему и дела не было. Ему и на ум не могло прийти такое: поинтересоваться, что испытываю я.

Джемиль задрал мою сорочку, она складками смялась у шеи, мне было неудобно лежать. Обнаженному телу стало холодно. В комнате было тепло, я мерзла от ужаса и отвращения, сковавших все мое существо.

Сильное костистое и угловатое мужское тело навалилось на меня. Рука Джемиля, сильно двигаясь, уперлась мне в живот. Я застонала от боли. Должно быть, Джемиль опускал свои штаны, высвобождая член.

Жесткие мужские ноги, ноги моего мужа, резко вклинились между моими ногами, так он заставил меня раздвинуть ноги.

Стыд, боль и отвращение...

Ощущать свои широко раздвинутые ноги было ужасно.

Грубо смятым грудям стало больно. Стало трудно дышать.

Губы Джемиля болезненно впивались в мое лицо, шею, плечи. Я не в силах была даже мотнуть головой. Жесткие руки крепко обхватили меня, мяли мое тело.

Я что было сил зажмурилась. Судорожно вцепилась ногтями беспомощных рук в тонкую ткань простыни.

Чужая, жесткая, гадкая плоть входила, грубо вдвигалась в самую сокровенную частицу моего тела. Это причинило мне невероятную боль и усилило ощущение ужаса. Я закричала. Мне казалось, я умираю. Наверное, так кричат те, кого душат.

Джемиль не обратил внимания на этот мой сдавленный хриплый крик. Он шумно дышал. Я ощущала, как его тело мерно двигается, сдавливая мое несчастное, беспомощное тело.

Мне было больно, стыдно, страшно. Сначала я решила, что так и должно быть и просто надо все это вытерпеть. Но это шумное сопение в сочетании с этими мерными движениями, это молчание Джемиля — все это внезапно навело меня на мысль о его безумии.

«А вдруг все бывает совсем не так? — смутно, сквозь боль и стыд, думалось мне. — Вдруг Джемиль просто-напросто сумасшедший?»

Новый приступ панического страха лишил меня окончательно способности кричать, сопротивляться. Липкая, мучительная тягостная слабость овладела всем моим существом.

Я была в каком-то полубытьи. Но вот я очнулась. Ноющая боль в междуножье все еще мучила меня. Джемиль похрапывал рядом. Он уснул!

Я даже не в силах была заплакать. Я лежала, изнуренная, отупелая. Слабым инстинктивным движением одернула сорочку. Медленно приходила в себя; медленно убеждалась в том, что мучения мои кончились.

Но нет, не кончились!

Все это повторилось в ту ночь еще три или четыре раза.

27

Утром я чувствовала себя совершенно разбитой.

Я увидела кровь на простыне. Я знала, это означает, что ночью я стала женщиной.

Джемиль заговорил. Он говорил о том, как недешево стоило обставить дом; затем распространился о том, как, посове-

товавшись с моей матерью, нанял повара и служанку. Кажется, он также выразил надежду на то, что в доме будет порядок, что я сумею экономно вести хозяйство.

Что дальше?

Маме я ничего не рассказала о той ужасной ночи. Мне не хочется, чтобы она жалела меня. Она робко и встревоженно попыталась меня расспрашивать. Но я ответила ей как могла ласково, что все прошло хорошо и Джемиль не вызывает у меня отвращения. Она вздохнула. Посмотрела на меня как-то нерешительно, будто собиралась что-то мне сказать доверительное, но ничего не сказала.

Постепенно я внедрила в доме Джемиля (теперь и моем) кое-какие свои порядки. С поваром и горничной я ладила. А когда у меня появилась собственная спальня, жизнь и вовсе сделалась вполне сносной.

Естественный вопрос: как мне удалось поладить с мужем? То есть, добиться того, чтобы он оставил меня в покое.

Сначала я не строила никаких иллюзий на этот счет. Я чувствовала себя, как маленькая беспомощная обезьянка, которую гипнотизирует удав. У меня и мысли не возникало о том, чтобы отказать Джемилю в близости. Я стала думать о самоубийстве. Я редко навещала мать. Я боялась, что не сумею хорошо притворяться. Матери я объяснила, что занята устройством дома.

Но мне делалось все тоскливее и тоскливее. Безысходность. На третью или четвертую ночь я горько заплакала. Странно, но мой муж не догадался, что мои слезы вызваны тем, что телесная близость с ним — мучение для меня. А, впрочем, почему странно? Какой мужчина на его месте мог бы догадаться? Никто бы не догадался.

Джемиль принялся спрашивать меня, о чем я плачу:

— Ты больна?

Конечно, в его голосе не было той милой заботливости, от ощущения которой даже хочется немного прихворнуть, понежиться в постели. Нет, он спрашивал раздраженно и брезгливо. Наверное, так повелось в той среде, где он вырос. Там к больной женщине относятся с неприязнью, будто к больному животному, бесполезному в хозяйстве.

— Нет, — ответила я, подавляя всхлипывания.

Он продолжал допытываться, что со мной. Я чувствовала его раздражение. Он, разумеется, вовсе не был готов выносить мои капризы. Он устал после напряженного дня в конторе и хотел получить телесное удовольствие от интимной близости со своей законной женой.

Наконец ему пришло в голову, что я плачу, потому что влюблена в какого-то другого человека. Наверное, он мог бы

избить меня или грубо выбранить, но его желания сдерживала зависимость от моего отца. Джемиль принялся раздраженно жалеть самого себя. Вслух. Он говорил о том, что он несчастен, он безжалостно пересказывал мне все сплетни, что обо мне ходили. Он прибавил к этим сплетням собственную версию — должно быть, я «спятила» от любви к какому-нибудь «хлышу-офицеришке», который и внимания на меня не обращал, и вот родители поторопились сплавить меня замуж. И за что ему, Джемилю, такое несчастье? Ведь всю жизнь он мучается, барахтается в волнах реки жизни, удерживается на плаву...

Этот монолог произвел на меня странное впечатление. Даже нельзя сказать, чтобы я почувствовала себя очень обиженной или униженной. После той ужасной первой ночи моя способность оскорбляться как-то притупилась. Но слова о «реке жизни» показались мне даже поэтичными, мелькнула мысль: а вдруг Джемиль еще, что называется, раскроется и мы заживем по-человечески? Глупая мечта! Слишком разные люди мы. На несколько минут я перестала плакать, занятая этой своей мыслью о Джемиле. Он замолчал и посмотрел на меня. Я испугалась, что он подумает, будто я успокоилась, и снова овладеет мною. Вновь накатило чувство ужаса, я зарыдала громче.

Джемиль махнул рукой, раздраженно улегся спиной ко мне. Я уже заставляла себя плакать. Джемиль уснул. Он всегда быстро засыпает. Вот он начал похрапывать. Я не верила своему счастью. Да, да, я чувствовала себя по-настоящему счастливой.

Но на другую ночь у меня уже не было сил так рыдать и мои телесные мучения снова возобновились.

Потом я впервые подумала о возможной беременности. А вдруг это уже произошло? И я решилась.

Теперь, когда я осмысливаю тот свой поступок, я понимаю, что не хотела умереть. Я хотела одного: избавиться от телесной близости с Джемилем. Я надеялась, что спасусь. Но я не притворялась. Свою надежду на то, что попытка покончить с собой избавит меня от этой ужасной для меня близости с мужем, но не убьет, я загнала глубоко. Эта надежда была чувством, а мыслила я о том, что хочу, нет, не умереть, но избавиться от этой жизни.

Я наломала в воду спичечных головок, приготовила настой. Это было вечером. Джемиль вот-вот должен был вернуться. Нервы мои были взвинчены. Я ждала возвращения мужа, но сама верила, что просто оттягиваю решающий миг.

Я услышала, как внизу хлопнула дверь. Затем — голоса. Джемиль ворчал, горничная Элени оправдывалась.

Вот он уже поднимается по лестнице. Дверь комнаты отворяется. Я схватила стакан и поднесла к губам. Я и вправду намеревалась залпом выпить отраву. Но какая-то странная интуиция подсказала мне, что делать этого не надо.

Джемиль вошел. Мои пальцы, державшие стакан, задрожали, зубы конвульсивно ударились о стекло. На столике были рассыпаны спички с отломанными головками. Джемиль, пригнувшись, резко рванулся ко мне, выбил из моей руки злополучный стакан. Я не запомнила, как стакан разбился, как разлилась вода по полу.

— Сумасшедшая! — зашипел Джемиль. — Молчи, молчи!

Я все понимала, я отлично соображала, но сама себя лихорадочно уверяла, будто каменею и едва не лишаюсь чувств от отчаяния.

На самом же деле я поняла, Джемиль поверил, будто я и вправду собиралась отравиться. Он испугался, ведь это грозило ему неприятностями, все его надежды открыть с помощью моего отца собственное дело рухнули бы. Я торжествовала и чуть побаивалась своего торжества — а вдруг сорвется? Но нет. Кажется, я нашла способ.

Я не заплакала. Плакать мне не хотелось, а притворяться плачущей было противно. Хриплым голосом я заговорила.

— Не прикасайтесь ко мне! Нет, нет! Я покончу с собой!

Он посмотрел на меня с отвращением и внезапно бросил:

— Ладно.

Я замерла. Я вдруг подумала, что теперь он будет меня занудно стеречь, опасаясь, как бы я, сумасшедшая, вновь не попыталась покончить с собой. Я лихорадочно пыталась придумать, как дать ему понять, что если он оставит меня в покое, то и я не буду посягать на свою жизнь.

Я не смотрела на него. Но внезапно почувствовала, что он все понял. Он понял, что моя попытка покончить с собой была притворной; он понял, что я не хочу допускать его к себе; и он теперь относился ко мне с безгловым презрением, как и положено относиться к сумасшедшей.

В небольшой угловой комнате я устроила себе отдельную спальню. С тех пор мой муж не беспокоил меня, за исключением нескольких случаев, вроде того, который я уже описала...

Война идет. Из газет узнала о мобилизации. Конечно, моего мужа это не коснется. Но могу представить себе крестьянок, у которых будут мобилизованы мужья и сыновья. Ведь все это

люди совсем беззащитные. Эта волна мобилизации, охватившая Европу и Азию... Мне стыдно моей защищенности в этой жизни.

29

Беременности у меня нет. Я убедилась в этом самым простым способом. Однажды утром (можно было бы смешно написать: «в одно прекрасное утро») увидела красные пятнышки на панталонах и поняла, что у меня обычная менструация, у меня это бывает безболезненно и недолго.

А сколько было мыслей, переживаний. А в это время другие женщины страдали из-за того, что их мужей и сыновей призывали в армию. Конечно, если сравнить их и мои переживания, мне просто должно стать стыдно. Но почему? Совсем не потому, что мои переживания слабее. Чаще всего стыдишься своих переживаний вовсе не потому, что мало, слабо чувствуешь, а потому, что повод для этих твоих чувств кажется тебе ничтожным.

Интересно — я рада, что Джемиля не призовут в армию. Я не люблю его. Но если бы с ним что-нибудь случилось, я бы страдала и чувствовала себя виноватой. Все-таки наши жизни как-то связаны. Я уверена, случись что со мной, и ему сделалось бы не по себе. Люди могут быть связаны не только любовью или ненавистью. Я навсегда — первая жена Джемиля, а он — мой муж. Чуть было не написала: первый муж. Неужели у меня могут быть такие стыдные мысли? Нет, нет и нет! Я взбалмошная, странная, но я не бесстыдница, не какая-нибудь дурная, порочная женщина.

30

Снова пришла Сабире. Мы пили чай и дружески беседовали. Кажется, она не такая уж плохая, как мне казалось прежде. Она сказала, что я всегда была ей интересна, что у меня своеобразный склад ума, что я совсем не такая, как другие ее товарки, с которыми можно говорить только о тряпках. Я покраснела.

— Как ты чудесно краснеешь, милая Наджие.— Сабире обняла меня за плечи и поцеловала в щеку.— Если бы ты знала, какая ты красавица!

Я совсем смутилась и вдруг выпалила доверительно:

— Знаешь, я и сама иногда думаю, что красива.

Мы расхохотались, как девчонки-школьницы, и закружились по комнате, ухватившись за руки и откидываясь назад.

— Я чувствую, Наджие, — начала Сабире, — ты считаешь меня легкомысленной и неинтересной...

— Нет, нет! — горячо отказывалась я, прервав ее.

— Не нет, а да! — Сабире заразительно рассмеялась, я невольно вторила ей, повторяя сквозь смех:

— Нет, нет, Сабире!

— Я и вправду не такая уж дурочка, как тебе кажется, — посерьезнела Сабире.

— Я и не думала, что ты дурочка или нехорошая женщина, — я заговорила откровенно. — Просто моя жизнь всегда складывалась как-то так, что я всегда была одинока, даже с родителями, даже с мужем... — я осеклась и вдруг...

Короче, я все рассказала Сабире о наших с Джемилом отношениях, ничего не утаила.

— Что я наделала, Сабире! Я ведь никому не должна была об этом рассказывать. Мои родители и Джемиль... они ведь ни в чем не виноваты. Вся вина — на мне. Всею причиной мой странный характер. Я об одном прошу тебя: никому не говори о том, что я тебе рассказала!

— Милая Наджие, конечно же, я обо всем догадывалась. Не сердись, но как женщина я куда опытнее тебя.

— Я это знаю, — ответила я.

— Наверное, в первый мой визит я показалась тебе какой-то сплетницей, интриганкой, бездушной насмешницей. А между тем я давно хотела подружиться с тобой, еще в детстве. Но ты всегда немного пугала меня — то мягка, как шелк, то вдруг резка, словно острая бритва. Вот и я невольно заняла оборонительную позицию и, конечно, пересолила.

— Но теперь все будет иначе, — я взяла Сабире за руку. — Мне тоже давно хотелось иметь подругу.

— И скажи, Наджие, разве я когда-нибудь сплетничала о тебе?

— Нет, — честно отвечаю я.

И вправду — нет; Сабире, кажется, никогда не распускала сплетен обо мне.

31

Побывала в гостях у Сабире, поиграла с ее малышкой. Ибрагим-бей, муж моей подруги, приятный человек. И разве он виновен в том, что получил наследство? Сплетничают, будто

он — мот. Но ведь он и Сабире еще молоды. Почему же они не могут приодеться, развлечься, тем более, что деньги у них есть.

Завидую ли я Сабире? Пожалуй, я просто не имею права ей завидовать. Она милая и обаятельная и вполне заслуживает такого мужа, как Ибрагим-бей. А я странная, взбалмошная, не такая, как все. И муж у меня не такой, как мужья многих моих сверстниц — не учился в Европе, не говорит по-французски, некрасив, никакой элегантности.

Завтра мы с Сабире поедem на набережную в ее экипаже, после — ко мне. Но это мне очень нравится — иметь подругу. Удивительно, как наполнилась смыслом моя жизнь. Ни чтение, ни ведение дневника, ни размышления на самые разные темы не доставляли мне такой радости, как прогулки с моей Сабире, наши немного сумбурные беседы, взаимные признания. Впрочем, мне не в чем больше признаваться. Я ей уже все о себе рассказала. А вот она призналась мне, что несколько раз изменяла Ибрагим-бею. Ну и что! Если она испытывала чувство любви к другим, почему она должна была сдерживаться, насилловать себя! И отношения с мужем у нее от этого ничуть не ухудшились, хотя, конечно, он ничего не знает.

Но мне приятно, что подруга доверила мне свои тайны. Значит, я действительно что-то значу для Сабире.

32

Вернувшись с прогулки, мы с моей Сабире принялись разбирать мой гардероб. Вот веселое занятие. Сабире понравились мои европейские платья и шляпки. Жаль, редко приходится надевать их.

Я попросила Сабире научить меня подкрашиваться и подводить глаза. Не то чтобы я совсем не умею, но у Сабире это получается просто замечательно. Однако она рассмеялась в ответ на мою просьбу.

— Наджие, милая, при твоём цвете лица, при твоих ярких черных глазах и бровях — краситься — просто безумие.

Потом мы пили кофе.

— Как много военных на набережной, — вспомнила я. — Почему они не на фронте? Или их как раз отправляют на фронт?

Я подумала, что спрашиваю как-то наивно.

— Да, — откликнулась Сабире, — фронт — это грозит многим из них. Поэтому сейчас они стремятся развлечься, что-то взять от жизни.

Я подумала об этих мужчинах, которых, быть может, в будущем подстерегает смерть. Конечно, нельзя их упрекнуть за то, что они стремятся к развлечениям. Но в то же время от своих жен они наверняка требуют верности. А ведь это тоскливо — остаться одной; знать, что можешь и овдоветь. Кто знает, на какие поступки это может толкнуть молодую женщину.

— А ты, Наджие, не хотела бы развлечься немного необычным способом? — предложила Сабире.

— То есть... — я выжидательно посмотрела на нее.

Если говорить откровенно, я готова была согласиться. Общение с моей Сабире пробудило во мне жажду как-то разнообразить мою жизнь. Я остро почувствовала, что еще молода, что молодость пройдет и никогда больше не повторится. А я, молодая и красивая, читаю да размышляю, как престарелый философ. Военные стремятся к развлечениям, потому что видят впереди возможную гибель, а я... Разве не ждет меня гибель молодости?

— Мы иногда собираемся компанией в нашем загородном имении, — заговорщицки понизила голос Сабире. — Ужинаем, танцуем. Кто знает, сколько времени может еще продлиться война. Быть может, нам еще придется испытать нехватку самого необходимого. А пока есть возможность, надо брать от жизни все самое лучшее.

— Но Джемиль... Могу ли я сказать ему, что переночую у тебя?

— Лучше не надо. Обо мне ведь сплетничают разное. Он еще, пожалуй, запретит тебе дружить со мной.

Когда я узнала, что у моей подруги дурная репутация, это еще больше укрепило мои добрые дружеские чувства к ней. Я терпеть не могу разделять мнение большинства, «множества».

— Что же придумать? — спросила я.

В конце концов мы решили поступить так: Джемилю я скажу, что ночую у мамы, а уж мама отпустит меня к подруге, но что это именно Сабире я не скажу.

Самое чудесное — на вилле Ибрагим-бея мы переоденемся в европейские платья.

Мы еще немного поболтали, посмеялись над тем, что хотя Джемиль — мой муж чисто номинально, но все же я завишу от него, и ему мое поведение безразлично.

Полчаса тому назад Сабире ушла. Я возбуждена, то и дело подхожу к зеркалу, то распушу волосы, то приподыму. Завтра, завтра! Надо взять себя в руки, иначе Джемиль заметит мое возбуждение.

За ужином сказала Джемилю, что хочу навестить маму и переночую у родителей. Он скорчил гримасу и что-то пробурчал о том, что жена должна ночевать в доме своего мужа, а не шляться одна по гостям. Но тут же пожал плечами и позволил мне переночевать у мамы. Самое смешное то, что Джемиль прав, я и в самом деле собираюсь обмануть его, развlechься тайком.

Последнее время невольно думаю о муже Сабире. Неужели мне нравится Ибрагим-бей? Он привлекателен внешне и обращается со мной с той самой почтительностью, за которой вполне могут скрываться нежные чувства. Я подумала о том, сколько бы это мне сулило новых чувств: чувство вины перед Сабире, чувство любви к Ибрагим-бею, сложные уловки самооправдания. Мне стало смешно, я не выдержала и улыбнулась. Джемиль удивленно глянул на меня.

Сам Джемиль, случается, отсутствует по нескольку дней. У него какие-то дела в пригородах Истанбула. Как я ему благодарна за эти отлучки! Хотя, может быть, ему было бы приятнее, если бы я сердилась и ругала бы его и занудливо жаловалась бы на то, что вот, он, муж, оставляет меня одну.

Ближе к вечеру переоделась, уложила в картонку платье и шляпку. У мамы посидела с час, поговорили о хозяйстве. Потом я сказала ей, что хочу переночевать у подруги и не хочу, чтобы Джемиль об этом знал. Она вздохнула, посмотрела на меня, погладила меня по голове, как маленькую, и даже не спросила, как зовут мою подругу. Это немного смутило меня.

— Мама,— сказала я,— только не думай, что это что-то дурное!

— Ничего дурного я не стану думать о моей девочке,— ответила мама и снова потрепала меня по волосам.— Ну, беги.

Я вдруг поняла, что, если бы решилась на что-то дурное, мама стала бы моей защитницей, покрывала бы изо всех сил... Она, конечно, зависит от всевозможных условностей, но ее любовь ко мне сильнее этой зависимости.

Через три улицы от дома моих родителей меня ждала Сабире в экипаже.

Мы ехали вечерним городом. Бейоглу — знаменитая Пера — европейский Стамбул — развернула перед нами свои ярко освещенные витрины, нарядные фасады особняков, порталы ресторанов. Я с удовольствием вслушивалась в постукивание копыт. Вот и Багдадское шоссе.

Сквозь изящное металлическое плетение ворот видна темная липовая аллея.

Нас встретил садовник.

— Еще никого нет, — сказала мне Сабире.

Мне это было приятно. Значит, у меня будет время обдумать свое поведение.

Особняк Ибрагим-бея прекрасен. В передней — газовые рожки и широкая каменная лестница.

Мы прошли в комнату Сабире. Здесь, как и в ее городском доме, обстановка напоминает будуар героини какого-нибудь французского романа. На стене — картина Беклина в тяжелой золоченой раме. Модный современный европейский художник. Темный фон, смутно видимые нагие тела. Пожалуй, даже слишком смело для мусульманской женщины — вешать такое у себя в спальне. Но мне нравится эта смелость Сабире. Я на такое не решусь.

Мы переоделись. Сабире очень идет ее полосатое платье, волосы она высоко взбила. Я сначала приложила к своим волосам шляпку. И зачем я только ее взяла? Ведь она мне не понадобится.

Мне немного неловко. Я знаю, что сейчас буду выглядеть лучше, чем моя подруга.

Я надела длинное светло-синее платье, с чуть зауженной талией и падающей прямыми складками юбкой. Четырехугольный, немного скошенный вырез оставляет шею открытой. Вдоль рукавов — отделка из серебристых нитей, легкие серебристые кружева оттеняют тонкие кисти рук. Распустила волосы. Они упали почти до колен, покрыли меня, словно пушистая накидка; темно-темно-каштановые, почти черные, волнистые.

Из зеркала на меня смотрело совсем юное, свежее и чистое лицо, смотрело изумленными веселыми темными глазами из-под черных бровей.

В уши вдеты маленькие бирюзовые сережки. Колец всего два — серебряное, подаренное Джемилем при обручении, и тонкое золотое с капельным алым камешком — мамин подарок.

Вижу, что Сабире наблюдает за мной. Но мне совсем не хочется, чтобы она завидовала. И, может быть, я и не так уж красива; может быть, я просто сама себе кажусь красивее всех. Я быстро обернулась и порывисто поцеловала Сабире в душистую от пудры щеку. Она с улыбкой похлопала по щеке меня.

Я уложила волосы тяжелым узлом, как на рисунках на греческих вазах в музее, вдоль щек опустила по локону. Сабире вынула из ящичка туалетного столика маленький флакон. Но это было не обычное наше розовое масло, а парижские духи. Мы надушили кожу за ушами. По комнате разнесся прохладный волнующий аромат. Мне казалось, будто моя

жизнь начинается заново, и это необычное праздничное начало сулит мне и в дальнейшем веселье и занимательные приключения.

В дверь осторожно постучали.

— Девочки, вы готовы? — раздался чуть насмешливый голос Ибрагим-бея.

Значит, он знал, что я приеду вместе с Сабире? Ну, конечно, знал. Сабире ему сказала.

Мои щеки предательски вспыхивают. Неужели он мне нравится? Неужели это серьезно? Или это всего лишь праздничное опьянение новизной? Всего лишь желание полюбить?

Мы вышли. Ибрагим-бей рассыпался в комплиментах. Он тоже наряжен. Манжеты туго накрахмалены, из верхнего кармана пиджака торчит уголок платочка, волосы причесаны на косой пробор и приглажены. Усы изящно закручены кверху. Он чуть склоняется, я протягиваю руку, он касается губами тыльной стороны моей ладони. Я вспомнила, как взволновало меня когда-то прикосновение губ Джемиля. Странно, но теперь я не почувствовала никакого волнения.

34

Мы подошли к дверям гостиной.

— У нас здесь никто никого никому не представляет, все знакомятся сами, — улыбаясь, сказал мне Ибрагим-бей.

Я кивнула.

Я обрадовалась, услышав это. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня торжественно представляли кому-то: «А это наша Наджие-ханым!»

В гостиной лампы чуть притушены. На полу — ковер с тонким узором. Красноватые оттенки ковра гармонируют с отсвечивающими на стенах картинами. Несколько изящных ваз с цветами. Тяжелые портьеры тоже красноватых тонов. Стулья, диваны. Комната, словно сдерживает пылание страсти, готовая вот-вот разгореться. Эти красные тона...

Ибрагим-бей взял меня и Сабире под руку и вошел. Я чуть было не отдернула свою руку. Какая же я все-таки дикарка.

Сдержанный шумок восторженных возгласов приветствовал нас. Я прекрасно поняла, что это относится ко мне. Нет, надо научиться быть скромной. Нечего воображать себя первой красавицей! И не надо краснеть, как пион.

Гостей было довольно много. В глаза сразу бросались военные. Женщин было меньше, чем мужчин, все в европейских туалетах.

В углу на столике — графины с вином, бокалы и рюмки. Ибрагим-бей отпустил мою руку. Сабире подвела меня к столику. Вместе с ней я храбро пригубила рюмку какого-то вина. Оно было сладковатого острого вкуса. Горло чуть ожгло. Я почувствовала себя еще свободнее. Плечи распрямились, голова гордо вскинулась, приятно было ощущать тяжелый узел волос. Я чувствовала, что у меня красивая шея, такие шеи называют лебедиными.

Мы с Сабире присели на небольшой диван в углу. Она о чем-то болтала без умолку. Я почти не слушала. Потом мне вдруг показалось, что Сабире нарочно ограждает меня от знакомств. Не доверяет мне? Думает, что я при своей взбалмошности непременно скажу что-то не то? Боится скандала? И вправду, зачем ей нужно, чтобы на нее и на ее мужа нападали Джемил и мой отец. Не знаю, благодарить ее или досадовать. Что ж, я и так могу неплохо провести время, можно наблюдать за остальными гостями. Но мне уже стало грустно. Значит, все это никакое не начало новой жизни, а просто небольшое развлечение, маленькая интермедия в моем тоскливом обыденном существовании.

Я заметила, что Сабире лишь притворяется беззаботной болтуней, на самом деле она чем-то озабочена, переглядывается с мужем. Они кого-то ждут?

Рослый военный приближается к нам. Он явно хотел бы познакомиться со мной. Но Сабире быстро поднимается ему навстречу и увлекает прочь. Наверное, на каком-нибудь более официальном вечере это могло бы показаться невежливым, но здесь атмосфера совсем другая.

Ко мне тотчас подходит Ибрагим-бей.

— Вам нравится здесь? — Он садится рядом со мной. Разумеется, мои щеки так и пышут жаром. Как хорошо, что здесь нет яркого света.

— Да, здесь приятно, — тихо произношу я.

Я избегаю смотреть ему в глаза. Вдруг я прочту в них признание? И тогда... тогда я могу не устоять!

— Вы играете? — спрашивает муж Сабире.

Он кивком указывает на пианино. Я послушно поворачиваю голову. Как же я могла не заметить мой любимый инструмент!

— К сожалению, нет, — грустно отвечаю я. — Но очень люблю, когда играют другие.

Такой осмысленный разговор мне нравится.

— Значит, вы не будете против, если я сыграю? — Ибрагим-бей снова целует мне руку.

— Я буду рада услышать музыку! Вы играете Шопена?

Он поднимается и молча идет к пианино. Это можно воспринять как стремление немедленно исполнить мое желание услышать Шопена. Но почему-то я ощущаю в этой галантной поспешности нечто другое — то же, что и у Сабире — они оба не хотят, чтобы со мной знакомились. Поэтому Ибрагим-бей готов развлекать общество музыкой, а Сабире согласна флиртовать с кем угодно.

35

Ибрагим-бей сел за инструмент. Зазвучали первые такты мазурки.

Когда я услышала музыку, все эти мои предположения и подозрения показались мне мелочными и стыдными. Я словно бы смяла их и выбросила из своего сознания, как выбрасывают из ящиков комода ненужные тряпки.

Музыка передавала тончайшие оттенки чувств — нежность, элегическую печаль, даже гнев — с такой изящной легкостью; нет, не легковесно, а именно с легкостью. Самые мучительные переживания обретали то, что нельзя назвать иначе, как элегантностью. Может быть, кому-то это слово покажется пошлым. Ну и пусть. Я настаиваю: даже не просто изящество, а именно элегантность пронизывает чувства в трагедиях Расина или в мазурках Шопена.

Я видела человека, сидевшего за инструментом; он то склонялся, то поводил головой из стороны в сторону, его движения как-то странно были не похожи на музыку. Но музыка захватывала меня, я ни о чем не могла думать, хотелось только одного — отдаться этим звукам.

Я посмотрела на остальных — в той или иной степени музыка увлекла всех.

Невольно мне бросилось в глаза красивое лицо Сабире. Нет, она явно о чем-то тревожилась. И вдруг я прочитала в ее чертах некоторое облегчение.

Машинально я проследила направление взгляда Сабире.

В гостиную входил новый гость...

Со мной начало твориться что-то странное. Мне вдруг показалось, что моей душе тесно, жарко в моем неуклюжем теле. Захотелось вскочить, кинуться бежать куда глаза глядят, как я когда-то, маленькой девочкой, бежала по луку.

Как описать мои ощущения? Какая-то странная, болезненная нежность охватила меня. И тотчас же мне захотелось увидеть в этом человеке что-то смешное, чтобы хоть как-то смягчить эту нежность, чудесную и мучительную. И я нашла

в нем мгновенно множество смешных черточек, но... это лишь усилило мою нежность.

Все, что я прежде знала и думала о любви, — как это было примитивно, глупо, пошло. И вдруг мне захотелось с жадностью раскрыть Толстого и Достоевского — о, теперь я могла бы в полной мере насладиться этими волшебными книгами, теперь я поняла, почувствовала... И все это произошло так быстро... одно мгновение...

Но надо сказать хотя бы немного об этом человеке. Меня всегда поражало — как это художники решаются изображать небо, зелень деревьев — все это многообразие оттенков, переливчатое смешение красок. Но как бы ни был талантлив художник, все равно, то, что возникло на холсте, совсем не похоже на то, что мы видим в живой жизни. Может быть, оно, то, что сотворено кистью и красками, может быть, оно даже лучше, чем это, живое; но самое главное — оно другое... Вот и я чувствую, что, когда я опишу этого позднего гостя, это будет совсем не то, не то. Тем более, что я ведь не художница и не писательница...

Я покраснела, наклонила голову и теребила серебристое кружево, которым был оторочен рукав. От этой охватившей меня нежности, мне больно было смотреть на вошедшего.

Каким же все-таки он был? Прежде всего... нет, не лицо, о лице скажу позднее... Одежда... Он был в черном. И никакого фатовства, щегольства. Черные брюки... туфли... Без сюртука... Черная рубашка напоминала мне русскую косоворотку, в какой был изображен Толстой на фотографии, только у Толстого рубашка была белая и гармонировала со всем его обликом могучего таинственного старика; а черный цвет одежды нового гостя почему-то подчеркивал его молодость. Он прошел вперед. Его лицо осветилось притушенным светом уютных небольших люстр. Он смотрел с какой-то странной мрачностью, чуть шурился, хмурился. чуть исподлобья глядел, словно по-детски сердился, обижался на всех. И вдруг я мгновенно поняла, что он просто близорук. Это показалось мне таким трогательно-смешным. Волосы у него были светло-каштановые, коротко подстриженные и немного выщипанные, не приглаженные, не расчесанные на косой пробор. Щеки и подбородок гладко выбриты. Какая-то трогательная закругленность в его лице — как у ребенка. Закругленный расширенный кончик длинноватого носа тоже нежно смешил меня. Брови густые, чуть клочковатые, как у черкеса, и темнее волос. Он был довольно высокий, но не худой; шел, чуть клонясь вперед, и на какое-то мгновение показался мне таким детски-неуклюжим... И порывистым...

Глаза... они смотрели с этой детской настороженностью из-под густых, пушисто-загнутых ресниц, темных, как брови.

На какой-то миг эти глаза широко раскрылись. Мягкий уютный ламповый свет озарил спокойной теплотой это милое юношеское лицо. Я увидела черные мелкие точки на щеках и на подбородке — это от бритья... Но глаза... Глаза были необыкновенные... Огромные зелено-голубые зрачки, темная мучительная нежность райка... Вот они уже темно-голубые... нет, прохладная зелень прибрежной морской волны... Но как может этот зелено-голубой цвет сделаться вмиг таким сияющим, ярким, жарким...

Губы, светлые, большие, хорошо очерченные на округлом продолговатом лице, приоткрылись... Он улыбнулся так нежно и беззащитно...

Нет, я не могла ошибиться. Он искал взглядом меня. Нашел и улыбнулся.

Но кажется, его ждали Сабире и ее муж. Если бы одна только Сабире, я могла бы подумать, что... Но Ибрагим-бей... Наверное, у них какие-то дела. Кто он? Сабире сидит рядом со мной. Ибрагим-бей играет очень оживленно. Новый гость присел на стул неподалеку от двери.

Видела я его прежде? Нет. Или все-таки видела? Или нет?

Вспомнилось, как мне казалось, будто кто-то следит за мной за городом. А если он?

Нет, я не фантазирую. Он искал меня взглядом. Никто никогда не смотрел на меня так. Я помню мужские взгляды, исполненные самоуверенного фатовства; я знаю, как смотрит на меня муж — с этим грубым мужским желанием или брезгливым пренебрежением. Но от взгляда этого человека я теряюсь. Нет, даже если я ошиблась, я все равно... все равно... люблю его!..

36

Ибрагим-бей кончил играть. Последний аккорд получился такой бравурный. Ибрагим-бей встал, закрыл крышку. Пианино вновь сделалось темным и тихим. Гости начали благодарить хозяина за прекрасную игру.

Сабире сидит рядом со мной, новый гость — у двери. Наверное, он захочет подойти ко мне. Неужели она не даст ему сделать это? Вот-вот меня охватит отчаяние. Только бы не расплакаться!

Ибрагим-бей отошел в угол гостиной. Я оглядываюсь. Там, в углу, на столике, граммофон. Ибрагим-бей наклоняется над ним. Раздается плавная танцевальная мелодия. Вот

уже закружились несколько пар. Сабире оживленно разговаривает со мной. Впрочем, нет, это не назовешь разговором, потому что говорит только она одна. Пожалуй, слишком оживленно.

Тот самый военный, которого она недавно отвлекла от меня, вновь подходит. Я закружилась в странном вихре своих чувств; не слышу, просто угадываю его слова. Можно ли меня пригласить на танец?

— Нет, благодарю вас!

Свой голос ощутила каким-то чужим, очень звонким, громким.

Сердце стучит. Отказываю еще кому-то.

Неужели он не подойдет? Но если он пригласит меня? Как смешно, я ведь не умею танцевать. Я никогда не училась, никто не учил меня. Но я не могу не согласиться? Что же делать? Чудачка! Он может и не подойти. Нет, эта прозаическая недоверчивость здесь неуместна. Я знаю, знаю, он подойдет. Сейчас!..

37

Он подошел! По-французски, очень вежливо, пригласил меня. Я держалась даже немного скованно. Боялась, как бы Сабире не заметила, что я... что я уже люблю его!.. Ведь она такая опытная, все замечает.

Но все получилось как нельзя лучше. Я видела, он идет ко мне. И тут как раз к моей Сабире приблизился не кто иной, как ее собственный супруг — Ибрагим-бей. Он озабоченно сделал ей знак. Она поднялась, подошла к нему, и оба вышли из гостиной. Немного странно — мне показалось, они ждали этого припозднившегося гостя, а теперь будто и не обращают на него внимания. Или все это — мои натянутые нервы?

Танец. Его рука легла на мою талию. Я ощутила такое нежное тепло, так мучительно мне сделалось от этой нежности. Захотелось прижаться к его груди, по-детски обхватить руками его шею; шепотом, сбивчиво признаваться: «Это ты... Ты! Наконец-то! Я так ждала тебя!» Но, разумеется, ничего подобного я делать не стала. Наоборот, я словно окаменела, застыла, движения и жесты были чрезмерно сдержанными. Я опасалась малейшей порывистости, боялась выдать себя, неосторожно раскрыть свои чувства.

Музыка помогала мне правильно двигаться. Моя согнутая в локте рука касалась его плеча. Меня пьянил его запах — прохладный аромат какого-то мужского лосьона или одеколо-

на смешивался с этим нежным теплом, нет, даже каким-то нежным жаром, исходившим от его лица и шеи.

Я не поднимала глаз, не могла поднять. Но мне казалось, я чувствую его взгляд. Мы не сказали друг другу ни слова.

Танец кончился. Он вежливо проводил меня к дивану, где я до того сидела. Сабире уже заняла место рядом со мной.

Он отошел. У меня кружилась голова. Я потеряла его из вида. Что он мог подумать обо мне? Молчаливая, скованная. Он мог счесть меня дикаркой. Но он обратился ко мне по-французски. Значит, я похожа на женщину, которая говорит по-французски, знает иностранные языки. А может быть, он просто осведомлен о том, что я говорю по-французски? Ведь это он следил за мной. Наверное, он.

Вон он. О чем-то беседует с Ибрагим-беем. Тот улыбается, как-то ободряюще. А он стоит спиной ко мне. Как бы я хотела увидеть выражение его лица!

Он садится на прежнее место, на стул, у двери. Ибрагим-бей снова заводит граммофон. Меня приглашает тот офицер, что явно хотел познакомиться со мной. Я отказываю. Но тотчас мне приходит в голову, что, если я буду так себя вести, остальные легко заметят мое отношение к незнакомцу. Все, буду звать его «Незнакомцем».

Он идет ко мне. Кажется, я сейчас потеряю сознание. Он приглашает Сабире. В первое мгновение я чувствую, как веки набухают слезами детской обиды. Но уже спустя мгновение мне становится ясно: это он нарочно, чтобы никто не заметил, что он здесь из-за меня! Может быть, он даже уговорил Сабире и ее мужа привезти меня сегодня. Передо мной мужчина. Боже, Фасих-бей! Но я уже встала и положила руку ему на плечо.

Конечно, надо было дожидаться, чтобы меня пригласил кто-нибудь другой. Думаю, ждать пришлось бы недолго. Какая глупость, какой опрометчивый поступок — танцевать с Фасих-беем. Вот он уже заговорил со мной. Не могу заставить себя вслушаться в его слова. Что подумает обо мне Не-знакомец? Зачем этот противный Фасих-бей улыбается так пошло? Незнакомец может подумать, будто меня и Фасих-бея связывают какие-то близкие отношения! Я готова оттолкнуть Фасих-бея, бежать от него. Едва касаюсь его плеча кончиками пальцев, вся напряглась, вытянулась, как струна — лишь бы он не касался моей талии. Надо потерпеть, совсем немного. Что за бесконечный танец!

— Успокойтесь, Наджие-ханым, — голос Фасих-бея доносится словно бы издалека.

— Я спокойна, — откликаюсь с каменным лицом.

— Бедная девочка, вам нужно расслабиться, — звучат вкрадчивые слова.

Мне неприятна такая фамильярность. Кажется, я не подавала повода к такому обращению со мной. Очень хочется прямо высказать ему это. Но нет, не стану уподобляться ему и говорить оскорбительные слова. Не стану!

На самом деле я ужасно напряжена. Каких усилий мне стоит это мое спокойное, но не враждебное; нет, не враждебное выражение лица. Очень хочется пить.

Наконец-то кончился этот мучительный танец.

— Вас проводить? — спрашивает с какой-то иронией Фасих-бей.

— Благодарю. — Я иду рядом с ним, не касаясь его руки.

В конце концов, неужели это может его обидеть? Но почему все это так беспокоит меня? Боюсь Джемиля и отца? Боюсь, что они узнают об этом моем свободном вечере? Да, боюсь. Но боюсь потому, что они могут помешать моей любви.

Сижу на диване. Кругом все возбуждены и веселы. Незнакомец подводит Сабире. Со мной — ни слова. Сабире присаживается рядом.

— Очень хочется пить, — шепчу ей на ухо, — только не вина, — воды.

— Ребенок! — улыбается Сабире.

Она выходит и вскоре возвращается со стаканом.

— Пей осторожно, Наджие, вода холодная, а танцы горячат.

Ну уж, танец с Фасих-беем не разгорячит меня. Сабире сама пошла за водой. Значит, слуг здесь нет.

Еще два танца. Что за радость — меня пригласил Ибрагим-бей. Замечаю, что стала относиться к нему, как к брату, испытываю чувство благодарности. Мы обмениваемся во время танца короткими фразами.

— Вы прекрасно играете, Ибрагим-бей, — это говорю я.

— Здесь находится человек, который играет гораздо лучше, — Ибрагим-бей улыбается.

У меня такое чувство, будто я и вправду ребенок, маленькая девочка, которой делают подарки, радуют ее сюрпризами добрые взрослые. Я по-детски уверена, что этот человек — мой Незнакомец, но я почтительно спрашиваю:

— Кто же это, скажите мне.

— Вон тот человек, — конечно, он указал на моего Незнакомца.

— Тогда попросите его сыграть.

Нет, не буду спрашивать, как его зовут. Ведь Ибрагим-бей предупредил, что здесь никто никого никому не представляет. А вдруг он догадается, что меня интересует не только музыка, но и сам пианист.

— Пианино — чудесный инструмент, — произношу я.

Ибрагим-бей улыбается. Мне нравится его улыбка.

Следующий танец я ни с кем не танцую. Незнакомец снова танцует с моей Сабире. Не тревожусь нисколько!

Но кто же он? Так хорошо говорит по-французски, прекрасное произношение. А вдруг он француз? Не могу противиться каким-то нелепым детским мечтаниям, они опутывают пестрыми сетями мое сознание, мое воображение.

Начинаю фантазировать и сама улыбаюсь своим фантазиям. Он — пианист из Парижа, у него гастрольная поездка. Мы встречаемся... много раз. Я бываю на каждом его концерте. Он увозит меня в Париж. Театры, концерты, музеи. Платья и шляпки. Нет, до чего же я смешна! Буду выдумывать дальше. Но разве это называется выдумывать? Просто мои фантазии на своих легких стрекозиных крылышках уносят мою душу. Я вместе с ним, в Париже. А если ему захочется, чтобы я приняла христианство? Но, кажется, сейчас в европейском обществе не придают такого уж большого значения религии. Эй, Наджие, спускайся на землю со своих кукольных небес, дурочка.

Сейчас он пригласит меня. Я знаю!

Пригласил. Снова медленный танец. Снова молчим. Снова его нежная теплота и мое желание прижаться к его груди. Мне хочется знать его имя. Я уже чувствую себя уверенно. Я знаю, если я первая спрошу, как его зовут, он не сочтет меня дурно воспитанной или недостаточно нравственной. Мне так хорошо, так свободно с ним, так тепло и нежно...

Нет, этого не может быть! Мне показалось, он коснулся губами моих волос. Нет, не показалось.

Откуда это ощущение, будто мы уже сказали все слова, уже объяснились друг другу в любви и теперь наслаждаемся взаимопониманием, таким нежным, без слов, откуда?

Но мне хочется узнать его имя. Мне хочется знать, какими нежными прозвищами его наделяли в детстве. Мне хочется узнать это милое имя и повторять его ласково шепотом и про себя.

— Как вас зовут?

Неужели это я шепчу? Так робко, так тихо.

Но он услышал. И шепчет мне в ответ. Его нежные губы чуть касаются моего уха. Так нежно и щекотно.

— Мишель.

Мои пальцы осторожно гладят его плечо.

Внезапно я пугаюсь — вдруг кто-нибудь заметит! Поднимаю глаза, но не встречаюсь с его взглядом. Если встречу, совсем перестану владеть собой, я знаю.

Вижу остальных. Никому до нас нет дела. Все заняты собой. Танцуют, разговаривают, флиртуют. Как чудесно, что никто не обращает на нас внимания!

38

После танца он проводил меня к Сабире. И сразу отошел к двери. Мишель. Я так хотела узнать его имя. А теперь стыжусь произносить его даже про себя, стыжусь этой безоглядой нежности, охватывающей меня.

Ибрагим-бей и Сабире пригласили всех в столовую. Длинный стол, застланный белой скатертью, уставлен тарелками. Чуть поблескивали стеклянные графины с вином. Угощение скромное. Сыр, маслины, фрукты, пирожные.

Я почувствовала, что проголодалась. Сажу между Ибрагим-беем и Сабире. Оба наперебой ухаживают за мной. Сабире накладывает паштет, Ибрагим-бей подает блюдо с маслинами. Славные мои друзья.

Вдруг заметила, что спокойно ем, не стесняюсь. Хотя я влюблена и должна лишиться аппетита. Но ничего подобного. И даже более того — я чувствую, что ему приятно смотреть, как я ем.

Я совсем не стараюсь казаться лучше, красивее, изящнее, чем на самом деле. Но ведь это только потому, что я поняла: ему все во мне нравится.

Оглядываюсь. Вон он, далеко от меня. Почувствовал. Тоже поднял голову от тарелки и посмотрел на меня. Какой у него взгляд. Такой милый, чистый, нежный.

39

После ужина. Снова в гостиной.

Мишель сидит на диване. Все разместились вокруг. Ибрагим-бей принес саз и предложил Мишелью сыграть, назвал его по имени. Значит, не пианино, а наш турецкий саз. Нет, он не француз. И, наверное (наверняка), не пианист. Только не надо думать, будто меня это разочаровало. Я смеюсь над своими недавними фантазиями. Но неужели он турок? Нет, в нем чувствуется что-то нетурецкое. Кто же он? Мне хочется знать, кто он, как он живет. Мне кажется, я буду любить в нем все, все обстоятельства его жизни, даже какие-то его недостатки; вернее, то, что другие считают его недостатками,

потому что для меня никаких недостатков не существует в этом человеке, в моем Незнакомце, в Мишеле...

Он не стал ломаться, кокетничать, взял у Ибрагим-бея инструмент; умело держа, настроил, смотрел на саз серьезно и сосредоточенно, и струны, казалось, почувствовали и чутко откликнулись. Он поднял голову, лицо его поразило меня выражением какого-то ребяческого умиления. Я вдруг подумала, что если мы когда-нибудь расстанемся, если я его потеряю, то часто даже помимо моей воли перед внутренним моим взором будет вставать эта картина: юноша, поднявший голову от инструмента, его нежные незащитные глаза и это трогательное умиление; и тогда мое сердце будет рваться на части, изнывая от боли, мучительной и неизбежной.

Эта внезапная мысль испугала меня. Но тут он снова наклонил голову, зазвучала мелодия, он запел.

Мои впечатления... Его голос... Прежде всего я восприняла мягкость. Такая мягкость, нежная покорность в его голосе.

Мне стыдно, но за все девятнадцать лет моей жизни я, кажется, ни разу не осознала в полной мере, что живу в одном из самых, быть может, интересных уголков земного шара; живу в удивительном древнем городе, принадлежащем в равной степени и Европе и Азии. Я ничего этого не чувствовала, я была занята своими мелочными переживаниями. В сущности, весь огромный удивительный город сводился для меня к двум небольшим домам: к дому моих родителей и к дому Джемиля. В этом узком компактном мирке я и жила, не сознавая, где я, в сущности, нахожусь. Но когда запел Мишель, все переменялось. Почему? Потому что его песня была такой своеобразной, или просто потому, что я была влюблена? Не знаю, но мой город словно раскрылся передо мной, и я задыхалась легко и свободно...

Город раскинулся на полдороге.
Город-радость, город-печаль.
Миндальное цветение на Пере в Европе.
И в Ускюдаре в Азии цветет миндаль.
А я хочу, чтобы мои строки запели,
Как ночью поет невидимый соловей
В чужом саду взлетают качели.
Где оно, лицо любимой моей?
Ветер весеннюю колышет зелень.
Ее не вижу с тех самых пор.
И сердце надвое —
Так нашу землю
На Европу и Азию рассекает Босфор.
А город раскинулся на полдороге.
Город-радость, город-печаль.
Миндальное цветение на Пере в Европе.
И в Ускюдаре в Азии цветет миндаль.

Ну, конечно, я и прежде знала, что пролив Босфор делит Истанбул на две части — европейскую и азиатскую, Ускюдар — в Азии, а Бейоглу-Пера — в Европе; сколько раз я видела, как цветет миндаль; и на качелях мне приходилось качаться, как всякому турецкому ребенку. Но прежде я ничего этого не чувствовала. А когда чувствуешь, тогда все совсем другое.

Гости восхищенно загомонили и стали наперебой просить спеть еще что-нибудь. Он не стал отнекиваться, отказываться. Заиграл знакомый мотив. Я узнала народную песню, только не все слова помню. Отец любит напевать это. «Я тоскую и проливаю слезы». Но эта знакомая народная мелодия звучала как припев. Сама песня Мишеля была другая.

Я говорю, о, если бы ты знала.
Я расскажу, немного погода.
Кофейня под навесом
и чинара
зеленокошая
глядит сквозь шум дождя.
О, если бы ты знала,
если бы ты знала.
Я там живу,
все время беспокоясь,
Противясь нежной радостной мечте:
Когда на Эрзерум уходит поезд,
И облака в небесной высоте.
Кофейня под навесом
и чинара
зеленокошая
глядит сквозь шум дождя.
О, если бы ты знала,
если бы ты знала...
Немного погода...

Он замолчал. Снова все разом заговорили, перебивая друг друга. Хвалили пение, слова. Я убедилась в том, что многие здесь слушали его не в первый раз. Я поняла, что и стихи и музыку он сочинил сам. Это все наполнило мое сердце такой гордостью, будто я сама пела, будто это я положила свои стихи на свою собственную музыку. Но нет, если бы это была я, я бы не могла так гордиться.

Гордость, радость, нежность... Я не сомневалась, что эти песни посвящены мне, что он спел их для меня. Мне захотелось что-то сказать; нет, не ему, но что-то такое, имеющее отношение к нему. Сабире снова сидела рядом со мной. Определенно, в этот вечер, когда она впервые «вывезла меня в свет», она решила быть моей гувернанткой. Я наклонилась к ней:

— Сабире, он сам сочинил эти песни?

— Да. Это очень талантливый человек. — Она вдруг обернулась и лукаво посмотрела прямо мне в глаза: — Он тебе понравился?

Я передернула плечами и вдруг невольно засмеялась. Хорошо, что тихо, иначе все бы обратили на меня внимание.

40

Уже совсем поздно. Мне сделалось как-то неуютно — я одна среди чужих людей. Но, господи, как это глупо — а дома разве я не одна? Разве Джемиль не чужой мне? И все-таки у меня ощущение, что мой дом — это мой дом. Но почему? Потому что меня и Джемиля соединила с согласия моих родителей официальная брачная церемония? Потому что я — законная жена Джемиля и по закону имею право находиться в его доме? Да, получается, что именно эти прозаичные условности дают мне чувство уверенности, устойчивости. Хотела бы это все хорошенько обдумать, но не здесь, не сейчас.

Я заметила, что некоторые гости уезжают, другие остаются. Оставшиеся парами поднимались на второй этаж. Конечно, это не мужья и жены. Я встревожилась. Что это? Что-то вроде дома свиданий для более или менее интеллигентных и состоятельных людей? Зачем Сабире привезла меня сюда? Но я напрасно беспокоюсь. Ведь никто не заставит меня совершить безнравственный поступок. Что же меня тревожит?

Одна только мысль об этой возможности остаться с ним наедине. Ведь это возможно. Ведь Сабире могла бы это устроить, здесь, сегодня, сейчас. Нет! Я знаю, это изменило бы все, перевернуло бы всю мою жизнь. Но я... Я не могу понять, где истинная причина — мне действительно страшно стать безнравственной. В эту минуту я не верю расхожим афоризмам типа: «любовь оправдывает все». Я не могу. Или я просто боюсь? Просто страшусь всех этих перемен, которые могут обрушиться на меня? Могут? Да нет, обрушатся непременно. А вдруг я больше никогда не увижу его? Вдруг он уедет? Куда-нибудь. Вдруг это первый и последний раз? Нет, не верю. Я буду видеть его, он сам хочет этого. Гостиная почти опустела.

Я улавливаю обрывок разговора. Это он разговаривает с Ибрагим-беєм.

— ...могу и я... (Это Ибрагим-бей.)

— Нет. (Это он.)

Сабире входит в гостиную. (Значит, она выходила, а я и не заметила).

— Я покажу тебе твою комнату, Наджие; ты, наверное, устала, бедный ребенок.

Я послушно встаю и иду за ней. Они стоят у самых дверей. Почтительно посторонились, пропускают меня. Я чувствую, что-то касается моей руки, острый бумажный уголок чуть кольнул ладонь. Я быстро сжала пальцы. Я знаю: это он.

К счастью, комната, которую отвела мне Сабире, на первом этаже. Подниматься на второй, куда люди уходили парами, мне было бы неприятно. Я и вправду устала. Глаза закрываются. Кажется, Сабире хотела бы поговорить со мной. Наверное, ей интересно знать мои впечатления. Но она видит, как я клую носом. Потрепала меня по щеке, улыбнулась и вышла.

Комната запирается изнутри. Вот и хорошо. Я немедленно задвинула засов. Разделась, распустила волосы. На постели разложена ночная сорочка Сабире. Я легла. Спала чутко. Но никто не стучал в дверь, ничей жаркий шепот не будил меня, никто не собирался искушать меня и соблазнять.

А твердый прямоугольник бумажный? Это визитная карточка или что-то вроде. Наверное, это покажется странным, но я даже не взглянула. Мне вдруг захотелось продлить удовольствие. Сейчас, когда я такая сонная муха, не буду смотреть, что же это — визитная карточка или записка. Завтра. И не здесь. Дома. Внимательно прочту. Рассмотрю. А пока положила в сумочку. Как приятно!

Проснулась, когда солнце ярко освещало комнату. В дверь постукивали, и голос Сабире тихо звал:

— Вставай, Наджие, вставай. Кофе готов.

41

Завтракали вдвоем с моей Сабире. Я старательно делала вид, будто очень устала, будто еще не вполне пришла в себя. Я боялась, вдруг Сабире начнет меня расспрашивать, мне этого не хотелось. Хотелось укрыть Мишеля в своем сердце, затаиться. И чтобы никто не смотрел на моего любимого, чтобы никто, кроме меня, не слышал, как он поет. Такие чувства одолевали меня утром, а ведь еще вечером я гордилась; мне нравилось, что другие восхищаются его пением. Парадокс, каких в жизни, наверное, тысячи.

Сабире поглядывала на меня как-то выжидательно. Должно быть, ей хотелось узнать мои впечатления от вчерашнего вечера. Я наконец сообразила, что надо хотя бы поблагодарить ее (и ведь есть за что).

Я поднялась, подошла к ней, обняла и поцеловала:

— Спасибо тебе, Сабире! Знаешь, я все еще не могу прийти в себя. Завтра непременно заезжай ко мне.

— Завтра не смогу. Послезавтра, идет?

— Буду ждать.

Вошел Ибрагим-бей. Он весело поздоровался со мной. Он и Сабире решили сегодня остаться за городом. Они предложили мне вернуться домой в их экипаже.

Пока ехали, вдруг одолели меня привычные угрызения совести. Разные такие мысли, вроде того, что вот я развлекаюсь, я влюблена, у меня есть дом, куда я возвращаюсь; а в это самое время идет война, погибают мужчины, женщины одиноки, в деревнях изнемогают от тяжелого труда... Что это за мысли у меня, я пытаюсь понять. Совершенно ясно, что я ничего не могу изменить. Страдать от голода, холода и прочих лишений — разве у меня есть такое желание? Надо быть честной наедине с собой — нет у меня такого желания. Тогда что же это за обязательные угрызения совести? Я привыкла к их какому-то очищающему воздействию на мою душу, как привыкают чистить зубы по утрам. Я очищаю свою душу — вот и весь смысл моих угрызений совести. Достаточно эгоистично.

Решила заехать к маме. Обычно в это время отца нет дома. Мама встретила меня оживленно. Стала спрашивать, хорошо ли мне было у подруги. Я ответила сдержанно, что мы поболтали о платьях. Мама грустно заговорила о том, что отец опасается падения курса нашей турецкой лиры. Это в связи с войной. Мне сделалось неловко. Эти прозаические житейские трудности так сдавливают душу (именно сдавливают, другого слова не подберу), делают ее такой плоской и тоскливой. Странно, мама не спросила, как зовут мою подругу. Нет, она мне верит. Но кажется, дела отца очень тревожат ее, это для нее главное. Может быть, она и права. Ведь все, что я привыкла воспринимать как простую данность — дом, еда, одежда, прислуга, — ведь все это стоит денег, всего этого можно и лишиться.

Дома меня встретила Элени и сочувственным шепотом сообщила, что Джемиль сегодня вернулся рано и что он в плохом настроении. Элени знает, что я не даю Джемилю урезать ей жалованье, потому она и держит мою сторону в этом постоянном семейном противостоянии.

Я тихонько прошла к себе, но Джемиль, конечно, все равно услышал. И я услышала его шаги. Переодеваться не стала. Подошла к двери и заперлась. Через минуту Джемиль раздраженно дернул дверь. Потом требовательно забарабанил.

Я открыла. Мне не надо было притворяться спокойной и равнодушной, я и вправду была такой. Раздраженный Дже-

милей обрушил на меня град занудливых упреков. Я позорю его; я шляюсь неизвестно где, я сумасшедшая, и так далее, все в том же духе. Впрочем, это «неизвестно где» заставило меня немного насторожиться. Неужели он догадывается? Но нет, он просто боялся меня; боялся, что я что-нибудь такое странное сотворю и мое поведение повлияет на его репутацию.

— Я была у матери, — холодно сказала я.

Хотела было добавить, что ничего страшного нет в том, что я ночевала у матери; но решила, что не нужно много говорить. Была у матери — и все. Я отвернулась к занавешенному темной шторой окну. Джемиль еще поворчал, затем вышел из моей комнаты, хлопнув дверью. Я снова заперлась.

Переделалась одна, без помощи Элени. Нельзя сказать, чтобы гнев Джемиля огорчил меня. Это ведь было обычным моим ежедневием. Я вынула из сумочки маленький плотный бумажный прямоугольник. Прочла то, что было на нем написано. Имя, адрес. Подошла к столику, откинула крышку шкапулки. Там лежала точно такая же визитная карточка.

Я положила их рядом. На моей, кроме имени и адреса, было написано от руки: «Три часа, четверг».

Я присела на постель, опустила руки на колени и задумалась.

Когда постучала Элени, я сказала ей, не открывая дверь, что сегодня обедать не хочу.

42

На обеих карточках стояло: «Мишель Пилибосян — специалист по женским болезням», далее — адрес — Доганджилар... улица... номер дома. И на «моей» карточке — «Три часа, четверг»...

Это «специалист по женским болезням» показалось мне необычайно пошлым. И главное — это совершенно не вязалось с тем мучительно-преlestным для меня юношеским обликом.

Но в конце концов не в этом суть. Мне уже приходилось читать в книгах о том, как меняет человека, особенно женщину, любовь. Но ощущения, которые испытывала я, думаю, не описаны ни в одном романе. И вовсе не потому, что эти ощущения, переживания так уж необычны. Напротив, я уверена, тысячи людей испытывали что-нибудь подобное. Но одни из них слишком грубы и невежественны, другие — слишком интеллигентны, поэтому одни молчат, другие —

хотя и признаются, но обставляют свои признания всевозможными оговорками и оправданиями

Но, в сущности, о чем речь? Что за страшное признание я хочу сделать? Почему я все оттягиваю этот момент? Почему я собираюсь с силами для того, чтобы наконец все поведать этой странице моего дневника?

Я и сама не знала, что такотреагирую на это — «Пилибосян». В жизни каждого человека есть какие-то постыдные моменты. Тонко чувствующий или хотя бы считающий себя тонко чувствующим человек старается подавлять это в себе, не думать об этом, как не думаем мы, например, о том, что ежедневно мочимся, испражняемся.

Я настолько подавила это в себе, я даже не подозревала, что оно все равно существует, что оно отличается такой липкой цепкостью. Как я, девчонка, когда-то презирала родителей и мадемуазель Маргариту! Они были для меня людьми второго сорта, теми, из пресловутого «множества»; теми, что могут настороженно относиться к другим или даже возненавидеть других за то, что другие не французы или не турки.

А я сама? Я не имела никакого права... Я противна себе... Но все же... все же... Я хочу понять, что это... Надо попытаться прибегнуть к моему испытанному методу — разобрать по косточкам свои переживания.

Сейчас я буду честно во всем признаваться. В конце концов я признаюсь единственному, самому верному свидетелю — себе самой.

Мне стало неприятно, когда я узнала, что человек, которого я полюбила, — армянин. Мне неприятно, что он — «специалист по женским болезням». Но на этом я не стала бы задерживаться. Это просто визитная карточка врача. Что другое можно было на ней напечатать? Нет, все дело в том, что он — армянин.

Пилибосян... Армянская фамилия вызывает у меня ощущение какой-то гадливости, брезгливости. Я могла бы не сосредоточиваться на этом дурном ощущении, могла бы загнать это ощущение поглубже, на самое дно души, где в беспорядке свалено, как на помойке, все то, к чему я боюсь прикоснуться даже краешком сознания... Вот я, совсем маленькая девочка, лежу на постели. Я одна в комнате. Яркий солнечный день. Я натянула на себя одеяло, изо всех силенок сжимаю худенькие бедра, испытываю какое-то странное, стыдное и очень приятное чувство; и очень боюсь, что кто-нибудь — мама или служанка — войдет и увидит, сама не знаю откуда, но мне известно, что то, что я делаю, это плохо...

А если бы он оказался французом? Нет, тогда бы мне не было неприятно. И снова — почему? Может быть, потому что

Франция, Париж, Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля, Бальзак, Версаль — все это я знаю, во всем этом для меня много обаятельного... Поэтому да? И если о французах будут отзываться дурно, например, называть их легкомысленными, это на меня не подействует. Чеканные строки трагедий Расина и драматизм «Человеческой комедии» перевесят в моей душе любое, самое достоверное дурное мнение о французах. Более того, даже если я встречу какого-нибудь неприятного француза, это ничего не изменит. Потому что мне знакомы истинные вершины французской культуры и какой-то заурядной личности не под силу обрушить их в моей душе.

Об армянах же я слышала с детства только дурное. Не то чтобы о них постоянно говорили, нет. Но, значит, то, что я слышала, прочно отложилось в моем сознании. Это не просто дурное, это мелочно-неприятно-дурное. Говорят, что армяне — торгаши, хитрецы, обманщики, нечистоплотные люди. Но неужели я так примитивна и все эти слова оказывают на меня такое сильное действие? Зачем же лгать? Да, значит, оказывают, значит, примитивна. Да, и не буду лгать. Те немногие армяне, которых мне приходилось видеть, вполне укладывались в этот образ мелочного торгаша. Мне были неприятны их слишком черные волосы, крючковатые носы, а у женщин еще и лица волосатые. Мне самой противно это писать, я сама себе противна, но я хочу написать правду о своих ощущениях, даже если сама буду стыдиться этой правды.

Боже, ведь, в сущности, то, что я пишу, ужасно странно. Если бы на нас взглянул человек с другой планеты, что бы он подумал? Как можно неприязненно относиться к такому же, как и ты сама, существу, только потому, что у него волосатые щеки? Но это существует, это так. Отец рассказывал о том, как обманывали его армяне-торговцы...

Но почему все это так отложилось в моей душе? Может быть, потому что я совсем ничего не подозреваю о существовании какой-то армянской культуры? Есть только дурное, а ничего хорошего в противовес ему нет. А существует ли она вообще, армянская культура? Разумеется, какие-то книги, какие-то песни должны существовать; но, наверное, все это такое маленькое, узкое, такое пригодное лишь для своего узкого круга... Ну и что? Это не основание для ненависти.

Отец говорил еще и о том, что армяне — предатели, они стремятся предать наше государство, они шпионы, они готовы продать нашу страну России. Правда это или ложь? У меня не было возможности проверить. Вероятно, истина, как всегда, находится где-то посередине, между правдой и ложью, что называется.

Вот. Написала. Сажу. С ног до головы облепленная грязью. Отвратительная сама себе. Во всем призналась. И

еще — разумеется, эта ненависть взаимна. Армяне ненавидят турок.

Как странно и мучительно: я чувствую, что почти не люблю этого человека. Это соединение звуков — «Пилибосян» — оказалось намного сильнее того юноши с беззащитными глазами цвета морских волн, которому я уже, казалось, отдала свое сердце. Я даже не могу верить в то, что он любит меня. Он не может меня любить. Ведь я не могу любить его.

А как же «Ромео и Джульетта»? «Имя ничего не значит, роза все равно остается розой». Кажется, так. А для Дездемоны даже чернота Отелло не имеет никакого значения. Почему-то именно Шекспир мне вспомнился. Наверное, потому что у его героев такие сильные чувства. Жаль, что я не знаю английского. Но и по-французски это удивительно. Мне всегда хотелось сильных чувств, хотелось любви. Но теперь я поняла, что я мелка, я похожа на всех остальных, я тоже принадлежу к этому «множеству».

Все кончено. Надо просто запереться в своей комнате, читать книги и носа не высовывать наружу, туда, где пенится мутной пеной живая жизнь.

43

Здесь старик Бора ненадолго расстается со своей юной сверстницей Наджие-ханым, поддавшись соблазну порассуждать самому.

Мы все чего-то не договариваем. Если бы мы, интеллигенты, писатели, обладали такой смелостью, как эта девочка. Но вряд ли это возможно. Ведь она писала для себя, исповедовалась перед собой. А кто из нас осмелится проанализировать свои чувства и понять, почему в его сознании, в его душе наперекор всем гуманным идеалам прозябает ненависть к армянам, неприязнь к евреям, отвращение к туркам. Вынести эти простые признания на страницы книг? Нет уж, гораздо легче подробно описать, как ты мочишься или испражняешься, или, забившись под одеяло, теребишь в одиночестве свой член, стремясь вызвать потайное, стыдное удовольствие.

Самое большое, на что, мы, турецкие писатели, способны, это вывести в романе «хорошего» армянина, глуповатого, конечно, но добродушного. Впрочем, подозреваю, что армянские или греческие писатели — максималисты в еще большей степени, и даже на «хорошего» турка их не хватит.

Но одного писателя, свободного, кажется, от подобного рода ненависти, я читал. Это Иво Андрич. Я даже хотел на-

писать ему. Но потом отказался от своего намерения. К чему писать? Для чего рисковать? Лучше уж не писать писем, не желать личного знакомства, зато и не разочаровываться.

Пожалуй, я мазохист. Я много лет прожил в Германии, всем сердцем люблю ее; я преклонялся перед Толстым и Достоевским; а ведь я встречал не так уж мало немцев и русских, которые, несмотря на всю свою интеллигентность, не могли изжить невольного презрения ко мне, к своему коллеге, «грязному» и даже «кровожадному» турку. Особенно смешны подобные чувства у еврея.

В 1878 году, когда российские газеты и журналы буквально захлебывались от ненависти к туркам, Толстой отправился в Тулу, увидеть живых пленных турок, и после записал в дневнике, что они чудесные ребята. Тогда сильная Российская империя теснила на Балканах свою ослабевшую соперницу Османскую империю; тогда мой любимый Достоевский в своем «Дневнике писателя» выдумывал такие ужасающие «турецкие зверства», какие самому маркизу де Саду не могли присниться.

Но я не перестаю любить моего Достоевского. Я мазохист, я всегда и везде буду не ко двору, и, возможно, отчасти благодаря таким, как я, люди периодически пытаются хотя бы немного обуздать взаимную ненависть, над которой не всегда мы властны.

Что ж, а теперь я снова раскрываю дневник Наджие.

44

Темно в комнате. Я задернула шторы. Лежу в постели. Дверь заперта.

Почему я не могу заплакать? Я знаю, слезы принесли бы мне облегчение. Такое ощущение, будто мои глаза пересохли, как лужицы на дороге после дождя. Эта сухость жжет глаза.

«Три часа, четверг» — он написал на визитной карточке, которую сунул мне в руку. Он назначил мне свидание. Значит, он врач и потому Сабире с ним знакома. Но до меня не доходит, как это она раздевалась перед таким молодым мужчиной, снимала панталоны, позволяла ему... Мне даже думать стыдно. Ну и пусть я старомодна, пусть я ханжа.

Сабире, конечно, не интересуется его национальностью; ей все равно. Она ведь не влюбилась в него. Она скорее может влюбиться в этого фата Фасих-бея. Наверное, она тоже в глубине души презирает Ми... буду называть его. «М.»... Но почему это я напала на Сабире? Она здесь ни при чем.

Он назначил мне свидание. Разумеется, я не пойду. Свидание. У него дома. Хотя ведь там он принимает больных. А где он мог назначить мне свидание? На площади Таксим, что ли? И ждать меня там с букетом цветов?

Мне смешно то, что ночью, сама с собой, я такая ершистая. Я слышу свой невольный желчный смешок. Ну вот, не от слез, так от смеха, все равно облегчение.

Этот человек более образован, чем я. Он врач, он прекрасно говорит по-французски; наконец, он талантлив, он композитор, поэт и певец. Это он в своей песне открыл для меня очарование моего родного города. Я не имею никакого права презирать этого человека.

Пусть я больше не люблю его. Это моя беда, а не вина. Может быть, и ему только кажется, будто он влюблен в меня. Но уважать его я должна. Я не унижусь до этой бессознательной грубой простонародной ненависти, я буду бороться с ней.

А впрочем, я никогда больше не увижу его. Я попрошу Сабире больше никогда не приглашать его. Скажу, что он мне неприятен, потому что он армянин. Пусть она считает меня фанатичкой-националисткой. Но нет. Я больше никогда не буду бывать на вечерах у Сабире. Это не для меня. Буду сидеть в своей комнате, читать книги и тихо стариться. Возможно, когда-нибудь удастся развестись с Джемилом, тогда буду совсем одинока и свободна.

«Три часа, четверг». Завтра. К чему кривить душой. Мне хочется пойти. Почему? Увидеть его еще раз, чтобы убедиться в том, что чувство любви у меня исчезло? Зачем это нужно? Просто хочу увидеть его еще раз. Но я не пойду. Я заставлю себя не пойти. Если бы я могла увидеть его как-то тайком, чтобы он меня не видел. Нет, это невозможно. Я хочу пойти. Но я не пойду.

Я начала испытывать к нему какое-то чувство нежной жалости, как будто он — беззащитное хрупкое существо, мальчик; а я его обидела, оскорбила.

Мне становится жаль самое себя. Я так одинока, так несчастна. Слезы смочили сухие глаза. Тихо всхлипывая, я засыпаю.

45

Удивительно, но, проснувшись, почувствовала себя бодрой и свежей. Умылась, причесалась, выпила кофе у себя в комнате. Элени вернулась, чтобы унести чашку, и сказала мне тоном

заговорщицы, что Джемиль уже ушел. Я вышла в столовую. Походила по дому. Зашла на кухню и распорядилась насчет обеда. Мне уже известны гастрономические пристрастия Джемиля, в еде он неприхотлив; он и меня, избалованную с детства, постепенно приучил к более скромному столу. За это я даже благодарна ему.

Час дня. Я уже знаю, что пойду. Но не сосредоточиваюсь на этой мысли, отношусь к этому как к простой неизбежности.

Позвала Элени к себе в комнату; сказала спокойно, что иду к подруге; если придет Джемиль, пусть Элени передаст ему, что я у подруги. Элени закивала.

Я решила одеться по-европейски, тогда я буду чувствовать себя свободнее. Элени помогала мне одеться. Я надела панталоны, отделанные кружевом, шелковую бледно-розовую сорочку. Мне сделалось как-то не по себе. Я боялась углубиться в мысли о том, что слишком тщательно выбираю белье.

— Какая вы красавица! — воскликнула Элени.

Я знаю, что это не лесть, я действительно красива.

— Не надо, Элени, — сказала я мягко и опустила голову.

Я уже чувствовала себя виноватой; мне не хотелось выслушивать похвалы.

Надела шелковую белую блузку с вышивкой, серую юбку и строгий удлиненный жакет. Почувствовала себя стройной. Шелковые чулки телесного цвета и лакированные туфли на высоком каблуке. Волосы уложила высоко, заколола сбоку. Скромная маленькая шляпка, вуалетку я опустила. Перчатки. Пожалуй, возьму зонтик. Без зонтика чувствуешь себя какой-то слишком открытой. Так. Зонтик. В сумочку кладу носовой платок. Чуть надушила его. Розовым маслом.

46

Доганджилар, конечно, не самый фешенебельный район. Опустила наемный экипаж, иду пешком. Дома все больше деревянные, но попадают и особняки. Вот и дом, указанный в его визитной карточке. Тоже деревянный, выглядит прилично, два этажа. У входа — электрический звонок. Дверь заперта. Уже все равно.

Последний миг слабого колебания. Еще можно уйти. Нет, уже нет.

Надавила на кнопку звонка. Резкий звук. Неприятно. На двери — никакой таблички. Но, может быть, так и нужно?

Дверь отпирает высокий черноусый слуга. Одет опрятно. Но меня сразу охватывает какое-то паническое чувство неловкости. Я — один на один — с незнакомым мужчиной-простодушником.

Собираюсь с силами и спрашиваю:

— Здесь клиника доктора Пилибосяна?

Очень стараюсь, чтобы мой голос звучал бесстрастно, равнодушно.

— Здесь. У вас есть визитная карточка?

Все странно. Зачем я сказала «клиника»? Ясно ведь, что никакая это не клиника, клиника — это что-то уже значительное. И зачем он спрашивает о карточке? Это что, вроде рекомендации? Без рекомендации здесь нельзя?

Карточку, ту, «мою», я, конечно, захватила с собой, ведь там адрес. Но я даже не успеваю вынуть ее из сумочки или хотя бы просто ответить, что у меня эта карточка имеется. Я слышу его голос:

— Сабри! Впусти. Это по договоренности.

Мне кажется, я улавливаю в этом голосе нетерпение. Он ждет меня.

Сабри почтительно распахивает дверь. В прихожей чисто. Но его там нет. Сабри открывает еще одну дверь. Вхожу. Комната похожа на кабинет ученого или писателя (как я это себе представляю). Письменный стол с книгами и бумагами. За чистыми стеклами книжных шкафов — впритык — темные корешки. Стул, два кресла, обитых темной кожей. Темный кожаный диван. Он поднимается мне навстречу. Боюсь смотреть на его лицо. Надо о чем-то думать, иначе станет страшно. Карточка. Может быть, слуга спрашивал о моей визитной карточке, а не о карточке врача? Этот Сабри умеет читать?..

М. в той же одежде, что и на вечере у Сабире — черные брюки, черная рубашка. Не смотрю на него, но чувствую его глаза, нет, не взгляд, именно глаза — их глубину, их зеленоватую голубизну.

— Здравствуйте, Наджие, — произносит он по-французски. Не прибавляет «мадам». Обратился ко мне так дружески, как человек, который и во мне видит прежде всего человека, а не просто женщину, с которой хотел бы сблизиться. Мне это приятно. Я вдруг нахожу возможность избавиться от чувства вины перед ним. Сейчас. Но все же надо чуть оттянуть этот момент.

— Прошу вас, — он придвигает кресло.

Я не сажусь. Вся напряглась, распрямилась, вытянулась, как струна. Почти роняю на кресло сложенный зонтик... перчатки. Сама не заметила, как сняла их. Почему-то мне неловко с этими открытыми кистями рук. Невольно заложила руки за спину. Стою, как школьница, отвечающая урок. Шляпку не

сняла, не подняла вуалетку. Не смотрю на него. Чувствую, что он любит меня мной. Нет, не надо этого. После всего того, что я думала о нем, он не должен любоваться мной. Пусть он узнает, какая я на самом деле. Начинаю говорить — как в омут головой.

— Я пришла попросить у вас прощения. Когда я узнала, что вы... что вы... армянин... я плохо думала о вас. Вы знаете все, что говорят обычно... Я так воспитана... То есть... Никто не виноват... Я не должна была. Я прошу у вас прощения. Прощайте!

Наговорила глупостей. Все кончено. Хватаю зонтик, круто поворачиваюсь и ухожу.

Он меня не удерживает. Все равно!

В прихожей — никого. Входная дверь заперта на засов. Изнутри. Легко отпереть. Выхожу на улицу. Скорее домой и больше никогда... Я не должна видаться, встречаться с людьми, я слишком странная и нелепая. Спрячусь в своей комнате, как улитка, да, улитка в раковине.

Остановилась. Жарко. Осень, а так жарко. В душе зарождается мысль о том, чтобы вернуться. Одним нелепым поступком больше. Мне хочется вернуться. Зачем? Просто, чтобы увидеть его глаза. Не хочется думать, призывать на помощь логику. Хочется просто подчиниться своему желанию. Хочу — и поступлю, как хочу!

Но что-то все же удерживает меня. Я понимаю, что если сейчас вернусь в этот дом, я уже никогда не смогу вернуться к прежней жизни, прежняя Наджие умрет.

Не знаю; возможно, я и не вернулась бы. Если бы я не вернулась, это изменило бы что-то? Навсегда? Нет. Разве только на время.

Случайность решает все. Какое-то странное ощущение в пальцах. Я без перчаток! Раскрываю сумочку. Я уже знаю, что перчатки забыла в комнате. Но почти бессознательно ищу оправдания своим действиям. Проверила — в сумочке перчаток нет. Значит, я должна вернуться. Я не хочу, не могу оставлять у него свои перчатки, это какая-то частица меня. Я вернусь за ними. Я все равно хочу вернуться...

47

Входная дверь не заперта.

Он в комнате. Не вижу его, не чувствую, но знаю, что он в комнате.

Вижу свои перчатки. Брошены на кресло. Тонкие, беззащитные.

Я решаюсь посмотреть на него.

Он смотрит так нежно и покорно, серьезно и грустно. Его лицо такое живое. Только он существует на свете. Ни до чего другого мне нет дела. Вдруг чувствую себя такой беззащитной, одинокой. Уже не могу думать о том, правильно ли я поступаю.

Я иду к нему. Или мы идем друг к другу одновременно.

Я прижимаюсь лицом к его груди. Вдыхаю запах его кожи — такой теплый нежный запах. Перед глазами все плывет, но мне не страшно. Его нежные губы и чуткие пальцы касаются моего лица, шеи. Мне хорошо. Но откуда это чувство изнеможения?

— Не надо... не надо, — шепчу я.

Я совсем не хочу, чтобы он оставил меня. Этот мой прерывистый шепот — часть моего наслаждения.

Он поднимает меня на руки. Я вскрикиваю и смеюсь. Он несет меня и чуть подбрасывает вверх.

Он садится на диван, держа меня на руках. Расстегивает жакет, блузку, высвобождает груди. От его нежных прикосновений мне щеkotно и радостно. Его губы нежно припадают к моим соскам.

Он не произносит ни слова. Я тоже молчу. Его дыхание учащается.

Он начинает снимать с меня одежду. Странно, но мне и стыдно и радостно. Я прячу лицо у него на груди. Его чуткие пальцы вынимают шпильки из моих волос. Густые мои волосы падают теплой волной. Он целует их, я чувствую. Я изнемогаю.

Что он сделал... Я совсем обнажена. И он. Его тело пахнет таким живым теплом. Я зажимаюсь. Мне хорошо.

Мы лежим на диване. Он — позади меня. Я закидываю руки и обнимаю его. Мне стыдно своей смелости. Он легким, но сильным движением поворачивает меня к себе. Целует, целует, целует мое лицо. Я чувствую, как мы соединяемся, становимся одним, единым существом. Вот как это должно происходить на самом деле!

Мне хорошо, я сжимаю бедра, чтобы продлить это наслаждение, я крепко обхватываю руками его шею. Я сама пугаюсь своей смелости. Как я буду жить дальше после того, что я сейчас испытала? Я ничего не понимаю. Это — как омут, сладко-мучительный. Больше ничего в жизни нет.

Я должна вырваться. Иначе я умру. Я не смогу жить. Что я наделала! Я не должна была. Я должна уйти.

Его руки, тело с такой серьезной покорностью расслабляются, отпускают меня.

Я не знала прежде, что мои движения могут быть такими быстрыми. Он молчит, не удерживает меня. Его близость ненавязчива. Я поспешно одеваюсь, укладываю волосы. Внезапно хватаю со стола листок бумаги и поспешно пишу, как в лихорадке:

«Я исчезла, меня нет. Ветер отдал меня травам, камням, деревьям. Я отдала себя. Я уйду...»

Не глядя на него, сую ему в руку листок. Боюсь прикосновения его пальцев.

Держу в руке перчатки, сложенный зонтик.

— Прощайте! — быстро произношу.

Не оглядываясь, через прихожую. Откинуть засов. На улицу.

Как я благодарна ему за то, что он не удерживает меня!

48

Прошел час. Всего лишь час. А мне чудилось — вечность. Дома проскользнула в свою комнату.

О милосердная природа! Как хорошо, что меня клонит в сон. Легла в халате, закрыла глаза. Всего этого каскада, водопада странных, мучительных, радостных и нелепых мыслей я бы не выдержала. Как хорошо, что я сразу уснула.

Стук в дверь. Так обычно стучит Элени — деликатно и словно бы о чем-то предупреждает. Отпираю дверь.

Оказывается, Джемиль вернулся, когда я уже была дома. Пора ужинать.

Вышла в столовую. Сидим с Джемилем за столом. Едим молча.

— Ты была сегодня у матери? — внезапно спрашивает он.

— Нет, была у подруги, — отвечаю машинально. И тотчас раскаиваюсь — зачем сказала, я не обязана давать ему отчет. Но почему он спросил меня? По-моему, хочет знать что-то об отце. Все эти денежные дела.

— Что за подруга? — он это произносит довольно равнодушно.

— Сабире-ханым, — отвечаю спокойно, — жена Ибрагим-бея. Мы с детства знакомы.

Сколько раз внушала себе: не говори лишнего! Зачем это «мы с детства знакомы»? Получилось, будто бы я оправдываюсь.

Джемиль поморщился.

— Бог знает, к кому ходишь. О ней болтают.

— Мама давно знакома с ее матерью! — вспыхнула я. — Почему я должна целыми днями сидеть взаперти! У всех есть подруги.

Говорю, словно глупый ребенок.

Джемиль вяло и угрюмо махнул рукой. Так от надоедливой мухи отмахиваются. Я искоса глянула на него. Он чем-то озабочен. Наверное, и мне бы не мешало знать, что может его тревожить. Ведь если его денежные дела плохи, это и для меня важно. А, впрочем, пусть отец заботится. Если я вмешаюсь, только испорчу все.

В своей комнате села на постель. Нет, не буду думать о том, что произошло. Это случайность. Это никогда больше не повторится. Никогда. Я просто буду жить воспоминанием. А потом и воспоминание побледнеет, угаснет. Но у меня такое ощущение, будто я вновь что-то забыла. Неужели? Мне становится нехорошо. Я хочу, чтобы никто не знал, чтобы у него не осталось ничего моего.

Вскочила лихорадочно. Шпильки, перчатки — все здесь. Сумочка. Раскрываю. Носовой платок! Начинаю искать. Нигде нет. Могла обронить. Нет, все-таки забыла. У него, в его комнате. Ну и пусть. Пусть эта частица меня остается у него. И аромат розового масла будет становиться все слабее и выдохнется совсем. И этот лоскуток тонкой ткани, принадлежавшей мне, будет напоминать ему обо мне. Потом он забудет меня.

Слезы навертываются на глаза. Мне жаль себя, одинокую, нелепую, ненужную.

А если он найдет меня? Все равно мы никогда не сможем быть вместе.

49

Утром проснулась довольно рано. Но выходить из комнаты не собираюсь. Не хочу завтракать вместе с Джемилем. Чувствую себя виноватой. Нет, не перед ним. А такое чувство будто я нарушила... нет, не какие-то правила... Будто я совершила что-то очень страшное, после чего я могу стать дурной женщиной. Но нет, это случайность. Это больше никогда не повторится. Буду правдива сама с собой. Я изменила мужу. Это скверно. Я не должна была. И не имеет значения, люблю ли я своего мужа, какой он. Я не должна была изменять мужу.

Но хватит мучить себя. Может быть, это даже хорошо, что случилось такое. Теперь я знаю, как это бывает, чем это грозит моей душе. Теперь я знаю, что этого надо избегать во что бы то ни стало. Это больше никогда не повторится. Никогда.

Надо заняться чем-нибудь простым, обыденным. Раскрыла дверцы гардероба, перекладываю платья. Надо бы что-нибудь подарить Элени. По-моему, она заслужила. Подобрала одно платьице, вполне приличное.

Элени постучала, когда Джемиль ушел. Принесла мне завтрак. Поставила поднос. Уже собралась выйти, но я остановила ее. Сказала, что хочу подарить ей платье. При этом, конечно, покраснела до ушей. Ведь, в сущности, то, что я делаю, унижительно для Элени. Я дарю ей свое ношеное платье. Можно сто раз возразить, что она мне только благодарна. Я уверена, в глубине души она ненавидит меня, ненавидит, быть может, сама того не сознавая. Ведь она ничем не хуже меня, но у меня есть платья, муж, дом, состоятельные родители, а она вынуждена своим трудом зарабатывать себе на жизнь.

Но, разумеется, Элени поблагодарила меня.

Интересно, когда я успела вынуть из сумочки носовой платок. Там, в комнате М. Беру в руки сумочку, щелкаю замочком. Мне приятно держать ее в руках. Она — словно маленький свидетель, хранитель моей тайны.

50

Элени прибежала сказать, что Сабире ждет меня в гостиной.

— Проводи госпожу Сабире ко мне и принеси кофе.

Я в пеньюаре, волосы распущены. Так и останусь. В конце концов мы подруги.

Сабире в черном чаршафе.

— Ты недавно встала, Наджие?

— Да нет, я рано встала. Просто не хочется одеваться.

— Что делаешь?

— Разбираю старые платья. Скучное занятие. Я рада, что ты приехала.

— Мы ведь договорились.

Да, мы и вправду договорились. Позавчера, после вечера за городом. Позавчера. А мне кажется, что прошло так много времени.

— Я помню. Я так рада тебе.

Не знаю, рада ли я. Я боюсь выдать себя. Сабире такая опытная и догадливая.

— Наджие, у тебя удивительные волосы.

— Сабире, давай договоримся, никаких похвал моей внешности,— я смеюсь, чтобы мои слова не звучали, словно какой-то приказ.

— Скромная красавица — чудо природы! — теперь смеется Сабире.

— Да, я снова хочу поблагодарить тебя за чудесный вечер. Было необыкновенно.

— Это не последний раз.

— Боюсь, что последний.

— Твой тиран пронюхал? Не может быть.

— Нет, нет, Джемиль ни о чем не подозревает. Просто я боюсь, что это не для меня. Слишком возбуждает. И Джемиль и вправду может узнать. Он плохого мнения о тебе. Но я ему сказала, что дружу с кем хочу.

— А он?

— Замолчал и погрузился в свои мысли. По-моему, это что-то финансовое. Ты хоть чуточку разбираешься?

— Что тут разбираться! Война. Курс нашей лиры падает. Не знаешь, как лучше. Вложить деньги в недвижимость тоже рискованно. Но ты-то можешь не волноваться. Твой отец — человек деловой. Да и муж — тоже. И, кажется, ты все-таки дорожишь им,— она лукаво глянула на меня.

— Дело не в том, Сабире. Но я ведь такая слабая, несамостоятельная. Я боюсь. Я не умею и не знаю, как следует себя вести с людьми. Лучше уж мне тихо прозябать в своей комнате. Твоего общества мне вполне достаточно. Если, конечно, ты не скучаешь с такой дикаркой, как я.

Сабире засмеялась. Мне стало легко. Она завела разговор о «Разочарованных» Пьера Лоти. Ей, как и многим, нравился этот роман, нравилось читать о девушках, не находящих себе место в жизни. Я сказала, что в сравнении с Бальзаком, Толстым и Достоевским, Пьер Лоти кажется мне неглубоким.

— Ты считаешь его романы недостаточно жизненными?

— Нет, я вовсе не ищу в романах похожести на живую жизнь. Да это было бы странно. Ведь я не знаю жизни, описанной в романах. Нет, нет. Пусть даже все будет выдумкой. Мне важна глубина, философия.

Я смутилась и, как всегда, покраснела. Сабире пристально смотрела на меня своими умными глазами.

— У тебя неженский ум, Наджие. Кто знает, кем бы ты могла стать, если бы родилась мужчиной.

— Я думала об этом. Я часто думаю о том, почему женщины не могут учиться и трудиться, как мужчины. Как было бы прекрасно окончить университет, стать писателем...

— ...или врачом,— подхватила Сабире.

Я невольно вздрогнула и быстро продолжила:

— Ты можешь возразить, что те женщины, которым приходится работать, завидуют нам. Но ведь это только потому, что у них нет равных прав с мужчинами, их унижают, принуждают торговать собой.

— Ты говоришь, как на митинге на площади в восьмом году, когда провозгласили конституцию.

— Ты помнишь? — удивилась я. — Мы ведь тогда были девчонками. Я ни на одном таком митинге не была.

— А я ходила с матерью и старшей сестрой. Помню кое-что. И думаю, все эти прекраснотушные лозунги просто невозможно провести в жизнь. Для этого надо, чтобы большинство людей сознательно решили стать хорошими, добрыми, а это невозможно. Но что это мы с тобой расфилософствовались и упускаем солнечные дни. А впереди — зима. Прогуляемся в Тепебаши, хочешь?

Я обрадовалась этому предложению. Осень и вправду выдалась пфогаяя.

51

Пока я одевалась и причесывалась, Сабире успела сделать мне еще несколько комплиментов. Я делала вид, что сержусь, а она смеялась. Я надела темно-зеленый чаршаф — будем с ней, как две бабочки — черная и темно-зеленая.

Парк Тепебаши я люблю. Люблю его тенистую зелень. Приятно сидеть на скамейке и наблюдать, как играют дети под надзором гувернанток.

Мы сидели молча. Я думала, что в жизни столько приятных минут. Например, вот сейчас, когда я сижу на скамейке, дышу чистым воздухом, наслаждаюсь покоем. Или когда читаешь интересную книгу. Но люди все стремятся к резким, острым, порою мучительным ощущениям. Люди нетерпеливы и не ценят спокойной радости.

Внезапно я заметила человека, не очень гармонизировавшего с обычными посетителями парка. Он бродил немного поодаль и показался мне странно знакомым. И вдруг я его узнала — черноусый Сабри, слуга М.

Захотелось сразу встать и уйти. Но что могла бы подумать Сабире! Я отвернула голову, но искоса наблюдала за ним. А если и М. здесь? Надо взять себя в руки и сделать вид, будто мне все это безразлично. Вот так!

Сабри, кажется, направился к нашей скамейке. Я повернулась к Сабире и что-то сказала ей. О погоде или о цветах, не помню. Сабри приближался. Тихая паника охватила все мое

существо. Ну почему я так испугалась? Что он может сделать? Что он знает?

Слава Аллаху, он прошел мимо.

Но я видела, заметила; он что-то положил, опустил на скамью, рядом со мной. Как успел? Сабире так сидит, что не может видеть. Я нашариваю бумажный плотный прямоугольничек. Зажав его в кулаке, быстро раскрываю сумочку, опускаю знакомую карточку, вынимаю носовой платок, прикладываю к щеке. Сабире оборачивается.

— Что ты, Наджие? Зуб?

— Нет, нет. Листок с дерева. Кажется, запачкала щеку.

Сабире смотрит.

— Нет, ничего.

Глядя на играющих малышей, Сабире что-то сказала о своей маленькой дочке. Я отвечала машинально, не вдумываясь в свои и ее слова.

Разговор снова зашел о вечере в загородном доме.

— Тебе понравился кто-нибудь? — вдруг спросила Сабире.

— Да, угадай кто? — я улыбнулась.

— Фасих-бей, твой давний вздохатель, — заметила Сабире лукаво и нерешительно.

— Вот еще!

— Ну... Может быть, Мишель, помнишь, который пел. Лишь бы я не покраснела!

— Нет, нет, — качаю головой.

— Тот плечистый офицер? — Сабире понимает, что это игра.

— А вот и не угадала.

— Скажи сама.

— Твой муж, вот кто!

Сабире, конечно, понимает, что я шучу. Но ей такая шутка явно не по душе. Она явно побаивается меня. Она не знает, чего от меня ждать. Но ведь она поделилась со мной, призналась, что изменяла Ибрагим-бею. Ну а кто мне поверит, если я вздумую это сказать о ней? Она ничем не рисковала, когда мне это говорила. И еще, я думаю, что если она сказала об этом мне, значит, и другим говорила. Она ничем не рискует, о ней все равно сплетничают. Но я сержусь на себя, ведь Сабире хорошо относится ко мне, она моя единственная подруга, а я так холодно думаю о ней. Это нехорошо с моей стороны.

— Прости, Сабире, это была глупая шутка.

— Да неужели ты думаешь, я поверила? Когда женщина увлекается, она так легко этого не показывает.

А ведь Сабире снова права.

- Но, кажется, ты, Сабире, ревнивая супруга.
- Ибрагим-бей не бросит меня.
- Ты красивая.
- В браке красота не играет такой уж большой роли. У нас ребенок.

Я вижу, что этот разговор неприятен Сабире. С дерева слетает листок, и я начинаю говорить об осени.

По-моему, Сабире не так уж уверена в своем Ибрагиме. Она не так уж богата. Семья живет на деньги, оставленные в наследство его отцом. И что такое ребенок? Люди и с детьми разводятся и заводят вторых жен. Но у меня такое ощущение, что все же что-то связывает этих супругов. Нет, не страстная любовь, не ребенок, не деньги. Что же? Не могу догадаться. Да особенно и не пытаюсь угадать.

Мы договорились — завтра я в гостях у Сабире. Все-таки эта дружба как-то разнообразит мою жизнь. Только не стану больше делать ничего дурного. И никаких вечеров, и никаких загородных домов!

52

Снова дома, у себя в комнате, дверь закрыта. Вот когда я чувствую себя почти спокойно. Почти, потому что у меня всегда неприятное чувство от того, что здесь же, в одном доме со мной, спит Джемиль. Я уже привыкла к этому чувству. Очень люблю, когда Джемиль уезжает и не ночует дома. Сегодня как раз такой день. Пообедала одна в столовой. Сумочку еще не раскрывала. Раскрою сейчас.

Визитная карточка. Такая же, как те две, что я видела прежде. И приписано: «Три часа, четверг». Почти через неделю. Но я не должна была это думать. Не все ли мне равно, когда наступит следующий четверг.

Но откуда этот Сабри мог знать, что я буду в парке Тепе-баши? Значит, околачивался у моего дома, следил. Один или даже вдвоем со своим господином? Следил за мной по его указанию. Слуга все знает? Не буду думать об этом. Все равно ему никто не поверит. И в четверг я никуда не пойду.

53

Сижу в гостиной Сабире. Разговариваем. Нет, не болтаем, но ведем степенную беседу.

Мне стыдно за себя. Вчера я с такой холодностью и подозрительностью думала о Сабире. Сегодня она первая вспомнила мою вчерашнюю неудачную шутку.

— Ты, пожалуй, права, Наджие. Я боюсь за Ибрагима. Мужчинам нельзя доверять. Нельзя перед ними раскрывать себя, свою душу. Но мы вступаем в семейную жизнь слишком юными для того, чтобы понимать это; нам кажется, что, вот, наконец-то, сбылись радужные мечты, родственные души обрели друг друга...

— Ах, Сабире,— перебиваю я,— это у тебя так было. Ибрагим-бей молодой, образованный, ведь он закончил Галатасарайский лицей, а это не всякому доступно. А я никогда не питала никаких иллюзий относительно Джемиля. Наверное, я просто не создана для замужества, для любви. Побоялась остаться старой девой, вот и вышла замуж.

— Ты — старая дева! Невероятно. Неужели ты не понимаешь, не видишь, какая ты красавица? Это редкостная красота. И притом ты умна, образованна.

— И притом повсюду чувствую себя не ко двору,— горестно добавляю я.— Чувствую себя странной, нелепой, ненужной. Нет, я не из тех, кому суждено счастье взаимной любви. Конечно, мы с Джемилем не можем понять друг друга, мы слишком разные. Нас по-разному воспитали. Но в чем-то мы похожи. Он тоже одинок, у него мрачный взгляд на жизнь, его никто не любит...

— Ты говоришь о муже так, будто любишь его,— заметила Сабире.

— Не люблю. Но не хочу предаваться ненависти, неприязни. Пытаюсь понять его.

— А тебе не кажется,— осторожно начинает Сабире,— что твои попытки понимания несколько умозрительны? Ты живешь иллюзией, будто Джемиль всегда таков, каким ты его видишь в вашем доме. Тебе и в голову не приходит, что у него может быть и другая жизнь.

— Отчего же. Наверное, в конторе, в банке, на бирже он другой. Но все это жизненные сферы, совершенно мне чуждые.

— Я, например, знаю, что у Ибрагима есть свои тайны. Я оставила его в убеждении, будто мне эти тайны неизвестны, но я их вызнала.

— Тайны Джемиля,— я улыбнулась.— Впрочем, у него есть бедные родные, с которыми он не знакомит меня. Но я и не настаиваю. Зачем это мне? Все равно мы с Джемилем далеки друг от друга. К чему же мне узнавать его родных? Он прав, когда не знакомит меня с ними.

Сабире помолчала. Я встревожилась. Вдруг она о чем-то догадывается? Но нет, я просто предельно нервна и мнитель-

на. О чем она может догадываться? Разговор идет о мужьях. Не знаю, какие там страшные тайны может хранить Джемиль, а мою тайну я никому не выдам.

— Я не знаю, должна ли я это тебе рассказывать, Наджие,— Сабире хмурится.— Наверное, не должна. Но я уже много узнала тебя. Ты чистая, искренняя, добрая...

— Не надо, не надо! — я резко протестую.

— Не возражай. Это правда. И поэтому я все же решилась рассказать тебе. Я уверена, что это не принесет вреда ни тебе, ни Джемилю, ни твоим родителям.

Я начинаю волноваться.

— Что случилось с Джемилем? Какая-нибудь финансовая афера? Долги? Но право, Сабире, не знаю, откуда тебе может быть известно такое, но я вовсе не хочу в это влезать. У Джемиля дела с отцом. Пусть они сами...

— Нет, Наджие, это совсем не то, что ты думаешь,— роняет Сабире и замолкает.

Мне делается любопытно. Сейчас я, как ребенок, начну просить ее, упрямившись, чтобы она мне все рассказала. Кажется, она этого и добивалась — чтобы я сама попросила ее все рассказать. Я уже давно заметила, что я не умею, что называется, владеть разговором; я слишком занята собой, своими мыслями и переживаниями; поэтому я не умею вести беседу в нужном мне направлении, добиваться от собеседника определенной реакции. Надо этому научиться. Но сейчас... Что дурного в том, что я попрошу Сабире рассказать мне все? Ну, на этот раз удовлетворю свое любопытство, а уж после в разговорах с Сабире буду внимательно следить за собой.

— Расскажи, Сабире. Что это за страшные тайны у Джемиля? В конце концов мы — муж и жена, и его поведение имеет какое-то отношение ко мне.

— Прости, Наджие, что я вынуждена напоминать тебе об этом, но ты ведь говорила, что вы с Джемилем не бываете вместе...

Это напоминание мне действительно неприятно, ведь это, словно свидетельство о какой-то моей ущербности.

— Да, я это говорила, но причем здесь это?

— Может быть, не стоит нам углубляться, я вовсе не хочу причинять тебе боль.

— Нет, пожалуйста, говори все до конца. Да, мы не бываем вместе, фактически это так. И что же?

— Еще раз прости меня. Как я поняла из твоих рассказов о ваших отношениях, Джемиль сильный, даже очень сильный мужчина. Тебе не приходит в голову, что это странно — как он обходится без женщины?

— Ты хочешь сказать, что у него есть любовница? Значит, его отлучки, поездки могут быть связаны с этим? Да нет, не-

возможно! Джемиль — человек прижимистый, если не сказать скупой. Не могу себе представить, чтобы он содержал женщину. И он уж вовсе не способен на беспорядочные связи; он не из тех, кто шатается по ресторанам. Да ведь и это обходилось бы недешево. Нет, нет.

— Но, Наджие, с чего ты взяла, что любовница — это непременно рестораны, дорогие тряпки и швыряние денег на ветер!

— Ты хочешь сказать, что женщины обходятся ему дешево? Неужели Джемиль может опуститься до таких женщин? Нет, не верю. И об этом бы знали. А он ведь очень боится моего отца. А ведь шило в мешке не утаишь, от сплетен не убережешься. И потом... Нет, Джемиль не станет тратить даже на дешевых женщин. Он дрожит над каждой лирой. Из-за какой-нибудь кружевной кофточки он готов устроить мне скандал.

— А ты не задумывалась — почему?

— Ну уж, конечно, не потому, что он тратится на любовниц!

— А может быть, он чувствует себя виноватым, ведь он обманывает тебя и твоих родителей. А когда он ворчит и придирается и находит у тебя все новые и новые недостатки, он как бы делает виноватой тебя; и тогда его чувство вины уменьшается.

— Ну, самый главный мой недостаток — это то, что я не сплю с ним.

Я выпалила эту дурацкую фразу и, конечно, покраснела.

— Ты такая непосредственная, Наджие. Жаль, что ты досталась в жены такому грубому простолюдину. Человек утонченный сумел бы оценить тебя. Но дело серьезнее, чем ты думаешь. Я обо всем этом узнала совершенно случайно. Знаешь ты больницу Зейнеп Кямиль?

— Да это далеко. Нет, я там не бывала.

— И меня вряд ли бы занесло в те места. Но Назмие, знаешь, жена капитана, дала мне адрес прачки, своей мне пришлось отказать, она совершенно не умела крахмалить. Значит, я отправилась по указанному адресу. И естественно, заблудилась в лабиринте этих глухих улочек и домишек с разбитыми стеклами. Наконец, кажется, нашла нужный дом. Стучу. Отворяет женщина. Оказывается, дом прачки рядом. Я перепутала. И тут замечаю в глубине двора — кого бы ты думала? — твоего Джемиля-эфенди!

— Ну и что? Разве ты не могла ошибиться? Разве он не мог прийти туда по какому-нибудь делу?

— Все это так. Именно поэтому я решила проверить и разговорила прачку. Она была довольна тем, что я ее нанимаю и даю недурную плату, ну и разболталась, выложила все, что знала. Я, будто между прочим, спросила, кто живет по

соседству. Сказала, что вот, ошиблась, и соседка указала мне дом. Прачка мне и сказала, что по соседству живет одна везучая молодуха по имени Матлюбе. Прежде она была одной из трех девиц в доме старой Мунисо, такой скромный дом, без драк, без скандалов, и люди туда ходят тихие, спокойные. И вот один из этих спокойных людей женился на Матлюбе. Все честь по чести, брачный договор скрепил кади — духовный судья. «Спокойный человек» купил домишко на имя Матлюбе. Дочке их, Кадрие ее зовут, уже три года. Матлюбе только переживает, что ее супруг, Дурмуш-эфенди, вынужден часто отлучаться, дела у него в провинции. Тут я описала прачке человека, которого видела во дворе. И старуха закивала, мол, это и есть муж удачливой Матлюбе. Твой Джемиль. Ну, каково?

— Не могу поверить! Здесь какое-то недоразумение. Значит, когда Джемиль женился на мне, он был женат, имел ребенка и скрыл это! И он, должно быть, любит эту женщину.

— Уж не ревнуешь ли ты?

— Нет, я не ревную, но, если все это правда, я разведусь. Отец и мать не возразят.

— Подожди, Наджие, не горячись. Ведь у твоего отца дела с Джемилем, так?

— Он разорвет отношения со своим бывшим зятем. Я не хочу, чтобы он мстил Джемилю, ссорился с ним. Но с какой стати мой отец должен помогать Джемилю?

— Твои родители поступили опрометчиво, когда выдали тебя замуж за этого человека. Но, впрочем, он так ловко все скрывал. Если бы не моя случайная поездка...

— Родители не виноваты. Они не стали бы выдавать меня насильно. Я сама согласилась. Как глупо! Ни в коем случае не надо было выходить замуж не любя.

— Видишь ли, от Ибрагима я знаю, что не только Джемиль зависит от твоего отца, но и твой отец попал в определенную зависимость от зятя.

— Боже, он устраивает мне сцены, когда я иду к матери и задерживаюсь у нее, а сам женат на девице из публичного дома! И этот человек прикасался ко мне, овладевал моим телом!

Я ненавидела Джемиля, мне хотелось расстаться с ним немедленно. Но все же я сказала хриплым от волнения и гнева голосом:

— Можно ли мне лично убедиться во всем этом?

— Можно, — ответила Сабире. — Послезавтра там по соседству свадьба. Двор будет открыт. Закроем лица, повертимся среди женщин и все выясним. Сама убедишься. А может, и господин Дурмуша-Джемиля увидишь собственными глазами.

Джемиля дома нет. Значит, он со своей женой, с матерью своего ребенка готовится к соседской свадьбе. Там у него какие-то свои связи, свои отношения. Но как хорошо, что его нет. Как бы я могла увидеть его, говорить с ним?

Я думаю об этой Матлюбе. Простая необразованная женщина. Но ее любят, любит муж, она доставляет ему удовольствие, у них ребенок. Но ведь это мой муж! Что-то непонятное творится со мной. Я не люблю Джемиля, одна только мысль о ребенке от него приводила меня в ужас. И вот сейчас я испытываю что-то вроде ревности. Я ревную Джемиля? Нет. В сущности, речь идет об абстракциях: я — жена — должна ревновать мужа, изменяющего мне, я должна чувствовать себя оскорбленной. Так положено. И я подчиняюсь этим установкам, хотя на самом деле мы с Джемилем чужие люди, нам просто необходимо расстаться. Да, а деньги, финансовые дела моего отца... Если он и вправду теперь в чем-то зависит от Джемиля... Зачем я согласилась выйти замуж, зачем! Уж лучше бы осталась старой девой!

Но откуда у меня это чувство ущербности? Я чувствую себя так, будто даже эта Матлюбе, девица из публичного дома, лучше меня! Права была Сабире, когда однажды сказала, что я умна и красива, а веду себя порою, как побитая собака! Наверное, это потому что никто не любит меня.

Никто? Но ведь это неправда. М.! Человек, который любит меня, а я мучаю его и себя, воздвигаю какие-то искусственные преграды между нами. Я мучаюсь, а Джемиль, не колеблясь, обманул меня и моих родителей.

Послезавтра. Я все буду знать. И тогда... Что тогда? Не хочу думать.

Надо приготовить чаршаф, плотный, попроще. Черный? Нет, он шелковый и не годится черный на свадьбу. Зеленый? Тоже выглядит слишком нарядным. Что делать? Элени не носит чаршаф. Элени. Конечно, у нее есть знакомые служанки. Завтра попрошу ее.

Сегодня утром заговорила с Элени о чаршафе. Чувствовала, что можно быть до некоторой степени откровенной.

— Знаешь, мне нужен попроще, но не грубый. Ну, такой, какие надевают по праздникам женщины из простонародья. Могла бы ты мне помочь?

Наверное, я все-таки говорила немного робко. Умница Элени ни о чем не стала расспрашивать и обещала сегодня же достать мне чаршаф.

— Нет ничего легче. Попрошу у Гюльтер.

— Кто это?

— Жена Мехмеда, нашего повара, я с ней знакома.

К вечеру Элени принесла чаршаф. Как раз такой, какой нужно.

Джемиль и сегодня не вернулся.

56

Долгожданное «послезавтра».

Надела чаршаф, закрыла лицо.

Сабире захала за мной. Она тоже в простом, не нарядном чаршафе, лицо закрыто.

Мы велели кучеру ждать, а сами пошли по тихой пустынной дороге, ведущей к больнице Зейнеп Кямиль. Я волновалась.

— Ты помнишь, где этот дом? — спросила я, тронув руку подруги.

— Успокойся, — Сабире старалась ободрить меня. — У тебя пальцы совсем холодные, как лед. Конечно же, я помню.

Меня занимала эта Матлюбе, жена Джемиля. Из французских романов я знала, что такое публичный дом во Франции — аляповатая гостиная, полуголые девицы, бречание на расстроенном рояле. Турецкий публичный дом? У меня это просто не укладывалось в голове. Мужчины-единоплеменники вызывали во мне скорее дочерние чувства; сама того не сознавая, я с трудом представляла себе их в роли пылких любовников; я могла побаиваться их, как побаивалась отца, но влюбиться всерьез не смогла бы.

Всеми этими соображениями я поделилась с моей Сабире. Она мне объяснила, что в заведении старухи Мунисо было всего человек пять девушек. Она очень старалась, чтобы в доме не было лишнего шума. У нее была постоянная клиентура. Посетители считались родственниками девушек. Откровенно говоря, такое ханжество показалось мне забавным. Стало быть, все на улице знали, что Мунисо — хозяйка публичного дома, но делали вид, будто девушки — что-то вроде приемных дочерей Мунисо, а приходящие к ним мужчины — их родственники. Кто-то ввел в этот дом Джемиля, и он стал постоянным его посетителем. Но у него хватило ума не называться своим настоящим именем.

Мы вышли на нужную нам улицу и еще издали услышали, как бьют барабаны, и пронзительно вскрикивают зурны. Мы увидели распахнутые настежь ворота. Конечно, двор, где справляли свадьбу, был ярко освещен, свет факелов отблесками вырывался на улицу.

— Погоди, Сабире,— шепнула я,— покажи мне сначала ее дом.

Мы прошли чуть дальше и увидели небольшой кирпичный дом. У меня забилося сердце. Дом, где протекала настоящая жизнь человека, волею судьбы связанного со мной. Нет, зачем лгать; не воля судьбы, а моя глупость и поспешность связали меня с Джемилом. Жизнь его со мной фантастическа и нелепа. Здесь он живет своей истинной жизнью. Как бы мне хотелось увидеть двор и внутреннее убранство дома.

И вдруг калитка широко распахнулась. Мы подались назад. Но никто не обращал на нас внимания. По улице сновали люди — и мужчины и женщины. Я успела разглядеть двор, заросший жимолостью, увитую плющом беседку, облицованный мрамором колодец с темно-зеленым колесом.

Из калитки вышла совсем молодая женщина с приятным округлым лицом, в светлом чаршафе. Она обернулась, глядя на кого-то во дворе.

— Дурмуш-ага! Дурмуш-ага! — окликнула она озабоченно и почитительно.

И вот следом за своей женой, настоящей женой, на улицу вышел Джемиль с ребенком на руках. Маленькая девочка, его дочь Кадрие.

Конечно, я узнала Джемиля. Но таким я никогда не видела его. Я привыкла к тому, что любая одежда выглядит на нем как-то мешковато, а сам он всегда казался и мне и маме неуклюжим, напряженным, угрюмым. Теперь передо мной прошел словно бы другой человек — складный, уверенный в себе, не лишенный мужской привлекательности, даже стройный. Шаровары, безрукавка-элек, черная, вышитая нарядным узором; черная феска очень шли ему. Он ласково улыбался малышке. Как-то мило он улыбался своему ребенку, смешливо и смущенно. От улыбки глаза его сжимались и казались совсем раскосыми.

Супруги с дочеркой прошли в соседний двор — на свадьбу.

На миг я позабавовала этой Матлюбе, которой доступна какая-то простая, естественная и непритязательная жизнь, какая-то простонародная, народная жизнь. Хотя, конечно, я снова все идеализирую, а жизнь Матлюбе и ей подобных далеко не идеальна — сплетни, узкий круг, суеверия, страх перед новизной и переменами, презрение ко всем, кто живет иначе, мелочные дрязги — так живут наши простые горожанки. Ду-

маю, так живут бедняки и даже люди среднего достатка во всем мире.

Я овладела собой.

— Сабире,— сказала я,— пройдем на свадьбу, осторожно порасспросим о них.

Сабире взглянула на меня испытующе, пожала мне тихонько руку.

— Ты молодец, Наджие, держись!

У ворот теснились молодые парни. Они смотрели, как танцуют женщины и девушки. Нам уступили дорогу. Мы прошли во двор. Здесь было много народа. Джемиля и его жену мы уже не увидели. Наверное, они прошли в дом. Мы тихо присоединились к болтающим кумушкам. Они хвалили свадьбу; говорили, что еще будут бороться борцы-пехливаны; что вчера хорошо прошел женский праздничный свадебный вечер — кына-геджеси — «ночь хны».

Я начала волноваться. Как найти повод для расспросов о жене Дурмуша-Джемиля? Между тем Сабире уже задала несколько обычных вопросов любопытной гостье. Ей отвечали. Я напряженно смотрела, ожидая, что Дурмуш или его жена покажутся во дворе.

Наконец мне повезло. Матлюбе с ребенком на руках вышла из дома и скромно присела на корточки в углу двора. Я подтолкнула Сабире локтем. Сабире задала еще несколько ничего не значащих вопросов. Я умирала от нетерпения. Но вот Сабире спросила, кто эта скромная молодуха в уголке.

И тут ей во всех подробностях расписали судьбу Матлюбе. Женщины были хорошего мнения и о ней и о ее муже Дурмуше. Кумушки охотно повторили все то, что поведала Сабире словоохотливая прачка.

Сабире еще что-то спросила, уже не имеющее отношения к примерным супругам Дурмушу и Матлюбе. Затем мы отошли от кучки женщин. Затем потихоньку, пользуясь общей свадебной суетой, выскользнули на улицу.

Я заметила, что женщины, хотя и знали, что Матлюбе жила в публичном доме, не осуждали ее. Вот она, народная доброта. Но она тесно связана с народной жестокостью, негибкостью. Сироту Матлюбе, которую судьба забросила в публичный дом, эти женщины не осуждали; но они никогда не поняли бы моих чувств и осудили бы меня за то, что я отказывала Джемилю, своему мужу, в интимной близости.

Снова мы шли по сплюсненным булыжникам мостовой, над оградами нависали темные ветви садовых деревьев.

— Сабире,— спокойно обратилась я к подруге,— ты могла бы сейчас завести меня к маме, а потом заехать ко мне и предупредить Элени, что я сегодня ночью у матери? Эта де-

вушка очень предана мне, я не хочу, чтобы она тревожилась.

Сабире пообещала выполнить мою просьбу. Мы опять шли молча. Но вот она осторожно заговорила.

— Я думаю, тебе не стоит сразу поднимать вопрос о разводе, огорчать мать.

— Я и не собираюсь на что-то решаться очертя голову, — ответила я, сама удивляясь своему спокойствию. — Сначала узнаю у мамы, насколько тесно дела отца сейчас связаны с делами Джемиля. На днях я заеду к тебе и все расскажу. И не беспокойся за меня. Во всем, что касается Джемиля, больше не существует мнительной, нервной, виноватой Наджие. Виновен только он один. Когда он женился на мне, он скрыл, что женат, что имеет ребенка.

Я заметила, что Сабире поглядывает на меня с любопытством. Значит, во мне действительно произошла какая-то перемена. Да, я почувствовала себя свободной от всех своих угрызений совести, от всех сомнений и колебаний, от безудержного самообвинения. Я думаю, это произошло еще и потому, что я узнала: Джемиль уже был женат, когда попросил моей руки. Если бы его связь с Матлюбе была вызвана именно разочарованием во мне, моей неприязнью к нему; я бы, наверное, еще помучила себя. Но теперь я все понимала — наверняка он любит свою жену, брак со мной всегда оставался для него не более, чем сделкой. Он презирал меня, сумасшедшую; презирал моих родителей; но в то же время он считал, что имеет полное право спать со мной. Возможно, он собирается развестись со мной, когда его финансовое положение окончательно упрочится. Возможно, он разорит моего отца; нет, не со зла, просто потому, что это будет ему выгодно. Впрочем, отец не из тех, кто позволит ездить на себе верхом. Я вспомнила, как Джемиль упрекал меня за непомерные, по его мнению, траты. Он осмеливался! Но я не хочу осуждать его. Это все равно что осуждать животное за то, что оно ведет себя так, а не иначе. Джемиль полагает, что он в своем праве, такого его психология, такое воспитание он получил. С ним надо говорить на его языке. Не надо пускаться в рассуждения, не надо ничего ему объяснять, надо просто говорить с ним на его языке.

57

Сабире привезла меня к маме, но сама входить в дом не стала. Хюсейн, старый слуга отца, впустил меня, я вошла в дом, где выросла, в дом моих родителей. Я никогда не была осо-

бенно откровенна с мамой, но почувствовала внезапное желание поделиться с ней.

«Но нет,— убеждала я себя,— не надо ее огорчать. Ведь и она и отец чувствовали, что что-то не так, когда Джемиль посватался. В сущности, они понадеялись на мою искренность, они хотели, чтобы я поступила согласно своему желанию. Но я, увы, не была тогда правдива даже наедине с собой».

Вот с какими мыслями я вошла к маме. Она встревожилась, увидев меня, вечером, поздно, в таком чаршафе. Наверное, она подумала, что я решилась на очередной взбалмошный поступок, поссорилась с мужем, убежала от него. Бедная мама! Еще никогда я не мыслила так тревожно, как сейчас.

Все-таки я решила поделиться с мамой. Что-то мне подсказывало, что она станет моей сообщницей. Мое спокойствие подействовало на нее благотворно. Конечно, она начала возмущаться поведением Джемиля. Мне захотелось повозмущаться вместе с ней, но я сдержалась. Я понимала, что если сейчас начну возмущаться, горячиться, это будет проявлением моей слабости, а я сильный человек.

— Развод! — восклицала мама. — Немедленно! Я не дам ему издеваться над тобой. Как хорошо, что ты не забеременела.

Я не стала говорить маме, что, в сущности, не живу с Джемилем. Если дело обернется так, что он сам это скажет, ему никто не поверит, ведь он так серьезно обманул нашу семью, теперь его словам не будет веры.

Мама уже хотела позвать отца, все рассказать ему, но я ее остановила.

— Подожди, мама. Развестись я всегда успею. Лучше расскажи мне, если знаешь, какие сейчас у отца дела с Джемилем? Я боюсь, как бы мой скоропалительный развод не повредил делам отца.

Вот что я узнала от мамы. Отец считает, что война продлится долго; возможно, даже затянется на несколько лет. Я невольно вздрогнула, представив себе несколько мучительных лет, в течение которых люди гибнут и гибнут. Но мама мыслила более практически, ее волновала судьба только близких ей людей, то есть судьба отца и моя судьба. Оказалось, что отец и Джемиль собираются перевернуть несколько операций по скупке и перепродаже пшеницы, сахара, фасоли, ведь все это будет дорожать. Операции эти, скажем осторожно, не вполне законны; и Джемиль, конечно, при желании может, что называется, подставить моего отца.

— Видишь, мама, значит, пока лучше не разводиться.

— Но как же ты? — мама посмотрела на меня с тревогой. — Я не хочу, чтобы ты оставалась с этим обманщиком!

— Не тревожся, мама, я сумею за себя постоять. Ведь не только отец зависит в какой-то степени от Джемиля, но и сам Джемиль находится в зависимости от отца. Я скажу Джемилю, что все знаю о его жене и дочери, но буду молчать, если он будет честен с отцом, и, конечно, никакие супружеские отношения с этого дня невозможны. Отныне я просто свободная жилища в его доме. Думаю, Джемиль примет мои условия. Ведь если будут знать, что он женат на девчонке из публичного дома, вряд ли это укрепит его репутацию. А ты пока внуши отцу, чтобы он не так уж доверялся Джемилю, только будь осторожна, чтобы отец ничего не заподозрил. Я не хочу огорчать отца, я мало радости приносила ему до сих пор.

— Ты умница, Наджие,— мама посмотрела на меня открытым доверчивым взглядом.— Но мне кажется, ты даже рада тому, что произошло. У тебя и прежде не ладилось с Джемилем?

— Да нет, было обыкновенно. Я ведь никогда не предполагала, что между нами возможна какая-то страстная любовь.

Мама вздохнула. И вдруг неожиданно спросила смущенно, тоном неопытной девочки, которая задает вопросы более опытной подружке; таким тоном, наверное, я беседую с моей Сабире:

— Наджие, у тебя есть кто-нибудь? — тут она смутилась и отвела глаза.

Я никогда не видела ее такой и почувствовала к ней такую нежность. Я наклонилась к ней и поцеловала. Поцелуй пришелся в голову с уже поредевшими волосами.

— Нет, мама, у меня никого нет. Я еще молода, моя жизнь еще наладится. Пока подумаем о том, чтобы не пострадал отец, ведь благосостояние нашей семьи зависит от него.

Мама снова вздохнула и согласилась со мной. Еще она сказала мне, что отец и без того не во всем доверяет Джемилю.

О моем М. я ничего не стану говорить — ни маме, ни Сабире. Здесь я все буду решать сама, одна, без чьих бы то ни было советов. Это касается только меня. Ну... и его, конечно. Уже сидя в экипаже, я тихонько засмеялась, все равно никто не слышит и не видит.

Джемиль еще не вернулся. Наслаждается семейной жизнью. Надо собраться с силами. Я должна выиграть этот поединок. В самом крайнем случае — развод. Хотя, конечно, я буду себя

чувствовать свободнее в доме своего номинального мужа. Если я вернусь к родителям, мама снова начнет опекать меня, я снова сделаюсь вялой, бездеятельной, нерешительной. А сейчас я словно проснулась, бодрая, решительная. Вот, узнала о том, что отец хочет нарушить закон, наверняка его действия приведут к взвинчиванию цен; но я не собираюсь мучить себя бесплодными угрызениями совести. Хотя, может быть, это и дурно, надо сохранить в себе хоть что-то от прежней Наджие.

Как медленно тянется время! Но почему я так спешу? Боюсь, что мой пыл угаснет, не разгоревшись?

Спасибо Сабире. В сущности, я многим ей обязана. Да, многим.

59

Джемиль вернулся. Приехал к ужину.

— Нам нужно поговорить, отец просил, чтобы я кое-что передала вам.

Почему я выдумала это, об отце, который, конечно же, ни о чем не просил меня? Просто меня осенило — внезапное озарение — если я сошлюсь на отца, Джемиль уже не станет отказываться от разговора.

— Здесь? — спросил он, поведя головой.

Он словно бы сомневался, стоит ли говорить в столовой.

— Да, — ответила я спокойно, — ведь Мехмед уже ушел, а Элени сейчас уберет со стола и пойдет в свою комнату.

(У Элени маленькая комнатка рядом с кухней. Там она и глажением занимается.)

Я заметила, что угрюмый взгляд Джемиля выразил некоторое любопытство. Его, кажется, удивил мой спокойный тон.

Джемиль снова прежний Джемиль — мрачный, в мешковатом скюртуке.

Элени убрала со стола.

— Вы свободны, Элени, — сказала я.

Мы с Джемилем остались одни. Столовая не так уж обширна, но мне она вдруг показалась большим и уютным помещением.

— Что отец просил передать? — Теперь у Джемиля такой вид, что сразу становится ясно, он вовсе не расположен вести со мной обстоятельные беседы.

Теперь все зависит от меня. Я должна быть сильной.

— Я узнала о том, что вы женаты, — стараюсь говорить быстро, но не настолько, чтобы он заподозрил растерян-

ность.— Я знаю, на ком. У вас ребенок. Вы уже были женаты, когда попросили моей руки. Вы скрыли. Я думаю, вам бы не хотелось, чтобы обо всем этом стало известно моему отцу.

Больше всего я боялась, что Джемиль начнет упрекать меня, перечислять мои недостатки, ругать за расточительство, а то еще и вспомнит, что я не живу с ним. Разговор утратит целенаправленность, сделается сумбурным и мелочно-нелепым.

Но, очевидно, мои спокойствие и уверенность подействовали и на Джемиля. Он молчал. Его смуглые ладони тяжело лежали на столешнице, покрытой светлой скатертью,— сильные руки человека, которому приходилось много работать. Я тоже спокойно молчала.

Я обратилась к нему на «вы», подчеркивая, что наши отношения теперь станут другими. Я сомневалась, поймет ли он. Он понял.

— Чего ты от меня хочешь? — сдержанно и глухо прозвучал его голос в неуютном пространстве комнаты.

Я и не ожидала, что он будет говорить со мной вежливо и мягко. Я решила поставить свои условия все тем же спокойным тоном, без малейшей издевки, не горячась.

— Я предлагаю вам следующие условия: всякие отношения между нами прекращаются раз и навсегда. К моему приданому и к деньгам, которые отец положил на мое имя, вы также не имеете отныне никакого отношения. Мы живем в этом доме, но мы друг другу — чужие. Ежемесячно вы выплачиваете мне...— я назвала небольшую сумму; не хочу, чтобы он считал меня слишком уж поумневшей; иначе может заподозрить, что я с кем-то советуюсь.— Если вас устраивают мои условия, я ничего не скажу родителям. Я не собираюсь мстить вам, не хочу вам зла. Мы просто чужие друг другу. Я полагаю, спустя какое-то время, мы должны спокойно, без скандала развестись. Я думаю, в течение года мы сможем уладить вопрос о разводе.

Я замолчала.

Джемиль выслушал меня, не перебивая. Это добрый знак. Что теперь?

— Я согласен,— вдруг произнес он грубо, но спокойно. При этом он поднял глаза и посмотрел прямо мне в лицо. Какой это был взгляд! Пронизывающий, тяжелый, умный и беспощадный взгляд человека, способного на многое, даже, быть может, и на убийство. Взгляд человека, знающего, что такое страсть, телесная страсть, во всяком случае. Я подумала, что он наверняка влюблен в эту девчонку из публичного дома и, наверное, она хороша в постели. Я заметила, что, когда я наедине с собой (а сидя с Джемилем за одним столом, я все

равно оставалась наедине с собой, мои чувства были для него закрыты), меня порою посещают какие-то странные мысли, кажушиеся мне самой циничными и холодными, рассудочными. Хотя рассудочность не свойственна мне.

Я выдержала взгляд Джемиля. Мы договорились, что положенные мне деньги он будет ежемесячно переводить в банк на мое имя. Он сказал, что закончит дела с моим отцом и тогда мы разведемся.

Каких усилий мне стоило спокойно уйти из комнаты, быть равнодушной и холодной. Ведь в душе я торжествовала. Победа! Победа!

У себя, запершись на засов, я быстро разделась, накинула пеньюар, распустила волосы. Я улыбалась, мне было весело. Я чувствовала такое возбуждение, как будто мне предстояли какие-то веселые приключения, развлечения. Даже овладевшая мной усталость была радостной.

Я поспешила лечь в постель. На этот раз я не погрузилась в чтение. Я не могла себе позволить уйти с головой в мир вымысла, мне нужно было обдумать мою реальную жизнь.

Постепенно я почувствовала, что беззаботная торжествующая улыбка сбежала с лица, уступив место выражению задумчивости и даже тревоги.

Конечно, я могу быть убеждена, что я так хорошо все продумала и вот именно поэтому Джемиль принял мои условия. Но так ли это на самом деле? Не слишком ли быстро и легко он согласился? Что за этим стоит? Пока ничего не могу предположить. Но на всякий случай буду настороже.

60

Утро. Первое утро моей свободы.

Едва открыв глаза, потянулась (почти инстинктивно) к маленькому календарю. Хотя, в сущности, не все ли мне равно, какой сегодня день.

Поехала к маме. Пересказала ей разговор с Джемилем. Мы с ней решили, что пока все идет как надо. Рассказала ей о своей дружбе с Сабире (утаив, конечно, поездку на виллу). Я сказала, что эта дружба разнообразит мою жизнь, придает ей смысл. Мама знает, что о Сабире много сплетничают.

— Но о ком не сплетничают? Сабире — молодая, красивая; муж у нее красивый, образованный; наследство получили; вот люди и завидуют, — мама смотрит на меня по-доброму. — Но ведь все принимают Сабире и ее мужа, все приглашают, — продолжает она и неожиданно заканчивает. — Лишь бы тебе было хорошо.

Мне кажется, мама чувствует себя виноватой, потому что в свое время не удержала меня от замужества.

— Мама,— я ласково обнимаю ее,— ты только не думай, будто виновата передо мной. Я ведь сама хотела выйти замуж, боялась остаться старой девой.

— Ах, доченька, мы должны были подыскать тебе хорошего человека, а не отдавать тебя первому встречному, безродному.

— Ну, мама! Все будет хорошо.— Я встаю и кружусь по комнате.

— Красавица моя! — мама смеется.

От мамы я поехала к Сабире, похвасталась вчерашней победой. Долго говорили. Сабире спросила, не собираюсь ли я снова выйти замуж.

— Пока нет.— Я краснею, как обычно.— Ведь и до развода еще далеко. А потом — идет война. Кто знает, что нас еще ждет.

Сабире кивнула. Я спросила, не собирается ли она устроиться снова вечер на вилле.

— А тебе хотелось бы, проказница? — она улыбнулась.

— Может быть,— отвечала я уклончиво.

— Если что-нибудь такое наметится, непременно скажу тебе.

61

Дома снова — первый взгляд — в календарь. Почему? Я знаю, почему. Но не скажу. Никому. Даже себе самой. Даже шепотом. Даже про себя.

62

Джемиль ведет себя хорошо. То есть мы с ним чужие. Перевел деньги, ту сумму, о которой мы договорились.

63

Просматривала газеты. Все же надо знать, что происходит. Значит, мы воюем с Россией. Определился Кавказский театр военных действий. Кажется, так это называется.

Завтра четверг...

Сегодня! Четверг уже сегодня. Визитная карточка, которую передал мне в парке Тепебаши слуга М.: «Три часа, четверг».

Я знаю, что я пойду. Вспомнила, как я собиралась в прошлый раз. Сколько было мучений. Теперь все иначе.

Я свободна. Я никому не изменяю. Мужа у меня больше нет. Я хочу пойти.

Странно, но теперь, после того как определились мои отношения с Джемилом, меня как-то перестало волновать и мучить то, что М. — армянин. Словно бы я уже не принадлежу к тому миру, где подобные обстоятельства имеют значение; к миру замкнутости, прочных семейных связей, устойчивого быта.

Но разве эта узость существовала всегда? Разве кто-то интересовался национальностью султана? Аллах! Да ведь Абдул Гамид II, наш последний султан, был армянином. Все знают, что его христианское имя было Бедрос. А разве младотурецкие комитеты не провозглашали единство всех османских граждан, независимо от того, какую религию они исповедуют? Разве христианские монастыри не получали охранных грамот и даров от султанов? Разве Мехмет II не поднялся почтительно навстречу константинопольскому патриарху, не усадил его рядом с собой? Османы по всему миру славились своим великодушием и справедливостью не менее, чем воинской доблестью. Да тот же Пьер Лоти разве не называл османов одним из самых благородных на земле народов? А Поль Имбер в своей книге об Оттоманской империи?

Нет, неужели без всех этих красивых фактов, без этой философии я не могу прийти к человеку, которого я... Да, люблю.

Но надо подумать о другом. О чем? Я не хочу, чтобы он считал меня просто искательницей приключений. Ведь он поэт, музыкант, так хорошо говорит по-французски. Я хочу доказать ему, что и я человек мыслящий, много читаю.

Надела тот же серый костюм, что и в прошлый раз, ту же сорочку, так же заколола волосы. Перчатки, зонтик, шляпка с вуалеткой. Как хорошо, что еще не холодно, не надо никаких теплых накидок.

Что я скажу ему? В голову ничего не приходило, но почему-то меня это не очень беспокоило. словно бы я шла к близкому человеку, который любит и понимает меня, разговор с которым не надо обдумывать предварительно, опасаясь сказать что-то не то. Да, именно к такому человеку я шла.

Надавила на кнопку звонка. Он сам открыл мне. Просиял. Рядом с ним все мужчины должны выглядеть мешковато-старомодными. На нем фланелевые брюки кремового цвета, серый вязаный пуловер с треугольным вырезом, белая рубашка с отложным воротничком, стройная загорелая шея открыта; на босых ногах — домашние войлочные туфли.

Увидела его — как-то сразу стало легко. Спрятала лицо у него на груди. Его морские глаза сияют такой радостью, что мне даже неловко. Неужели это я могу вызвать такой радостный блеск в глазах?

Мы ничего не говорим. Сидим на кожаном диване. Моя блузка расстегнута. Его губы нежно прикасаются к моим щекам, к моей обнаженной груди. Эти прикосновения приводят меня в состояние какой-то сладостной истомы. Я прикрываю глаза, откидываю голову; делаю вид, будто слегка увертываюсь от поцелуев, и тотчас сама обхватываю руками его шею и припадаю к теплым губам.

Я чувствую, как он раздвигает мне губы языком. Это мне странно, я верчу головой, откидываюсь назад все в той же истоме. Мне странно, чуть неловко, но становится все приятнее и приятнее.

Вот он шепчет мне по-турецки: «Девочка... моя маленькая...»

Разгоряченные, нагие, мы словно бы медленно остываем. Я лежу на боку. Мне не стыдно своей наготы. Он позади меня, обнимает меня, я закидываю руку назад и глажу его лицо, нащупываю нос и тихо смеюсь.

Теперь мы говорим. Мы вспоминаем наше знакомство на вилле и находим в нем множество комических деталей. Я вспоминаю, как впервые пришла к нему.

— Что я тогда сказала?

— Кажется, — «простите меня за то, что вы — армянин».

— Нечего смеяться надо мной!

— Что ты! — в голосе его лукавство, пальцы щекочут мое бедро, я прыскаю, как девчонка. — Что ты! Я вовсе не смеюсь. Мало того, что по отцу я — армянин, моя мать болгарка. Надеюсь вы и это простите мне, мадам очаровательница?

— Я ничего не собираюсь прощать вам, господин обольститель. Ни-че-го! Так и знайте.

— Даже если я сейчас встану и сварю кофе?

— Тогда в особенности! Ты хочешь бросить меня? И, может быть, даже на целых десять минут! Если ты себе это позволишь, прощения не жди!

— Тогда останешься без кофе.

— Ну и пусть. Расскажи о себе.

Оказывается, его отец жил в городе Пловдиве, это болгарский город. Там он и женился на его матери. Мать рано умерла, отец женился второй раз. Сейчас он живет с семьей в С., это маленький городок в Ванском вилайете. У Мишеля две сестры, старшая и младшая, обе замужем, живут тоже в С.

Я спросила Мишеля, кто его отец.

— Простой ремесленник,— ответил он, не вдаваясь в подробности.

Может быть, он стыдится своего происхождения из бедной семьи?

— Мой отец тоже провел детство в бедности,— тихо сказала я,— и муж...

Не знаю, почему у меня вырвалось это «и муж...» По какой-то странной привычке упоминать вместе с отцом обычно и Джемиля.

— Любишь его? — голос Мишеля звучал напряженно.

Я горячо и сбивчиво рассказываю историю отношений с Джемилем. Рассказываю о его жене и дочери, о нашей с ним договоренности; о том, как мучительны были для меня те редкие ночи, когда он овладевал мной, овладевал почти насильно. Но о последних делах Джемиля с отцом я ничего не сказала, не хочу выставить отца в дурном свете.

— Ты знаешь,— доверчиво шепчу я, поглаживая теплую мужскую, чуть колкую щеку,— эти несколько ночей были такие страшные, гнетущие, мучительные. Он просто терзал меня. Пять или шесть раз... Я сначала думала, он сумасшедший. После поняла, что так всегда у всех бывает...

Мишель поворачивает меня лицом к себе и смотрит с интересом. В его зелено-голубых глазах пляшут чертенята.

— Пять или шесть раз,— серьезно начинает он.— Это на самом деле много. Я не могу столько,— он широко разводит руками.

Мне странно это слышать. Это он, кажется, серьезно.

— Лучше один раз, как ты, чем сто раз, как он!

Ох, я думала, задохнусь в объятиях моего возлюбленного, растаю под этими жаркими поцелуями, как снег под солнцем весны.

Он поднимается, обнаженный, делает несколько широких шагов, склоняется над столиком, потом протягивает мне

шкатулку. Он полулежит теперь, опершись на локоть. Я повернулась на спину, держу шкатулку, раскрыла...

Моя записка, которую я в прошлый раз нацарапала, и мой носовой платок.

Я снова смеюсь.

Он берет у меня платок, помахивает им.

И вдруг — словно молния в темноте — я вспомнила.

Тот, теперь невероятно далекий день, еще до войны, до всего в моей жизни. Прогулка по набережной. Чайка. Испачканный светлый чаршаф. Какой-то человек протягивает мне носовой платок, свой, и сажает меня в наемный экипаж. Узнала! Это был Мишель. Что было дальше?

Сумбурно рассказываю ему все.

— Знаешь, а я ведь бросила тогда твой платок. Я мужа боялась.

Мишель смеется.

— А теперь не боишься?

— Теперь все совсем по-другому. И я другая. А ты что же, следил за мной?

— Ну да, — он немного смущен, — следил.

— Долго?

— Не очень. Несколько месяцев.

Я целую его в макушку, приподнявшись.

— Послушай, а ты и вправду специалист по женским болезням?

— Угу, — он еще сильнее смущается.

Мне нравится его смущение.

— И ты многих лечишь?

— Есть кое-какая клиентура.

— И Сабире ты лечил?

— Супругу Ибрагим-бея?

— Да, мою подругу.

Хорошо, что он назвал ее «супруга Ибрагим-бея», иначе я стала бы ревновать. Еще недавно я не понимала, что это такое — ревность; мне порою казалось, что все это выдумки писателей. И вот теперь я сама готова ревновать.

Как быстро прошло время после того, как я узнала о том, что Джемиль обманывает меня. Мне кажется, с тех пор я очень изменилась. Пропало это навязчивое, как зубная боль, желание анализировать свои поступки, копаться в себе. Вот сейчас я готова ревновать, но у меня нет никакой охоты рассуждать о природе ревности.

— Я лечил твою подругу, — отвечает Мишель.

Во мне вдруг пробудилось обыкновенное женское нена сытное любопытство. Я кладу голову ему на грудь, подпираю

руками подбородок. Конечно, все это немножко игра. Я играю в любопытствующую кокетку.

— А от какой болезни ты ее лечил?

— Этого я не могу тебе сказать,— он вдруг становится совсем серьезным.— Врачи не имеют права рассказывать о состоянии здоровья тех, кого они лечат, другим людям.

— Даже мне? — теперь я делаю вид, будто обижена.

— Даже тебе,— с грустной твердостью отвечает он.

Я и в самом деле чуть-чуть обижена. Мне хочется, чтобы он оказывал мне тысячи услуг, отвечал на мои самые неожиданные вопросы, исполнял мои самые причудливые капризные просьбы.

— А как тебя мама называла в детстве? — неожиданно спрашиваю я.

Мне приятно произносить «мама», приятно воображать его маленьким.

— Миш.

— Совсем по-нашему. Похоже на Мюмюш от «Мехмеда». Можно я тоже буду тебя звать «Миш»?

— Нельзя,— хохочет он.

— Тогда я уйду.— Я хочу встать, но он не дает. Мы шутиливо боремся. Он прижимает меня спиной к мягкому дивану.

— Попалась!

— Все равно я буду тебя называть «Миш».

Я извернулась и слегка толкнула его.

Он закрыл глаза, сильно зажмурился и нарочито застонал, делая вид, будто ему очень больно. Я все же немного испугалась.

— Больно? — я протянула руки, чтобы приласкать его.

Не открывая глаз, он осторожно взял мою руку, мне приятно было слушаться его, не противиться. Но вот я почувствовала, как он медленно ведет мою руку книзу. Мои пальцы дотрагиваются до чего-то упругого живого. Я знаю, что это. Я смущаюсь, стыжусь, отдергиваю руку.

— Это не стыдно,— шепчет он.— Открой глаза. Посмотри.

Я послушно открываю глаза, смотрю. Какая-то тонкая пленочка на члене.

— Что это? — я стыжусь, сознавая, что мой вопрос наивен.

— Это кондом, видишь, резиновый футлярчик. Я его надел, когда это встало, а ты и не заметила.

— Зачем? Так лучше?

— Дело не в том. Мужчина надевает кондом для того, чтобы женщина не забеременела, чтобы семя не попало.

— Я даже не знала, что возможно такое. Я всегда боялась беременности. Хотя, может быть, это нехорошо; может быть, настоящая женщина должна хотеть ребенка...

— Ты еще очень молода. Мне кажется, некоторые инстинкты у тебя просто еще не пробудились.

Мы так спокойно беседовали обо всем этом, как друзья. Прежде я и не предполагала, что можно так говорить с мужчиной. Мне казалось, что от мужчины надо таить все эти женские дела.

И еще — меня удивило то, что я вовсе не испытываю желания выйти замуж. Наоборот, у меня появилось ощущение, что замужество стеснит меня, нас обоих. Но, может быть, когда-нибудь я этого захочу. И захочу детей? Но сейчас не знаю, когда это произойдет.

Он смешно наморщился и подул мне на кончик носа. Я поерзала головой по мягкой диванной подушке.

— О чем ты задумалась?

— Так. Думаю о том, что я очень изменилась за последнее время.

— А какая ты была?

— Но ты же следил за мной. Какой я тебе виделась?

— Очень красивой.

— А еще какой?

— Детски непосредственной.

— А еще?

— Единственной! Ну расскажи о себе. Как ты росла?

Я рассказала о своем детстве, о родителях, о тете Шехназ, о мадемуазель Маргарите. Он так внимательно и по-доброму слушал. Он сказал, что я прекрасно рассказываю, что у меня явный литературный талант. Я покраснела от удовольствия. Я хотела было сказать ему, что веду дневник; но вдруг решила, что этого говорить не надо. Никому никогда не скажу о дневнике, даже ему. В жизни должно быть что-то такое, что принадлежит тебе одной.

Мы оба проголодались.

Он сказал, что принесет еду из кухни.

— Можно я пойду с тобой? Мне хочется посмотреть дом.

Мишель оделся. Я тоже хотела одеться. Но он сказал, что если я оденусь, ему будет казаться, что я уже ухожу.

— Но как же быть? Я хочу встать.

Он вышел и быстро вернулся с перекинутым через руку зеленым клетчатым шелковым халатом. Это его халат, он мне велик, я подвернула рукава. Миш сказал, что я очаровательна. Я небрежно подобрала волосы.

На первом этаже — комната вроде кладовой или гардеробной. Большая кухня. Комната слуги. Две комнаты — для приема пациенток. Я хотела посмотреть их, но Мишель не разрешил.

— До еды не надо. Это испортит тебе аппетит.

Ну не надо, так не надо.

В кухне чисто.

— А кто тебе готовит обед?

— Сабри. Он у меня на все руки.

— А где он сейчас?

— Уехал к родным. Я отпустил его на несколько дней.

Мне следовало бы иметь и помощницу при приеме пациентов. Но пока на это не хватает денег.

— Я не хочу, чтобы с тобой работала женщина!

— Так положено.

— Тогда я дам тебе денег.

— Нет, я не стану брать у тебя.

Он произнес это так серьезно и твердо, что я не решилась предложить снова.

Мы поели пилав, выпили чай, пощипали винограда.

Потом Мишель показал мне кабинет. Действительно малоприятное зрелище. Конечно, особенно ужасным показалось мне это металлическое кресло. Подумать только, женщина сидит на нем обнаженная, с широко развинутыми и беспомощно повисшими в воздухе ногами.

— Ни за что бы не согласилась! — воскликнула я.

— Не принуждаю, — он развел руками.

Мне было неприятно; но вместе с тем любопытство одолевало меня. Он показал мне акушерские инструменты, ужасные щипцы. Я подумала, что не хочу иметь детей. Но больше ничего не стала говорить. Не хочу казаться слишком наивной.

— Пойдем отсюда, — попросила я.

Пока мы поднимались по крутой деревянной лесенке на второй этаж, я спросила его, где он учился.

Оказалось, старший брат его матери, состоятельный болгарский торговец, принял участие в судьбе племянника, рано потерявшего мать. В Пловдиве мальчик учился в Швейцарском пансионе. Потом дядя снабдил его деньгами, и Мишель уехал в Париж, где окончил медицинский факультет Парижского университета.

— Дядя Димитр даже хотел усыновить меня, но отец воспротивился, я ведь у него единственный сын.

— А где сейчас дядя? В Болгарии?

Мы поднялись по ступенькам и остановились в широком опрятном коридоре с двумя дверями.

— Нет, он умер, когда я был в Париже. У него не было детей. Он оставил мне деньги. Но большую часть денег и свой дом он завещал городу. На эти деньги, согласно его завещанию, в Пловдиве построена больница для неимущих детей. А в особняке разместилось читалище. Так в Болгарии называют клуб-читальню. А дом прелестный, такое очарова-

тельное сочетание ориентального колорита и парижского «либерти». Дядя Димитр и при жизни много делал для города.

— Но если твоя мать происходила из такой состоятельной семьи, как же ее отдали за бедного человека?

— И к тому же армянина!

— Разве болгары не любят армян?

— Кажется, никто никого не любит. Будто ты не знаешь! Смешанные браки нигде не поощряются. А это была романтическая любовь. Мой отец прекрасно играл на сазе, но после смерти матери никогда не брался за инструмент.

— Это он научил тебя играть?

— Да, первые навыки я получил от него.

— Значит, родные твоей матери не хотели ее брака с твоим отцом?

— Сначала не хотели, после смирились. У отца свой горор. Сколько раз дядя Димитр пытался ему помочь. Но отец — человек непрактичный, деньги у него сквозь пальцы утекают. И потом, отец всегда мечтал переселиться в С., там он родился, жил в детстве, там у него много родных.

— Он хотел жить в Турции?

— Ему хотелось жить со своими родными.

Как-то уклончиво это произнесено. Может быть, с этим связано какое-нибудь плохое воспоминание? Больше не буду спрашивать.

— На дядины деньги я купил этот дом, оборудовал кабинет. Я мог бы практиковать в Пловдиве. Я люблю этот город. Меня бы там больше уважали. Но Стамбул — это Стамбул! Да и в какой-то степени ближе к отцу.

— А ты кем себя чувствуешь — болгарин, армянином или турком?

— Ты, Наджие, удивительное существо. Задаешь такие странные вопросы, на которые можно искать ответ всю жизнь. Когда пел для тебя, помнишь на вилле Ибрагим-бея, те песни, чувствовал себя турком. В Пловдиве — болгарин. А вообще-то и в Стамбуле и в С. я — армянин. Но больше всего мне хотелось бы жить в Париже. Это множество городов в одном. Это — ощущение свободы, утонченности ума, это живое биение сердца. Это — Париж!

— Как я тебе завидую! Ты жил в Париже.

— Не завидуй. В Париже я вел образ жизни бедного студента. Вот если бы поехать теперь, с тобой.

— Если бы не война...

— Но ведь она не может длиться бесконечно!

— По-моему, она будет долгой.

— Боже, в кого я влюблен! Ты не женщина, ты — сплошная неожиданность. Непосредственная, женственная, тонко чувствующая, и такой удивительный странный ум.

— Не люблю, когда меня хвалят.

— А кто еще тебя хвалит?

— Сабире.

— Это делает ей честь. Впрочем, ты настолько отличаешься от других женщин, что они, я думаю, даже не могут завидовать тебе.

— Мы так и будем стоять в коридоре? Ты не вступишь меня ни в одну из этих комнат?

Он засмеялся.

В одной комнате — книжные шкафы, как и на первом этаже.

— Но там у меня медицинская литература, а здесь — то, что я люблю читать.

Я взяла наугад несколько книг. Французские романы. О, мой любимый Достоевский!

— Ты дашь мне что-нибудь почитать?

— Выбери сама.

— Нет, я хочу то, что ты любишь!

— У меня старомодные вкусы. Вот.

Он протягивает мне маленькую, изящно переплетенную книжечку.

«Шагреневая кожа» Бальзака.

— Ты знаешь, как раз это я не читала.

У стены замечаю пианино. К стене прислонен саз в футляре и гитара. Стол, стулья.

В соседней комнате оказалась его спальня. Просторно.

Широкая, гладко застланная кровать от стены как бы выдвинута на середину комнаты.

— Жаль, в доме нет ванной, — замечает он. — Внизу — комната для мытья. Воду берем из колодца. Конечно, здесь не самый роскошный район. Ну, перееду когда-нибудь.

— Я на тебя сержусь! Ты скрывал от меня такую постель!

Внезапно он подхватил меня на руки. Полы халата раскинулись, обнажив мои ноги. Я взвизгнула, как девчонка.

— Пусти!

Но он, конечно, не отпустил, увлек на кровать.

Мы и не заметили, как в окно заглянули сумерки.

— Мне пора, — прошептала я.

Мы лежали усталые, я прижалась к его груди.

— Останься. Так не хочется отпускать тебя.

Я подумала, что и вправду ничто не мешает мне остаться. Джемиле я больше не боюсь.

И я остаюсь.

Утром мы стали договариваться о новом свидании. Оказалось, это не так просто уладить. Мишель прав, если я буду появляться у него совсем открыто, я скомпрометирую себя. Четверг после обеда — его свободное время.

— Но ждать тебя целую неделю,— он жмурится, лицо у него трагическое и смешное,— я умру. Или уморю какую-нибудь пациентку.

— Что же делать?

— Я пошлю Сабри. Он передаст тебе записку, как только у меня выдастся свободная минута; а ты ответишь, свободна ли ты.

— Ты так доверяешь ему?

— Доверяю вполне.

Кажется, это самая длинная запись в моем дневнике. Перечитала и поняла, что не описала и половины из того, что пережила, переживала в тот день.

67

По дороге домой (в наемном экипаже) заехала к маме. Почему-то мне казалось, что нужно это сделать. И не ошиблась. Мама была немного встревожена.

— Джемиль приезжал. И как только вы не столкнулись! Но ты не тревожься. Он сказал, что ты не ночевала дома.

— А ты, мама? Что ты ему сказала? — перебиваю настороженно и нетерпеливо.

— Сказала, что ты ночевала у меня, а потом поехала домой. Говорила спокойно.

Мама будто гордится своим поведением, как школьница, хорошо ответившая урок любимой учительнице.

— Я ночевала у Сабире, мама.

Теперь я поняла; что для того, чтобы хорошо лгать, надо самой верить в свои слова. В тот момент я верила, будто и в самом деле ночевала у Сабире. А мама? Поверила? Или только сделала вид?

Зачем приезжал Джемиль? Побаивается моей взбалмошности, экстравагантности? Опасается, что мое поведение как-то отразится на его репутации? Чего он хочет? Шантажировать меня? Очернить перед родителями? Напрасно! Ведь он у меня в руках. Я знаю его тайну. Но все равно буду осторожна.

68

Читаю «Шагреновую кожу». Тоску навевает эта книга. Эта грустная история волшебного клочка шагреновой кожи, который сжимался, уменьшался после каждого исполнившегося

желания. Кажется, я понимаю, почему эта книга нравится Мишелю. Она нравится и мне. Наши желания ведь не могут исполняться так волшебным и таинственным. Вот нам и приятно читать о том, как это происходит у кого-то. А обе героини — Полина и Феодора. Какая из них — идеал для Мишеля? Нет, я на них не похожа, ни на одну, ни на другую. А на кого? Пожалуй, сама на себя.

69

Заехала Сабире. Я читала.

— Ну, как свободная жизнь? — спросила она, подразнивая.

Я показала ей книгу и тотчас же отложила на туалетный столик. (Мы сидели в моей комнате.) Почему-то не хочется, чтобы Сабире разглядывала книгу Мишеля.

— Свободная женщина читает французский роман! — Сабире расхохоталась.

— Это одно из ранних произведений Бальзака, — нерешительно произнесла я.

— Ах ты, ученая головка! Между прочим, в субботу вечером собираемся на вилле.

— Я хотела бы поехать, — быстро откликнулась я.

— Я заеду за тобой?

— Да, теперь заезжай открыто. Ничего нет страшного в том, что я ночую у подруги.

Надеюсь, там будет Мишель.

70

Сабри все не несет записку. А если я была для Мишеля всего лишь минутной прихотью? Нет, не верю...

71

Снова думала о Полине и Феодоре — героинях «Шагренево́й кожи». Одна — Феодора — светская дама, роковая женщина, бессердечная, но по-своему обаятельная красавица; другая — Полина — ангельская красота, кроткая женственность, готовая жертвовать собой во имя любимого. Настоящий идеал! Но я все же не такая. Нет, не такая. А какая я? Можно ли уз-

нать себя? То, что видят люди,— это одна я, для Мишеля я — иная, для мамы — третья, для самой себя — четвертая. Нет, это бесплодные размышления.

72

Наконец-то! Сабри принес записку в запечатанном конверте. Элени проводила его ко мне. Днем. Джемиля не было. Завтра!

73

Примчалась к Мишелю. Несколько чудесных часов полной, счастливой жизни. Я сказала, что Сабри лучше приходить днем, когда Джемиля не бывает дома. Миш ответил, что он и сам догадался предупредить Сабри.

— Ведь я люблю замужнюю женщину.

— А это не страшно, что Сабри так много знает о нас?

— Я ему доверяю, я ведь тебе уже говорил. Не думай об этом. Сабри — надежный человек.

Он как-то странно произнес это «надежный человек», будто речь шла не о слуге, переносящем любовные записки, а о каком-то заговорщике. Смешно!

Вернула ему «Шагреновую кожу» и высказала свои соображения. Но он все время прерывал мои рассуждения поцелуями. Я даже немного рассердилась.

— Женщина, предпочитающая мыслить, а не целоваться,— чудо!

— Тебе не нравится такое чудо?

— Мне все в тебе нравится. Ты — моя, как мое тело, мои руки.

— Ты так нравишься самому себе?

— Но я ведь у себя один, другого меня у меня нет,— он улыбнулся и подмигнул мне, сильно зажмурив правый глаз.

— Но я не хочу быть ничьей собственностью.

— Хорошо. Тогда я убью себя и ты больше не будешь моей.

Вот наши разговоры! Когда запишешь, вроде бы и смысла особого нет и никакой оригинальности. Но когда говоришь и слушаешь, все эти незамысловатые реплики полны такого значения... Может быть, всему причиной интонации?

Я сказала Мишелю о вечере у Сабире. Он придет.

Сабире заехала за мной. Джемиль был дома. Ну и пусть! Я не совершаю ничего предосудительного.

Вечер прошел чудесно. Как весело было притворяться, будто мы с Мишелем незнакомы. Я оживилась. Я не чувствовала себя теперь беззащитной, никому не нужной. Не собиралась вглядываться в чужую жизнь, ведь у меня теперь есть своя жизнь!

Обменялась несколькими фразами кое с кем из женщин. Но заметила, что они побаиваются меня. Теперь ведь и я стала женщиной. Я осознала силу своей привлекательности. Танцевала. Была сдержанна и горделива. Сабире гордилась мной. Ее спрашивали, кто я. Она ответила, что жена одного коммерсанта. Ее собеседник начал уговаривать ее пригласить его и меня к ней в гости в городской дом.

— Но это бесполезно, дорогой Сермед-эфенди! Абсолютно бесполезно.

— Что? Уже занята?

— Увы, верна супругу.

— И потому бывает у вас на вечерах?

— Что делать, бедняжке нравится воображать себя грешницей.

— Только воображать?

— И не более того.

Мы с Мишем слышали этот разговор, переглядывались исподтишка и едва сдерживали смех.

Миш снова пел. И никто не знает, что эти песни были для меня.

Живу от записки к записке.

Сегодня вечером после ужина разговаривала с Элени. Она рассказывала о своих родителях, о ребенке. Она надеется скопить себе приданое. Но эта война, подорожание всех товаров могут разрушить ее надежды. Подарила ей еще одно платье и брошку. Преданность нужно вознаграждать.

Сюрприз. Миш взял напрокат автомобиль.

Прокатились по Багдадскому шоссе. Автомобиль — это замечательно. Чудесные ощущения — быстрота, ветерок. Но я

сердилась. Во-первых, Миш слишком тратится. Во-вторых, лучше не рисковать, пока я не разведена с Джемилом.

А после развода? Что будет? Сама не знаю. Лучше всего было бы уехать куда-нибудь в Швейцарию или в Париж. Вдвоем. А дальше? Ну, незачем загадывать так далеко.

77

Миш подарил мне золотой браслет — филигрань и цветные камни — темно-красные и лиловые. Могу спокойно носить. Ведь у меня есть деньги, я могла сделать себе такой подарок, никто ничего не заподозрит.

78

Снова вспоминала, какой неуклюжей, не уверенной в себе была я в этой жизни прежде, до Мишеля.

Я совсем не верила в себя, в свою красоту. Я стремилась оправдывать Джемиля.

Но в глубине души я, конечно, и тогда была женщиной; например, я чувствовала, что отношение Джемиля ко мне — оскорбительно.

79

Расскажу о том, что случилось сегодня. Как началось и как закончилось. На душе — горечь. Но все же я спокойна. Я верю, что это просто случайная размолвка, недоразумение.

А начиналось все очень мило и доверительно.

В спальне Мишеля мы рассматривали книги. Я обратила внимание на несколько книг, отпечатанных непонятным шрифтом. Догадалась, что это книги на армянском языке.

Дальше?

Опишу все как было.

Не могу сказать, что меня заинтересовали эти книги. Армянское в Мишеле не привлекает меня. Мне стыдно, но это все же так. Если уж на то пошло, я бы предпочла, чтобы он был болгарин. Болгары — все же наши, балканцы. А в армянах я ощущаю что-то чужое. Но ведь я изо всех сил борюсь

с подобными своими ощущениями. Стыдно, да, но мне даже неприятно произносить вслух его армянскую фамилию — Пилибосян.

Но я борюсь. Я стараюсь переделать себя, стать другой.

Я попросила его рассказать мне об армянской литературе, о поэзии.

Он охотно согласился, но, впрочем, кинул на меня испытующий взгляд.

Начал декламировать приятно звучащие стихи. Тут же пересказывал их содержание по-французски. Это были любовные стихи, очень напоминавшие мне лирику наших, турецких поэтов. Возможно, эти армянские стихи и написаны под влиянием турецкой поэзии. Но об этом своем предположении я решила молчать. Разве я ученый, чтобы проводить подобные аналогии?

Мишель прочел следующее стихотворение (привожу по памяти, не ручаюсь за точность). Да, может быть, не вполне точно цитирую, но смысл передаю верно. Итак, что-то вроде: «Невестка, разожги огонь, мой сын возвращается с победой». А потом оказывается, что сын вовсе не возвращается с победой и тогда: «Невестка, погаси огонь, моего сына везут мертвым».

Я спросила, кто автор этого стихотворения. Мишель назвал имя. Кажется, Варужан. У меня немного путаются все эти имена, которые он мне назвал.

Оказалось, это современный поэт.

— Он живет в Стамбуле? — спросила я.

— Да.

— Ты знаком с ним?

— Нет, я не близок к этим кругам. Я ведь все же не поэт, а врач, и, когда случается, пишу стихи, пишу их на турецком языке.

Но армянские стихи он декламировал увлеченно, с удовольствием.

Я задумалась. В сущности, это даже трогательно, то, что он пишет стихи на турецком языке и в то же время любит и армянские стихи, написанные на языке его отца. Но о чем оно, это армянское стихотворение? О какой это победе идет речь и что за поражение оплакивает автор? Я знаю об армянских беспорядках при Абдул-Гамиде. Стало быть, поэт-армянин, живущий и пишущий в Стамбуле, где ему позволяют жить и писать, мечтает о том, чтобы разорить страну, в которой он живет? Это подстрекательское стихотворение. Но я уверена, если посадить того человека в тюрьму, все французы и немцы немедленно закричат о притеснениях и терроре...

— О чем ты задумалась, малыш? — Мишель наклонился ко мне. — Щечки покраснелись, бровки сдвинула. Что случилось?

— Нет, ничего. Просто стихи всегда волнуют меня. Почитай еще что-нибудь.

— Да? — он улыбнулся.

— Да, но не такое мрачное, что-нибудь о любви.

Он взял одну из книг.

Наверное, я все преувеличиваю. Он просто читает стихи и ни о чем таком не думает. В конце концов, это я попросила его почитать мне стихи...

Он снова начал читать. Эти стихи показались мне милыми. Мне было приятно, что мне понравились армянские стихи.

Возьми гранат, ударь его ножом.

Посмотри, красные зернышки.

Я дарю их тебе.

Но за каждое зернышко я прошу поцелуй.

Ах, чудак!

Поцелуй — за каждое гранатовое зернышко.

разве такое бывает?

— Мне нравится, — сказала я и улыбнулась. — И мне нравится во мне то, что мне понравились армянские стихи.

Он соорудил смешную гримасу. Но видно было, что и ему приятно.

— А что это за поэт? — спросила я. — Едва ли современный.

— Да, это Наапет Кучак. Кажется, шестнадцатый век или что-то около того. Даже не известно точно, существовал ли он на самом деле. Возможно, это вымышленная, мифическая личность, собирательный образ наподобие Гомера.

Я подумала, что и эти стихи, в сущности, похожи на турецкие, но говорить не стала. Только попросила:

— Почитай мне еще.

Он с увлечением продолжал читать. Стихи были милые, любовные. В них было то очарование, которое всегда существует в любовной лирике Востока — у нас любовь в стихах не погружена в бытовые детали, не идет речь о браке или о детях, любовь, даже неразделенная, — это радостный праздник, возвышенное пиршество чувств. Я думала об этом, когда вдруг услышала:

Я жажду тебя обнять. —

будь ты хоть тысячу раз турчанкой!

Я почувствовала, как волна противоречивых ощущений затопила мое сознание. Может быть, он не понимает, что обижает меня; он просто увлекся этой декламацией... Или...

Вот здесь-то я и допустила ошибку. Надо было высказать прямо и честно все, что мучило меня. А я вместо этого заговорила лживыми фразами, с трудом сдерживая гнев. То есть, нет, я не лгала, я именно так оценивала эти стихи. Но ведь я сердилась не из-за стихов, и я должна была сказать честно, почему я сержусь. Но вместо этого...

— Благодарю тебя, — обронила я холодно. — Теперь я убедилась, у армян действительно существует литература, слабая, провинциальная, но литература. Стихи, судя по всему, написаны под явным влиянием турецкой поэзии. Да, это не Ламартин*.

— Не Ламартин! — передразнил он с внезапной злобностью. — Армянская литература — одна из древнейших в мире.

— Послушай, Мишель, — я отошла к двери, — зачем ты произносишь эти нелепости? Я ведь не утверждаю, будто в турецкой литературе существуют свои Толстые и Золя!

— Нелепости произносишь ты. Я просто говорю правду.

— Ты хочешь, чтобы я ушла?

— Я не навязываю тебе своих желаний.

После этих слов я, разумеется, должна была немедленно уйти. Настоящая женщина так и поступила бы. А я вместо этого начала дискуссию, мне хотелось настоять на своем, убедить его в своей правоте. А если бы я ушла, он понял бы, что теряет женщину. А когда я начала говорить, он стал воспринимать меня, как досадную зануду, скучную педантку.

— Может быть, ты вообще полагаешь, что с твоей стороны это нечто вроде подвига — любить меня? — Я не отходила от двери.

— А ты чувствуешь себя этаким миссионершей, просвещающей глуповатого армяшку? — бросил он с каким-то оскорбительным высокомерием.

— А я для тебя — любовница-турчанка! Со мной приятно забавляться в постели, а женишься ты на какой-нибудь армянке с волосатыми щеками. Да, с волосатыми щеками, так и знай!

Как хорошо, что я была одета. Впрочем, если бы я была раздета или в его халате, я, наверное, не стала бы говорить ему такое. Вообще, если бы мы были без одежды, мы не завели бы разговор о стихах, о литературе, не стали бы листать книги...

* Л а м а р т и н — французский лирический поэт (XIX век), совершил путешествие на Балканы, пользовался необычайной популярностью в странах Балканского полуострова.

— Уходи,— отчетливо произнес он,— забудь этот дом.

Я увидела, что он побледнел.

— Прекрасно! Ты видишь меня в последний раз! — Я быстро хлопнула дверью, сбежала вниз по лестнице, схватила перчатки, накидку и выбежала на улицу. Он не пытался остановить меня.

Но если быть откровенной, наши взаимные упреки заключали в себе определенную долю истины. Конечно же, он немного любовался собой. Конечно же, я готова была гладить его по головке, как тетя-учительница гладит послушного мальчика-ученика: «Молодец, мальчик, хорошо поешь по-турецки». Да, армяне кажутся мне слишком практичными, мелочными. Но я борюсь с подобными чувствами. И я не люблю, когда говорят о «загадочной душе турка» и прочее. Меня раздражает все то, что принято называть «национальными чертами». Литература, живопись, музыка хороши тогда, когда они говорят не о достоинствах турок, французов или русских, но просто о людях.

Какие мы оба глупые и смешные. Я вспомнила, как мы обменивались колкостями. Конечно же, и он понял, как это глупо, смешно и пошло. Завтра Сабри принесет мне записку...

80

Записки нет. Дома не сидится. Предупредила Элени, чтобы она не отлучалась; я должна получить важное письмо. Она понимающе закивала; заверила меня, что никуда не пойдет.

Я поехала к Сабире.

Держусь хорошо. Но мне показалось, что я, сама того не желая, жду от нее участливых расспросов вроде: «Что-то случилось? Что это с тобой? Ты не больна? Тебя кто-то обидел?» А я бы в ответ отнекивалась и говорила, что все в порядке. Однако Сабире ни о чем не спрашивает. Болтаем о тряпках, немножко сплетничаем. Да нет, я вовсе не притворяюсь спокойной, я в самом деле спокойна.

Может быть, я и не влюблена в Мишеля. Да, я ждала любви. Но зачем внушать себе, что первый же понравившийся мне человек — это моя великая вечная любовь? Зачем искусственно возвращать в своей душе подобные нездоровые чувства?

Да, я рассуждаю вполне здраво. Возможно, мне все-таки свойственна некоторая странная рассудочность. Но, конечно, я нетерпеливый, несдержанный человек. Мне хочется пойти к Мишелю. Что это? Любовь? Капризы, порожденные скукой и однообразием моей жизни? Я просто не умею сдерживаться, терпеливо обдумывать, взвешивать. Мне чего-то захотелось, и вот уже я спешу исполнить свое желание. Я знаю, что я пойду к нему. Я уверяю себя, что, может быть, еще и не пойду; может быть, всего лишь постою у его дома. Но я сама знаю: это все пустые уловки. Господи, хотя бы пришла записка! Нет, не потому, что я так уж хочу увидеть его; просто это избавило бы меня от лишнего унижения. Я допускаю даже, что если бы Сабри принес записку, я бы не пошла. Не пошла бы именно потому, что меня приглашают. Назло не пошла бы?

82

Записки нет. Пойду.

83

Пишу и краснею. Не знаю: плакать, смеяться или стыдиться собственной глупости?

Решилась. Пришла. В четверг, в три часа — его свободное время. Как хорошо, что он дал мне ключ. Пока открывала дверь, думала, а может быть, его нет дома; просто побуду в его комнате и уйду. Может быть, оставлю записку, а может быть, и нет. Что написать? Внезапно пришла в голову хорошая мысль: я напишу в записке правду; напишу, что мы оба неправы, что мы оба вели себя смешно и глупо. Я для того и пришла, чтобы это сказать или написать. Так я сама для себя оправдала свой приход.

Тихонько вошла. На первом этаже — тишина. Сабри отсутствовал. Мишеля тоже не было. Я решила подняться на второй этаж. Стала подниматься по лестнице. Мне показалось, я слышу голоса.

Я стояла на верхней ступеньке, когда он вышел из спальни. Я поднималась тихо, но деревянные ступеньки все равно поскрипывали.

На нем был запахнутый шелковый халат. И эти короткие штанишки в обтяжку — он говорил, что это на американский манер, американцы называют это, кажется, — «трусики-плавки». У него были стройные ноги, ему такие плавки шли.

Когда я увидела его, я невольно обрадовалась. Все стало казаться легким и простым, было так радостно видеть его. На его лице тоже невольно появилось выражение радости. Но и некоторого замешательства. Затем лицо его сделалось серьезным.

— Здравствуй, Наджие, — сказал он серьезно.

— В прошлый раз мы оба были неправы, — тихо сказала я.

Признать саму себя неправой — не так-то просто. Но, как правило, никто не ценит этого твоего признания. Твой собеседник эгоистически желает, чтобы ты признала его правоту. Черкесские брови Мишеля дрогнули, взгляд чуть помрачнел, но я мгновенно поняла, что он не захочет признать себя неправым. Это было ясно и по тону, которым он произнес:

— Не будем говорить об этом.

Я шагнула со ступеньки в коридор. Он сделал движение руками, будто хотел остановить меня. И вдруг мною овладело чувство, кажется, прежде совсем не ведомое мне — ревность. Я поняла, что он побоится остановить меня. Решительно — в несколько шагов — подошла к двери в спальню и распахнула эту дверь со словами:

— Кто у тебя?

Ситуация была банальной, слова — тоже, но надо было пройти и через это.

В спальне на постели сидела в непринужденной позе Сабире. То есть, ничего непристойного, одна лишь непринужденность. На ней была длинная черная юбка, ворот белой шелковой блузки расстегнут, холеная округлая шея обнажена. Хорошо еще, что она не сидела на постели с ногами. Но прическа была чуть растрепана. Перед ней на покрывале стояла вазочка. Сабире грызла соленый миндаль.

Что сделала я? Я... оглянулась. Мишель шел за мной, смущенный, немного сутулясь. Он улыбался сконфуженно. Сабире, конечно, сразу нашлась.

— Наджие, привет! — воскликнула она так доброжелательно и непринужденно, будто только меня и ждала. Я пыталась сообразить, насколько унизительна для меня вся эта ситуация.

Я повернулась, собираясь уходить. Я действительно хотела уйти и больше не возвращаться. Не знаю, сумела ли бы я впоследствии сдержаться и действительно больше не приходиться в этот дом, но в ту минуту я и в самом деле твердо решила уйти.

— Нет, нет, нет! — закричала Сабире тем ласково-властным голосом, каким молодые матери одергивают маленьких дочек; она и вправду так разговаривала со своей малышкой. — Наджие, не глупи!

Она вскочила, подбежала ко мне и вдруг обхватила за талию.

— Пусти! — крикнула я. — Пусти!

— Дурочка! — она втащила меня в комнату и усадила на постель.

— Ну? — Сабире обернулась к Мишелю. — Молчит, словно воды в рот набрал! А я тут отдувайся!

Мишель запахнул халат, присел на другом краю покрывала и, опустив ресницы, скромно спросил:

— А что я должен делать?

И сунул в рот миндалинку.

Получался какой-то французский водевиль. И меня заставляли в нем участвовать.

— Ты посмотри на нее, Миш! — Сабире сидела рядом со мной, крепко обняв меня за талию. От нее пахло французскими духами. Когда я услышала это «Миш», так легко и свободно произнесенное ею, мне стало по-настоящему больно. Значит, я для него всего лишь одна из любовниц. Все, что он говорил мне, он говорил и другим.

— Ты посмотри на нее, Миш, — продолжала Сабире, — посмотри на этого ученого ребенка. Ей даже «Разочарованные» не нравятся! Удивительная, правда?

Нет, она вовсе не издевалась надо мной. Она, кажется, искренне восхищалась мною и удивлялась. Да, она была моей подругой. И еще — она явно хотела помирить меня с Мишелем.

— Она — прелесть, — голосом вежливого француза произнес Мишель, не поднимая глаз. — Особенно, когда хмурится.

И тут он вдруг подмигнул мне смешливо одним глазом.

Несмотря ни на что, я чувствовала к нему теплоту и нежность. Я готова была простить его. Но вновь и вновь меня охватывало возмущение. Какие у него отношения с этой Сабире? Впрочем и так ясно! И он ей все рассказал обо мне; возможно, даже самое интимное. А от меня утаил, от какой болезни она у него лечилась!

Я решительно высвободилась из объятий Сабире.

Встала.

Обернулась к Мишелю. Он выпрямился, сидя, и посмотрел прямо мне в глаза. Зеленую голубизну его глаз темным светом затопила боль. Мне захотелось, ничего не говоря, прижаться лицом к его груди, как прежде. Но я сдержалась, я больше не желала унижаться.

— Наджие,— просительно начал он.— Почему, ну почему ты все усложняешь? Можно ведь говорить просто, легко и приятно. Зачем рассуждать о серьезных материях и мучить друг друга!

— Да, я не очень удобная любовница,— я взялась за ручку двери.— Не веду легких приятных бесед, интересуюсь всеми этими серьезными материями, как ты изволил выразиться...

Мне хотелось сказать еще что-нибудь колкое. Но внезапно я почувствовала, что сейчас заплачу. Я быстро повернулась и вышла.

— Наджие! — крикнул Мишель.

Я стрелой пронеслась по лестнице, выскочила на улицу. Скорее, скорее. Я не хотела, ни в коем случае, выяснять отношения, вести бессмысленный обмен нелепыми репликами.

84

Сижу и думаю. Оглядываю свою комнату. Комната все та же. Но я... Как я изменилась. Порою мне кажется, я не помню себя прежнюю.

Значит, Сабире... В чем-то ее воззрения шире моих? Ее не мучает то, что Мишель армянин...

85

Столько всего за один день. Побывала у Мишеля. Вернулась. В сущности, прошло совсем немного времени. Отложила дневник, все записала. Сидела, думала.

Элени постучала в дверь. Приехала Сабире.

Конечно, следовало бы сказать, что меня нет дома, что я занята или еще что-нибудь. Но зачем лгать, притворяться? Я ведь хочу увидеть Сабире; мне интересно услышать, что она мне скажет. И мне хочется, чтобы она примирила меня с Мишелем. Мне действительно хочется этого.

Сабире вошла в комнату. Я сидела за столом, поднялась ей навстречу. Она живо подошла ко мне. Снова обняла за талию. Чмокнула в щеку душистым поцелуем.

— Ну прости меня, Наджие! Ну я виновата.

— Ты ни в чем передо мной не виновата,— сказала я голосом чуть безжизненным.

— Ну не дуйся, девочка моя, ну это же глупо!

— Допустим. Я и вообще-то не Бог весть, как умна. Но что ты хочешь мне сказать?

— Наджие! Я тебя не узнаю!

— Значит, я очень изменилась.

— Но я ведь просто и прямо хочу обо всем тебе рассказать. Просто и прямо, как ты любишь!

— Рассказывай. Мне даже хочется услышать. Только не говори со мной таким тоном, будто я маленькая девочка-капризуля.

— А ты и есть маленькая девочка, и навсегда такой останешься. Это мне не повезло, я чуть-чуть старше тебя, а вот ведь — взрослая дама.

Я улыбнулась, но тотчас сжала губы.

— Рассказывай,— сказала я.

Я сидела у стола, она — чуть поодаль.

— То, что я хочу тебе доверить, Наджие, достаточно серьезно и важно для меня. Никому, кроме тебя, я не стала бы доверяться. Тебя, конечно, интересуют мои отношения с Мишелем. Что было между нами? Я попала к нему как пациентка. Он хороший врач, это правда. Мне рекомендовали его. Несколько раз мы были близки. Нет, он вовсе не донжуан, скорее даже робок с женщинами. Возможно, я сама раззадоорила его. Спросишь, зачем? Просто так, из интереса. Такая уж я! — она запрокинула голову и рассмеялась задорно.

Хитрюга Сабире! Она отлично знает, что, если будет разыгрывать передо мной роль отчаянной искательницы приключений, которую все презирают за слишком вольный образ жизни я немедленно прощу ей все и начну сочувствовать и восхищаться. И, в сущности, она права. Она верно поняла меня.

— Хорошо,— сказала я спокойно.— Что же дальше?

Мне нравилось, что я спокойна, в то время как Сабире явно нервничает и притворяется очень бесшабашной и очень правдивой. Но все равно Сабире моя подруга, я даже люблю ее.

— В тот день, когда ты нас застала, он жаловался мне на то, что у тебя трудный характер, ты слишком серьезно ко всему относишься. Он влюблен в тебя по уши.

— И поэтому у тебя волосы были растрепаны, а блузка — расстегнута.

— Наджие, в тот день между нами ничего не было.

— Благодарю!

— Он умолял меня примирить вас; просил меня, чтобы я уговорила тебя помириться с ним, простить его.

— Он рассказал тебе, из-за чего мы поссорились?

— Какая-то глупость! Он вздумал читать тебе армянские стихи, а тебе не понравилось. Так?

Неужели он так и рассказал? Или это уже интерпретация Сабире?

— Допустим, — сдержанно ответила я.

— Пойми, Наджие, меня с ним совсем другое связывает!

— Что же?

— Это очень серьезно. Ты, наверное, слышала сплетни о том, что мы с Ибрагим-беем проматываем деньги его отца?

— Да, такое говорят.

— Наследство вовсе не так велико, как это кажется охотникам считать чужие деньги. Ибрагим-бей — интеллигентный, умный человек, тонко чувствующий. Он не находит себе места в этом обществе, где командуют нувориши, выскочки, разбогатевшие простолюдины. Он аристократ не только по происхождению, но и по духу. Я люблю своего мужа. Порою у нас сложные отношения. Но я искренне люблю его, не представляю себе жизни без него.

Сабире говорила искренне и серьезно.

— Мишель — врач, он имеет право приобретать морфий, — продолжала Сабире.

— Морфий?

Кажется, я что-то читала о морфии, но что именно, не могла вспомнить.

— Да, это обезболивающее средство. Инъекция прекращает на какое-то время острую боль. Но если человек привыкнет к морфию, он станет морфинистом, наркоманом.

— И что же? — я пока не могла понять.

— Я вращаюсь в том кругу, где люди злоупотребляют морфием. Особенно сейчас, когда идет война. Многие спешат взять от жизни все, пусть даже в ущерб здоровью. Многие военные, ведь смерть все равно следует за ними по пятам. Короче, я помогаю Мишелю сбывать морфий, за это получаю часть прибыли.

— Ибрагим-бей знает?

— Да. Пришлось открыться. Сначала он протестовал, потом понял, что иначе мы не проживем. Ведь у нас дочь, которую мы оба любим, о судьбе которой должны заботиться. Я думаю, Мишель связан с кем-то еще, иначе он не мог бы доставать морфий в таких количествах.

— Зачем ему так много денег?

— Наивный вопрос. Денег никогда не бывает много, милая Наджие.

Я не стала с ней спорить. Возможно, сама когда-нибудь узнаю. Но чувствую, здесь не замешаны женщины. Это что-то другое. Что? Узнаю когда-нибудь.

— Когда он рассказал тебе обо мне? — спросила я.

— Он заметил тебя случайно, на набережной. Ты была с мужем. Мишель влюбился с первого взгляда. Стал следить за

тобой. Кое-что узнал. Он видел, как ты разговаривала со мной. Стал умолять меня устроить ваше знакомство. Я отнекивалась, мы ведь с тобой были мало знакомы. Я знала, что ты странная; не представляла себе, как завязать с тобой отношения. Наконец решилась пойти к тебе. Мишель совсем потерял голову; грозился, что прекратит все это дело с морфием, если я не познакомлю его с тобой. Я даже встревожилась. Ведь надо было не только устроить знакомство, надо было, чтобы ты прониклась к нему симпатией. Ты, наверное, помнишь мой первый визит. Я никак не могла найти верный тон в обращении с тобой, была слишком иронична. Тебе могло показаться, что я издеваюсь над тобой.

— И этот твой разговор о беременности,— я засмеялась. Ты меня просто перепугала. Я тогда как раз ужасно боялась забеременеть от Джемиля.

— Постепенно я привыкла к тебе,— продолжала Сабире.— Ты стала мне нравиться. В сущности, ты моя единственная подруга. Но когда ты не отправилась к Мишелю в качестве пациентки, я решилась просто пригласить тебя на виллу.

— Наверное, те люди, которых я там встретила, тоже имеют какое-то отношение к морфию?

— Некоторые — да, другие просто оставались у нас на вилле. Снимать номер в гостинице зачастую рискованно, а развод не всегда имеет смысл.

— Я понимаю.

— Дальше все пошло прекрасно — Мишель тебе явно понравился.

Так вот почему и она и Ибрагим-бей были явно встревожены, не давали никому познакомиться со мной. Вот почему!

— Я обрадовалась, увидев, что вы с Мишелем нашли общий язык, если это можно так назвать. Мне ведь уже начинало казаться, что ты вот-вот влюбишься в моего мужа. Я была как на иголках.

Я подумала, что, возможно, для меня было бы лучше влюбиться в Ибрагим-бея. Кажется, это избавило бы меня от многих проблем. Впрочем, я чувствую, от проблем никуда не деться, не было бы этих проблем, возникли бы другие.

— Что еще тебе известно о моих отношениях с Мишелем?

— Что еще, Наджие? Он сказал мне, что ты не хочешь изменять мужу. Я удивилась. О твоих отношениях с мужем я Мишелю ничего не говорила. Но я пообещала это уладить.

— Скажи, а та наша прогулка в Тепебаши, конечно, не была случайной?

— Нет, не была. Я вытащила тебя в Тепебаши нарочно, чтобы Сабри мог передать тебе записку. Я ломала голову над тем, что же придумать. И тут судьба послала мне неожидан-

ный подарок — я случайно узнала о жене и дочери твоего Джемиля.

— Ты боялась, что если я влюблюсь в Ибрагим-бея, он ответит мне взаимностью?

— Не стану от тебя ничего скрывать. Я боялась, что он первый влюбится в тебя. Ты ведь красавица и такая необычная. А мой муж — достаточно утонченный человек, чтобы это понять.

— Он что-нибудь говорил обо мне?

— Да. Но он уже знает о твоей связи с Мишелем. Влюбляться в моего мужа не советую. Я всегда сумею постоять за себя, отомстить сопернице. Я думаю, Наджие, что у тебя еще все впереди. С Мишелем ты просто узнала себя как женщину. Как дальше сложится твоя жизнь, во многом зависит от тебя самой. Я, во всяком случае, всегда готова помочь тебе. А то, что Мишель — армяшка, так стоит ли обращать внимание, ты ведь замуж за него не собираешься.

Я засмеялась. Действительно Сабире подходит к жизни просто. Все разложено по полочкам. То, из-за чего мучаюсь я, для нее проблемы не составляет. Вся эта история с морфием... Я, конечно, не выдам ни ее, ни Мишеля, она знает. Может быть, она даже согласовала с Мишелем этот сегодняшний разговор со мной. Ну, не буду такой злой и недоверчивой.

— Ну так как, Наджие? Он ждет.

Я пожала плечами.

— У меня есть одно предложение. — Сабире поднялась со стула, подошла ко мне и обняла за плечи. — Почему бы тебе и Мишелю не съездить на несколько дней в наш приморский домишко. Место пустынное, особенно сейчас, поздняя осень, война. Он привезет кое-какие припасы. Между прочим, он прекрасно готовит кебап и пилав. Поживете совсем одни. Сначала поедет он, потом ты приедешь в моем экипаже.

Я молчала.

— Ну, Наджие! Скажи что-нибудь. Согласна?

— Да, — коротко бросила я.

И вдруг быстро обняла Сабире.

86

Снова одна. И что делаю? Ну, разумеется, думаю.

Интересно, что было бы, если бы я все-таки полюбила Ибрагим-бея? Наверное, если бы я уже тогда была настоящей женщиной, я бы заметила, что Ибрагим-бей готов полюбить меня; я бы повела сложную игру, обвела бы Сабире вокруг пальца, влюбила бы в себя Ибрагим-бея и, может быть, даже

развела бы его с женой и женила бы на мне. И это не были бы перипетии любви, а просто сложная рискованная игра. То есть, нет, конечно, не просто... Сейчас мне как-то даже обидно; мне начинает казаться, что с интеллигентным турком-аристократом мне было бы гораздо лучше, чем с Мишелем; что эта связь с Мишелем унижает меня, даже перед Сабире унижает. А ей что? У нее нет никаких проблем. Она все впихнула в готовые формулы: «Я изменяю мужу, но я ведь все равно люблю его», «Мишель — армяшка, но ты ведь не собираешься за него замуж». Вдруг она еще станет задирать нос — мол, у нее муж, а у меня всего лишь любовник-армянин... Нет, глупости все это. Если что и унижает, так это подобные мысли.

Думаю еще о браке. Не о конкретном браке, моем или Сабире, а вообще о браке. Думаю, мужчина, решившийся вступить в законный брак, это, как правило, человек без каких-то возвышенных идеалов. Ему хочется построить какой-то свой маленький мирок и хозяйничать там уверенно. Вот Джемиль такой. Отсюда, впрочем, не следует, что все старые холостяки — люди с идеалами!

87

Приехали на побережье, в домик Сабире. В ее экипаже. Через четыре дня тот же экипаж заедет за мной. Вдруг мне пришло в голову — кучер Сабире. Слуги — это вообще-то проблема. Но Сабире мне говорит, что ничего не надо бояться, она хорошо платит своим слугам. Я спросила Мишеля, каким образом он уедет. Он ответил, что за ним заедет его знакомый, и тоже сказал, чтобы я не беспокоилась.

Ветрено. Волны темно-синие, чуть свинцовые даже, пенятся белой пеной. Безлюдно. Низко над головой нависает небо, набухшее дождем.

Кучер Сабире внес в дом два моих чемодана и уехал. У меня ключ. Сначала я даже немного испугалась — а вдруг Мишель не приехал, но в доме тепло, печь затоплена, чисто. Здесь всего три небольшие комнаты, обстановка более чем скромная. Дешевый ковер, тахта, узорные решетки на окнах. Из кухни вкусно пахнет пилавом.

Конечно же, он приехал и ждет меня. Мне не хочется сидеть в комнате. Я снова надеваю теплую накидку, шляпку, захватываю на всякий случай сложенный зонтик и выхожу за калитку.

Ждать пришлось недолго. Вскоре я увидела его. В темном пальто, голова не покрыта — каштановые волосы на ветру. Все

прежние мысли превратились в ничто. Хотелось только припасть к его груди, ерошить пушистые волосы... И я могла думать о каком-то Ибрагим-бее, о совершенно чужом мне человеке? Смешно и странно.

Мишель увидел меня и, как мальчишка, побежал мне навстречу. Я тоже побежала, размахивая сложенным зонтом. Наверное, я выглядела комично, но все равно смеяться было некому. Никто не видел нас.

Я обхватила его за шею озябшими руками, мой зонтик оказался у него на плече.

— Как шпага... Как будто бы ты посвящаешь меня в рыцари...— Он целовал мое лицо, держал его в ладонях. Его морские глаза сияли.

Посыпал мелкий дождь. Мы быстро шли к дому, обнявшись крепко. Зонтик я так и не раскрыла.

Мы вошли в крохотную прихожую. Я сбросила ему на руки накидку, шляпку; он взял мой мокрый зонтик. Я забыла надеть перчатки.

Он стоял в своем темном пальто, держал в руках мою накидку, шляпку, зонтик.

— Я во всем виноват,— он наклонил голову.— Во всех смертных и бессмертных грехах. Будешь казнить?

— Конечно! — я рассмеялась.— Отрублю голову ятаганом! Скажи мне только одно: в тот день ты просил Сабире приехать ко мне?

— Да.

— В тот день у тебя с ней что-нибудь было?

— Нет.

— Поклянись, что у тебя с ней никогда ничего не будет!

— Клянусь.

Мы уже говорили серьезно. Но после того как он поклялся, на меня напала какая-то ребячески-озорная веселость. Заедой мы шутили, дурачились. Он и вправду приготовил превосходный пилав и заварил чудесный крепкий чай.

— Ты ребенок, маленькая девочка,— говорит он и смотрит на меня так нежно и грустно.

Мне приятно это слышать. Боюсь только, что поощренная таким образом, и вправду начну вести себя, как маленький ребенок.

Мы поговорили обо всех этих делах с морфием.

— Я буду откровенна с тобой. Мне это не очень нравится. Зачем это? Тебе не хватает денег?

— Дело не во мне. Эти деньги идут на то, чтобы помочь другим людям. Когда-нибудь я расскажу тебе подробно. Но поверь, я не делаю ничего дурного.

— Но разве это хорошо, снабжать людей наркотическим

средством, обрекать их на мучительную зависимость от иглы и шприца?

— Я никого не приохотил к морфию. Я только доставляю морфий тем, кто уже не может обойтись без него. Если бы не я, это делал бы кто-нибудь другой.

— Но среди этих людей есть и военные. Как они будут исполнять свой долг в действующей армии?

— Ах, Наджие, быть с тобой — это пытка. Но я не могу жить без этой пытки! Ну чего ты хочешь сейчас? Я мог бы тебе солгать, что я все это брошу. Но я не хочу обманывать тебя. Я связан с другими людьми, я не могу это бросить так сразу.

— Ну, не сразу. Постепенно.

Наверное, это прозвучало смешно. Но он посмотрел на меня грустно и сказал серьезно:

— Я постараюсь.

Дальше расспрашивать я не стала. Меня удовлетворило это «Я постараюсь». Я не была так наивна; я понимала, что одно дело — сказать, и совсем другое — на что-то решиться. Но ведь сейчас он был со мной предельно честен, это меня растрогало.

В ту ночь я скрестила ноги у него на шее, мне казалось, что он весь во мне.

Эти дни прошли чудесно. Мы бродили по берегу моря, кидали в воду камешки. Песок был темный и влажный. Я думала, что летом здесь снова станет тепло, хорошо. Наверное, мы приедем сюда летом. Здесь ведь и летом мало кто бывает, это ведь не что-то такое модное и красивое, вроде Принцевых островов.

Что еще запомнила? Мишель действительно хорошо готовит. Я спросила, где он этому научился. Он ответил, что это отец выучил его. Я спросила, часто ли он видится с отцом. Мишель ответил, что бывает по-всякому. Случалось, он не видел отца годами.

В другой раз я вошла в комнату, где мы спали. Он уже лег. Лежал на одеяле. Он поднялся мне навстречу. Было уже темновато, сумеречно. Белое белье обтягивало его фигуру. Что-то странно посверкивало на лице. Я пригляделась. Это были очки в тонкой позолоченной оправе.

— Ты что же, спишь в очках, а читаешь без очков? — я засмеялась. — Первый раз вижу тебя в очках.

— Читал и забыл снять. Я немного близорук.

— Я давно догадалась, еще при первой нашей встрече.

— Как?

— Ты смотрел так странно — настороженно и беззащитно — характерный взгляд близорукого человека.

— Я не очень люблю очки, — признался он.

— Да, без очков тебе лучше. Но и в очках совсем не так уж плохо — ты становишься похож на маленького мальчика; сама не знаю, почему.

Почему влюбленные так любят отыскивать друг в друге детские черты? Наверное, для того, чтобы видеть друг друга чистыми и светлыми.

— Что ты читаешь? — спросила я.

Он сказал, что читает одну из книг Фрейда — австрийского врача. Я попросила, чтобы он, когда закончит, дал прочесть и мне; он обещал.

В день перед моим отъездом я пошла походить одна по берегу моря. Миш хотел пойти со мной, но я сказала ему, что должна побыть одна. Его лицо стало грустным.

— Не обижайся,— ласково попросила я.

Почти час бродила, смотрела на море. Мне показалось, что мы оба очутились на маленькой планете, где никого нет, кроме нас двоих и морских волн.

Совсем стемнело, похолодало, я отправилась домой.

Когда открывала калитку, правая перчатка зацепилась за едва приметный гвоздик и разорвалась.

В комнатах меня встретила тишина. Но я чувствовала, что он дома. Он спал, прикрывшись тонким покрывалом; тело его гибко изогнулось, словно большая рыба на рисунке. Я остановилась у постели, без шляпки, но накидку и перчатки еще не сняла. Он лежал спиной ко мне, дыхание было совсем неслышным.

Внезапно он проснулся. Быстро повернулся и посмотрел на меня с улыбкой. Я стояла, выпрямившись, и какая-то смущенная.

— Перчатку порвала,— проговорил он, улыбаясь.

— Это гвоздь в калитке.— Я быстро спрятала руки за спину.

Мы обращались друг к другу с такой тихой, сдержанной нежностью.

— Дай мне, я зашью,— тихо произнес он.

Я подумала, что он шутит, сняла перчатку и, улыбаясь, протянула ему.

Он откинул покрывало, встал с постели, на нем было все то же белое белье в обтяжку. Он, чуть подаваясь вперед (его манера), подошел к нише, где были расставлены некоторые его туалетные принадлежности, и раскрыл небольшую шкапу.

Держа в руке мою перчатку, катушку с нитками, иголку, он снова забрался с ногами на постель, скрестил ноги и начал быстро и умело делать стежки. Я растерянно улыбаюсь. Склонив голову, он запел амане — протяжную турецкую песню. Амане всегда трогали мое сердце. Мне было немного не-

ловко, грустно и хорошо. Эту пару перчаток я буду часто надевать, а ведь обычно, если перчатки рвались, я просто покупала новые.

После я спросила его, где он выучился шить. Он усмехнулся и ответил, что его отец — портной.

Сейчас я уже дома и сижу за столом, пишу в дневнике. Подыму голову от исписанных страниц и словно бы вижу, как он сидит на постели, скрестив ноги, делает быстрые стежки и поет амане.

О чем это мне напоминает? Вспомнила! Это сказка Вильгельма Гауфа, такого прелестного немецкого писателя, о юноше-портном, который мечтал сделаться принцем. Но не могу вспомнить, удалось ли ему...

88

Ну и жизнь! Перед отъездом я предупредила маму, что поживу в приморском доме Сабире. Но отцу и Джемилю мама должна была сказать, что я у маминой подруги. Хорошо, что оба они и не подумали спрашивать обо мне. Отцу могла прийти в голову фантазия уточнить, у какой именно маминой подруги я гощу. Ну, мама что-нибудь придумала бы. Но какой-нибудь необдуманной фразой отец или мама могли навести Джемиля на мысль о проверке. Мне бы не хотелось, чтобы Джемиль узнал о Мишеле. Поговаривают о возможности каких-то армянских волнений. Элени мне сказала. Вообще много неприятных новостей. Ввели карточки. Дрова и уголь подорожали. Конечно, нас, то есть моих родителей и меня, это никак не затронет. Мы по-прежнему будем покупать провизию на рынке. Но скольким людям придется ограничить себя!

Я сержусь на Мишеля из-за этого морфия. А Сабире, Ибрагим-бей? Как они могут этим заниматься? В такое время!

Впрочем, мне ли кого-то осуждать! Что делаю я сама? Ссорюсь и мирюсь с любовником. Почему я не возьму себя в руки? Как становятся сестрами милосердия? Я уверена, что существуют люди, бескорыстно помогающие другим, врачующие раненых в госпиталях. Но мне наверняка встретятся не они, а совсем другие, злоупотребляющие своим служебным положением, торгующие краденными медикаментами.

Аллах! Эти люди мне уже встретились! Разве Джемиль и мой отец не собираются нажиться на скупке и перепродаже товаров первой необходимости? Разве Мишель и Сабире не крадут морфий? Они способствуют тому, что морфий, который должен успокаивать боль, губит людей, превращает в наркоманов.

С меня довольно! Пусть я безвольная, изнеженная; но одно я могу сделать — порвать всякие отношения с Мишелем и Сабире. У меня останутся мои книги, мой дневник, мои мысли, будет чем занять время. Хватит грязнить себя!

89

Элени сказала, что пришел Сабри с запиской.

— Передайте ему, Элени, что я никого не принимаю и не отвечаю на письма.

Элени передала.

Нет никакого желания видеть Мишеля.

90

Новая записка. Я велела Элени сказать то же, что и в прошлый раз.

91

Приехала Сабире. Конечно, нельзя было отослать ее прочь, как я отослала слугу Мишеля. К счастью, она не застала меня в неглиже, на мне было приличное домашнее платье старого покроя. Будь я в неглиже, и разговор получился бы какой-то растрепанный, бурный. А так...

Я сразу поняла, что сейчас она воскликнет что-нибудь вроде: «Наджие, ты снова капризничаешь!»; и сделает все для того, чтобы я почувствовала себя капризным ребенком, который доставляет взрослым одни неприятности и потому должен исправиться.

Я заговорила первая. Я сказала Сабире, что не собираюсь выдавать ее; что она, вероятно, приехала по просьбе Мишеля, и пусть она передаст ему, что я больше не хочу видеться с ним.

— Пойми, Сабире, это не прихоть капризной кокетки, это серьезно. Я не хочу иметь близкие отношения с человеком, который торгует краденым морфием. Конечно же, краденым! Ведь идет война, госпитали нуждаются в болеутоляющих лекарствах.

Я ожидала, что Сабире начнет бурно возражать, разубедить меня. Но она только спросила с искренней грустью:

— Ты и меня больше не хочешь видеть?

Я смутилась.

— Не знаю, Сабире. Ты ведь и сама понимаешь, как это дурно — все эти махинации с морфием. Но разве я вправе осуждать тебя? Я обеспечена и одинока, а ты должна думать о будущем дочери.

— Я ничем не могу оправдать себя, Наджие. Ты права. Я заурядный человек, слабая женщина, мои нравственные устои оставляют желать лучшего.

— Я не имею права говорить о нравственности, Сабире; я сама повела себя безнравственно.

— Не мучай себя.

— Не будем говорить об этом.

— Но мы будем видеться? Ты будешь иногда бывать у меня?

Я обещала; если бы я отказалась, это было бы слишком грубо.

Наверное, когда Сабире рассказала мне всю эту историю с морфием, она полагала, что я уже сильно привязалась к Мишелю, или просто думала, что меня не взволнуют нравственные аспекты всего этого. Да, конечно, это было бы логично, если бы один безнравственный поступок — связь с Мишелем — повлек за собой другой — равнодушное отношение к торговле наркотиками.

92

Живу спокойно. Читаю Толстого. «Война и мир» — это и вправду целая жизнь, воплощенная буквами на бумаге, — удивительно! Порою, когда я отрываюсь от книги, мне чудится, что настоящая реальность — там, на этих страницах, а я сама и все мое существование — всего лишь бледные призраки.

В газеты не заглядываю, не хочу мучить себя бесплодными переживаниями по поводу страшных событий. Уверена, что ничего хорошего в мире не происходит. Когда Элени заговаривает о слухах, которые гуляют по городу, я ее прерываю.

— Не надо, Элени, меня это все расстраивает, мучает, и ведь все равно ничего нельзя изменить.

Раза два заезжала Сабире. Была скромна и тиха, говорила о своей дочурке. Я вдруг подумала о маленькой Кадрие (вот ведь я запомнила имя), дочери Джемиля. Мне представилось, будто мы разведены, я живу одна, занимаюсь образованием этой девочки: учу ее всему, что знаю сама. Нет, вот это уже настоящая безумная фантазия.

Сабире робко приглашает меня к себе.

Отказаться — невежливо.

Побывала у нее. Разумеется, она выбрала такое время, когда Ибрагим-бея не было дома.

93

Снова ездила к Сабире.

94

Опять я у Сабире. Случилось! Но я не хотела этого, нет, не хотела!

Мы с ней сидели в гостиной, когда вошел Мишель. Не думая о правилах хорошего тона, я быстро встала и ушла в коридор, прошла в комнату Сабире. Когда проходила мимо него, он посторонился как-то испуганно. Мне стало больно. Когда я увидела его, живого, его лицо, зелено-голубые глаза, каштановые волосы, мне захотелось, не думая ни о чем, снова припасть к его груди, уткнуться губами в светлую подмышку, на которой растут бледно-коричневые волоски.

Любовь — это ужасно. Если можно любить человека, торгующего наркотиками, значит, можно любить вора, убийцу, насильника...

В комнате Сабире я, задыхаясь, ухватилась за ручку двери. Я не открою!

Шаги. Но это были женские шаги. Сабире приблизилась к двери и робко, растерянным полусшепотом, обратилась ко мне:

— Наджие, открой, пожалуйста. Никого нет.

Я вдруг осознала весь комизм ситуации. Я стою в комнате Сабире; можно сказать, не впускаю ее в ее же комнату, а она робко умоляет меня открыть дверь. Я отпустила ручку двери. На меня напал какой-то странный громкий смех. Я не в силах была сдерживаться. Я сама испугалась. Открыла дверь и вышла к Сабире.

Я смеялась, смеялась и не могла остановиться. Прежде я думала, что истерика бывает только в романах.

Сабире сама принесла мне стакан воды. Она была очень деликатна, ничего не говорила. Мы остались в ее комнате.

Когда я успокоилась, Сабире смущенно сказала:

— Он просил передать тебе книгу... сказал, что ты хотела это прочесть. Сочинения какого-то врача...

Она даже немного запинаясь. Очень было не похоже на обычную, уверенную в себе Сабире.

Конечно, я должна была сказать твердо, что никаких книг от него не возьму. Но я почувствовала, что твердо не получится, получится резко, истерично. И я действительно хотела прочесть этого Фрейда. Возьму, прочту и верну книгу Сабире.

— Хорошо,— сказала я.— Потом вернешь ему книгу.

— Да, да,— покорно и смущенно отвечала Сабире.

95

Читаю. Это переведено с немецкого на французский. «Психопатология обыденной жизни» и «Три очерка по теории сексуальности».

Когда я прочла уже первые несколько страниц, мне стало стыдно; я подумала, а вдруг он нарочно дал мне эту мерзкую книгу. Он просто хочет соблазнить меня, самым что ни на есть вульгарным образом. И Сабире. Она снова обманула меня, снова пригласила его как раз в тот день, в тот час, когда я должна была быть у нее.

Но, подумав, я отбросила излишнюю подозрительность. Я ведь сама тогда хотела почитать этого Фрейда. Я просила, чтобы он дал мне эту книгу. Он — друг дома и мог без приглашения прийти к Сабире; ведь он знал, что в такие часы у нее обычно бывают гости.

И ведь эта книга — не бульварный роман, а сборник научных трудов.

Я стала читать спокойно. Много моментов показались мне правдивыми.

Закончив чтение, я решила завести книгу Сабире. Если не застану ее, просто оставлю книгу. Предупреждать о своем визите не хочу, тогда она наверняка снова позовет его.

96

Сделала, как задумала. Сабире и вправду не оказалось дома. Но в гостиной сидел он.

Разумеется, это не могло быть случайностью. Возможно, меня просто выследил Сабри.

И горничная сказала мне, что хозяйка скоро вернется и просила подождать в гостиной.

И он там сидел. Тоже ждал Сабире.

Я должна была положить книгу на стол и уйти. Пусть это невежливо, неприлично, но это было бы спасением. Почему я не сделала этого?

Нет, вовсе не потому, что мне хотелось обнять его, прижаться, смотреть на него. Во все не потому.

Мне хотелось поговорить о прочитанной книге. У меня уже накопилось так много мыслей, выводов, возражений. И я отчетливо сознавала, что поговорить я могу только с ним. Мне хотелось, чтобы он убеждал меня, возражал, соглашался.

Если бы я могла поговорить, обсудить труды этого Фрейда с кем-нибудь другим, я не думала бы о нем. Но ведь у меня никого нет. Если о романах еще можно худо-бедно побеседовать с моей Сабире, то уж Фрейд ей, нет, не то чтобы не понять, а не воспринять. То есть, это просто вне ее восприятия, это ей неинтересно. Или она восприняла бы это как-то вульгарно.

Он встал мне навстречу. Я опустила голову, чтобы не смотреть на него, тихо прошла мимо него к столу, положила книгу. Но я уже знала, что если он остановит меня, я не уйду. И знала, что он остановит меня.

— Мне интересно было бы узнать ваше мнение, — произнес он тихо и с какой-то покорностью в голосе.

Я остановилась у стола. Я понимала, к чему это может привести, если я заговорю с ним. Но я заговорила совсем не потому, что хотела возобновить с ним интимные отношения. У меня действительно было сильное желание высказать ему свое мнение о Фрейде. Но все это было мучительно, я почувствовала внутреннюю дрожь.

— Фрейд в чем-то прав, — заговорила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. — Все эти телесные желания и их удовлетворение, конечно, играют важную роль в человеческой жизни. Сначала я была возмущена, захлопнула книгу, но, углубившись в нее, я во многом согласилась с этим австрийцем. И все же — то, что он пишет, унижительно для человеческого достоинства. Получается, что все, что в человеке есть нравственного, просто искусственно внушено ему для подавления этих телесных инстинктов. Мне кажется, в этом Фрейд не прав. В человеке присутствует врожденное нравственное начало...

— Но ведь это теория врожденной нравственности — так называемый нравственный императив Канта! — перебил меня он.

Он посмотрел на меня. Во взгляде его читался интерес. Это был интерес к моим словам, к моим мыслям, а не к моей внешности. Я почувствовала гордость.

— Врожденное нравственное начало, — продолжала я, — мы сами попираем это чувство, заглушаем его голос. Мы это де-

лаем так успешно, что, по-моему, нет особой нужды конструировать для нашего оправдания какие-то теории врожденной сексуальности, вроде теории Фрейда.

Я говорила с горечью. Я уже знала, что я не устою. И во-все не потому, что так уж силен голос плоти, просто, во-первых, я недостаточно нравственна, не умею сдерживаться, обуздывать свои желания; например, когда мне хочется сладкого, я принимаюсь есть конфеты и съедаю чуть не целую коробку. А во-вторых... Вторая причина проще — если бы я знала, что за связь с Мишелем меня уволят со службы или лишат имущества, я бы сдерживалась; а так я знаю, что мое безнравственное поведение останется безнаказанным. Слишком богата и защищена, и слишком безнравственна — вот какой диагноз я себе ставлю.

О немецком философе Канте я что-то читала, но с его трудами я незнакома. Сейчас, когда вдруг оказалось, что моя мысль о врожденной нравственности в чем-то совпадает с этой его теорией нравственного императива, мне стало приятно.

Оба мы стояли. Он помолчал немного, затем сказал:

— Трудно возразить что-нибудь на ваши аргументы.

Я ничего не отвечала.

«Все равно! — думала я и чувствовала, что вот-вот начну дрожать, как в лихорадке. — Все равно! Я знаю, что сейчас произойдет. Мы будем говорить о Фрейде. Потом перейдем еще на какую-нибудь тему, тоже что-то такое о науке или о литературе. Потом договоримся о встрече; для того, чтобы поговорить, просто поговорить. Постепенно наши разговоры сделаются насквозь лживыми, эти разговоры просто будут маскировать наше обоюдное желание интимной близости. Затем... Затем после всей этой лжи мы сблизимся снова, как прежде...»

Я не хотела так лгать, не хотела. Я должна была никогда больше не встречаться с ним. Это было бы правильным, единственно правильным решением. Или... Я предпочла второе...

Я быстро подошла к нему. Он раскинул руки. Я ощутила теплый нежный запах, исходящий от его лица и шеи. Крепко обнявшись, мы целовались лихорадочно-быстрыми поцелуями.

97

— А теперь уйди, — сказала я, — мне неприятно думать, что если я уйду первая, ты останешься и будешь говорить обо мне с Сабире. Вероятно, ты все расскажешь ей.

— Я больше никогда не буду говорить с ней о тебе. Если она будет спрашивать, я буду пресекать ее расспросы.

— Хорошо. Но все равно уйди. Я тоже сейчас не стану дожидаться Сабире. Я оставлю книгу и уйду после тебя. Потом Сабире передаст тебе книгу.

— Мы увидимся? — он снова был смущен.

— Хорошо, — коротко отвечала я. — Но у тебя — больше никогда.

Он проглотил слюну, как ребенок, который напряжен перед тем, как совершить решительный поступок.

— Я найду квартиру, — медленно произнес он. — Хорошую. Я дам тебе знать. Сабри принесет записку.

Я кивнула.

Дома, в своей комнате, где можно было все обдумать, я поняла, что эту «хорошую квартиру» он наймет на деньги, вырученные от продажи краденого морфия.

Я прижала ладони к разгоревшимся щекам.

Я безнравственна. Я не унижусь до того, чтобы оправдывать свою безнравственность. Что делает человек, когда понимает, что его поступки — дурны? Наверное, как я, — сначала пытается бороться с самим собой; а если уж проигрывает в этой борьбе, то просто плывет по течению, — тоже, как я. По течению, которое затягивает в омут.

98

Он нашел великолепную квартиру. В прекрасном районе, в Шишли. Большой каменный дом. Третий этаж. Мраморная лестница. Квартира не так уж велика. Спальня, гостиная, кабинет. Ванная комната облицована голубыми плитками. Мебель, ковры, обои — все он подобрал необыкновенно тщательно. Даже не могу себе представить, сколько это могло стоить при нынешней дороговизне. Потом мне пришлось в голову, что все это куплено на морфий; все эти дорогие, изящные и красивые вещи принадлежали людям, пристрастившимся к морфию.

Когда я впервые вошла в эту квартиру, я была поражена. Конечно, он проявил бездну вкуса. Никогда прежде я не жила в такой обстановке. Все это — ради меня. Я даже почувствовала что-то вроде благодарности. Наверное, любовница разбойника, которой он надевает на шею краденое ожерелье, тоже испытывает подобное чувство. Я всю свою жизнь окружена бесчестными людьми — отец, Джемиль, М. (снова называю его так). Иные из этих людей любят меня — М. и отец, иные добры ко мне — Сабире. Мне стало жаль М. Я чувствую

себя так, будто я — сообщница преступника и вместе с ним стою на эшафоте. Холодно, ветрено, пасмурно. Спасения нет. Все мучительные сомнения, угрызения совести — позади. Осталась одна лишь жалость — к себе и к нему, потому что я знаю — мы оба погибнем.

Вот какие мысли и чувства овладели мной в чудесных светлых комнатах. М. смотрел на меня печально, покорно. Он любил меня.

— Не надо было всего этого, — я тихо повела рукой.

— Это ничтожная малость, — он отвел глаза. — Ты сама не знаешь, чего ты достойна. Тебе нужен не такой человек, как я.

— Какой? — голос мой звучал почти безжизненно.

— Такой, который соединил бы невероятное богатство с невероятным умом и невероятной тонкостью чувств. Гарун-аль-Рашид.

— Благородный разбойник. Орбазан из сказок немца Гауфа, — грустно заметила я.

— Такого человека, вероятно, просто нет. Он не существует.

— Он не может существовать. Значит, удовольствуюсь тобой, — я произнесла это с горечью и улыбнулась ласково.

Он бережно взял мою руку и нежно приложился губами к тыльной стороне ладони.

99

Эту квартиру следует описать более или менее подробно. Дом пятиэтажный, изогнутая кровля, наверху примостились какие-то лепные фигуры в античном стиле; двусветные окна, балконы с фигурными решетками.

В гостиной поблескивают шлифованные стекла буфета, прямоугольного, с металлическими накладками и вставками. В кухне — дубовый резной посудный шкаф. В спальне — резной сундук, изящный шкаф с цветочным орнаментом на дверцах. В каждой комнате пол устлан дорогим персидским ковром. Настенное зеркало в спальне вставлено в черную лакированную раму с позолоченными фигурами. В кабинете — серебряный писчий прибор. На стене в гостиной часы отбивают время каждый час, бронзовый орел распростер над циферблатом широкие перистые крылья. Прекрасная пышная люстра — молочно-белое стекло. На письменном столе — очаровательная лампа — изящно изогнутая женская фигура удерживает большой цветок лотоса.

В гостиной — обои — золотистые гирлянды стройно вьющихся стеблей на фоне цвета бледной охры. Широкий дере-

вянный стол и стулья с подлокотниками — простые легкие прямоугольные формы. Посреди стола — вытянутая стеклянная ваза с изображением красно-коричневых цветов — работа модного французского художника-стеклодува Эмиля Галле.

В спальне — обои в тонах зеленоватого луга, чуть оживленного бледно-лиловыми тюльпанами. На столике в спальне — две смело-округлой формы вазы — это Тиффани — не менее модно, чем Галле. Этот туалетный столик и небольшой стул без спинки — полированные, на округло изогнутых ножках; зеркало ромбовидное.

Письменный стол в кабинете — так же изящен и современен, как и все остальное.

Сейчас я одна в квартире. Часы в гостиной только что пробили двенадцать. К четырем придет М.

Пишу в кабинете.

М. сказал мне, что вся обстановка этой квартиры принадлежит мне. Я спросила, на его ли имя снята квартира. Почему-то я подумала, что, возможно, и не на его. Он ответил, что на имя Ибрагим-бея. Мне сделалось неприятно. Знает ли Ибрагим-бей, что в этой квартире бываю я? Впрочем, это уже не имеет значения.

Телесная близость с М. стала для меня чем-то наподобие наркотика. Наверное, человек, пристрастившийся к морфию, так же ведет себя, как я; то есть не думает, хорошо или дурно его поведение; ему нужен морфий — и все!

100

Когда я приезжаю в эту изящно и современно обставленную квартиру, я словно перехожу в другое измерение времени. Может показаться, что нет войны, что оба мы — я и М. — одиноки, свободны, независимы; что за окнами вовсе не наш город — взъерошенный город страны, ведущей войну, — а что-то голландское восемнадцатого века — тишина, чистота улиц, опрятные мостовые и заостренные черепичные крыши.

В этой квартире мы беседуем и спорим на самые рискованные темы. Теперь наши споры не кончаются безобразными скандалами, нелепым уродливым выяснением отношений между мужчиной и женщиной; как было при нашей первой размолвке из-за стихов этого армянского поэта Кучака. Теперь М. обычно говорит мне тихим покорным голосом:

— Прости, я не могу согласиться с тобой.

Это значит, что у него нет аргументов. Но соглашаться он не желает. Что ж — это его право.

Вчера М. привез картину для гостиной — это не подлинник — репродукция. Немецкий художник фон Хофман, карти-

на называется «Весенний ветер». По берегу моря идут трое — обнаженный юноша и две полуобнаженные девушки, которых он обнимает за плечи. Одежды их развеваются — ощущение ветра передано. Казалось бы, на картине изображены трое очень свободных людей. Но что-то насильственное мне видится в том, как они решительно движутся в ногу; в том, как уверенно руки юноши обхватывают плечи девушек. Словно этих людей насильно заставили быть свободными. Но если так, то это уже не свобода.

М. спросил меня, понравилась ли мне картина. Я ответила, что да, и художник современный, и картина хороша в нашей гостиной. М. подарил мне прелестный роговой гребень — теплые янтарные оттенки, сверху — фигурка обнаженной зеленоволосой девушки в голубоватых, оттененных золотом волнах. М. почти каждый день, когда мы встречаемся, привозит мне цветы (и откуда берет поздней осенью?) и подарки. Мы сидели за столом, я положила гребень перед собой и любовалась.

Я ничего не сказала М. о своих мыслях относительно картины. Мне не хотелось огорчать его; ведь он мог бы подумать, что я не одобряю его выбор.

Но разговор как-то незаметно перешел на проблемы свободы и несвободы. Я сказала, что многие войны, развязанные с целью разрушения того или иного государства, пропаганда выдается за освободительные. М. ответил, что не может согласиться со мной и привел в качестве примера армянские волнения при Абдул Гамиде, последнем султани.

— И какую цель могли и могут преследовать армяне? — задала я риторический вопрос.

— Освобождение, создание собственного независимого государства, — сдержанно ответил он.

— Освобождение, независимое государство, — я посмотрела гребень на свет и вновь опустила осторожно на гладкую столешницу, — все это не более чем цветистая фразеология. Государство — это взяточничество чиновников, интриги политиков. Уверена, что ни ремесленникам вроде твоего отца, ни врачам, адвокатам, музыкантам вовсе не нужно это отдельное армянское государство. И даже если оно возникнет, оно просуществует недолго. Но если кучка амбициозных и яростных интеллигентов посулит своим единоплеменникам в случае возникновения этого государства, Бог весть какие блага, люди могут начать действовать; действовать нелепо, хаотично, бессмысленно. И эти действия закономерно приведут их к гибели. Тогда яростные интеллигенты (разумеется, многие из них ухитрятся уцелеть) начнут вопить о жертвах, о гибели борцов за свободу...

М. начал излагать мне то, что он называл армянской историей; пытаюсь таким образом обосновать некие права армян на создание собственного государства на нашей турецкой территории. Мне трудно было судить, из каких источников он все это почерпнул, но все это показалось мне достаточно шатким и полным неточностей и натяжек.

Итак. Небольшую область в верховьях реки Тигр в древности занимало государство Урарту, население которого современные армяне без особых на то оснований считают своими предками. Далее эта территория принадлежала персам-ахеменидам, Риму, снова персам, Византии. Современные армяне называют себя «хай». Слово «армина» — персидское и, кажется, обозначало не народность, но местность.

М. всячески пытался развить миф о маленьком государстве, преследуемом безжалостными врагами. Но концы с концами не сходились. Армяне проживали по всему миру — в Италии, во Франции, на Балканах. Они исповедуют какую-то особую разновидность христианства, поэтому остальные христиане относятся к ним с настороженным презрением. Нуждались ли эти сектанты в собственном государстве, не знаю; но, во всяком случае, они его не имели. Когда Российская империя обратила свои взоры на Кавказ, где ей пришлось соперничать с персией и османами, российские дипломаты весьма искусно разыграли «армянскую карту». Армянских интриганов поманили пряником создания собственного армянского государства. И уже в начале восемнадцатого века некий Израэл Ори принялся восхвалять Россию в надежде на то, что русская армия урвет кусок территории у персов или османов, и богатые армянские торговцы смогут на этой территории под крылом могучей Российской империи осуществить свои честолюбивые замыслы создания армянского государства.

Армянские купцы переселялись из слабеющей Персии в обширную, все усиливающуюся Российскую империю.

Впрочем, когда в 1829 году русская армия захватила Эрзерум, вскоре выяснилось, что Россия вовсе не намерена давать волю армянским амбициям. На графа Паскевича, российского администратора, армянские «политики» начали поглядывать косо.

В сущности, дело было в том, что желания этих, с позволения сказать, «политиков» не совпадали с устремлениями прочих армян. Россия уладила междоусобицы многочисленных племен Кавказа, сильная власть способствовала процветанию городов — Тифлиса, Баку. Армянские коммерсанты чувствовали себя в Российской империи так же вольготно, как и в Османской. Обширные государства представляли обширное поле деятельности. Покупка дворянских российских титулов и имений, роскошные особняки в столицах — в Москве и Пе-

тербурге, огромные состояния, нажитые бакинскими и тифлисскими армянами. Вероятно, не возникало особого желания менять эту привольную жизнь на тяжкое существование в «собственном» маленьком государстве. Но Россия еще не завершила свои завоевания. Балканский полуостров по-прежнему привлекал ее честолюбие. Поэтому она исподволь подкармливала армянские амбиции; это, конечно, касалось армян, живших в Османской империи. В Москве даже появилось некое учреждение, якобы занимавшееся изучением восточных культур. Кучка самых состоятельных российских армян вкладывала деньги в это учреждение; даже улица, где оно находилось, именовалась Армянским переулком. Разумеется, помимо «изучения» это научное учреждение занималось подготовкой армянских шпионов и подстрекательством армян, живущих в турецких землях. Интересное само его название — Лазаревский институт восточных языков, в честь богатейших армянских купцов Лазаревых, стяжавших на службе у России дворянские титулы и несметные богатства.

Думаю, создание армянского или еврейского государства в принципе невозможно. Подобное государство мыслимо только в том случае, если какая-нибудь богатая держава — Российская империя, Англия, Америка — искусственно это государство создаст и возьмет на содержание, используя само его существование для ослабления арабских и кавказских мусульман. Это были бы маленькие государства, в которых покровительствующие им великие державы по мере возможности препятствовали бы развитию крайнего деспотизма, иначе, дай им волю, и эти крохотные государства могли бы совершенно дискредитировать себя. Любой своеобразно и интересно мыслящий еврей или армянин, очутившись в подобном государстве, будет стремиться всеми правдами и неправдами выбраться оттуда.

Все это я сказала М., рассмотрев факты, которые он мне сообщил.

Разумеется, он тотчас задал вопрос, почему я считаю возможным существование турецкого государства.

Я ответила. Он не согласился, хотя и не смог мне возразить.

Суть моего ответа сводилась к следующему. Османское государство в XIV веке возникло на Балканском полуострове в период ослабления, разброда и еретических движений, охвативших и Византию, и Сербское княжество, и оба Болгарских царства. Сейчас Османская империя разрушена, но Турция наследовала саму идею государственности, само это «умение жить в своем государстве», пусть даже небольшом. Представить себе нечто подобное на Кавказе просто невозможно. Если на Кавказе не будет сильной руки — российской, турец-

кой, английской — он снова превратится в арену кровавых нескончаемых междоусобиц.

Тогда М., конечно, заговорил о том, что армянам необходимо государство для защиты от неких «преследований». И, конечно, мы вышли на армянские волнения в Зейтуне и Сасунских горах при Абдул-Гамиде.

— Миш,— сказала я,— но ведь все дело в том, что Россия желала бы захватить ту территорию, которую можно назвать северо-восточной частью Азиатской Турции, в то время как территории Европейской Турции она с удовольствием отдала бы на растерзание болгарам или грекам. Поэтому Россия готова инспирировать и финансировать все что угодно — армянские волнения, македонские выступления. Она преследует свои цели, и почему бы ей не натравить греков и армян на турок.

— Но ведь правление Абдул Гамида II не случайно было названо тираническим.

— Но даже самое либеральное правительство будет подавлять выступления, направленные против целостности государства. Любые репрессивные действия всегда будут лишь ответом. Ты же умный человек, неужели ты не понимаешь, что в эту кровавую игру под названием «национально-освободительные войны» можно играть до бесконечности. Можно выдумать македонцев, назвав этим именем давно исчезнувшего племени часть болгар и греков; можно потребовать для этих «македонцев» создания государства; можно ратовать за создание двух армянских государств — восточного — на Кавказе и западного — в Турции. Много чего можно. Получается замкнутый круг — для того, чтобы «бороться за свободу», необходимо иметь повод в виде пресловутых «преследований». Но никаких преследований армян за то, что они армяне, в Османской империи никогда не было. Значит, любая попытка пресечь искусственно инспирированные выступления, направленные против целостности государства, всегда может быть названа красивыми словами: «зверства», «кровавые преследования», «жестокое подавление».

101

В тот день мы остались в квартире на ночь. Перед сном я ушла принимать ванну. Он ждал меня в спальне. Сел на постели, когда я вошла, чувствуя себя освеженной, в махровом голубом халате, убрав под косынку, завязанную сзади на затылке, влажные волосы.

Он сказал, что я прелестна; что с этим чистым ярким лицом, с этими темными огромными глазами под густыми черными бровями; в этой косынке — я похожа на девочку из анатолийской деревни.

Я видела деревни, я испытывала чувства стыда и вины при виде грубых, плохо одетых деревенских жителей. Женщины в деревне вынуждены с малых лет тяжело трудиться, и это рано губит их красоту.

Я хотела было сказать М. об этом, но вдруг подумала, что ему это чуждо, и не сказала.

Он посмотрел на меня, как я стояла у постели, грустно улыбнулся и задумчиво заговорил:

— Ты очень странная — я не устану повторять. Ты — это ты, прелестное одинокое существо; но вдруг ты начинаешь говорить, словно пророчица, холодная, отстранившаяся от всего в этом мире, ставшая над всем; и тогда я просто пугаюсь. Так странно то, что ты, произнося все эти острые и мрачные суждения, остаешься собой — чудесной наивной девочкой. Мне не хочется спорить; я так люблю тебя, что порою мне кажется, если бы смерть от твоей руки, я с такой радостью принял бы смерть.

Он снова улыбнулся, так открыто и мило; привлек меня на постель и начал ласкать.

Я чувствовала к нему такую жалость и нежность, что едва сдерживала слезы.

102

Я запомнила то, что он сказал о смерти. Иногда мне начинало казаться, что это — единственная возможность. Уйти из жизни вместе. Одна я не решусь. Ведь он, должно быть, думал об этом, ведь и он заговорил о смерти.

Я не знала, решимся ли мы на это. Скорее всего, нет. Но как-то действовать в этом направлении мне захотелось. Иногда, заглянув в самую глубину своей души; я понимала, что хочу его самоубийства, только его, не своего. Я была в смятении, нервы напряжены, часто плакала. Нет, если бы он на это решился, я бы последовала за ним.

Мне надоело мучить себя. Я решила купить оружие — пистолет или револьвер. Если мы все-таки решимся. Почему-то самоубийство в моем представлении — это обязательно выстрел. Не утонуть, не отравиться — именно выстрел. Иначе это не настоящее.

Мне не с кем было посоветоваться. Я решила действовать по своему усмотрению.

Крытый рынок. Знаменитый истанбульский Капалы чарши. Там даже теперь, когда идет война, можно купить все.

Я надела темный чаршаф и отправилась. Долго бродила. Наконец заметила какого-то торговца оловянной посудой. Он показался мне доброжелательным человеком. Я осторожно осведомилась у него, где могу приобрести пистолет или револьвер. Он внимательно посмотрел на меня. Затем сказал приглушенным голосом, что может мне помочь; конечно, если я заплачу ему. В темной лавчонке он пошептался с каким-то другим человеком. Я даже немного испугалась. Но все кончилось хорошо. Мне продали пистолет с рукояткой, украшенной серебряной накладкой и сканью из серебра.

Я потратила все деньги, которые брала от Джемиля.

Пистолет я показала М. Мне понравилось, что он не стал задавать вопросов.

— Ты умеешь стрелять? — спросила я.

Он кивнул.

— Пусть это будет у тебя, — я протянула ему оружие.

Он нежно поцеловал меня в щеку и взял пистолет. Он сказал, что пистолет хорошей работы, австрийский.

103

Год кончается скверно. В боях при Сарыкамыше войска Энвера-паши потерпели поражение от русской армии. Погиб цвет военной интеллигенции. Войне конца не видно.

Я сижу дома. Повязала намаз-бези — головную повязку — только лицо открыто и кисти рук. Расстелила молитвенный коврик; умывшись, встала на колени. Я так давно не молилась. А ведь покойная тетя Шехназ учила меня. Когда я в последний раз открывала Коран? У меня хорошая память. Но в голове только сура «Аль Кыфирун» («Неверные»):

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Скажи «О вы неверные! Я не стану поклоняться тому, чему вы будете поклоняться, и вы не поклонитесь тому, чему я буду поклоняться. У вас — ваша вера, у меня — моя вера!»

Если бы я была такой мудрой! Если бы могла...

104

Ездил к Сабире, говорили на нейтральные темы. Бываю у мамы. О делах отца у мамы не спрашиваю. Она не жалуется, значит, у него все хорошо. Ни о чем не спрашиваю, газет не

читаю. Не хочу мучить себя бесплодными угрызениями совести. Джемил о разводе не заговаривает. С М. отношения прежние.

105

Помню, как совсем еще недавно мечтала, что вот, к лету куплю себе обтягивающий купальный костюм. Войду в магазин и другие женщины мне будут неинтересны, потому что мои собственные чувства будут переполнять мою душу...

Отвратительная суетность.

106

Весна. Армянские волнения. Зейтун, Сасун, Ван, Муш, Джалал-оглы...

Приехала к Сабире. Она меня пригласила.

В гостиной пришлось ждать. Сабире вышла встревоженная.

— Я не вовремя? — я встала.

— Нет, мы ждем. Пойдем в кабинет Ибрагима.

Ибрагим-бей тоже выглядел встревоженным. Его утонченное лицо побледнело. Он резко говорил с женой.

— Не надо, — попросила жалобно Сабире, — после...

— Нет, Сабире, сейчас! Ведь это все и Наджие касается. Ты и ее втянула, — он обернулся ко мне. — Я все знаю, Наджие. Но я виню Сабире, а не тебя, — он строго посмотрел на жену. Сабире опустила голову.

— Сабире, — продолжал Ибрагим-бей, — мы порываем всякие отношения с этим человеком.

Я поняла, о ком идет речь. Сердце сильно забилося. Мне было стыдно за себя.

— Ты должна знать, Наджие, — он говорил, не глядя на меня, — Пилибосян втянул мою жену в аферы со сбытом краденого морфия. Я пошел у нее на поводу. На кого работал Пилибосян? Ночью в городе арестованы многие армяне, среди них даже депутаты парламента. Все они будут вывезены в Анадол. Речь идет о подпольной организации. Армянскими волнениями в Эрзерумском, Битлисском, Ванском вилайетах руководит некий Андраник Озаян, бывший Андраник-паша, ныне — ставленник русской армии. Но Россия заявила, что он действует без приказа, по собственной инициативе, и потому русское правительство не несет ответственности за его действия. Судите сами! Беженцы из этих районов рассказывают о

том, как части русской армии под его началом разоряют турецкие деревни, подстрекают местных армян. Ты должна все это знать, Наджие!

107

Не встречаюсь с М. Записок нет. Неужели Сабри останется с ним? Хотя ведь ему М. не сделал ничего дурного.

Знаю, что принято решение о высылке армян из прифронтовой полосы. Разумеется, это не касается Стамбула и Измира.

Вернулась с прогулки. Растерянная Элени сказала, что меня ждет «какой-то господин». Вхожу в гостиную. М.!

— Да,— сказала я ей,— это по поводу счетов из магазина. М. молчал. На лице — отчаяние.

— Что вам нужно? — тихо спросила я, когда Элени ушла.

— Наджие! Я... прошу о помощи!

— Я не собираюсь выдавать вас полиции, но я ничем не могу и не хочу помогать вам.

Он с отчаянием заговорил вполголоса о том, что высылка армян из прифронтовой полосы проходит ужасно, что при этом у них отнимают имущество, что женщины и девушки подвергаются насилию.

— Женщины, учившиеся во Франции, в Швейцарии!

— Что ты хочешь мне сказать? — холодно спросила я. — Что дикари-турки обрушились на несчастных армян, сражавшихся за свою свободу? Мы уже говорили на эту тему.

— Я люблю тебя, Наджие!

Мне было больно.

В конце концов он все же сказал, что его собираются выслать; возможно, арестуют. Ибрагим-бей отказался нанимать ту квартиру в Шишли. Но квартира еще не сдана. М. умолял, чтобы я наняла эту квартиру. Он хотел спрятаться там. Было мучительно смотреть на него. В его несвязные реплики о пресловутых «турецких зверствах» я не верила. Наверное, любовь это болезнь. Я была больна этим человеком, я мучилась любовью к нему, как лихорадкой. Я согласилась.

108

Когда он ушел, я заперлась у себя. Но пришлось впустить сконфуженную Элени. Ее сбивчивые объяснения должны были потрясти меня. Но мне было уже все равно. Я предчувствовала какую-то развязку, которая все решит.

Оказалось, Джемиль решил, что наш развод должен сопровождаться таким скандалом, после которого мой отец не посмел бы предъявить к нему никаких претензий. Джемиль нанял для слежки за мной родственника Гюльтер, жены нашего повара Мехмеда. Этот человек сумел выйти на Сабри, свел его с Джемилем. Каждый мой шаг был известен Джемилю. Все это Элени знает от Гюльтер.

— Простите меня, госпожа, я боялась и потому не говорила вам! — Элени заплакала. — Тот господин, который приходил сегодня; я знаю, кто он. Простите меня. Еще не поздно! Я должна предупредить вас! Только ничего обо мне не говорите!

— Нет, Элени, ничего. Я не сержусь. Спасибо тебе за предупреждение. О том, что это ты предупредила меня, я никому, конечно, не скажу. Иди и не беспокойся.

Элени с плачем кинулась целовать мне руки.

— Идите, Элени, идите, — я подумала, что очень редко обращаюсь к ней на «ты». Мне всегда казалось, что это некрасиво — обращаться к прислуге на «ты».

109

Я, Бора, сейчас знаю то, о чем Наджие-ханым узнала гораздо позднее. В последний раз я прерываю ее дневник своими рассуждениями.

Я думаю о далеком прошлом, о позднем средневековье. Сегодня многие европейские либералы любого феодала, стремившегося во имя своего мелочного честолюбия ослабить Османскую империю, отхватить кусок территории для себя; готовы объявить «борцом за независимость». А советские историки еще и попытаются доказать, что какой-нибудь мелкий князек вроде албанского Скандер-бега чуть ли не исповедовал социалистические идеалы.

А что сказать о Лале-девре — о попытке реформ? Или империя уже тогда была обречена?

Наша первая конституция... Лорд Биконсфилд, благодаря политике которого в Англии, во многом стало возможным дальнейшее возникновение турецкого государства.

Младотурок модно бранить. Я отношусь к ним иначе. Разумеется, провозглашенные ими лозунги справедливости, равенства не могли претвориться в жизнь. Османский идеализм (как и любой идеализм, вероятно) был обречен. Развитие демократии только развязывало руки амбициозным политическим деятелям армян и греков. Демократизацию посчитали

признаком слабости. Болгары, греки, сербы — все хотели разорвать на части великую империю. 1912 — 13-й годы — Балканские войны. Процесс образования собственно турецкого государства пошел! Угрюмый армянин Бедрос, правивший под именем Абдул Гамида II и свергнутый в 1908 году, был последним султаном, он правил почти тридцать лет. Кажется, он честно пытался отсрочить распад империи, «закручивая гайки». Но если империя состарилась, ей не поможет ничто — ни жесткость, ни мягкость; ни деспотизм, ни демократия.

Процесс развития и старения любой империи можно сравнить с процессом мужания и старения человека. Если бы какое-нибудь существо с другой планеты, для которого время идет в убыстренном темпе, посетило бы нашу планету, оно могло бы изумиться — вот прелестный младенец на глазах преобразается в дряхлого старца, вот цветущее государство растет и мужает, и вот через мгновение это государство распадается на множество мелких княжеств и республик, враждующих между собой.

Первая мировая война для нас затянулась. Революция 17-го года и последовавшая за нею гражданская война поставили под угрозу распада Российскую империю. Пришедшие к власти на Кавказе дашнаки выдвинули лозунг «Армения от моря и до моря». Эта новаявленная Армения, претендовавшая чуть ли ни на весь Кавказ и на значительную часть турецкой территории, объявила Турции войну. 1920-й год. Когда турки отстаивали целостность своего государства, армяне, объявившие им войну, называли это вновь «турецкими зверствами». С 1919-го по 1922-й год Турция снова «зверствовала», то есть отстаивала Малую Азию от претензий Венеселоса, главы греческого правительства, пытавшегося ни много ни мало восстановить владения Византийской империи. В этих изнурительных войнах выковывалось собственно турецкое государство. Уже не Османская империя, а Турция, Греция, Болгария.

Явился и лидер-идеолог этого собственно турецкого государства — Мустафа Кемаль-паша — Ататюрк — «отец турок». Выиграли мы или проиграли, когда османскую широту сменила психология граждан небольшой Турецкой республики? Думаю, ни то и ни другое, просто шел закономерный процесс.

Очередное закручивание гаек спасло Российскую империю от распада; вернее, я полагаю, отсрочило его лет на сто. Ататюрк установил дипломатические отношения с обновленной Российской империей, получившей новое название — Советский Союз. Армянские амбиции вновь пошли прахом. Но что бы ни случилось, России всегда будет выгоднее поддерживать Турцию, а не амбициозно-нелепых армянских «деятелей».

Советский Союз условно делится на какое-то количество псевдогосударств — условных республик. Думаю, отказ от российского деления на губернии — серьезная ошибка. В недрах этих псевдогосударственных единиц безусловно вызревают, как мухи в навозе, будущие тщеславные мятежники, готовые рушить великую империю и проливать реки крови.

Одна из этих псевдореспублик именуется Арменией. Андраника Озаяна, навлекшего несчастье на многих своих единоплеменников, вынужденных покинуть свои дома, в этой Армении почитают, но как бы несколько исподтишка. В официальных трудах русских историков имя Озаяна, генерала русской армии, пытавшегося создать из турецких армян «пятую колонну», не упоминается.

В этой Армении любят муссировать и мусолить «турецкие зверства в 1915 году». При этом называются несуразные цифры погибших при выселении из прифронтовых районов армян — миллионы. Хорошо, что не миллиарды. Доходит до трагикомических курьезов — черно-белую репродукцию с картины русского художника-баталиста Верещагина, изображающую рассыпанные в пустынной местности черепа, выдают за фотографию останков армян, погибших якобы от пресловутых «турецких зверств».

А теперь я прощусь с вами, оставив последнее слово за Наджие-ханым.

110

Я отправилась в квартиру в Шишли. М. тоже должен был прийти туда. Конечно, это авантюра. Я ведь никогда не сталкивалась с законом. Ему предписано выехать из города, он этого не сделал. Теперь он здесь, в этой квартире. Наниматель квартиры — я. Сколько времени он намеревается здесь скрываться? Что будет дальше? Чувствует ли он мою неуверенность?

Вот уже третий день мы не выходим из дома. Мне страшно оставаться и страшно уйти. Что предпринимает Джемиль? Вдруг моим родителям уже все известно? Я пришла сюда пешком. Просто падала от усталости. Вышла в зеленом чаршафе, потом свернула в один переулок, где, я знаю, можно пройти двором. Постучала в одну дверь. Сказала, что мне плохо, попросила воды. Какая-то пожилая женщина подала мне чашку. Я попросила позволения переодеть чаршаф. Сняла зеленый, завернула в бумагу, надела черный. Предосторожности. Хотя у меня не было ощущения, что за мной следят.

В квартире было по-прежнему как-то надмирно, вневременно. В гостиной били часы, бронзовый орел неподвижно распростер крылья над циферблатом.

Пришел М. Ключи он отдал мне и потому постучал. Я быстро открыла. В темном пальто он жался к стене. Я увидела его мягкие, чуть запекшиеся губы и потухшие глаза. В прихожей он как-то неуклюже снял пальто, остался в черных брюках и темном — под горло — пуловере.

111

Мы не прикасаемся друг к другу; мы оба сознаем, что этого делать нельзя.

Я стелю себе на диване в кабинете. Оставаться на ночь в спальне, где мы прежде... я не могу.

Он — подавленный, даже равнодушный. Есть почти не хочется — ни мне, ни ему. В первый день он молча прошел в спальню. Я приготовила кофе, понесла поднос. Дверь в спальню была открыта. Я увидела, что он спит на покрывале, не расстелив постель. Он выглядел измученным. Лежал на боку лицом ко мне, губы во сне чуть подрагивали. Я хотела уйти, но он почувствовал мой приход. Сел на постели с каким-то смущенным видом. Сидел с ногами на покрывале, привалившись к стене, ноги скрестил. Так он сидел в приморском домике Сабире, когда зашивал мою перчатку. Сейчас лицо у него осунулось, вытянулось, сузилось как-то и потемнело. Он посмотрел на меня, измученный и беззащитный, закрыл лицо ладонями и заплакал.

— Все, все потерял! — бормотал он сквозь плач.

— Не надо, не надо, — мягко повторяла я, поставив поднос на столик у кровати.

— Отец... мои сестры... там, в С., ты же знаешь, — он плакал громко, плечи его затряслись.

Я знала, что С. — это в Ванском вилайете, что это и есть прифронтовая полоса. Кто знает, как сложилась судьба его родных. Зачем этих людей соблазнили выступить против государства, гражданами которого они являлись? Ведь их обманули. Им внушали, что в армянском государстве им будет лучше, чем в Турции. Их поссорили с их соседями-турками. Во имя чего? Во имя того, чтобы горстка политиков плакалась где-нибудь в Париже: мол, вот, стремились создать армянское государство, а эти «звери-турки» не дали. Зачем они готовы проливать кровь своих единоплеменников, лишать их крова? Неужели им так трудно понять, что турецкая земля никогда не будет принадлежать им? Не будет!

Но я ничего этого не стала ему говорить. Может быть, и он был обманут; и он верил, что идет по пути свободы. Сейчас он действительно все потерял и я не хочу усиливать его мучения своими неосторожными словами.

Он начал бессвязно вспоминать о том, как спорили между собой его отец и дядя-болгарин. Дядя Димитр считал, что отец М. не должен уезжать из Болгарии и увозить детей, разве Болгария не родина ему... Отец М. в ответ горячился и толковал о каких-то якобы армянских землях; разумеется, не учитывая, что эти земли — не армянские, а турецкие, и что турки не отдадут своей земли...

— У меня,— громко шептал М.,— у меня была возможность выбора... Я мог бы... можно было... в Пловдиве... остаться...

Он вдруг замолчал, посмотрел прямо на меня широко раскрытыми, воспаленными до красноты глазами и слабо махнул рукой.

— Все это...— хрипло выговорил он,— все это — уже все равно! А то, что я потерял тебя; то, что я потерял тебя,— это конец!

Он действительно любит меня.

— Успокойся,— мягко сказала я, останавливаясь у двери,— я не враг тебе. Отдохни. После подумаем, что делать.

Я вышла из спальни. Я не стала говорить ему, что я тоже люблю его; люблю, несмотря ни на что. Я думаю, он и сам понимает это.

112

Идет четвертый день нашего затворничества. Вневременность (не подберу иного определения) нашей квартиры как-то успокаивает нас, отстраняет немного от всех проблем и мучений.

Сегодня в дверь позвонили. Мне передалось его страшное, паническое напряжение. Мы оба застыли: он — посреди гостиной, я — у двери в кабинет. Первый раз звонок прозвучал требовательно и длительно, затем еще несколько звонков, вслед за первым, легких, необязательных. Затем шаги по лестнице. Спускался один человек. Ушел.

Больше это не повторялось. Стены в доме толстые, а мы, разумеется, не шумим.

М. все больше сидит в спальне, на постели. Все в той же позе — привалившись к стене и скрестив ноги на покрывале. Я сажусь на стул у двери.

Иногда он просит разбитым голосом:

— Не уходи. Посиди еще. Страшно остаться одному.

Я молча выполняю его просьбу. Я говорю мало, но стараюсь, чтобы мой голос звучал мягко. Мне страшно жаль его. Как ему помочь? Может быть, надо было просить Ибрагим-бея? Нет, он не согласился бы.

М. говорит довольно много. Его одолевают бессвязные воспоминания. Он вспоминает своих парижских друзей, пловдивских родственников; пикники на Босфоре, поездки на Принцевы острова, прогулки по истанбульским улицам.

Положение скверное. После всего, что произошло, ему никто из его знакомых не поможет. Да и у его пациенток — не Бог весть какие влиятельные мужья. У него один близкий человек — я. Получается, что я как бы в ответе за него. Да.

113

Он постепенно приходит в себя. Теперь мне кажется, что он часто говорит одно, а думает и чувствует совсем другое.

Мы снова начали анализировать политическую ситуацию. Я недооценивала его самолюбие. Любое мое осторожное (я не говорю резкое) критическое замечание в адрес армян он воспринимает как направленное лично против него. Но и в этих моих критических замечаниях не кроется ли желание (вероятно, следует сказать «подсознательное желание») уколоть его? Неужели мы снова начинаем бессознательно ненавидеть друг друга? Иногда меня охватывает странное ощущение: мне кажется, будто он сознает, что не любит меня; и чтобы не мучиться этой нелюбовью, ищет во мне дурное... Находит, конечно...

Какие-то мелочные придирки, язвительные реплики. Вчера говорили о том, что у нас кончаются те немногие съестные припасы, которые имелись. Я искренне тревожилась, что же будет дальше, на что решиться, что предпринять.

— Что же нам делать? — сидя на стуле, я склонилась вперед, сплела крепко пальцы рук.

— Тебе что делать? — он говорил сдержанно-язвительно. — Ничего. Ты в любой момент можешь уйти. Я вообще не понимаю, зачем ты прячешь меня? Хочешь продемонстрировать мне свою доброту? Нравится чувствовать себя добренькой и щедрой! Это твоё стремление к театральным жестам...

Мне стало больно, потому что он сомневался в моей искренности. Надо было мне сдержаться; нет, заплакала. Или так и хотела показать ему свои слезы, чтобы растрогать, разжалобить?

Начался какой-то истерический сумбурный разговор. Вдруг он словно бы пожалел о своих словах, смутился, при-

нялся благодарить меня. Подошел как-то униженно горбясь, вид затравленный, протянул руку. Я отпрянула. Кисть его руки показалась мне скорченной, сморщенной, будто старческая; стало страшно. Я поняла, что он хотел поцеловать мне руку. Поцеловать униженно, как целуют руку покровителя. У меня возникло ощущение жути.

— Не надо. Все хорошо.— Я ушла в кабинет.

Он боялся, что я рассержусь и оставлю его. Но, может быть, я так думаю только потому, что хочу думать о нем плохое? Думать о нем плохое, чтобы оправдать себя?

114

Я сидела в кабинете, когда вдруг услышала неуклюжий удар об пол. Что-то тяжелое упало.

Я выбежала. Мгновенно поняла, где это произошло. Метнулась в ванную. Он лежал на плиточном полу, как-то странно скорчившись, и тихо стонал. Подбородок у него был немного ободран. Рядом валялась веревка, намыленная. Она сорвалась с крюка под потолком.

Я бросилась к нему. Наверное, он сильно ушибся и был сосредоточен на этих своих ощущениях телесной боли. Мне показалось, что он не воспринимает моих нежных слов; ведь слова эти не могут умалить телесную боль.

Но, кажется, я ошиблась. Он раскрыл зажмуренные глаза, посмотрел на меня и улыбнулся прежней — из нашего прошлого — улыбкой, ласковой и чуть смешной.

— Все-таки ты...— он поморщился от боли,— ты... все-таки...

Я поняла. Он хотел сказать, что я все-таки прикоснулась к его лицу, к рукам.

Я помогла ему подняться и дойти до постели.

— Приляг,— сказала я,— потом умоешься. И не нужно так делать.

— Это я нарочно,— он снова улыбнулся.— Это не настоящее.

115

То, что происходило после, я сейчас описываю по памяти. Давно не бралась за свой дневник. Странно: вот я сижу и пишу, будто ничего и не случилось...

В то утро я снова принесла ему кофе. Постучала в прикрытую дверь спальни.

— Да, да, сейчас,— откликнулся он.

Голос был бодрый.

Он поспешил открыть мне. Улыбнулся почти весело. Похудевшие щеки были гладко выбриты. Хлеба у нас уже не было; кофе, сахар, немного овощей, фасоль. Он наклонил голову набок, взял с подноса на столике чашечку кофе. Мне показалось, что глаза его просияли, как при самой первой нашей встрече.

— Ты очень красивая... так...— он повел рукой, глядя на меня.

Я была в белой простой блузке, в черной длинной юбке, волосы заплела в одну косу, перекинув ее на грудь.

Он выпил полчашки и протянул чашку мне.

— Допей, прошу тебя,— снова улыбнулся.

Я взяла чашку, допила, поставила на столик.

Мы стояли друг против друга.

— Я почитаю тебе того поэта, помнишь? Не будешь сердиться?

Я сразу поняла, что речь идет о том армянском поэте, из-за стихотворения которого мы когда-то поссорились. Я только имя его забыла. То есть забыла сейчас, когда пишу; а когда он говорил, тогда, может быть, помнила.

— Читай,— сказала я,— я не буду сердиться.

Меня не покидало ощущение, будто мы наконец-то нашли выход. И потому нам обоим так страшно и хорошо.

— Я никогда не исповедовался у священника,— начал он по-французски,—

Едва завидев священника,

я сворачивал с дороги.

Моя исповедальня, мой молитвенный дом —
грудь моей любимой.

Он смотрел прямо на меня и глаза его сияли, как тогда, когда мы впервые встретились.

Моя прекрасная, не мучай меня,

Моя душа гибнет от любви к тебе.

Давай найдем страну, где можно жить у всех на глазах
и ничего не бояться.

Давай уедем туда.

Останемся там.

До каких пор нам жить в страхе и ждать беды?

Я почувствовала, что слезы текут у меня по щекам. Он смотрел на меня этими сияющими глазами.

— Я знаю,— сказал он,— ты сейчас не будешь мучить меня, не будешь ничего говорить. Я в это верю.

— Да,— ответила я,— ничего не скажу. Верь.

Я была словно зачарована его сияющим взглядом.

Он подошел к постели, наклонился, вынул из-под покрывала тот самый пистолет, который я ему подарила. Я все понимала, знала. Серебряные украшения слабо поблескивали на рукоятке.

Он стоял передо мной с пистолетом в опущенной руке.

Я подошла к нему, твердо ступая; положила ему ладони на плечи и поцеловала в губы.

— Сколько выстрелов можно сделать? — спросила я, отходя к двери.

— Четыре, — он проверил, — но мне хватит одного.

Я смотрела, что он делает.

Почти в то самое мгновение, когда я осознала, что сейчас произойдет непоправимое, прозвучал выстрел. Это мгновение было долгим. Я уже не хотела, чтобы он делал это. Но я застыла у двери, молчала.

Выстрел был громким, резким. Он стрелял по-мужски, в висок. Тело его как-то странно, неестественно опустилось на постель. Голова запрокинулась. Я увидела красные глаза, выпупившие из орбит...

Потом я бросилась к нему, плакала, целовала ему руки и говорила ласковые слова. Лица его не помню. Он был мертв и теперь можно было целовать его. Кровь текла. Кажется, из ушей. Я запачилась.

Я все запомнила, как он делал.

Я не хотела смотреть на его мертвое лицо. Но я заметила, что ссадина на его подбородке уже побледнела.

Я взяла пистолет.

Я не хотела стрелять в висок. Ведь голова — это мозг, это разум. Нет. Страшно. Легче — в сердце, там — чувства, там любовь.

Я услышала этот громкий звук выстрела и почувствовала острую боль и внезапное онемение всего тела.

.....

116

Только через два дня Сабри, бывший слуга М., все же сумел выследить; правда, не меня, а М. Осторожно расспрашивая, он понял, что М. в Шишли. Сабри узнал, что квартира нанята мной. Человек, звонивший в дверь, был Джемиль.

Он поехал к моим родителям и все рассказал им. Он уговаривал отца и мать приехать в Шишли. Я представляю себе, как мучительно им было слышать все это. Вместе с Джемилем и домовладельцем они поднялись к двери. Домовладелец

подтвердил, что квартира нанята мной. На звонки в дверь никто не отозвался. Взволнованная мама начала громко звать меня.

— Наджие, доченька, открой! Это я! — мама заплакала; она почувствовала, что случилось что-то страшное.

О том, что пережили мои родители, увидев меня на полу, залитую кровью, у ног мертвеца, вытянувшегося на постели; я даже не могу говорить. Им было безразлично все — моя репутация, претензии Джемиля, дела отца... Лишь бы я осталась жива!

Я стреляла впервые в жизни. Выстрел пришелся не в сердце — в плечо. Я плохо прицелилась.

117

Разумеется, развод был легким для Джемиля. Отец не предъявил к нему никаких претензий. Наоборот — претензии предъявил Джемиль, он потребовал у отца большую сумму денег и еще какие-то требования были у него, связанные с их общими денежными делами. Отец безропотно согласился на все.

После развода Джемиль перевез к себе свою жену Матлюбе и маленькую Кадрие. Я была рада за них, когда узнала об этом. Я не хочу отягощать свою душу ненавистью. С меня довольно и этого мучительного чувства вины; я виновата перед мамой, я доставила ей столько горя; я виновата перед М., я должна была остановить его... Я виновата...

Но Джемилю показалось, что моя репутация недостаточно погублена. С его легкой руки против меня было возбуждено судебное преследование. Меня обвиняли в убийстве и в укрывательстве государственного преступника. Выяснилось, что М. входил в армянскую подпольную организацию, все-таки; прежде я не очень в это верила. М., бедняга...

Защищал меня один из лучших адвокатов Истанбула, его представил моему отцу Ибрагим-бей, это был его бывший однокашник по Галатасарайскому лицее.

Благодаря ходатайству этого человека меня не посадили в тюрьму, ограничились домашним арестом до суда.

Итак, меня обвиняли в том, что я прятала государственно-го преступника; а также в том, что я убила его, совершила убийство.

Это был громкий процесс. Речь защитника несколько раз прерывалась аплодисментами в зале. Он нарисовал яркую картину — я, интеллигентная молодая женщина, замужем за

человеком мрачным и необразованным, томлюсь и наконец решаю нанять квартиру, где могла бы спокойно читать, думать; внезапный звонок в дверь, я открываю и вижу человека с пистолетом; М. узнал у домовладельца, что квартиру нанимает одинокая молодая женщина, и хотел принудить меня спрятать его; испуганная, я согласилась; но, осознав, что для него все равно все кончено, М. убил себя; потрясенная самоубийством, боясь обвинений, я попыталась также покончить с собой. Отец заплатил домовладельцу, и тот скрыл от суда, что первоначально квартиру нанимал Ибрагим-бей. Сабри и Джемиль свидетельствовали против меня. Но свидетелями защиты выступили Элени, повар Мехмед, его жена Гюльтер. Они показали под присягой, что Джемиль следил за мной, всячески хотел очернить меня, чтобы облегчить себе развод. Адвокат заметил суду, что, возможно, Джемиль женился на мне по расчету; что Джемиль скрыл от меня и от моих родителей свой первый брак. Это повлияло на решение суда. Но Джемилю это особенно не повредило. Он уже прочно стоял на ногах и этот судебный процесс не поколебал его уже установившуюся репутацию в финансовом мире.

Я была оправдана.

118

И вот я снова в доме родителей; в той самой комнате, где я, девочка-подросток, упивалась книгами. Пишу, перелистываю страницы дневника.

Вскоре после суда — неожиданный визит Ибрагим-бея. Он приехал один, без Сабире. Сначала говорил с мамой. Отец еще не вернулся из конторы, я ушла на прогулку. Когда я вошла в комнату мамы, еще не сняв чаршаф, я застала ее оживленно и чуть смущенно беседующей с гостем.

— Наджие, милая, — мама искательно поглядела на меня. — Мы ждем тебя. Ибрагим эфенди...

Я поздоровалась с Ибрагим-беем.

— Я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня, — тихо сказала я.

Мама вышла, предупредив, что велит служанке приготовить кофе.

Я села. Но Ибрагим-бей стоял.

— Наджие-ханым, — он говорил с почтительностью, несколько даже удивившей меня, с какой-то чуть преувеличенной почтительностью, — Наджие-ханым, вы знаете, что я виноват перед вами. Я виновен и я не искупил свою вину в

полной мере. Мне стыдно, когда вы благодарите меня,— голос его оживился и немного задрожал.— Но есть и другое. Когда я увидел вас.. Меня пугала ваша непосредственность, я побаивался вашего своеобразия. Долг перед моим ребенком удерживал меня. Но теперь я понял, мы с Сабире должны расстаться. Дочь останется с матерью, но я буду заботиться о своем ребенке... Наджие-ханым! После развода с Сабире... Я прошу вашей руки! Ваша мать согласна.

Он резко наклонил голову.

Я подумала о тонких изящных чертах его лица. Если бы я любила его, если бы могла любить...

— Нет, Ибрагим эфенди,— мягко сказала я.— Вы не должны оставлять Сабире. Она не такая дурная женщина, она любит вас. Без вас она не сможет воспитать дочь. У вас будут еще дети. Простите ее. Для всех нас происшедшее будет хорошим уроком. И пусть никто не знает о вашем предложении.

— Сабире знает, я сказал ей,— тихо произнес он.

— Скажите ей, что я не согласилась, и помирится с ней, прошу вас!

Когда мама вернулась и узнала от меня, что гость уже ушел, она посмотрела на меня грустно и немного испуганно. Я обняла ее, как в детстве, и положила голову ей на грудь.

119

Когда же закончится эта война, охватившая весь мир? Никто не победит. Никто никогда не побеждает. Я хочу быть вместе с побежденными...

Наверное, когда-нибудь я встречу какого-нибудь человека, похожего на М. Внешне. Может быть, не совсем похожего, а только глаза или подбородок, или брови... Я пойду за ним...

Иногда ночью я просыпаюсь. Мне так ясно представляется М., как он сидит, скрестив ноги на покрывале, зашивает мою перчатку и напевает турецкие народные песни — амане...

Но я уже не могу плакать. Я молча лежу с открытыми глазами и тяжело бьющимся сердцем.

**Я ЦЕЛЮЮ ТЕБЯ
В ГУБЫ**

Предисловие

София Григорова-Алиева — современная болгарская писательница; одна из тех, кто стремится возродить болгарскую литературу, снова сделать ее полноценной европейской литературой.

Роман «Я целую тебя в губы» прошел тернистый путь от запретов на родине и преследования автора до успеха. Это произведение, рассчитанное на самый широкий круг читателей. Основная тема романа — мучительная ситуация в Болгарии конца 80-х годов нашего столетия, гонения на лиц мусульманского вероисповедания и даже просто на людей, носящих традиционно мусульманские имена, насильственная смена имен, обвинения в отравлении детей и т.д. Главный герой романа — ученый-историк, противостоящий страшной ситуации; не страшась обвинений в антипатриотизме, он видит свой гражданский и человеческий долг в гуманизме и честности. Роман — страстная исповедь его жены. Показывая жизнь одной семьи, автор передает силу духовной и телесной любви двоих, сложное бытие личности. Мужчина и женщина, Запад и Восток, тело и душа, страшная реальность и сверхъестественные способности — все это находит читатель в романе «Я целую тебя в губы».

Жан Дидье Вольфром, современный французский писатель, так отозвался о романе Григоровой-Алиевой: «Это не провинциальная литература, которую лишь снисходительно терпишь; это полноценная Европа, открывающая нам Азию».

София Григорова-Алиева (1948 г.р.) — поэтесса, прозаик, переводчица. Автор стихотворных книг — «Птицы на высокой башне», «Черный поезд»; повестей — «Доедем до Греции», «Ваня — женское имя», «Мое Средиземноморье»; романов — «Я целую тебя в губы», «Казначей», «Средиземноморская девственность», «Консерватория», «Фихтеанец», «Я — трамвай». Произведения писательницы переведены на французский, немецкий и турецкий языки. В болгарской периодической пе-

чати публиковались ее переводы современных французских прозаиков, а также рассказов русских писателей «Серебряного века» — А. Ремизова, М. Кузмина, С. Ауслендера. Книги С. Григоровой-Алиевой написаны в свободной манере, не стеснены гнетом идеологии, отличаются занимательностью и тонким психологизмом.

«АЛИ. Мое имя не всегда было Гонсальво.

ДОН ЭНРИКЕ. Да, я знаю. Ваше прежнее имя было не менее прекрасно. Вас называли Добрым Али».

Гейне «Альмансор»

Я все время об этом думаю... И о чем бы я ни думала, я все равно в конце концов начинаю думать об этом... В тот день я, кажется, встретила объяснение... в одной статье... какого-то Николая Мизова... Но это совсем нелепый и очень грубый текст... Политика в этом тексте подается так грубо и прямолинейно... Бессмыслица, конечно,— называть такой текст словом «объяснение». Но все равно... Сейчас я переведу эту цитату... Вот... И боюсь, я не сумею передать точно всю эту грубость и тупую прямолинейность... Значит, вот...

«...исламская именная система (заимствованная в основном у арабов и персов) использовалась османскими порабощателями в целях обезличивания обращенных в мусульманство болгар, в целях деболгаризации болгар...»*

Вот забавное словечко — «деболгаризация»!.. Значит, имена турецкой мусульманской традиции, такие как, «Хасан» или «Эминэ», обезличивают болгар. А греческие «Николай» и «Георги», еврейская «Мария», сербский «Стоян» не обезличивают их, так, что ли?.. Интересно, какие имена мы должны себе придумать, чтобы полностью болгаризироваться?.. Впрочем, кто мне сказал, будто я живу в мире, где имеет значение нормальная логика?..

А так, в сущности, мне хорошо. Больничная палата с одной кроватью, и я — одна. Мне хорошо. И стол стоит возле окна. Целый день можно читать, писать. Если только силы есть... Вчера приезжали Катя и Галя. Галя, кажется, испытывает что-то вроде чувства вины; ведь она всегда говорила, что я придумываю свой туберкулез, чтобы меня считали интересной. Это кто, чтобы меня считал интересной? Она, что ли?.. Наверное, она вообще думает, что если я двигаюсь; ну, хожу, говорю, значит, я здорова... Ну, а я двигаюсь, пока не упаду, вот я такая...

* Николай Мизов «В света на исляма» («В мире ислама»). София, «Народна младеж». 1987.

Мы стали говорить об этой автобиографии Жюльетт Греко. Я сказала, что мы очень смешно выглядим, когда читаем воспоминания какой-то удачливой развратницы и впадаем в умиление... Катя проямлила что-то о врожденном таланте. Галя заявила, что это просто мое стремление всегда быть не похожей на других и всегда иметь какое-то ненормальное мнение, нарочно... Я потихоньку начала горячиться...

— А.., нет! Просто все дело в том, что мы любим ложь, мы даже повсюду ищем ложь, со страстью ищем... Потому что мы не выносим правды! Нам всегда нравится какая-нибудь ложь, например, вот эта, о пресловутом «таланте, который пробьет себе дорогу», будто бы талант — это грузовик или танк!..

— А все-таки ты признаешь, что ей повезло, что она удачливая! — уколола меня Галя.

— Я признаю, что эта так называемая удачливость — прямо пропорциональна бесстыдству!..

Все спуталось... Мы начали ссориться... Но мне лучше, когда женщины говорят о политике, об искусстве, чем о такой грязи, как прерывание беременности... Эта Катя... Зачем она пришла?..

От Жюльетт Греко мы перешли к одному актеру — сейчас я даже забыла его имя... Катя видела его в этом спектакле — переделали в пьесу противный роман Антона Дончева «Время насилия»* — такое тенденциозное вранье о болгаро-мусульманах... Ей понравилось... — «Так будит во мне все болгарское!»... Что она понимает вообще? И что для нее значит само это понятие — «болгарское»?.. И бестактная она... Галя поджала губы; знает, что сейчас будет одна буря... Я уже бешусь и кричу, что Катя ничего не понимает; что именно таких мещан, как она, и пичкают этими грубыми шовинистическими поделками, потому что у них даже и капельки нужды нет в настоящем искусстве... Обиженная Катя возражает, что я всем навязываю эту свою проблему с переменной имен, героиню из себя строю...

— А эта С., которая замуж вышла за турка из Турции, лишь бы паспорт не менять... кто ее не знает!.. Спала с кем попало... И теперь тоже героиню из себя строит!..

— Нет! — меня совершенно взбесила эта мещанская логика. — Значит, по-твоему, то, что людям насильно сменили имена, это просто наказание для женщин, которые спят с мужчинами... Bravo!.. Чудесно... Пойдем, всем сменим имена!.. Пойдем!.. Нет, это не моя, это только твоя проблема! Я — жертва, а ты уже испачкана своим равнодушием; и как

* Антон Дончев «Време разделно».

тебе не стыдно находить эти мешанские оправдания безнравственности, бесчеловечности!..

— Я не политический деятель! Я ничего не могу сделать!— огрызнулась Катя.

— Только политические деятели нам нужны, эти обманщики, которые на нашей крови наживаются! Почему это мы сами не можем себя защитить?

— Наверно, потому что мы не обманщики,— иронически вставляет Галя... В сущности, она права...

И все... Немножко поговорили... Теперь мои приятельницы готовят салат... Вот люди... Привезли свежие помидоры... И чего я хочу от них? Чтобы они подняли восстание?..

У окна сидит молодая девушка. Это дочь Кати, Димитрина, «Диди» ее называют; ей девятнадцать лет, она студентка; химию, кажется, изучает или что-то другое такое, не знаю точно... За все это время, пока мы разговаривали, она не сказала ни слова, тихо так сидела; и мне казалось, что ребенок скучает... Я смотрю на нее. Диди немножко нервно сжимает и разжимает пальчики. Одежда у нее — один из современных стандартов — джинсы... Мне в этой девочке нравится ее какая-то непосредственность, она очень быстро говорит, захлебывается как-то по-детски, сбивается, глотает слова, и вдруг улыбнется так ярко... Вот совсем маленькие девчушки так говорят, мне случалось слышать... Она немножко взволновалась и обращается ко мне: «Пожалуйста... Вы только не обижайтесь... Я Вас очень уважаю... Но тех, других, которым поменяли имена... тех я не люблю... Они грязные... они преступники...»

Я даже и не возмутилась. Просто интересно слышать такое от милой девочки, которая к тому же пишет стихи, и неплохие...

— Полстраны грязных преступников? — спрашиваю я.

— Не полстраны. Только миллион.

— Но для нашей страны и самый маленький «только миллион» (подчеркиваю голосом) — уже много...

У меня нет такой способности: покорять, побеждать собеседника законченными отточенными репликами; я даже подозреваю, что такая способность бывает только в пьесах, вроде комедий Ростана или Уайльда...

— Но они... они хотели автономную республику...

— На основании общности вероисповедания? По такому принципу? Но по такому принципу не образуются автономные республики...

— Нет, по национальности, по национальному принципу.

— Но такого заявления никто не подавал, такой просьбы...

— Если бы подали, уже поздно было бы... Это был такой опережающий удар... эта перемена имен...

— Но в нашей стране мусульманство исповедуют люди разных национальностей: цыгане, турки, болгары...

— А если они болгары, почему у них имена не болгарские?

— А у тебя почему не болгарское имя?

— «Димитрина» — славянское имя!..

Я вздыхаю и объясняю ей, что означает греческое «Димитрина»...

Вдруг она почти выкрикивает:

— Я не хочу говорить об этом, не хочу!.. Мы, молодежь, приняли это совсем нормально... Только за границей все время это обсуждают... И вы... Не хочу!..

Да, я заметила... Люди не хотят об этом говорить... В чем дело? Инстинктивный стыд?.. А девочка кричит, кричит...

— Я не люблю их!.. Не люблю!..

— Но если ты их не любишь, разве это значит, что надо их мучить?..

А почему я говорю «их» вместо «нас»? Разве я что-то другое, отдельное?.. Галя сидит, поджав губы. Катя стоит, выправившись, в прямой опущенной руке у нее вилка, которой она размешивала салат... Теперь мы все молчим...

В конце концов мы все помирились, поели салатик и хорошо попрощались. Они ушли. Я осталась с апельсинами, пирожками и лимонадом... Не могу я их просить, чтобы они приходили чаще... У них ведь семьи, дети... В этой больнице я не от каверн умру, а от голода... Кормят очень плохо и очень однообразно... каждый день одно и то же... Каждый день...

Значит, нельзя говорить о каком-то национальном принципе, потому что речь идет о людях разных национальностей... О религии?.. Тогда можно говорить о мечетях — джамиях, они будут доведены до разрушения, а ведь они украшали эту страну... И не все исповедуют ту или иную религию, но имена есть у всех... Значит, просто если ты носишь имя, имеющее отношение к мусульманской традиции, тебя заставляют поменять имя... Значит, просто...

Прежде я думала, что если человеку предлагают пользоваться каким-то преимуществом по национальному принципу, он должен возмущаться и сгорать от стыда. А вот люди с удовольствием принимают эти преимущества; в их сознании легко утверждается мысль о том, что миллион других людей — грязные преступники...

И что во всем этом нового? Только одно — все это сейчас происходит, сегодня, и касается именно меня; и я не знаю, что мне делать...

Но... это все же интересно... Или нет... Конечно, я хочу сказать что-то другое, совсем другое... Значит, если мы захотим третировать, уничтожать и мучить какую-то «категорию» (пусть будет этот термин), какую-то категорию населения; мы должны объявить, квалифицировать этих людей как «грязных преступников»; мы должны верить, будто бы они в своей повседневной жизни совсем не могут испытывать те же самые чувства к своим женам, детям и так далее, какие и мы испытываем... Но при этом мы вовсе не думаем следующим образом: «они — грязные преступники, и поэтому мы должны наказать их мучениями»... О нет! Мы думаем: «Они ведь все равно грязные преступники, вот именно поэтому мы и получаем право мучить их». Эта их общая «грязная преступность», вымышленная нами, оправдывает в нашем представлении все наши действительно нечистые действия по отношению к ним. Значит мы почти неосознанно знаем, что поступаем плохо, мы неосознанно ищем себе какие-то оправдания...

Наверное, это Лазар сказал...

Я никому не нужна... Я совсем одна... Но почему я так боюсь? Почему я даже самой себя смущаюсь?.. Пусть мое воображение выйдет на свободу, пусть Лазар мне говорит, что он позаботится обо мне, о моих рукописях; что он приберется в комнате; что мне не надо вставать, и молоко он мне согреет... У меня так болит в груди... Это плевать... Вот я такая, боязливая, стесненная...

Или, может быть, так: я чувствую себя очень обиженной, брошенной; я спрашиваю его своим плачущим голосом, как он будет жить, когда я умру, ведь ему будет не хватать меня?.. И он отвечает тихо и с такой ранящей меня правдивостью: «Двадцать шесть лет я жил без тебя. И дальше буду жить». И этот тихий ответ бросает меня в такую безысходность, что я даже всхлипнуть не могу... Нет... Не надо так...

Я ни одной из Десяти заповедей не преступила... И все же... Я преступила человеческий закон... Я совсем одна... И некому за меня заступиться...

Что делать?.. Конкретно... Какие конкретные действия?.. Когда есть какие-то близкие люди, тогда вместе с ними что-то пытаешься сделать, на что-то решаешься... Вместе... У меня никого нет... Ни у кого никого нет... Все эти близкие люди — матери, друзья, дети — все это одна только мнимость... И мы ищем, ищем и не находим...

Пока у меня еще есть одно окно — чтобы броситься вниз... с двенадцатого этажа... А бывает такое, когда уже и нет никаких окон, и даже умереть не можешь по своему желанию, не можешь выбрать себе смерть... Пусть Бог меня сохранит от этого... И мне совсем не хочется, чтобы я лежала на асфальте разбитая. Мне хочется, чтобы я летела... Перелетела бы совсем в другой мир, где нет никаких практических расчетов, только любовь... Такая бесконечная любовь... Только любовь и справедливость... И чтобы у меня было такое белое платье и белое покрывало на волосах, в таком белом платье я хочу стоять с Лазаром... И чтобы эта белизна была не какой-нибудь пустой условностью, а правдивым настоящим знаком моей чистоты... Я хочу быть чистой...

Меня мутит от этих противотуберкулезных таблеток... я их не глотаю... Держу во рту, бегу в туалет, выплевываю и спускаю воду... Хорошо... И что со мной?.. Не могу себе представить, что эти таблетки и моя жизнь — как-то связаны... У меня эйфория... Озноб... слабость... Но я привыкла... уже давно... Лучше умереть по-человечески, на своей постели, от туберкулеза; а не в тюрьме или... даже и думать не хочу об одной такой смерти...

Прозрачное утро. Легкий-легкий прохладный туман. И видно сквозь него прозрачную зелень. Мы стоим немножко высоко, и вся равнина раскрывается перед нами. Лазар движется, как в замедленном фильме,— такие плавные замедленные движения. Я вижу его глаза; и вижу, что я кажусь ему красивой. Такие нежные и милые его глаза... Я слышу звучание его голоса. Не разбираю слов; не знаю, на каком это языке, но он говорит так мило, нежно и понимающе... Мы говорим о природе... Я признаюсь ему, что люблю природу только тогда, когда она не таит в себе никакой опасности, и значит, только в кино или в живописи, потому что в жизни я боюсь насекомых, собак боюсь; а больше всего боюсь, что на меня кто-то может напасть... Лазар отвечает мне, что теперь у

природы остается только ее прелестная красота, и никаких опасностей, потому что он со мной... А после — самое прекрасное настает. я закрываю глаза и слышу музыку его голоса, он мне рассказывает о себе, и без слов, только одним звучанием своего голоса, но я воспринимаю все черты, все оттенки его жизни, и слушаю, слушаю... Теперь все будет хорошо, потому что я с ним, а он со мной... Но почему я не могу наслаждаться всем этим? Почему я смущаюсь? По сути, ведь только потому, что не обладаю всей полнотой внутренней свободы... Только потому... Я смущаюсь самой себя, когда мечтаю о чем-то хорошем... Ничего!.. Все будет хорошо...

Мне очень нравится, когда петухи поют... такие детски-открытые возгласы, вскрикивания... и от них — радость и чувство свободы... И снова утро... И свет и теплота... Как хорошо!.. Лето...

В маленьком дворе шелковица распустила такую узорную зелень... Лазар стоит на одной толстой крепкой ветке и легонько покачивает дерево... Черные большие ягоды сыплются, падают и падают вниз. Он хочет, чтобы я их собирала; и смеется, смеется, и вдруг поднимает руки... А я не собираю шелковичные ягоды, я распрямилась и стою, и смотрю на него, и у меня большие и широко раскрытые глаза... Лазар голый до пояса, мускулы очерчиваются тонкие и округлые... Он тянется ко мне рукой... Большой жук вдруг прилетает на его раскрытую ладонь... Но я не боюсь... Я люблю жука, и шелковицу, и все, к чему прикасается Лазар... Лазар... Все очень хорошее потому, что мне девятнадцать лет, а ему — двадцать шесть... Как хорошо чувствовать свои волосы, распущенные по плечам; и чувствовать, что каждое твое движение нравится ему, радует его... Как чудесно и странно!.. И у меня теперь есть бумага с такими печатями... И потому я могу сказать: «мой муж»... Но это смешные слова... Потому что Лазар — это Лазар... Лазар... Лазар... И я могу целовать его, и ночью я всегда с ним... И никто ничего не будет говорить... Лазар... Мой Лазар... Я его люблю!..

Петух в соседнем дворе воскликнул, и мне стало так молодо и радостно, и время как будто удлиняется... Утро, полдень, день — и все вокруг замирает... Только мы с Лазаром тихонько бродим в старом доме и разбираем пыльные старые поломанные вещи... Лазар нашел одну такую резную подставку для Корана...

«Вот что осталось от прежнего могущества...» — произносит он как-то напыщенно... И сразу ему на самого себя ста-

новится смешно... А мне становится как-то мило и как будто бы таинственно...

— Почему ты смеешься?

— Так просто... смешно сказал... Я смешно сказал... Напыщенно... смешно... — и он спрашивает меня; не знаю, почему, шепотом, — Ведь ничего не осталось, правда?..

— Нет, Лазарь, — отвечаю я, и тоже шепотом почему-то; — Все осталось... Ты и я, мы остались... Ты и я...

Он меня обнимает и гладит по волосам... И я чувствую, что мои волосы красивые, как шелк...

Ну, чего же я все-таки хочу?.. Чтобы у меня был человек?.. мой?.. И чтобы я могла сбросить на его плечи весь этот тяжелый груз моих проблем?.. И чтобы я кривлялась и притворялась, а он чтобы хлопал в ладоши и покорно участвовал бы сам во всех этих сценах, где первая роль — моя?.. Хорошо... Нет, нет!.. Йок!..* Тогда что?.. Сформулируй... объясни...

Полы моего длинного халата как-то странно-ритмично то вскидываются, то опадают; я подымаюсь на третий этаж... На волосы накинула пестрый мамин платок... Наверное, с этими тремя кавернами я еще имею право мерзнуть и потому носить какие хочу платки... Я не могу запомнить лицо врача, оно как все остальные лица; но он совсем не равнодушен; потому что я — его больная, и если я умру — он все-таки будет отвечать... я прошу его отпустить меня сегодня в город, потому что у меня много работы в редакции. Все-таки, когда говоришь, что работаешь для редакции, тебя как-то немножко начинают уважать... Но я его обманываю... С тех пор, как я отказалась поменять свой паспорт, свое имя, значит, а потом все-таки смирилась и поменяла... С тех пор никакой работы мне в редакциях не дают... Так что я обманываю своего врача... Все это было глупо... Сначала я отказывалась менять имя; потом, конечно, поменяла... Но в редакциях меня больше видеть не хотят... Вот так...

Начинается один разговор с врачом... Я говорю о своей работе в редакции, он — о моем туберкулезе... Наконец он все-таки разрешает... Прямо какие-то соревнования, футбол!.. Команды «Чухотка» и «Редакция»... «Редакция» побеждает... В ее честь поджигают вчерашние газеты... «Мо-лод-цы!»...

Останавливаюсь в коридоре напротив большого зеркала... Очень темные глаза смотрят на меня... Глаза Балканского полуострова, глаза Европы и Востока — целого мира... Прекрас-

* «Нет» (по-турецк.). (Уок)

ные глаза — «Две хубави очи»...* Может, это и обо мне... И сейчас я думаю, что мои глаза совсем не такие некрасивые... Только ресницы стали немножко редкие... Или просто мне так кажется... Я прижимаю ладони к стеклу — там, где мои глаза... Глаза целого мира... Глаза моего Лазара... Вот мой Лазар... Немножко-немножко смуглое продолговатое лицо, и кадык совсем беззащитный на этой еще мальчишеской шее, и скулы немножко, так мягко выдаются, и нежные-нежные темные полоски на щеках после бритья, а волосы у него темные и не выщипанные... Я отступаю от зеркала и вижу два маленьких туманных следа, два таких тающих следа на этой странной зеркальной поверхности, там, где были прижаты мои ладони...

А теперь — быстро... Я оправляю постель... Чемодан — под кроватью... книжки, рукописи — все спрятано там... Хорошо... Беру одну сумочку... Туда кладу фотографию Лазара... Мы пойдем гулять, Лазарчо, пойдем в город... Лазар на фотографии согласен; конечно, в жизни он не может так легко соглашаться... Выхожу в большой вестибюль, надеваю пальто... Мне хочется пирожных и кино... Деньги у меня еще остались...

Туберкулезная больница за городом, надо ехать на автобусе... пасмурно и слякоть... Небо темное и низкое. Земля темная и грязная... Вдруг одна-единственная снежинка опускается на мою руку. Она такая хрупкая, тонко-светлая и узорная на черном искусственном шелке моей перчатки... Вот и весна... Один март приходит в мою маленькую страну, будто чудная старуха Марта, а покидает ее как молодой Лазар... с луком и стрелами... на коне... Так хочется мне верить, что хотя бы это — настоящий фольклор, а не какая-то выдуманная бутафория... Нигде в Европе; только здесь, в Болгарии, воскресенный библейский Лазар становится так сходен в своей праздничности с молодым Кришной... Я не была ни в какого Лазара влюблена... просто мне нравится это имя... не знаю почему... Потому что празднично; и молодой, прекрасный; приходит, покидает... Я читала... давно... если говорить по правде, то этот настоящий праздник Лазара давно забыт... Ну, хватит!.. Хватит пассаизма... хватит этой тоски по никогда не существовавшему чему-то прежнему... Тебе совсем не подходит!..

После кино я зашла в кафе. Молодая полненькая женщина сидела одна, а вокруг — толстые раздутые сумки. Я села возле

* «Прекрасные глаза» — «Две хубави очи» — известное лирическое стихотворение Пейо Яворова (1878-1914)

нее. Взяла кока-колу, мороженое и два пирожных... Вдруг что-то произошло... Входят два милиционера... Нет, не помню, двое ли их было... Но те, которые поднялись из-за стола и вышли вместе с ними, тех и вправду было двое... очень спокойно... Милиционеры вывели их из кафе... Что это?... Это арест?... Значит, я уже видела, как арестовывают людей... Как-то обыкновенно, как будто обычная повседневность... Эти двое были хорошо одеты... Улавливаю, как сквозь сон, что их арестовали, потому что они не сменили свои паспорта... А... Я поняла... Кто сказал это?... Рядом разговаривают несколько голосов... Я знаю, что в этих новых паспортах какие-то специальные пометки... Сердце у меня уже колотится до боли... Откладываю соломинку и пью прямо из стакана... Рука вздрагивает, коричневая жидкость выплескивается на юбку моей соседки... Я прошу прощения, как в лихорадке я... Она улыбнулась, легко мазнула рукой по ткани, юбка не сильно замочилась... Я тороплюсь сказать что-то обыденное, лишь бы она не начала разговор о том, что сейчас произошло... случилось... об аресте... Ее зовут Вера, и она кажется мне очень милой... Она и вправду очень приятная... Ездил за покупками по магазинам, и вот зашла сюда, немного передохнуть... Мы разговорились... Меня всегда тянет к таким женщинам... Они какие-то органически-естественно чистые, ничего грязного не говорят... И выглядят такими простыми и очень нормальными, но не примитивными и враждебными в этой своей простоте... А ведь есть и такие: враждебные, агрессивные в своей примитивности...

Она мне рассказала о своей дочурке Маргарите, которой полтора года... Так мило она рассказывает... Я немного успокоилась...

Теперь моя очередь быть откровенной... Я раскрываю свою потертую сумочку и вынимаю фотографию Лазара...

— Это мой муж... Здесь ему двадцать шесть лет. Когда мы с ним познакомились, мне было девятнадцать... Потому я эту фотографию берегу, всегда ношу с собой, теперь он, конечно, изменился немножко...

Вера с интересом смотрит на фотографию и находит Лазара очень красивым... Смотрит на меня с таким женским уважением: я не такая красивая, а вот какой красивый человек на мне женился... Она быстро поднимает голову и взглядывает на меня сосредоточенно... Я понимаю, что она искренне ищет следы этой так называемой «минувшей красоты»... Какая она милая!..

Я продолжаю быть откровенной...

— У нас трое детей. Мальчик и две девочки. Пока я болею, они у старшей сестры Лазара...

Вера согласна, что мужчине трудно было бы справляться одному с детьми... Она горячо сочувствует мне: трое детей — это и вправду много, и сколько забот!..

Я ей рассказала, что моего сына тоже зовут Лазар. Она немного удивилась: это не очень принято, чтобы отца и сына звали одинаково. Я говорю, что мне очень нравится это имя... Вот потому...

Мы еще разговариваем о разных домашних делах... Мне приятно...

Не знаю, поняла она что-нибудь или нет. Может быть, и поняла что-то, а может, и ничего не поняла... не знаю... Я уже устала... Это, наверное, от своей непрерывной болтовни я устала... Я уже запинаясь, даже когда говорю про себя, всем без голоса... в уме... тихо...

В большом коридоре больные смотрят телевизор... Невыносимо... Бегом спасаюсь в свою палату...

Лежу навзничь и смотрю на побеленный потолок...

А, в сущности, почему я не показала Вере какую-нибудь другую фотографию, где Лазар постарше?.. И фотографии детей... Честно говоря, только потому, что, в сущности, у меня нет никаких детей... Вообще... Никаких... И никакой другой фотографии Лазара у меня нет... В сущности, и Лазара я не знаю... Его нет... Правда...

И долго я не могла найти одно лицо... Одно лицо — и чтобы можно было увидеть и почувствовать все — характер, личность... Жизнь все шла, со своими обычными заботами, утомительными мелочами, непрерывным учением — и ничего не дает именно это учение — школа, университет... Я писала стихи, и разное такое, и, наверное, не то... Наконец нашла...

Нет Лазара. Есть только фотография. Я нашла ее в одной аудитории. Мне было девятнадцать лет, я училась на втором курсе... Полстраницы какого-то буклета... Какой-то конкурс; наверное, музыкальный. Только фотография, имя и 1948-ой год, он родился в 1948-ом году, ему двадцать шесть лет на этой фотографии...

Такими глазами он посмотрел на меня — печальными и умными, обиженными и детскими; такое лицо у него — милое и нежное и хрупкое... И губы его — такие мальчишески-припухшие, большие и нежные...

Таким должен был быть настоящий Лазар... в моих стихах... Глаза — одно такое единство гордости, уязвленного самолюбия, досады, детской обиженности... Наверное, он не получил никакой награды на этом конкурсе... именно такие люди меня интересуют... Которые никаких наград не получают в жизни...

Как найдешь человека, если только имя знаешь?.. И в самом начале я стеснялась искать его...

Я аккуратно вырезала эту фотографию, сделала копию у фотографа, всегда ношу эту копию с собой, она выглядит, как обыкновенная фотография, и я чувствую, будто Лазар на самом деле существует, будто он фотографировался специально для меня... А настоящую фотографию, ту, из буклета, я берегу дома, вместе с моими рукописями...

Бедный! Он и не чувствует, что уже давно живет двойной, даже тройной жизнью: одно — это его реальная жизнь, обыкновенная: женщины, дети, работа; другое — мои стихи; и третье — мои мысли и чувства о нем — как бы это определить — повседневность моего воображения...

У Лазара нет матери. Он даже и не помнит ее. Старшая сестра вырастила его... Не знаю, как бы я ладила со свекровью... Софи преподает математику в гимназии... Она очень мне нравится... С этими бровями и очками... они с моим Лазаром похожи... Лазар — поздний ребенок... Я еще помню его отца, как он сидел в кресле на солнечном балконе, совсем уже дряхлый, молчаливый, ушедший в себя...

Софи... Она старше Лазара на пятнадцать лет. Она вырастила его. Я думаю, наверно, потому она и не вышла замуж; хотя и теперь еще она такая женственная и красивая. И очень умная...

Первые годы, когда мы с Лазаром поженились, мы часто ссорились... Мы не хотели ни от кого зависеть, сняли комнату в подвальном этаже, и чуть что — я сразу хватала ребенка и бежала к Софи... А где-то через час-полтора и Лазар тоже прибежал... И она мирила нас...

Такая ностальгическая тоска у меня начинается, когда я представляю себе, как мы с Лазаром возвращаемся от Софи. Лазар несет ребенка. Он выше меня, и кажется мне совсем высоким; я семеню очень близко к нему, немножко закинув голову, и вижу его щеки, и глаза, и очки... Он такой молодой и красивый!.. Я оборачиваюсь... Софи стоит на балконе, устало щурится на закатное солнце и машет нам рукой... И я молодая, молодая, молодая!.. И теперь я умираю...

И эта ночь перед последним экзаменом... Я ночевала у Софи... Она мне помогала... Я окончила университет... Мы говорили о Лазаре... Я с ней делилась, как я люблю его, потому что он чистый и умный, и все, и все!.. Она была такая милая...

Я умру... Когда я умру, мои дети будут жить у Софи... Я знаю... Только она одна... Никого больше не хочу... никакую другую... Не хочу!.. Софи вырастит их... Они и теперь у

нее... никакую другую не хочу... Не хочу!.. Нет!.. Я такая нервная стала... Астения у меня... Каждую минуту начинаю плакать...

Теперь у нас все есть — зарплата Лазара, квартира; ковер, пусть не очень персидский, но все-таки... Все есть... По выходным дням Лазар выносит ковер, расстилает посреди этого пространства перед многоэтажными домами и выбивает пыль...

Сверху ковер — маленький красноузорный прямоугольник, а Лазар — тоненькая спичечная фигурка, такая одинокая... И от этой праздничной яркой узорности, и от этой красноты, очерченных так четко, у меня почему-то делается ощущение одиночества и незащищенности моего Лазара... И моей отдаленности от него... Я и вправду так высоко — почти под самой крышей башни, и не могу защитить его... А если бы я была свободна и могла бы полететь к нему на волшебных крыльях, как будто крылатая волшебница в сказке...

Бедный мой Лазар!.. Я ему жизнь испортила... Совсем замучила его... А он был такой чудесно-красивый и талантливый!..

Этот Борис презирает его высокомерно из своего фээргешного рая... Пусть!.. И что может сделать Лазар?.. Одиночешенек засучить рукава и начать какую-то борьбу? Или, может, он должен со своим слабым здоровьем пойти работать на тяжелую работу физическую, лишь бы все эти фальсификации бросить?.. Потому что ведь его постоянная работа — делать фальсификации...

Если бы я могла...

И все-таки Лазар — историк, ученый... А так ведь он — одно хрупкое существо, бесконечно изнуренное всеми этими диссертациями, детьми, квартирой, поездками на сельхозработы (это называется: его посылают «на бригаду»)... И от меня он устал...

Но это ведь легче всего — уцепиться за какую-нибудь иностранную юбку и сбежать в ФРГ, и там надуваться, строить из себе слависта, тюрколога или что-то в таком роде, и презирать несчастного Лазара...

Только вы ведь его не знаете, моего Лазара... Мой Лазар — он — йигит*!.. Вот он — мой Лазар...

В сущности, этот Борис — что-то вроде Мефистофеля в нашей с Лазаром жизни... Они с Лазаром учились вместе в университете. У Бориса тоже не было связей и больших денег, зато он энергичный, практик... Не знаю, как, но добился

* Смелчак, храбрец (турецк) (yigit)

этого места в академии, что-то вроде лаборанта. И когда он вдруг предложил моему Лазару это место; сказал, что уступит, договорится; мы были так благодарны... Лазар совсем без работы был тогда... Скоро Борис женился на немке и уехал в ФРГ. А Лазар остался. И стал рабом. Пишет статьи и диссертации для своей работодательницы и всех этих ее прислужников и родственников; даже работал на постройке, когда она дачу ставила для своей дочери... Она с ним любезна, спрашивает о моем здоровье, о детях; позволила ему и самому защитить диссертацию... Теперь у меня муж — кандидат наук... Она была в Париже — всех очаровала — член-корреспондент, доктор наук, мать четверых детей, представительница маленького балканского государства — сколько лжи!.. Впрочем, дети — это правда. У нее действительно четверо детей...

Сколько бессонных ночей, сколько ума и таланта Лазар потратил понапрасну!..

Я знаю, Борис говорил с Лазаром обо мне... давно это было... еще тогда... Борис честно ему сказал, что не считает меня ни умной, ни красивой; и думает, что Лазару не надо на мне жениться, и тем более, что у нас с Лазаром тогда еще и не было близких отношений... телесных... Борис сказал, что Лазар должен хорошо обдумать свою дальнейшую жизнь. Они с первого курса дружили... Лазара называли «Профессор»... Честно говоря, я не думаю, что Лазар сильно любил меня; может быть, он просто сам себе нравился в этой роли романтика и бескорыстно влюбленного; когда он чувствовал себя таким и сам себе верил, — это поднимало его над всеми практиками, такими, как Борис...

Борис опять перечислил ему мои недостатки — ну, как я уже сказала, у меня нет ни красоты, ни ума; и в смысле всяких связей я бесперспективная, и притом еще я отношусь к третируемой категории населения, к «национальному меньшинству» (вот определение!)... Лазар сдвинул брови и ответил, что любит меня... Он и теперь всегда так сдвигает брови, когда ему что-то не нравится, а он не хочет или не имеет возможности открыто возразить...

Так вот Лазар ответил, что любит меня, Борис ему устроил место в академии, и мы с Лазаром поженились...

Дальше... Нет!.. Я не хочу все рассказывать... Он два раза принимал эти снотворные таблетки, и один раз хотел повеситься... Я как раз вовремя прибежала — он только подбородок себе ободрал... И с таблетками тогда, я ему палец совала в горло, чтобы рвота была...

Софи сказала, что он не хочет покончить с собой, просто хочет немного расслабиться, чтобы разрядка... Я так плакала из-за всего этого... Расслабиться, разрядка — вот чего он ищет в нашей рабской жизни...

Сейчас мне будет трудно рассказывать, потому что стало вдруг очень много и надо сделать какую-то последовательность... В основном все хорошо относились к Лазару, и если иногда и делали и говорили ему что-то плохое, то это так же, как всем другим; не то чтобы нарочно сделать ему гадость, а так просто, как все делают всем...

Прозвище «Профессор» было такое немножко вульгарное, очень простое прозвище... близкие друзья называли его двумя другими, более тонкими прозвищами: «Могол» и «Даос»... А мне всегда казалось, что надо произносить «Да́ос»... В сущности, это было красиво: «Могол» и «Да́ос», и как-то действительно показывало эту силу красоты души и силу телесной красоты, и то, как они красиво и тонко, эти прекрасные силы, соединены в одном человеке...

Лазар имел тогда трех близких друзей. Значит, их было четверо... И я думаю, что это уже какой-то стандарт в подсознании, когда мальчики или совсем молодые юноши дружат по четыре человека, четверками такими; наверное, как-то бессознательно они ориентируются на четырех мушкетеров Дюма... Вот и этих юношей из ансамбля «Битлз» (правильно ли я написала название?), их тоже, кажется, было четверо...

После случилось так, что Георги совсем потерялся из виду, Лазар о нем и не вспомнит; ну, Борис — вы знаете, где; а Ибиш умер от инсульта... Я даже не знаю, где он работал... Кто-то Лазару сказал, что Ибиш умер, и помню эту тоскливую тревожность Лазара; я поняла, что его только одно мучает: то, что его сверстник умер, и, значит, и ему как будто бы грозит реальная смерть... И больше ничего... Кажется, никакой жалости Лазар не почувствовал... А прежде так улыбался, как будто жалел нежно всех и любил всех ласково...

А теперь я знаю, он болен тоской, такая серая тоска у него...

Но вот теперь у нашего Лазара Маленького, кажется, нет такой четверки... Заходят к нам мальчики, но мне как-то неловко разговаривать с ними подолгу. Вдруг я что-то скажу или сделаю не так, и моему сыну будет неприятно... Разговаривать с ними, как будто бы они во всем равны взрослым, — получится фальшиво; а так, как взрослые обычно говорят с детьми, — тоже неловко мне так...

Два мальчика — это действительно его близкие приятели... Их зовут Иван и Димитр. Я их сразу отличила: когда я спросила, как их зовут, они назвали полными именами, мне понравилось. Димитр — совсем беловолосый парнишка, будто из скандинавских кинофильмов, а Иван — немного заикается. Иван рисует, у него способности есть. Он приносит свои рисунки... Я потом заметила, что наша старшая девочка, когда

рисует, подражает ему немного; а иногда и сильно подражает; я видела, как она рисовала улицу с одним деревом сбоку и машина едет... Но я не могу понять, какое удовлетворение может доставляться таким явным подражанием... Мне это не нравится, и я чувствую, как это мое неудовольствие отдаляет меня от моей девочки. Тогда мне становится так жаль ее; я подхожу, обнимаю ее за плечики, целую в головку, она тоже ласкается ко мне... Я хочу любить ее... Конечно, я люблю ее... Она все равно хорошая...

Когда Лазар Маленький простудился, эти мальчики приходили, у них были такие озабоченные лица... Помню, однажды вечером Лазар Большой их всех развлекал — рисовал какие-то смешные рисунки и карикатуры, рассказывал разное интересное из истории... Он говорил немного нарочито-иронически, и голос его звучал так полнозвучно... Но обычно он занят работой, у него нет времени. Мальчики, если он войдет в комнату, здороваются, он им отвечает так мрачно, и отрешенно, и немного протяжно... Они смотрят с видимым почтением на его мрачное лицо, сдвинутые темные брови и печальное и как-то странно диковатое и суровое выражение очень темных глаз... Глаза мальчиков невольно так чуткоку вытаращиваются... Мне нравится, как они смотрят на Лазара, — значит, мой Лазар Маленький сумел им внушить почтение к своему отцу; впрочем, и к себе самому...

Меня удивляет, как это Лазар Большой так прямо спрашивает наших детей, с кем они дружат... Он сидит, а сын стоит перед ним; сейчас он и старшую девочку так ставит и спрашивает... Лицо у него мрачное, глаза суровые, брови сдвинуты... Он спрашивает, с какими детьми дружат наши дети, кто родители этих детей... «Эта твоя новая подруга не учит тебя неприличным словам?» — спрашивает он девочку... Я бы постеснялась задавать такой вопрос; и вообще, я стала бы заискивать, поддакивать, не была бы уверена в своем праве приказывать и учить... А Лазар уверен... И он умеет какое-нибудь вроде бы незначительное событие в их детской жизни, какое-нибудь крошечное происшествие выставить настоящим преступлением против морали и нравственности; дети у него испытывают это мучительное чувство стыда за себя, плачут... Меня даже пугали эти отчаянные слезы, вроде бы не соответственные проступку; потом я поняла, что это нужные слезы очищения... Старшая наша девочка рассказала, как она пришла в гости к своей однокласснице, там была книга — разные советы и рекомендации для женщин в положении, книга принадлежала матери той девочки. Они перелистывали эту книгу, тыкали пальчиками в фотографии и рисунки; и пересмеивались, хихикали... Так и вижу, представляю себе... Лазар сказал ей, что смеяться над этим — гадко и что только

врачи могут говорить об этом разумно и правильно, потому что это очень серьезно... И видя отвращение в его глазах и во всем лице, девочка заплакала... Конечно, она живет в обычной жизни, и будет говорить она и об этом; но какой-то островок чистоты навсегда останется в ее душе... Я было назвала эти допросы: «перед судом истории». Но дети не приняли этой моей шутливости, для них эти допросы — это очень серьезно...

Маленькая начала завидовать старшим: их спрашивают, а ее — нет... Она поняла, что в допросе таком наказывают за какие-то проступки; и она приняла решение: обычно она хорошая девочка, не озорница; и вдруг понеслась по квартире, опрокинула стул, разбила чашку, влезла на кровать и стала прыгать на чистом покрывале, вбежала в комнату, где Лазар Большой работал, и схватила книгу... Лазар встал из-за стола, она спросила, будет ли он ее спрашивать... Лазар крикнул раздраженно и злобно: «Убирайся! Ты мне противна!» Он не притворялся в каких-то воспитательных целях, как это обычно делают взрослые с детьми; она действительно стала ему противна и он ей это прямо крикнул... Но девочка уже впала в капризное упрямство отчаяния, когда человек понимает, что все пропало, и все равно делает назло... «Нет, спрашивай! Нет, спрашивай!» — кричала она... Лазар схватил ее за руку, вывел из комнаты и захлопнул дверь... Я хотела взять ее, громко плачущую, на ручки; но он услышал, как я приговариваю разные ласковые словечки; приоткрыл дверь; крикнул, чтобы я не смела ее утешать, и снова захлопнул дверь... Дня два она капризничала, не хотела говорить со мной, Лазар с ней не заговаривал. Потом она стала задумчива... Потом подошла к Лазару с такой милой трогательной готовностью стерпеть его раздражение, и попросила «поспрашивать» ее «и чтобы никто не слышал»... Лазар очень нежно взял ее на ручки, унес в другую комнату и там говорил с ней... С тех пор он и ее допрашивает, но если старшие перед ним стоят, то маленькую он берет на колени...

С этими мальчиками, Иваном и Димитром, Лазар Маленький поставил пьесу... В квартире Софи он нашел вырезанные из бумаги фигурки, покрашенные черной краской... Софи рассказала, что это Лазар Большой, когда еще в школе учился, сделал театр теней и разыгрывал со своими друзьями «Кота в сапогах»... Лазар Маленький стал просить отца сделать и теперь такой театр, но Лазар Большой отвечал, что у него и времени нет, и желание давно прошло, и тогда Лазар Маленький и эти два мальчика сделали из твердого картона три большие фигуры, Иван их раскрасил... Пьесу написал Лазар Маленький; я не помню, как она называлась, потому что рукопись он нам не захотел показать... Мы устроили ширму,

мальчики сидели за ширмой, держали подставочки картонные у этих плоских фигур, двигали их и говорили...

Спектакль был в нашей квартире. Продолжалось все где-то час. Зрители были: одноклассники Лазара, Лазар Большой, Софи, я, наша старшая дочка и еще несколько детей — тоже чьи-то сестры и братья... После мы всех угощали бутербродами, печеньями и лимонадом... Фигуры картонные были действительно красиво и интересно раскрашены... Я не всю пьесу видела, потому что малышке еще и год не исполнился, она запищала, и я вынесла ее на лестничную площадку, чтобы она не мешала; было тепло, конец весны; и я ходила с ней на ручках; укачивала, пока она не заснула... Входная дверь была чуть-чуть приоткрыта, и я старалась расслышать, как мальчики разыгрывают пьесу. Они говорили громко. Я думаю, Лазар специально старался громче говорить, чтобы я услышала. Но вот рукопись никому не захотел показать: ни отцу, ни мне...

Пьеса произносилась красивыми белыми стихами... Лазар маленький уже прочитал Шекспира и, как видно, и своих приятелей увлек... Один раз я шла домой и вижу, они все трое играют возле нашего подъезда, размахивают какими-то сухими ветками, как будто фехтуются; и выкрики вроде: «Яд!.. Яд!.. Моя рапира отравлена!»... Кричат такими нарочитыми голосами, и забавно им, и интересно, и весело... Иван, когда громко кричит, почти совсем не заикается... Я сразу испугалась, что Лазар может пораниться... Хотела тут же позвать его домой, но испугалась, что над ним станут смеяться, потому что вот, мать утаскивает его за собой... Но он меня увидел... Или ему сказали что-нибудь вроде: «Твоя мать идет!», как мальчишки говорят друг другу, так немножко резко и грубовато... Я поднялась наверх и ничем не могла заняться по хозяйству, мне какие-то страшные смутные видения представлялись, и я делала над собой усилие — подавляла, прогоняла их, ведь так представишь себе ярко — и вдруг и в жизни...

Меня мутить начало, и сердце заболело...

И ведь он уже большой мальчик... Все мальчики должны играть в какие-то резкие подвижные игры...

Но Лазарчо — очень чуткий человек, и добрый. Он как будто почувствовал, что мне плохо, слышу — сильно звонит у двери, ключ не взял... Я открыла... Он такой раскрасневшийся... Такая нежная детская краска возбуждения веселого... А когда на этой нежной коже — царапины, ссадины — как что-то совсем чуждое, грубое и потому страшное... Но царапин и ссадин не было... Он смотрел на меня с таким нарочно веселым лицом, как будто всем своим видом хотел показать, что ничего страшного не случилось и не может случиться... Я его обняла и целую в щеки... Стала его умолять, чтобы он боль-

ше не играл так... Он ответил, что совсем не играть не может; потому что ему хочется играть и потому что другие ребята играют... Но он обещал мне поберечь себя... Вот он научился от отца такой правдивости и прямоте...

Когда началось это с паспортами, и мне тоже поменяли паспорт, и в нашем доме это знали и в школе, я боялась, что мальчика будут дразнить, обидят как-нибудь... Но пока ничего нет... И с нашей старшей девочкой все хорошо... Ну, при таком брате никто не обидит ее!.. Слава Богу... Если бы что-то случилось, они рассказали бы... Отцу они бы обязательно рассказали... Все-таки у моего мальчика нет такого резкого и нетерпимого характера, как у меня... Но мне не нравится, чему их учат в школе... Лазар Большой сказал, что и нас учили не лучше... Но мы ведь и сами занимаемся со своими детьми... Когда Лазар Маленький спорит с учителями, одноклассники всегда на его стороне, любят его... Лазар Большой сказал, что наш сын — интересный человек и умеет ладить с людьми... В сущности, он умеет подчинять их своему влиянию, я заметила это, но это и хорошо — такое умение...

А если что-то страшное случится, страшное для всех, тогда уже ничто не поможет... Я Лазару Большому ничего не говорю о своих страхах, чтобы не мучить его напрасно... Ведь он и сам обо всем этом думает, я знаю... А что делать?.. Готовиться к беде?.. Но это еще страшнее, как будто нарочно вызываешь беду... Остается только жить и делать вид, будто все, как всегда, и нечего пока нет...

Меня очень поразила одна тонкость: в девять лет мой мальчик решил, что главное в пьесе — это не действие, выраженное в движениях и поступках; но действие, выраженное в словах. Мне это показалось проявлением утонченности его натуры...

Сюжет был такой: королева решила свергнуть короля и править единолично, она уговаривает принца помочь ей. Принц не соглашается и хочет обо всем рассказать королю. Дальше мы узнаем, что умер младший сын короля и королевы. Старший пытается понять, от какой болезни умер его младший брат, и находит отравленные сладости. Королева внушает королю, что старшего сына надо убить, потому что он хочет свергнуть родителей с престола. Король оплакивает смерть младшего сына. Королева уговаривает его выпить лекарство, растворенное в вине. Вбегает старший принц, он ставляет королеву осушить бокал, приготовленный ею для короля (этот плоский бокал был тоже очень красиво вырезан из картона и раскрашен, но были видны пальцы Димитра, когда эта картонная королева как будто пила)... Значит, принц предлагает ей бокал, она отказывается, король хочет позвать стражу. Тогда принц хватает королеву и подносит бокал к ее

губам, насильно заставляя ее выпить отравленное вино; она пьет и умирает. Принц обо всем рассказывает отцу...

Мне очень нравилась эта атмосфера своеобразной логики, и нравилось отсутствие формального психологизма... например, совершенно не объяснялось, зачем королеве после стольких лет брака желать единоличного правления, вроде она никак не обижена королем... Но в этой своеобразной немотивированности было свое обаяние... Я вдруг почувствовала, что мой сын — очень талантливый человек, и было такое чувство радостной гордости, потому что это мой сын!.. Я сама за собой заметила, что возбуждена, двигаюсь порывисто...

Лазар Большой сказал, что в пьесе и в постановке есть оригинальность...

Софи заметила немного снисходительно, что ей не нравится, что столько убийств... Лазар Маленький, обиженный ее снисходительностью, сердито ей возразил, что ведь это трагедия!..

Мальчики хотели поставить потом какую-нибудь пьесу Шекспира... Но как-то не получилось, оказалось слишком сложно, а потом и расхотелось... А в той пьесе Лазара, когда они ее ставили, Лазар говорил за королеву и принца, а Дмитрий — за короля...

Мы купили детям в комнату письменный стол на двух тумбах, дверцы открываются и там внутри — ящики... Одну тумбу со всеми ящиками отдали Лазару Маленькому, там хранится то, что он пишет...

Давно тогда Ана пригласила меня в гости к Ц. Я согласилась, мне показалось занятно... Конечно, Ц. не приглашал меня, и даже и не знал. Но на эту вечеринку к нему могли прийти, как я поняла, и просто знакомые его знакомых... Ану тоже не сам Ц. пригласил... Этот Ц. был сыном достаточно богатого и достаточно влиятельного человека и жил один в двухкомнатной квартире. Теперь этот Ц. тоже богат и влиятелен, у него важная должность, и таких, как Лазар или Борис, он просто не помнит и не замечает... Наверное, если бы Лазар был статуей какой-нибудь или картиной, и если бы кто-нибудь, считающийся знатоком, сказал бы этому Ц., что эту картину или эту статую надо купить, Ц. купил бы, и статуя или картина была бы в его доме, с нее бы смахивали пыль, показывали бы ее гостям...

В квартире Ц. оказались иностранные вещи, мебель, безделушки, — все, как я и думала... Уже собралось много людей, студентов; было спиртное в бутылках; девушки суетились на кухне, делали салат и бутерброды... Впрочем, еды было мало... Я после поняла, что это такая характерная скупость богатых людей, они любят экономить на всяких не очень важных для них гостях... Никакого лимонада, никакой мине-

ральной воды, а я спиртного не пью... Марианна однажды спросила, почему я не пью; может быть, потому что мусульманской религией запрещено... «Да! Потому!» — я отвечаю резко и надменно. (Уже потом Лазар говорил мне, что я умею отвечать жестко и надменно. Но когда он это говорил, он так смешливо мне улыбался.) А Марианна не отставала и стала говорить, что вот, Гюлчин ведь пьет... И пусть эта Гюлчин пьет, какое мне дело! А я не хочу и не буду!..

Бутылки были красивые, с иностранными, пестрыми и лоснистыми, наклейками...

Никто на меня и на Ану не обратил внимания... Я тихонько села в углу на стул, рядом стоял журнальный столик и еще — два кресла... Из девушек я здесь знала только Ану и Гюлчин... Ц. показался мне очень заурядным человеком. В нем была та циничность, которая всегда видна в детях богатых и влиятельных людей; такие дети очень рано понимают ложь. Например, нам всем внушают; и газеты, и радио, и телевизор; что вот такой-то человек — это видный ученый, или, предположим, замечательный детский писатель, наивный, как настоящий ребенок, и любящий одиночество; а его сын знает, что отец на самом деле — жестокий карьерист и грязный развратник... Ну, выговорила!..

Просто сидеть и наблюдать — было занятно, но я боялась, что все напьются, а я боюсь пьяных...

Появились Лазар и его товарищи. Мне сразу стало казаться, что все замечают мой интерес к Лазару... Мне так хотелось, чтобы он не видел меня; потому что понять по его глазам, что я ему не нравлюсь, было бы очень горько для меня...

Я заметила одно странное: друзья Лазара (может быть, это у них была такая почти неосознанная игра) всячески старались услужить ему, это у них так мило и задорно получалось... Вот и сейчас — один нес книгу, другой — куртку Лазара, третий вынул из кармана брюк и предложил Лазару жевательную резинку. Но Лазар не стал брать... Нет, жевательная резинка была после... А вначале они заговорили как-то сразу вместе, прерывистыми полужазами; речь шла о книге; они были в бассейне, купались, и замочили нечаянно книгу... А эту книгу Лазар купил для сестры... Они стояли близко, и я видела обложку, это была книга по математике, на русском языке... она действительно совсем отсырела...

Все обыденные слова, которые произносил Лазар, звучали как-то трогательно; и эти слова и его голос и то, что он так близко от меня стоит, все это вызывало у меня какую-то щемящую жалость к нему...

После была жевательная резинка... У двери то и дело звонили, шелкал замок, стало совсем шумно; я помню, еще заметила, что никто пока не курит...

Приятели Лазара подошли совсем близко, выдвинули кресло, и Лазар сел...

У меня сделалась такая слабая просвечивающая черная краснота перед глазами и стало холодно лицу...

Он сидел почти напротив меня...

И мне было даже некуда пересестись... А встать, пробираться через комнату к двери или на кухню — все могли бы догадаться...

Вдруг мне показалось, что кто-то из приятелей Лазара обратил внимание на меня; и я не помню, о чем они говорили, но я поняла, что у них легкое опасение возникло, что одно то, что я здесь, будет раздражать Лазара... Ибиш сказал что-то и глянул на меня... В голосе и во взгляде у него выразилось презрение, какое выражают нищим или сумасшедшим... Это было мучительное унижение... Но Лазар сидел спокойно, кротко и не смотрел на меня... и, казалось, не слышал, о чем они говорят...

Эта его милая кротость как-то успокаивала меня, мне захотелось заплакать, но я сдержала эти слезы облегчения...

То, что дальше произошло, мне тоже трудно описывать. Я думаю и сейчас, что если я расскажу свои тогдашние ощущения Лазару, он скажет, что мне показалось все это, и что этого не было на самом деле...

Постепенно все, кто был в квартире, стали оборачиваться к Лазару... Юноши заговаривали с ним дружески, девушки — кокетливо... Я помню, какая-то из девушек сказала что-то вроде: «Какие ресницы у нашего Лазара!»... Товарищи Лазара были вокруг него, будто маленькая свита из его слуг... Они уже и не думали обращать внимание на меня... На столик они принесли соленые орешки, что-то еще; налили что-то праздничное светлое в рюмку, после — в другую — немного вина красного цвета... Они двигались уверенно и, казалось, чувствовали себя среди других какими-то посвященными, и будто бы они не просто ставили перед ним угощение, а имели очень ясную для них цель... И будто и другие смутно чувствовали, что для всех здесь эта цель желанна; и превосходство друзей Лазара, будто знающих, как достичь этой цели, все бессознательно воспринимали как что-то естественное... Приятели Лазара касались кресла, на котором он сидел, чуть подвинули столик... Я вдруг поняла, что они заботятся не просто о том, чтобы ему было удобно, но еще больше — о том, чтобы он достиг какого-то определенного состояния... Они ждали наступления, нисхождения этого состояния; и гордились тем, что причастны к наступлению этого состояния... и все остальные ждали... И меня это ожидание захватило... Сначала мне нравилось, что вот теперь совсем никто не обращает на меня внимания; потом меня немножко стала мучить мысль

внезапная, что вот все тянутся к Лазарю, все ждут чего-то, а еще полчаса назад я одна любила его так сильно, а теперь — все, и это мучительно мне... Потом все мысли оборвались, и я просто ждала...

Несколько молодых людей сели на пол и оказались совсем у ног Лазаря...

Он как будто сознавал, что все ждут... Он сидел так мило и кротко, без малейшей горделивости... Он сосредоточился на каких-то своих чувствах, он не мог ускорить наступление того состояния, которого все так ждали... Он выпил немного и что-то съел... брал помалу... Голова и шея чуть запрокинулись... и то место под подбородком было такое светлое и нежное... и шея светлая, будто и вправду живой радостный сосуд, вылепленный с любовью Божиим гончаром... вот и выпуклости, еле видные, живые дышат, ходят под кожей нежной смуглой — Божьи пальцы любовные касались бережно...

Это ощущение его кротости, такой милой, все усиливалось... Он ел и пил не для насыщения... Казалось, он хочет испытать какое-то детское по своей чистоте и отчетливости наслаждение от этих глотков, от одного-двух орешков; наслаждение, чтобы скорее пришло то, желанное всеми, его состояние...

Дальше мне еще труднее описать... Настоящая религия, конечно, должна быть только в душе... Я хотела написать одну работу о Кришне и о болгарском святом Лазаре... И тогда я вдруг вспомнила одни строчки из одного песнопения о Кришне, подстрочник... Всплыло, как будто яркая музыка всплеснулась... но я не точно вспомнила... Да, вот еще: — он весь тот вечер был без очков и, конечно, все вокруг видел, как будто в светлом сиянии радуги...

Пока я не увижу тебя.

я бегу за тобой в своих мыслях.

Пока я не обниму тебя.

я умираю в тревоге.

Я стою в лихорадке.

я плачу горько.

А тому, кто мне укажет дорогу к тебе.

я буду кланяться в ноги.

Ты выходишь из дверей лесной зелени.

и радуется мир.

Пусть будет вино, и неверная жизнь в далеком краю.

только бы юность моя вернулась ко мне!

Глаза его стали очень яркими... В ресницах этих живых, и чуть еще сильнее удлинённых от улыбки; они напоминали темные сияющие сердцевинки живых цветов на солнечном свете...

Я испытала такую радость, блаженство... Он улыбался мне, так нежно, понимающе; он прощал все, что надо было простить мне, такая ласковость радостная была... И как будто мне улыбался не человек, которого я любила, а вся Природа, или Вселенная, или Судьба; все то странное, связанное со мной и непонятно-отдаленное и тотчас же и независимое от меня; вдруг приоткрылось на целый миг и стало таким ласковым и мило-смешливым и нежным... И тотчас я поняла, что каждый в этой комнате сейчас испытывает такое же ощущение... И, кажется, я даже успокоилась, такое счастливое блаженство не могло быть мне одной; как солнечный свет не может быть для одного человека...

Мы все были, словно молящиеся на коленях, равные в своем желании ощутить милость Божества...

После удивило меня то, как скоро все пришли в себя; стали пить и есть, курить и разговаривать, включили магнитофон... Началась резкая, упругая и ритмическая музыка...

Никто не изъявлял Лазару никакой благодарности... Наоборот, перестали обращать на него внимание, будто втайне боялись, что стоит заговорить открыто, и улетучится то, что они сейчас получили... А они хотели, желали с какой-то звериной жадностью, сохранить в глубине своего существа хотя бы тень, хотя бы крупицу, луч...

Приятели Лазара окружили его вниманием, как человека, потратившего силы на какое-то важное действие... Это внимание выражалось в их жестах и движениях... Мне это было трогательно... Лазар еще поел, теперь побольше... потом заговорил с Борисом... Борис, видно, был ему вроде наперсника... У меня так заколотилось сердце, что я ничего не могла слышать, и музыка мешала... Уже начали некоторые танцевать и выглядели некрасивыми; с этой открытой похотью; неуклюжими, даже когда хорошо двигались; и какими-то очень грубыми...

Я решила уйти... Свет притушили... И я совсем испугалась, боялась оставаться среди этих людей... Даже о Лазаре перестала думать... Я прошла немного, держась у стены; и поняла, что и он встал... уже не могла понять, какие у меня чувства... Я вышла в прихожую и раскрыла входную дверь... Лазар подошел и спросил кротко и спокойно, можно ли ему проводить меня... Он перекинул куртку через руку и в той же руке держал книгу по математике... Я сказала «да», больше ничего не могла произнести... Мне говорили, что у меня красивый голос; и теперь я заметила, что старалась, чтобы это одно короткое словечко звучало нежно и красиво, и почему-то мне хотелось, чтобы отчужденно оно звучало, а то вдруг Лазар подумает, что я легко соглашаюсь и похожа на других... И мне стало мучительно, что я уже что-то рассчитываю; что-

то делаю нарочно, специально, и значит, обманываю Лазара...

Мы немного прошли, он спросил, куда мне, я сказала... Можно было идти пешком... Мы молчали... У меня сделалось какое-то странное желание обязательно произнести что-то... Пробежала собака... «Собака бежит...» — сказала я... И вдруг он повторил так неожиданно: «Собака бежит...», с какой-то нежностью и умилением... И взял мою руку... Теперь мы шли, и он держал мою руку, но не вел меня под руку и не держал за руку, а как-то бережно удерживал на весу мое предплечье... пальцы его были хорошие, плотные и давали мне такую человеческую живую теплоту...

Я так хотела ему сказать, что он ошибается, что я не стою этой умиленной его нежности; и я совсем не хрупкая, только могу показаться такой, а если распрямлюсь, то даже большая и крупная... Но я боялась; не знала, как это все сказать; как сказать ему эту правду так, чтобы не потерять его...

Я думаю, у Лазара с Борисом уже какое-то время перед этим шел спор, и это был, в сущности, спор о свободе... Если проще, то Борис считал, что Лазар должен искать таких людей, которые дадут ему многие блага, сделают его жизнь более свободной; и за все это, как бы в обмен, Лазар будет им давать наслаждение своей красотой и всеми своими свойствами... И не только о женщинах шла речь... А Лазару тогда казалось, что у него так много этой красоты и всех этих его свойств, что незачем ему покупать на них свободу для себя, когда он может сам щедро эту свободу, это счастье дать... А я показалась ему таким несчастным существом?.. Как раз такая, чтобы все отдать щедро мне?..

На работе он теперь просто раб; он делает что-то, ему дают деньги на жизнь, как рабу — его пищу; и никаких утонченных отношений взаимного наслаждения, никакой тонкой купли-продажи... простое грубое рабство... Конечно, мне кажется, что так чище и честнее...

Однажды он сказал, что мне нужно научиться любить себя, даже просто свое тело, свое лицо... Мне это действительно очень трудно... А любить Лазара мне легко...

Бедный Лазар... никогда он отпуск не берет... Ни на море не ездит, ни в горы... никуда мы не ездим... Может быть, когда я умру... Он снова женится — тогда... Я знаю, о чем он мечтает, — о какой-нибудь молодой толстой девчонке с накрашенными губами... Какая мелочная примитивность... Мне очень плохо!.. Я так ревную, так подозреваю его, как будто бы совсем не люблю... А!.. Пусть и он поживет... Боже!.. Мне так тоскливо, так печально...

Борис приехал на лето со своей женой. Ее зовут Хели. Это, вероятно, Хелена... Мне кажется, это какое-то странное имя для немки; или я просто не знаю... А, нет... Хелла... Мне же Лазар говорил...

Ну, Лазар переговорил с Борисом, и Борис согласился прийти к нам в гости, вместе с ней, конечно... Лазар уже сейчас мучается; брови его сдвинуты — как судорогой сведены, а в глазах — боль, равная телесной... Телесная все-таки хуже, чем боль души, телесная — неблагородная, терпеть ее больнее, страдаешь от нее больше, она — бессмысленная...

Может, Лазар и хотел бы увидеться со своим прежним другом, вспомнить их прежние разговоры, шутки и надежды... Поболтать наедине, чтобы они оба почувствовали на время ту прежнюю легкость, и веселье молодости... Но только непременно наедине, чтобы при этом не было жен, и никого не было, только они вдвоем; и ни лжи, ни фальши, а если и немного зависти и сожаления, то все равно искренне и открыто... Но ничего такого не будет... Лазар приглашает Бориса для того, чтобы обратиться к нему с просьбой... И мы уже заранее мучаемся, нам ведь предстоит целый вечер, полный притворства и унижений... Бедному Лазару так плохо, и я никак не могу разговорить его, утешить и успокоить. У меня не получается. Он чувствует себя одиноким, покинутым, он раздражен и уже измучен...

Детей Лазар с утра решил отправить к Софи. Девочки обрадовались, они еще такие маленькие, время для них течет медленно и наполнено неожиданностями... Каждая прогулка — это игры и приключения... Они любят свою тетю, Софи рисует им кукол и платьица для этих кукол, и вырезает, и они все играют... Я не умею рисовать таких куколок... Но Лазар Маленький оскорблен, он считает себя достаточно взрослым для того, чтобы оставаться с нашими взрослыми гостями. У Лазара Большого уже нет сил что-то объяснять сыну. Да и что объяснять? Сказать, что мальчик помешает нам что-то выпрашивать, унижаться; это сказать? Лазару моему двенадцать лет; он, должно быть, воображает, будто мы и вправду собрались беседовать с гостями, обмениваться занимательными мыслями, интересными мнениями... Отец ничего не хочет ему сегодня объяснять. Но надо отдать должное Лазару Большому; когда голос его звучит сухо и сурово, дети понимают, что надо подчиниться и оставить в стороне все споры и возражения... Вот я так не умею...

После завтрака Лазар велел мне отвести детей к Софи. Мне так грустно видеть и чувствовать, что наш мальчик уверен в нашей несправедливости к нему. Самолюбие его уязвлено, он цепляется за какие-то мелочи; он говорит, что не

понимает, почему я должна их провожать, неужели он сам не может идти со своими сестренками и присматривать за ними по дороге... Тогда я ему быстро шепнула: «Я хочу уйти хотя бы ненадолго, Лазарчо...» Он смягчился, а я сразу пожалела о своих словах... Я и вправду хочу уйти хотя бы ненадолго, хочу еще немного передохнуть, а то вечером начнется...

Но получилось, будто мы с мальчиком какие-то заговорщики против отца, это нечестно...

Вот мы выходим из подъезда... Лазар уже угадал, что я хочу что-то сказать ему... Он предлагает пойти через скверик... Девочки, довольные, что их не держат за ручку, бегут, припрыгивая, вперед... Тогда я полушепотом, наспех, рассказываю сыну, зачем приглашены гости, какого одолжения мы хотим попросить у Бориса... Лазар и без моих просьб обещает, что никому не скажет... Какой он чуткий и умный... Но теперь... Должен ли отец знать о том, что сын все знает?..

— Знаешь, Лазар... Еще что... Не говори отцу, что ты уже знаешь... Он очень измучился, не будем его еще больше мучить... А?..

Мой сын соглашается со мной... Теперь восстановлено равновесие, он теперь тоже участник наших планов и заговоров... Вот он почувствовал, как я сомневаюсь все-таки... Но он все понимает и не обижается на меня...

— Я не скажу... Никому... Не бойся...— пальцы его правой, деловой, руки на миг прижимаются к тыльной стороне моей левой, сердечной, ладони... Он отнимает пальцы, а тепло, его тепло, я еще чувствую... Когда-нибудь он будет прикасаться к чужим девичьим и женским ладоням... Наверное, меня уже не будет тогда... Но я уже сейчас немножко ревную его... Мне кажется, они не смогут оценить, какое это чудо и совершенство — мой сын Лазар, сын моего Лазара Большого...

Мы выходим на улицу, я подзываю девочек, чтобы взять их за руки. Лазар догоняет их и приводит ко мне. Младшая чуть подергивает мою руку. Она немного сердится. Обычно по выходным дням отец причесывает ей головку и завязывает бантик. Лазар, как многие мужчины, если уж берется за обыденные домашние дела, то совсем невольно придает им праздничное очарование. Пальцы у него такие изящные и красиво-умелые. Все он делает так красиво и интересно:— и еду готовит и прибирается... На головках у девочек он делает такие красивые цветки, пышные, нарядные, из лент... Маленькая изо всех сил зажмуривает глаза, так что ресничек не видно; и маленький милый ротик приоткрывается, видны маленькие тонкие молочные зубики... Вот она перестала чувствовать прикосновения отца к пальцам, значит, можно раскрыть глаза... Она ахает и взвизгивает; складывает ладошки, как для танца, и делает перед зеркалом ритмические движения,— я за-

метила, что она любит смотреться в зеркало... Сегодня у нее на головке, вместо отцовского пышного бантика-цветка, скучная капроновая висюлька, это я ей завязала... Она идет, надув щеки, но вот она придумала, поднимает свободную ручку, тербит ленточку, развязывает и сминает в кулачке... Искоса глянула на меня; поняла, что я ничего ей не скажу, теперь встряхнула волосиками, вскинула головку и шагает гордая и довольная... В четыре года для нее так важна ее телесная красота? Старшая все-таки другая. Но иногда мне и в ее характере видятся задатки какого-то совсем женского, взрослого практицизма, неприятного мне, какие-то совсем мелочи...

Я не люблю смотреться в зеркало... Меня раздражает лицо, которое я там вижу... Это чужое лицо... Вот моя душа идет с моими детьми, с детьми моей души; и наслаждается моя душа тем, что видит моего сына, сына моей души... А тело — это всего лишь оболочка, я ощущаю эту оболочку тесной и уродливой... Мне даже нравится быть плохо одетой; я знаю, что мое лицо выражает уныние и тоску... Я люблю закрытую и широкую и темную одежду, скрывающую тело... Мне хочется, чтобы никто со мной не заговаривал, даже когда я плачу... Иногда я не могу удержаться от слез даже на людях... Но в одиночестве я плачу совсем сильно, всему телу больно, я сжимаюсь и раскачиваюсь от этой боли... А душа моя живет вместе с моими детьми... И живет мой Лазар, Лазар моей души...

Меня мучает мысль, что я плохая мать своим дочерям, я мало люблю их... Такую нежную округлую лапоньку сжимаю своими влажными неприятными пальцами; ногти чуть шевелятся в моей горсти, будто живого маленького жука я держу... Такой чудный запах у этих маленьких девочек... Я беру младшую на руки и начинаю целовать щеки... А старшая?... Двоих мне не удержать на руках, а я чувствую, что ей уже одиноко и несправедливо... Опускаю маленькую и, нагнувшись, прижимаю к груди и ласкаю и целую обеих... Они тоже ласково прижимаются ко мне... «Связанные петушки!» — громко говорю я; это значит, я зажимаю в одной горсти сразу две ручки, и старшую и младшую я так держу, и мы так перебегаем через дорогу...

Лазар ушел вперед... Дети, наверное, никогда не простят мне эту мою всегдашнюю торопливость с ними, когда я спешу с ними к врачу; спешу на детский фильм, потому что мы выбежали в последнюю минуту, пока я приготовила обед; и всегда я тороплюсь и чувствую себя усталой, и так мало вре-

мени и сил у меня для того, чтобы вглядываться в них, бережно играть с ними, не мучить их этой моей торопливостью... И как бы я им ни объясняла когда-нибудь, когда они вырастут, если доживу, что все это не моя вина, что это жизнь такая; все равно они, наверное, не простят... Может быть, Лазарчо простит, а девочки, наверное, нет... И будут чувствовать, что мать им недодала в детстве теплоты и спокойной веселости и доброты...

Лазар уже стоял у дома, где жила Софи... Мне подниматься наверх не хотелось, потому что если бы я поднялась, я восприняла бы это как предлог, чтобы подольше не возвращаться домой, а Лазар Большой велел, чтобы я скорее возвращалась, значит, не надо сидеть у Софи... Я договорилась с сыном, что дети поднимутся, потом выйдут на балкон и помахают мне... Скоро все трое уже стояли на балконе и стали махать мне... Маленькая махала сразу обеими круглыми ручками, так мило-смешно, и растопыривала пальчики... Старшая просто махала рукой и улыбалась этой своей странно-женской задумчивой улыбкой... Лазар вскинул руку вперед, и на лице у него стало такое смешливо-ироническое выражение... Я заметила недавно, когда мой сын вдруг резко вскидывает руку, и плечико у него как-то так подается, и это движение меня как-то пугало, оно было некрасивое... Какое-то чувство протеста: почему, откуда у моего сына такое некрасивое движение... И оно было знакомое... Это было мое движение... Лазар Большой тоже это заметил, он замечает у детей мои какие-то черточки, а своих не замечает; но мои в детях кажутся ему занятыми вроде бы... Он вдруг скажет что-нибудь, как такое: «Смотри, точно как ты...» А я тогда испытываю отчаяние и боль и страх за своих детей. Мои дети не должны быть некрасивыми — протест... И это ужасно: видеть со стороны свою некрасивость в своем ребенке, понимать, что ты вот такая, такая... Наверное, у некоторых людей так рождается ненависть к своим детям; а у меня — страх, тревога, и это чувство протеста...

Софи тоже вышла на балкон... Она знала, что у нас сегодня гости, и знала — зачем... Я крикнула: «Софи!» и замахала, она тоже махнула приветливо, потом ушла с детьми в комнату... Я почувствовала, что не только не скучаю по своим детям сейчас, но даже мне приятно, что я одна и свободна... Погода хорошая, ветерок приятный... Мне захотелось походить одной по улицам, съесть мороженое, пойти в кино... Я вошла в скверик и напилась из фонтанчика... Надо идти домой, а дома раздраженный Лазар, надо убираться в квартире и помогать Лазару готовить обед, а Лазар будет кричать на меня, что я все плохо делаю... Я не делаю плохо, только, пожалуй, медленно и неловко...

В квартире сейчас все будет пахнуть... Запах раскаленного масла делается душным, и мытый рис запахнет водяной свежестью, и резаная морковка... И жарко запахнут приправы... Это все очень яркие и сильные запахи... в такой маленькой квартире они какие-то неестественные, и от них почти становится нехорошо... Потому что для них нужен двор, чтобы во дворе все готовить, плескать воду, и все запахи чтобы сливались с этим солнечным воздушным пространством двора...

Дома Лазар и правда готовил пилав и надо было ему помогать и еще — мыть полы и вытереть пыль, и он сердился и кричал от нетерпения и досады... Когда Лазар в хорошем настроении, он утром сидит и смотрит на меня, когда я режу хлеб, так кротко и задумчиво смотрит, будто он даже любит меня за то, что у меня медлительные движения и неловкие пальцы... Но сегодня он раздражается все сильнее, и ему все хуже делается... Если бы можно было сейчас убежать, бродить по городу; Борис и его жена пришли бы, а нас нет; позвонили, позвонили бы у двери, и ушли бы; а вечером мы сами бы съели пилав... Я улыбаюсь, и сразу быстро сжимаю губы; Лазар может не понять, почему это я улыбаюсь; и рассердится на меня, и ему станет еще хуже... То, что я подумала, это детскость, этого мы не делаем... инфантильность...

Лазар поставил пять тарелок. Я спрашиваю, почему. Он пригласил этого К. Я знаю, почему. Потому что мы с тех пор еще всех денег не отдали, когда у маленькой была диспепсия и нужны были капельница и то лекарство, я уже забыла... И Лазар одолжил у этого К. деньги...

Теперь я чувствую, что надо спросить что-то по-честному, хотя бы мелочь какую-нибудь, а то мы уже задыхаться начнем; какая-то фальшь будто уже стала вместо воздуха и душит нас...

Я спрашиваю, что хочет К. попросить у Бориса... Лазар отвечает немножко грубо (интонация такая), но кажется, ему тоже легче от этой, пусть маленькой, но честности... В голосе Лазара — какая-то брезгливость, он уже противен сам себе. Ему плохо... К. хочет попросить, чтобы Борис помог ему жениться на немке из ФРГ, — отвечает Лазар... Все, больше никаких честных вопросов я не могу придумать, но вроде бы начался разговор, и я по инерции спрашиваю: «А как он будет с ней разговаривать, он же не знает немецкого языка?..» Это уже надуманный вопрос и, значит, нечестный. И Лазар это чувствует, и отвечает совсем грубо: «...откуда я знаю!...» Наверное, все это может восприниматься комично, но это совсем не комично, потому что это наша мучительная жизнь, и наше задыхание в этой жизни...

Уже надо одеваться, приводить себя в порядок... Почему-то квартира стала очень тесной, мы не можем в двух комнатах разойтись, наталкиваемся друг на друга; Лазар в одних

трусах, и прикосновения мои случайные к его телу меня возбуждают и усиливают мое раздражение... Мы говорим друг другу нелепые, нелогичные и злые фразы... Лазар спрашивает зло, собираюсь ли я оставаться в таком виде...

— А ты?..

А ведь и он и я, мы оба знаем, что, конечно, не собираемся так оставаться. Не останется Лазар в одних трусах, и я не останусь в грязном халате и босиком... И я виновата, я не должна поддаваться мелочному самолюбию; я должна думать о том, как бы успокоить Лазара, а совсем не о том, чтоб обязательно что-то ответить на его слова...

Я стою в ванной и протираю лосьоном лицо. Лазар вошел. Мы не договорились, кто первым будет мыться. Несколько моих баночек на полочке под зеркалом вызывают у него новый приступ раздражения. Мужчины, уже немолодые, особенно не любят всякую женскую косметику. Думаю, это потому что не принято, чтобы и они могли подкрашиваться, и поэтому им, наверное, кажется, будто они выглядят хуже своих жен. И еще — наверное, в этих красках Лазар видит еще одну ложь и чувствует, что лживость человеческой, нашей жизни проникла через эти мелочные игрушки и в его дом...

Но почему он так мучается? Разве он впервые просит об одолжении? Да, впервые у человека, с которым вместе учился, дружил так близко, который всегда признавал себя не таким способным, как Лазар...

Но у меня уже тоже нет сил хотя бы подумать что-то утешительное для Лазара...

Я положила ватку на полочку, но увидела, с каким отвращением Лазар глянул на эту ватку, и снова взяла ее и зажала в пальцах.

— Вымойся первый, Лазар, и побрейся. Я ведь все равно дольше тебя буду собираться...

Но Лазар передразнивает злобно мою интонацию и говорит быстро, что он ненавидит, когда я притворяюсь покорной и ласковой... Тогда у меня глаза наполняются слезами, и я говорю тоже со злобой, что я его ненавижу, всегда ненавижу... Глаза его вдруг перестают быть злыми и становятся сосредоточенными, и смотрят на меня, как будто вдумчиво и беспристрастно меня всю видят; смотрят на меня без всякой уже злобы, но и без доброты, испытующе как-то...

Лазар выходит и спокойно прикрывает дверь... Я остаюсь, моюсь, потом подкрашиваюсь... Выхожу из ванной в незастегнутом халате. Не хочу опять столкнуться с Лазаром. Думаю, и он не хочет... пойду на кухню... подхожу к двери кухонной, он стоит в кухне близко к двери; наверное, прислушивается, ждет, пока ванная освободится; думает, я в комнату пойду. Ну, я и пойду в комнату, оденусь...

Лазар пошел мыться... Я думаю, что надеть... Два домашних платья — это просто тряпки — нельзя... Слишком наряжаться — смешно получится... Надену пестренькое платье, оно легкое и не такое ношеное... Я причесалась и подколола волосы красной заколкой... Мне вдруг хочется надеть ожерелье и серьги, которые мне Лазар купил когда-то в горах. Не думаю, понравится ли ему, просто надеваю — и все...

Лазар уже стоит, ему тоже надо одеться, но он ждет, когда я выйду. Я выхожу из комнаты, отвернув лицо... Через несколько минут Лазар зовет меня по имени. Голос у него обычный, даже мягкий. Я понимаю, что надо войти как обычно, не нужно дуться и делать вид, будто что-то серьезное произошло между нами... Я вхожу. Лазар спрашивает, что ему надеть... Белая рубашка и черные брюки — как-то полуофициально и смешно... Джинсы и голубая рубашка? Да, и мне нравится... Я понимаю, что сейчас нам не надо много говорить... Иду на кухню... Все приготовлено. Салаты... Все красиво выглядит, будто и не мы с Лазаром готовили, а какие-то чужие люди, все отчужденное какое-то... Тихонько иду к двери и заглядываю в большую комнату. Лазар, уже одетый, стоит спиной ко мне. Вначале мне показалось, он закрыл лицо ладонями; я испугалась; нет, просто держится руками, немного присогнутыми в локтях, за эту буфетную полку. У нас такой старый буфет с зеркалом, еще в квартире родителей Лазара он стоял...

Когда маленькая заболела, я помню, Лазар стоял вот так, выпрямившись, закрыв лицо ладонями, и плакал. Это был тот громкий плач, который называется рыдание; и в буфете чуть дрожала ритмически, слабым стеклянным звуком чайная посуда на полках... и все это было так странно, и почему-то так красиво это было, и мне тогда на какой-то миг показалось, что я не должна разрушать эту красоту своими мелочными утешениями... Так помню его распряmlенного, с чуть склоненной головой, и его красивые ладони удлиненные скрывают его лицо... Совсем не помню, чтобы потом он показал мне свое лицо опухшим и покрасневшим от слез...

Я помню еще мужские слезы... Как я, маленькая совсем, лет пяти, сижу у какого-то очага... да... И огонь, словно целый мир огня, странно живущий... напротив меня сидит мой дедушка; он в своем черном грязном пиджаке, в таких же брюках, ворот грязной светлой рубашки расстегнут, шея крупно-сморщенная, и лицо искаленное; бесформенный деформированный рот, словно пещеристая приоткрытая щель; страшный расплзвшийся нос и отвисшие и запавшие щеки... Рядом огонь, и от близости огня все это становится четким, твердым и на что-то похоже, на такое красивое, что я видела на цветных фотографиях в книгах, красивое и древнее...

Бронза!.. У него страшные нависшие косматые брови, грязная черная кепка надвинута на лоб, он смотрит на огонь, и не видит меня... Будто бы этот человек и этот огонь связаны какой-то духовной близостью, не какой-то мелочной человеческой духовностью, а совсем другой, как, например, огонь и металлы... Глаза его совсем раскрываются, поднимая груз тяжелых сморщенных век... В глазах — слезы... Глаза — черные, словно черные живые драгоценные камешки большие... И от слез в них живой, красивый и густой блеск... Пальцы крепко сплетены, они тоже красивые, большие и темно-бронзовые...

Неужели и сейчас Лазар плачет?.. Я осторожно и нерешительно останавливаюсь в дверях. Лазар оборачивается ко мне. Он улыбается. И вдруг я понимаю, о чем он подумал. И улыбаюсь, потому что знаю, я правильно угадала... И Лазар начинает говорить, и я уже точно знаю, я правильно угадала...

Это было года два тому назад. Лазар вдруг сказал нашему Лазару Маленькому, пусть тот поднимает кверху карты игральные из колоды, по одной; рубашкой, изнанкой кверху, а Большой Лазар угадает, что на карте нарисовано. И он все карты угадал... Я даже немножко испугалась, потому что не могла это себе объяснить, как это он сделал. Мальчик выскочил из-за стола, ухватил его за руки: «Ну как ты это делаешь? Ну скажи! Ну ска-ажи!»... Я тоже начала возбужденно просить. Лазар улыбался и делал головой отрицательные кивки... Наконец он сказал, и мы разочарованно засмеялись... Все очень просто было: Маленького Лазара он посадил так, что, когда мальчик поднимал карту изнанкой кверху, картинка отражалась в буфетном зеркале. Большой Лазар стоял напротив зеркала и все видел.

Теперь мы вспомнили, и, перебивая друг друга, напоминали друг другу подробности, разные мелочи, — что на ком было надето, и как смешно мы просили его все объяснить; и теперь мы говорили, и улыбались, и смеялись... Вдруг Лазар оглядывает меня; я вижу, что ему нравится, как я оделась, и радуюсь...

Время быстро пошло. И позвонили у двери. Мы как-то сразу обмерли, будто тяжесть на нас какая-то свалилась — уже они!.. Лазар пошел открывать. Мы почти обрадовались, это был К. Он принес большой букет. Нам очень стало тоскливо... снова... Цветы казались нелепыми, напыщенными. Я нашла в кухне синюю стеклянную вазу, мне подарили еще в школе на день рождения. Поставила букет. Лазар перенес вазу с цветами на буфетную полку, стекло у вазы грубое, посреди-не стола поставить будет как-то совсем очень просто выглядеть... Этому К. Лазар сказал, что на полке цветы будут смотреться красивее... К. одет в какой-то импортный полуспортивный костюм летний. Он в приподнятом настроении. Он что, серь-

езно верит, что Борис будет делать ему одолжение? Или он что-то важное собирается предложить взамен? Очень пошлым мне кажется этот К. Он оглядывает нас самодовольно и начинает снисходительно хвалить меня, говорит, что я хорошо выгляжу, что он будет за мной ухаживать... Это он так шутит... У него такой грубо-громкий голос... И я знаю, что на самом деле он считает меня совсем некрасивой; и еще с какой-то брезгливостью относится ко мне, потому что у меня большие легкие... Но вот уже мы все трое мучаемся последним нетерпеливым ожиданием... Замолчали... К. предлагает открыть бутылку пива... Голос у него такой противный, у меня в ушах боль... Лазар натянуто отвечает, что не надо открывать, и сейчас гости уже придут... Еще ждем... Я представляю себе, как они там разговаривают о нас, как бы им увернуться от наших просьб; как они презируют нас... Почему это унижение? Они ведь не умнее нас...

Это можно долго и напрасно рассуждать...

Я не помню, как идут эти первые бесполовые минуты после их прихода... Я показываю, где мыть руки... К. очень громко говорит и громко смеется... Он называет жену Бориса «госпожа», и со смехом просит его перевести, что вот «госпожа» это «фрау»... все противно и стыдно... Она дежурно улыбается этому К. Борис не скрывает своего презрения к нему. По-моему, она твердо решила отводить разговор от всяких просьб. Эти женщины с дежурными улыбками, они ведь с таким очень твердым характером... Лазар мне говорил, что Борис теперь выглядит, «как настоящий европеец»... У этого Бориса такой нарочитый вид, будто он показывает специально, с какой легкостью он теперь носит дорогие потертые джинсы и очки в дорогой оправе... Она начинает спрашивать (по-немецки), турецкие ли это блюда: пилав и салат из нарезанного сладкого перца... К. еще не сел, стоит с напряженным лицом; ему, наверное, неловко, он ведь не понимает по-немецки... Борис переводит ее вопросы, в голосе у него такая демонстративная тактичность... Лазар отвечает ей (тоже, конечно, по-немецки), что пилав — это восточное кушанье, а салат — общевосточное... Она, конечно, притворяется с этими своими расспросами. Никакая это для нее не экзотика. Она это нарочно, чтобы отнять у нас время, чтобы Лазар не успел поговорить с Борисом о деле...

Дальше помню... Но я хочу сначала сказать, пока я не забыла... Вот видишь человека, смотришь на него со стороны и замечаешь, когда он что-то делает совсем неправильно и себе во вред, и кажется, вот сейчас посоветуешь ему, укажешь — и он исправится; а не понимаешь: ведь эти его неправильно-сти — это он сам, это его натура, и чтобы ему помочь, надо все время о нем думать, все время придумывать, находить ка-

кие-то осторожные бережные слова и действия для помощи ему... А если просто так говорить, то и ничего не получится. И еще и человек может сопротивляться, не верить тебе, и ты сам можешь быть не уверен в себе... И еще... уже другое я хочу сказать... О другом... Иногда просишь человека о чем-то, а хорошо относишься к этому человеку, даже любишь; но когда просишь, уже и сама думаешь о себе: может, и не люблю, может, нарочно притворяюсь, внушаю сама себе эту любовь, чтобы легче было просить...

Да, это... Мы уже сидели за столом... К. уже сказал много пошлостей и какие-то пошлые тосты... Поели уже кое-что... Теперь К. выставил свой крепкий локоть на столе. И Борис как будто отгорожен этим локтем. К. ему что-то гудит напо-ристо, будто шмель, залетевший в комнату... Лазар не может сейчас говорить с Борисом и ест пилав. Нервничает, и чуть убыстренно вилка в его руке подвигается от темно-желтого риса на тарелке к губам, чуточку уже залоснившимся...

Лазару нельзя острое... Но если я ему сейчас это скажу громко... Зачем? Чтобы показать всем здесь, какая я заботли-вая?.. А если потихоньку скажу... тоже зачем? Чтобы ему по-казать свою заботливость о нем?.. И только раздражить его понапрасну... Он ведь и сам знает, что ему нельзя острое, и если все-таки ест, значит, ему очень хочется; он меньше нер-вничает, может быть, когда сейчас ест... Понемногу все равно можно ему острое... Когда у него болит желудок, он прижима-ет ладони к животу, на лице у него делается такая тревожная тоска, он мечется по квартире, не хочет лечь, он боится смер-ти, боится — вдруг операция... Я помню, как меня одно вре-мя этот его страх раздражал; я чувствовала себя униженной; мне было стыдно, что я люблю человека, у которого болит живот, и он боится так открыто смерти, и у него пахнет изо рта, и он воспринимает свою совсем не страшную болезнь как что-то очень важное, очень-очень серьезное; и эти нестраш-ные и не такие уж сильные боли заполняют его жизнь, стано-вятся смыслом его жизни... после мне было стыдно за такие свои ощущения... Я теперь могу наблюдать, что Лазар гораздо спокойнее переносит эти приступы, потому что наши девочки за ним ухаживают... Для них это радостно-серьезное состоя-ние, когда они сознают себя нужными взрослому человеку, своему отцу... Старшая умеет уговорить его лечь, а я не могу... По-моему, для них это и немножко игра, но меня удивляет, что они и не пытаются имитировать, как дети при игре «в доктора», какие-то медицинские манипуляции; уколы, например... Они проделывают какие-то странноватые дейст-вия и при этом у них какой-то вид полной уверенности в полезности и целесообразности этих действий... Я помню, как это они с таким серьезным видом разложили у него на живо-

те, где желудок, кожурки от огурцов, сверху наложили чистое сложенное вдвое полотенце, и старшая следила по часам, не сводила глаз с будильника, будто было очень важно, сколько времени должна продлиться эта процедура... Он лежит, бедный, в одних трусах, и выражение лица у него такое жалобное и серьезное... И лицо моей старшей девочки не похоже на мое лицо, и когда она смотрела на будильник, как-то я почувствовала в ее лице какую-то нежную внимательность, женственную пристальность... Я не умею так, у меня слишком много своих собственных мнений по самым разным вопросам, и с чужими мнениями я не соглашаюсь, а свои доказываю очень резко... Это плохо... Другой раз маленькая прижала свои ладошки к его животу; как абрикосик она; и серьезность ее личика такая милая, и эта милая напряженность на личике, эта энергическая уверенность, что вот сейчас, еще немножко, и ничего у него не будет болеть...

Лазар бедный... у него и кожа на лице огрубела, и видны седые волоски на голове и в бровях, а на подбородке кожа отвисает немного; и живот выпячивается у него...

И мне так жаль его, и от этой моей жалости к нему он мне такой милый... когда он так лежит... Девочки его очень успокаивают... И странно так: еще недавно совсем, какое тонкое было у него лицо, и нежная темнота на щеках после бритья; а ноги — когда в одних трусиках или совсем без ничего — будто в альбоме Микеланджело; так было странно и радостно, что это все-таки живые загорелые человеческие ноги, не мраморные, и такие совершенные; а теперь бледные, будто отечные, и видно, что на них много волос... И у меня вдруг такое ощущение, будто это все так быстро, как бывает у насекомого или у цветка, на глазах почти, за какие-то считанные дни...

И какое-то чувство боли и Бога, ведь это нам была дана эта красота живого человека, и вот она сошла, а мы не взяли от нее всей той радости, всего того счастья, что в ней было... И мы виноваты в том, что она вот так сошла, и, может быть, и бесследно сошла... Он был единственный живой... И мне так жаль его; он лежит кроткий и успокоенный; а я ощущаю это чувство вины...

Вот я о Лазаре сказала, но у меня самой есть только очень смутное ощущение, что я была телесно другая — волосы темные и сильные, и сама вся — крепче и сильнее... А теперь у меня туберкулез обострился и мучают разные нарушения женские... У меня стали слабые руки, я быстро устаю... Единственное, что осталось, это то, что я еще могу подолгу ходить, много могу пройти... Я люблю ходить по центральным улицам... Иногда эта доброта Лазара изумляет меня. (Наверное, всякая бескорыстная доброта должна изумлять)... Он так тонко все замечает, сам предлагает, чтобы я пошла пройтись,

и остается дома, готовить еду... Мне стыдно, потому что ведь у него и без того много работы. Но я так эгоистически не могу себя переломить и иду на прогулку... Сын ходил со мной, мы разговаривали, но я стала уставать от этих разговоров и рассуждений на ходу, в конце уже так немножко откашливаюсь и выплевываю кровь, Лазар и это заметил, я поняла, теперь мальчик под разными предлогами отказывается идти со мной, отец ему сказал, я и перестала звать сына, не хочу этой фальши, мне ведь и правда хочется идти совсем одной... На улицах меня не занимают ни люди, ни дома, ничего, только то, что я иду, двигаюсь, и какое-то ощущение относительной безопасности... У меня перед глазами, как будто бы такие крохотные прозрачно-зернистые разноцветные переливчатые круги. И даже иногда, когда закрываю глаза, они остаются. Щурю глаза, чтобы лучше видеть, глаза устают... Неужели это от болезни?.. Мне кажется, я совсем противна себе самой; будто я совсем одна на свете, и ощущение какой-то странной и грубой угрозы... Я умом знаю, что когда-то была относительно здорова, но тех, прежних своих телесных ощущений не помню... Иногда вдруг мысль — спросить Лазара, как он воспринимал меня прежнюю... Но было бы совсем бесчестно мучить его такими вопросами...

Я думаю, надо и мне поговорить с этой Хели... Борис уже несколько раз называл ее по имени, и так время от времени пошлепывает ее по предплечью или по бедру, показывает нам, что она ему принадлежит, и все блага, которые она ему дала. фээргэшная жизнь, очки в модной оправе, и не знаю что еще,— все это он заслужил, он, а мы не заслужили, и он лучше нас...

Она еще молодая, моложе меня, или это кажется, потому что у нее кожа гладкая... Наверное, она питается свежей хорошей пищей. Одета она в такие тоже выцветшие джинсы и в белую блузку из какой-то хлопчатобумажной материи... Без украшений... Лицо и шея, и руки загорелые... Ну, конечно, на пляже загорала с Борисом... Без лифчика она... Губы у нее полненькие такие, свежие... Так чуточку она подкрашена... Катя, наверное, определила бы, что это очень дорогая блузочка и очень дорогая косметика, которая так незаметно и естественно оживляет все краски лица... Но я не знаю... Глаза темно-карие. И волосы темно-каштановые, такими спиральками завиваются, и на пробор, и сзади на затылке такой жгутик, и заколочка незаметная... Нос тонкий, острый и даже с горбинкой... На какие-то мгновения у нее серьезное выражение, будто она страстно решает какую-то важную для нее задачу, но тотчас улыбается всем этой дежурной улыбкой. Зубы хорошие, белые и большие... Что-то странный этот нос, может, она и не немка, а еврейка... Сначала я злюсь на себя,

потому что нам с Лазаром приходится унижаться; после — на К., на Бориса, который всегда был против меня; на эту женщину, на немцев, на евреев... Это, кажется, называется «глубокое раздражение»... Какой-нибудь неразумный волшебник если бы сейчас исполнил мое подсознательное желание, вся вселенная погибла бы... Ах, глупо... Хотя бы попробую говорить по-немецки. Другой случай вряд ли будет... Что у меня получится?.. Я обращаюсь к ней; говорю, что я хочу немного поговорить по-немецки, у меня нет практики, можно ли говорить помедленнее... Она улыбается и отвечает: да... да... Она смотрит на меня... Кажется, она пытается определить, насколько я похожа на своих единоплеменниц... Это глупо и унизительно... Я — это я... И это моя манера одеваться, моя неловкость в движениях и жестах, мое лицо... а другие женщины — они просто обыкновенные, и в этой обыкновенности своей они лучше меня... Я спрашиваю, в каком городе она живет. Она отвечает. Такой разговор, я спрашиваю — она отвечает. Спрашивать меня ей ни о чем не хочется. Наверное, ей хочется уйти, и ей жаль Бориса, которого мучит этот К. И эта ее жалость сближает ее с Борисом... А мне вот назло становится жаль этого К... Я спрашиваю, кем она работает. Она отвечает, что она врач. У меня не хватает слов спросить, какой врач. А мы с Лазаром не знали, чем она занимается. Но Борис и Лазар ведь не переписываются, это Лазар случайно узнал, что Борис приехал... Я говорю, что у нас трое детей... А у вас есть дети?... Да, у них две девочки, четырнадцать лет и шестнадцать... Значит, это до Бориса. И она не такая уж молодая... Тут я замечаю, что почти при каждом слове делаю такой странный жест обеими кистями, будто хочу взять в ладони лицо собеседницы... Видно, этот жест как-то неосознанно помогает мне подбирать слова... И Лазар заметил этот мой жест... Почему-то он рассердился. Хватает меня за руку, встряхивает мою руку и шипит, чтобы я прекратила этот нелепый разговор... все слышат и видят... К. ослабил хватку и устался на нас уже немного осоловелым взглядом. Борис откинулся облегченно на спинку стула и смотрит презрительно. Его жена демонстративно отвернулась... «Лазар, не надо», — тихонько говорю я... Но ему, конечно, кажется, что я нарочно притворяюсь покорной и ласковой... Но руку мою выпустил... Я встаю. Мне стыдно, я чувствую, что покраснела. Беру пустую уже салатницу и несу в кухню... Пью воду... Когда возвращаюсь в комнату, все понимаю... Так и остаюсь неловко стоять в дверях... Никто на меня не обращает внимания... К. опять взялся за Бориса... Лазар придвинулся к этой Хели, и очень быстро и хорошо картавит по-немецки... Сначала у меня как будто условный рефлекс срабатывает. Всегда, если Лазар заговорил с женщиной, даже близко подошел, я

начинаю ревновать... Хотя говорит он только по делу, и лицо у него мрачное, и брови сдвинуты сурово; и ни за кем он не ухаживает, я все равно ревную... И сейчас, когда я вижу, как это он близко сел к ней и так бойко заговорил, меня как будто ударяет волна душного воздуха... Я даже пошатнулась... Но вот я все поняла... Это, наверное, он немного опьянел, иначе зачем такие глупости. Он услышал слово это — «врач». И теперь выцарапывал консультацию насчет моих легких... И ничего не понимал... Какой она там врач, по какой специальности; и ведь она за столом и ей неприятно вести разговор о крови, о болезнях; и, наверное, она испугалась, что сидит за одним столом со мной — все-таки кровь из горла почти каждое утро; и вообще он ведь должен совсем о другом попросить Бориса; нельзя же сразу несколько просьб... Ничего не понимает Лазар... Бывает такое состояние, когда просишь, и уже ничего не понимаешь, и только до слез по-детски обижаешься, что человек тебе отказывает... И ужасно слышать это «я ничего не могу сделать»... И хочешь его унижить, заставить, чтобы он честно признался, что не «не могу», а «не хочу»... Хочешь его унижить этим его признанием... Но зачем?.. Человек не хочет — и все!.. Может — а не хочет тратить свое время, и свои силы, и деньги, и связи на исполнение твоей просьбы, твоей мольбы... Он плохой, этот человек... Она плохая, Лазар... Я тоже плохая, я даже сейчас не верю, что ты меня любишь, просто ты не хочешь терять привычный свой жизненный уклад; если я умру, этот уклад нарушится... Она уже отвечает отрывисто и почти не скрывает досады... Нет, она детский врач, она занимается совсем маленькими детьми, новорожденными... Да, если кровь идет горлом, это может быть все, что угодно... Да, зубы, желудок... Да, если уже есть туберкулез... Нужно обследование... Нет, она не знает, как это делается, направление на лечение в другую страну...

Глаза у Лазара такие злые, даже я боюсь смотреть, чтобы не встретиться с этим тяжелым взглядом. Он злится на себя, на свое унижение. Он понимает, что не вытряхнет, не выцарапает из этой женщины хорошее лечение для меня и все те блага, которыми она пользуется, а мы этого тоже заслуживаем; может, и больше, чем она; и не имеем... Он уже просто не может остановиться, ему хочется сделать ей хоть немного плохо, причинить ей неудобство хотя бы этим разговором, этими отчаянными просьбами... И тут она встает, и громко, невежливо (и это нарочно) говорит ему, что извините, ей нужно выйти из-за стола... Борис пользуется моментом, тоже страхивает с себя настойчивого К., и тоже громко спрашивает, нельзя ли выпить кофе; напоминающая как бы, что пора все это кончать... Лазар теперь встает, велит мне сесть, и сам идет на кухню, варить кофе... Он, конечно, не хочет, чтобы я

шла за ним и упрекала его, или чтобы я сама сварила кофе; ему хочется побыть одному, очень измучился... А мне хочется его обнять крепко, и расстегнуть платье, и прижать его лицо к своей груди — и больше ничего...

Я помню разговор, который этот самый К. и завел... Эта мода осуждать идею равенства... И кто? Совсем не аристократы по рождению, неудачники, слабые люди... нет, это смешно — такое детское ницшеанство у этого К. Он выставляет вперед генетику, будто он в ней что-то понимает — нашел боевого слона!.. Но Лазар говорит, что у великих людей что-то не рождаются великие дети; он верит в наследственность на уровне Менделевского горошка — или что он там выращивал, — цвет волос, форма ушей — это, вероятно, наследуется; а когда ему внушают, что дети рабочего глупее детей академика!.. — Но не бывает равных способностей! (Это К.)... — Да Боже мой, ни о каком равенстве способностей не идет речь, — о равенстве возможностей! (Лазар)... Пример у Лазара простой: двое хотят поступить в языковую гимназию; одного принимают, потому что у него отец со связями, а другого — нет, не принимают, хотя у него побольше способностей, чем у первого... Я отвлекаюсь на свои мысли: интересно, — думаю я, — а если эта энергия злая, эта способность подличать, заводить связи, выгодно пристраивать своих детей, с успехом идти на компромиссы; если это все — тоже способность, такая же, как способность к математике или языкам, — что тогда?.. Как тогда нам сопротивляться, чтобы нас не утопили, не растоптали, чтобы мы не задохнулись?.. Нашего мальчика скоро надо будет пристраивать; и тоже мы ведь хотим в гимназию с английским языком; и придется опять унижаться, просить...

Что еще я вспомнила?.. Вот Эмил, который вместе с Лазаром работает в академии... Но это была одна из тех странностей — всегда можно придумать, что ее нарочно придумали, а ведь она и вправду случилась... Зачем-то Эмил зашел к Лазару... Они разговаривали; малышка наша подошла и стала о чем-то просить отца; чтобы он ей что-то нарисовал, что ли... Эмил заговорил с ней таким фальшивым тоном, каким обычно разговаривают с детьми взрослые, когда притворяются, будто всерьез убеждены, что будто бы дети равны взрослым... Вот Лазар никогда не разговаривает с детьми таким тоном, Лазар не лжет, Лазар знает о себе, что он умнее ребенка... Я вышла из кухни, чтобы забрать девочку, чтобы она им не мешала; и вот вижу, Эмил дал ей бумажку, что ли, и говорит, что она может играть, как будто это деньги; а, нет, он сказал — играть «в магазин»... А девочка сказала: «Это не деньги, это левы!»...* Она, оказывается, я поняла, деньгами называла

* Лев — денежная единица в Болгарии (как в СССР — рубль)

только монеты, только металлические деньги; а левами называла бумажные деньги... Случайно получилась такая двусмысленная реплика у нее... Эмил сказал Лазару каким-то меланхолическим голосом: «Серьезная заявка у твоего ребенка...» Не помню, как Лазар ответил, но как-то они сразу о чем-то другом заговорили... И Лазар не запомнил эту реплику, а ведь она такая забавная получилась... Странно, что они оба так мало внимания обратили на эту реплику... Но я другое вспомнила... все к тому... о чем я все время думаю... Этот Эмил — еврей, и вот он как-то получил разрешение поехать в гости в Израиль, он ездил к своему какому-то приятелю, по приглашению... Лазар мне сказал, что теперь Эмил приглашает нас в гости, Эмил будет рассказывать свои впечатления... Я подумала, что не надо идти; ведь, наверное, Эмил пригласил каких-то своих единоплеменников, рассказывать будет собственно для них, а мы будем себя неловко чувствовать... Но на лице Лазара такое милое кроткое выражение интереса, ему хочется послушать... Зачем я буду всякие предположения высказывать... Мне идти не хотелось, но я ничего не сказала... Мы втроем пошли. Конечно, и Лазар Маленький... вот уже года полтора я замечаю, как это он прислушивается напряженно, ищет возможность вставить какую-нибудь свою реплику... Я думаю, он совсем не глупее их, когда речь идет о политике или философии... Конечно, всякое бытовое он хуже знает, но это и не главное... Иногда его реплики действительно немножко неважно, но это потому, что он волнуется и потому, что к нему несправедливы, могут оборвать и даже резко, не дают договорить до конца... А чем они гордятся? Тем, что старше его? Все равно ведь не умнее... Я боюсь, вдруг его сильно обидят... Но он не обращает внимания на эти обиды, все равно тянется, прислушивается и сам стремится говорить...

У Эмила сидел еще какой-то его знакомый; значит, мы, жена Эмила, Ива ее зовут, она болгарка, и их дочка — годика три — мешала, конечно... Но он интересно рассказывал: разные сценки, ситуации... Но вот он сказал, как это уже когда он улетал, и в аэропорту две очереди на таможенную проверку; ну, уже из Израйля он улетал; и он стоял в очереди, где евреи стояли, их не очень тщательно проверяли, а рядом была очередь арабов, их тщательно проверяли... Я сразу встрепенулась и спросила, не стыдно ли было ему стоять в такой вот привилегированной очереди... Лазар тоже мотнул головой и брови сдвинул, он был недоволен моим вопросом, ему не хотелось никакого спора, хотя я совершенно уверена, что в этом случае Лазар был со мной согласен... Эмил посмотрел на меня таким хитроватым дипломатическим взглядом... Он хорошо выглядел, как это бывает после зарубежной поездки,

голубые водянистые глаза у него стали довольно яркие... Он решил, что в этой компании может не скрывать своих симпатий к Израилю, и ответил мне, что евреи в Израиле имеют причины обыскивать арабов — а вдруг бомба спрятана или что... Я сказала, что причины для того, чтобы обыскивать всех подряд людей одной национальности или одной религии, всегда можно найти... И можно и не только всех обыскать, но и всем поменять имена или всех сжечь в газовой камере... И с его единоплеменниками уже так поступили в прошедшую войну... Тут Лазар глянул на Эмила и быстро улыбнулся в сторону; Лазару, наверное, стало интересно, что теперь Эмил ответит мне...

Я, как это бывает со мной, говорила запальчиво, и Эмил тоже понемногу впал в запальчивость и сказал, что вот именно для того, чтобы не повторились те преследования и убийства прошедшей войны, евреи и хотят быть сильными...

— Значит,— сказала я,— испытания ничему не учат людей, ничему, кроме несправедливости к другим людям. Все хотят быть сильными за счет чужих несчастий...

Конечно, разговор перешел на положение тех, кому поменяли имена... Я сказала, что даже если бы и была автономия болгарских турок внутри Болгарии, ничего плохого не было бы в этом... Лазар Маленький бросился в разговор и сказал, что должна быть свобода передвижения из одной страны в другую — как человек захочет.— Если во мне турецкая кровь, я что, обязательно должен все время жить в Турции?!.. Ива, жена Эмила, сказала, что если бы сделать эту свободу передвижения, то все захотели бы жить только в Париже, в Лондоне или в ФРГ... Знакомый Эмила поддержал ее (я не поняла, этот знакомый, он еврей или нет)... Я заметила, что Лазару Маленькому стало приятно, потому что его реплику приняли всерьез и всерьез возразили... Эмил сказал, что вот перемена имен — это такая месть за времена турецкого ига... У его жены сделался очень одобрительный вид... Я тогда почувствовала, что Лазару не нравится весь этот спор, он тяготеет этим спором; он уже давно считает все эти домашние споры бессмысленными и тягостными; но я уже не могла остановиться... Я встала и сказала Эмилу, что в германских и австрийских газетах конца тридцатых годов писалось о его единоплеменниках кое-что поинтереснее этого пресловутого «турецкого ига»; и все эти писания обосновывали возможность уничтожения миллионов людей, и женщин и детей; и я всегда считала, что эти писания — ложь; а теперь я буду считать их правдивыми, а убийства в газовых камерах буду считать просто обыкновенной местью! До свидания!..

Я вышла из квартиры... Дверь входную спокойно прикрыла... Никто не удерживал меня... Я села в подъезде на скамееч-

ку... Ведь этого Эмила, в сущности, и его единоплеменники насколько не волнуют... И никакая справедливость или несправедливость не волнует его... Его волнует только собственная шкура... Вот он еврей, и если будут убивать евреев, то и его убьют, и потому он начинает кричать, что убивать евреев несправедливо; а всех других, значит, справедливо, или, по крайней мере, Эмилу будет безразлично... Но Лазар сердится на меня за этот спор... Лазару будет совсем тяжело и одиноко на работе; там ведь все чувствуют, что Лазар не такой, как они; что он притворяется, когда пишет все эти лживые статьи и книги... А с этим Эмилом у него какие-то более или менее человеческие отношения... У меня слезы навернулись на глаза, так мне стало жалко Лазара... Еще посидела... Вдруг шаги вниз по лестнице в подъезде... Думаю: это Лазар или сын?.. Лазар Маленький... Он сел рядом со мной... Я взяла его за руку... Такая ручка у него, длинненькая, тоненькая еще, но тверденькая такая; он улыбнулся, согнул руку в локте, сжал кулачок, и мускулы тонкие надулись... — Лазарчо, — говорю, — Я пойду извинюсь... — Он тебя оскорбил, ты ему ответила. А зачем извиняться?!.. — Все равно. Он к отцу нашему хорошо относится...

Я представила себе одиночество моего Лазара Большого на работе, и пошла в подъезд... Чувствую, Лазар Маленький не идет за мной... Я оглянулась... он подошел к этим деревянным рамкам, на которых ковры выбивают, и выгибался, гимнастику какую-то проделывал... Я позвала его... он пошел ко мне... без большой охоты... Я позвонила... Эмил открыл... Я быстро и не глядя ему в лицо, сказала: извините... Он заговорил суетливо, что а, ничего, ничего... После я пила кофе, что-то говорили о кино, я все время молчала... чувствовала себя униженной...

Когда мы возвращались домой, Лазар Маленький заговорил об этом споре, но Лазар Большой спросил у меня что-то по хозяйству, я стала отвечать... Я поняла, что он не хочет этих бессмысленных разговоров; и без того понятно, что все плохо... Но мальчик все же сказал, что я не должна была унижать себя этим извинением... Лазар Большой сказал, что если бы извинился Эмил, это значило бы, что у Эмила есть сила воли; а раз извинилась я, значит, это я сильный человек... Лазар Маленький промолчал, и в молчании его чувствовалась пренебрежительность; чувствовалось, что он обижен на отца и думает, что отец нарочно притворился и солгал... И ведь это, наверное, так и есть; и я чувствую, что Лазар Большой сейчас солгал; и солгал, потому что наше мнение, мое и Лазара Маленького, кажется ему слишком резким... А на самом деле он с нами согласен...

В комнате тяжело пахнет выпившими мужчинами... Я распахиваю настежь окно... Жена Бориса почему-то оборачивается ко мне и говорит спасибо... отрывисто...

Все устали и оступели... Куда это она ходила?.. А, ну я показала уже, где ванная и туалет...

Еще светло... Все-таки лето... С улицы слышны какие-то голоса, как всплеск шумной воды вверх в фонтане... Машина проехала... Тихо... Лазар кофе мелет... Прямо на глазах темнеет в комнате... Свет не хочется включать... Сейчас все начнут по очереди выходить... И мне бы надо... Кажется, уже никому не хочется говорить... У меня какая-то тупая бредовая ревность.. Тупо думаю, может, это Лазар не потому, что я больная, просил ее; может, это он так за ней ухаживал...

Какая я!.. Когда Лазар в гимназии учился, кончал уже, он влюбился в одну свою одноклассницу, Лиляна ее звали... Такая школьная любовь. Он смотрел, молчал. Молча давал ей цветы... Может, большего он и не хотел... А когда они поехали летом работать на раскопках, она там сошлась с шофером. И все это знали и говорили об этом Лазару. Одни хотели ему сделать больно, другие — наоборот — утешить; и все говорили... Он тогда мучился от отвращения к себе. Не к ней, а к себе... Это мне Софи рассказала... А Лазар не рассказывал, и я не спрашиваю, не надо причинять ему лишнюю боль... Мне нравится его теория о том, что в любви человек свободен. Она свободна:— хочется ей — и не любит его и идет к другому. Он тоже свободен, хочется ему — и любит ее и стоит у ее дома и смотрит, как это она идет по улице. Но если она не хочет, не надо к ней подходить и говорить с ней, это уже будет значить стеснять ее свободу... Очень славная хорошая теория... О его другой любви я больше знаю. Она моложе его, но раньше кончила университет и уже работала в школе. И очень интеллигентные у нее были родители, такие думающие и совестливые и порядочные служащие, бывшие чиновники, на такой старомодный европейский манер, как, наверное, бывало еще до первой мировой войны... Лазар пришел с ними знакомиться, а когда он ушел, родители ей отсоветовали выходить за него замуж; сказали, что не сложится жизнь... И когда наутро он пришел и ей сделал предложение, она ему эти их слова передала; и сказала, что не хочет, чтобы и Лазару и ей было плохо, и отказала ему. И мне нравится, что она при этом не говорила, как она его любит; чтобы не получалось, что вот она такая героиня, жертвует ради него своей любовью к нему... Нет, все так скромно и спокойно... А ведь она его любила, я знаю... Я бы так не смогла... И он потом ведь знал, что я его люблю, и смотрю на него; и меняюсь в лице, когда слышу его имя... Ему сказали, все заметили... А, может, я хотела, чтобы заметили?.. Тогда нечестно... А я готова какие угодно причины найти, лишь бы самой себе доказать, что это я, я его люблю, а не он — меня. Почему-то мне так легче. Может, я просто боюсь, что вот я поверю, что он

меня любит, а потом он скажет что-нибудь или голос будет сердитый, и мне тогда станет совсем плохо... Может, боюсь этого... Потом она вышла замуж и у нее сын есть... Я ее видела несколько раз, случайно, вид у нее усталый... Вот с ней бы я дружила... Но это невозможно. И Лазару было бы больно, и ей, наверное... Когда мы еще только поселились в том подвальном этаже, и накануне дня рождения Лазара она пришла. Так вежливо поздоровалась. Стоит на пороге. Такое достоинство и бескорыстие, и без малейшей тени самодовольства... И, кажется, это передается... Я поняла, что не надо ее приглашать в комнату, ей это не надо... Она сказала, что Лазар хотел иметь эту книгу, и отдала ее мне, и вежливо попрощалась... Нет, она не для того пришла, чтобы показать мне, как она его любит, а просто, чтобы у него была эта книга, которую ему хотелось иметь... И она мне доверилась... Значит, она понимала, что он с плохой женщиной не соединится... Вот она уже попрощалась, и приостановилась, и немножко покраснела, и попросила, чтобы я сказала, что я сама купила эту книгу... И я поняла, что я так должна сказать, чтобы ему не было плохо... Потом она ушла, и больше никогда не приходила... А эта книга, переводная, греческий поэт Каватис... Лазар действительно хотел ее иметь и очень обрадовался... Но так быстро все прошло... Как будто что-то почувствовал... И никогда мы не говорили об этой книжке... А когда я вспоминаю, то будто что-то светлое, хотя у нее темные волосы и глаза темные... Юли ее зовут...

Уже стемнело... И Лазар включил свет и до половины прикрыл окно... Пьем кофе... Лазар бедный вспотел, у него рубашка под мышками потемнела, она голубая светлая, и видно... Так мне хочется быть с ним без никого!.. И никто его не знает... И никто не любит его, как я... А я люблю его мыть под душем, и всегда прижимаюсь губами к его телу; а вода течет; и губами чувствую его мокрое тело... Он стоит спиной к мне. Я говорю, чтобы он держался крепко, он послушно упирается ладонями в стенку; я так сильно его намыливаю, что он бы не удержался на ногах... Потом смываю мыло под струями... Мне нравится, как он голову пригибает, и волосы мокрые начинают блестеть... А когда ночью я его целую там, где внизу, и он весь напрягается и вытягивается... И оно поднимается, так странно всегда, как будто оно само по себе живое... И Лазар говорит так тихо, смешливо, напряженно и прерывисто: «Видишь... Вот что ты делаешь... Совсем измучила меня... Сколько можно...» Дыхание у него прерывается... А когда он так резко поворачивается ко мне и глаза его так сжаты... Вот он уже спокойно лежит навзничь... А я сижу, поджав ноги, и смотрю на него в полутемноте предутренней... Я ему говорю, что когда это спокойно лежит между его

ногами, оно похоже на лежащего маленького человека в чалме... Лазар прикрывается простыней и отворачивает лицо; я знаю, он краснеет... Другие так не умеют стыдиться... Я точно знаю... И не надо мне быть с другими, я и так знаю... Интересно, а Лазар если с какой-нибудь другой женщиной, тогда он тоже так?.. А, какая я ревнивая, сама себя мучаю... Он меня еще зубами так кусает за соски — даже больно... А у него соски такие маленькие и беззащитные, так осторожно я прикасаюсь губами... А он говорит: «Не дергай...» Я говорю, что я совсем не дергаю... — Нет, дергаешь... И какое-то детское серьезное упрямство в его тихом голосе... И странно так, взрослые люди серьезными голосами произносят ночью бессмысленные какие-то слова... И другие ночи, когда ребенок плачет, и злишься, и умирает от усталости, и жалеет маленького, и ничего не понимаешь... А Лазар понимает, он кладет ладонь на маленький животик, и ребенок успокаивается... А Лазар так сидит возле кровати... А когда он сам усталый и кричит, чтобы все стало тихо и что у него сил нет...

Уже кончается у них мужской разговор о том, как деньги зарабатывать... К. говорит о грибах, как грибы выращивают в сарае... Борис поддерживает его свысока... Ну, как будто Борис уже такой иностранец, такой европеец, и все это далеко от него... А сам наверняка ведь зависит от этой женщины... Она ведь работает, а что он может заработать своими статьями... Думаю, что очень мало может он заработать... Лазар как-то вяло передергивает плечами и улыбается какой-то смазанной улыбкой, устал бедный мой...

Вот что неприятно: К. заводит разговор о перемене имен, разумеется, и обо всем остальном... Только этого не хватало! И без того тошно, и сил не осталось... Борис говорит, что, конечно, это ошибка правительства. Теперь-то ему все равно, теперь это уже не его правительство!.. К. завел разговор о горах. Там войска, и перестрелки... И он рассказывает, как женщин согнали в селе на какое-то собрание и заставили снять шальвары и косынки... Он обращается ко мне, хочет уточнить, чья это национальная одежда: шальвары и косынки... Не знаю, чего он хочет... чтобы я сказала, что это хорошо и правильно, когда насильно заставляют снимать одежду?.. Я отвечаю, что шальвары — это гигиенично; по утрам, например, когда холодно и надо корову доить... Хотя я в жизни не доила никаких коров!.. К. предлагает доить коров по утрам в шерстяных чулках... И это мы все говорим вялыми, серьезными голосами, а как же это глупо и нелепо...

Вдруг я перестала думать о чем-либо, кроме этого желания обязательно высказать свою мысль... Я сказала, что мне смешна такая наука, которая с маниакальным упорством выискивает что-то общее у болгар с белорусами Полесья, напри-

мер, или с русскими из Средней полосы России; а эта кровная общность болгар и турок, о ней можно тома исписать; а такая наука не замечает, не желает замечать... Только рознь растравляет она между людьми, между близкими странами... Это уже принесло нам горе... Борис произнес как-то в пространстве: «...славистика...» Этот К. что-то заговорил о турецких насилиях, и что вот от этого и есть у болгар эта самая общность с турками... насильственно... Но говорил он без горячности, ему не хотелось втягиваться в спор, в скандал; он ведь не для того сюда пришел... Я сказала со злостью: «Ну, если я тебя насильно одела, обула, и дала тебе слова, и культуру, и все; так это еще не самое страшное насилие!»... Борис хмыкнул как-то очень простецки... Странно это и не похоже на него... Я подумала, что он даже радуется, наверное, что мы вроде забыли о наших просьбах, отвлеклись, ссоримся... У меня такая злость и отвращение ко всему... Несколькo раз было такое... Я спала одна, и мне снился страшный сон, будто я повисла в каком-то пространстве, какая-то пресная душущая безвоздушность; я не могу пошевелиться; мне плохо; и это не кончается, я не умираю; мне очень плохо; и вдруг я во сне понимаю, что со мной: я больше не люблю моего Лазара... И тогда я просыпаюсь, и вся мокрая от пота, жилы бьются на висках, сердце колотится; но это все хорошо, я опять жива, люблю... В горле пленка, я встаю, у меня слабость, меня качает; и в умывальник, в раковину выплевываю кровь... От этого сна только легкая тень страха, ужаса остается, вот и прошла; я ложусь и легко, сладко засыпаю...

Жена Бориса оглядывает нас, у нее теперь какое-то задумчивое и совсем человеческое теплое выражение лица...

Душа Лазара уже стряхнула, как паутину иссохшую, все эти сегодняшние унижения... Душа его летит... Мы уже молчим, а он один говорит... Он говорит все свои любимые мысли о человеческом достоинстве и о том, как нельзя отнимать это достоинство у людей; как нельзя мучить людей унижениями; как нельзя унижать их, давая им это гнусное право унижать и мучать других... Теперь его лицо такое молодое, живое, чистое; а глаза его так чудесно и открыто сияют... Он как будто молодое божество; с одной защитой, с одним невидимым щитом прелестной чистой красоты и милосердия... Он всех защитит... Я знаю, какое божество: Кришна или наш весенний святой Лазар...

Очки он снял... он так... когда весь в своих чувствах и мыслях, таким мальчишеским жестом снимает очки и зажимает в пальцах опущенной руки...

Он сидит перед нами так легко и свободно, чуть подавшись вперед, и говорит...

У всех такие серьезные и потаенно-радостные лица... Наверное, и у меня... Такие лица я видела в горах, когда несколько человек, совсем разных, пили из родника и плескали живую воду себе в лицо...

Мы прощаемся в прихожей... Как все это кончилось, как они поднялись, как мы все вышли в прихожую — не помню в подробностях... Лазар тихонько просит К. задержаться... Я понимаю, Лазар не хочет, чтобы этот К. продолжал им досаждать еще и на улице, а то еще и провожать их пойдет... А с кем не случалось такое, когда просишь и унижаешься... Она вдруг схватывает меня за руку. Неожиданное какое-то движение, слишком резкое и открытое. У нее сильные пальцы... Она начинает очень быстро говорить... И я прошу с просительной улыбкой: «Не так быстро, пожалуйста...» Она тоже улыбается, как-то жалобно, или мне показалось, и произносит: «Да, медленно...» И медленно говорит, что она мне завидует, потому что Лазар меня очень сильно любит, и что иногда лучше прямо сказать о каком-то чувстве, а не прятать его; если сказать, тогда быстрее пройдет — эта ее зависть пройдет... Она сжимает мое запястье... Теперь она как будто унижена передо мной... Я пытаюсь проанализировать свои чувства: а если я испытываю удовольствие? Мне становится стыдно. Я стараюсь, чтобы мой голос был очень добрым и сердечным: «У вас все будет хорошо...» У нее кривятся губы... Ну, если Борис и не так ее любит, все равно он умный и волевой; пожалуй, за эти качества я даже его уважаю; он, конечно, понимает, что если уж он от нее зависит и она ждет от него любви, то он должен ей доказать эту свою любовь к ней. А как она понимает любовь, не знаю... Но то, что она видела и чувствовала, когда Лазар говорил, это не из-за меня и не для меня, это как будто святой Лазар, или Кришна, или родник...

Они ушли... Теперь Лазар говорит К., что мы скоро отдадим деньги... К. рвется на улицу. Я выхожу на балкон. Конечно, Борис уже поймал такси и их нет... К. покрутился, огляделся и пошел... Но это все совсем не смешно...

В комнате Лазар сидит за столом, накручивает на палец темную прядь волос и напевает... Он приподнял руку, согнутую в локте, и этот согнутый указательный палец кажется очень длинным и светлым... когда у меня плохое настроение, я сержусь, если он вот так сидит, крутит волосы и напевает... Сейчас — не сержусь... Он развалился на стуле, одну руку откинул... Он забыл слова, что-то мычит, потом выпевает: «...Са-анта Лючи-иа...», потом опять мычит и выпевает опять... Он поднимает на меня смешливые глаза и спрашивает, не сержусь ли я на него. Мне становится стыдно, что он первый спрашивает, и я сама спрашиваю в ответ, не сердится

ли он на меня... Мне хочется быть с ним... Убирать со стола не хочется... Я подхожу, прижимаю его голову в своей груди, подтягиваю к своим губам его откинутую вниз руку и чуточку покусываю кончики его пальцев... Я хочу потушить свет... Я не люблю, когда при свете... Но он вполголоса бормочет, растягивая слова: «...Не нужно... давай так поласкаемся...»

Уже в постели я спрашиваю о главном:

— Ты ему отдал?..

Вдруг мне хочется, чтобы он ничего не отдавал, чтобы мы с ним не устраивали себе лишнего беспокойства в жизни... Но я этого не скажу вслух... не могу...

— Завтра в аэропорту,— отвечает Лазар.

— Так они завтра улетають?

— Ну да...

Утром мы вскочили как раз, чтобы без завтрака, без кофе бежать на улицу, хватать такси и добираться до аэропорта... Лазар прижимает к груди сумку, в сумке то, что он хочет отдать Борису...

Ну, мы успели... немножко пометались, запыхались... Нашли их... Они стоят в таких выжидательных позах, оглядываются... Я даже обрадовалась; значит, обязательные люди, ждут... Народа много... Никому до нас дела нет... Все равно Лазар поднял чемодан Бориса, оттащил в сторону; Борис открыл чемодан, что-то оба засуетились, наклоняются...

Никто не провожает Бориса и его жену... Ну да, родители Бориса в другом городе живут, у моря... Это она там, наверное, так загорела... Она в тех же самых джинсах, в той же блузке, на плече — сумочка на ремешке... Такая легкая естественная небрежность... У меня с ней странный разговор... Она говорит, что мы, наверное, больше никогда не увидимся... Она знает, о чем Лазар просил Бориса. Она еще напомнит Борису и все будет сделано, и Борис даст знать через их знакомых, когда их знакомые сюда поедут... Потом она просит, чтобы я не обижалась на нее, она действительно не может мне помочь с лечением, это у них очень сложно, и нужно много денег для хорошего лечения... Я думаю, их плохое лечение вполне равняется нашему хорошему, но я упрашивать не стану... Я отвечаю, что это пустяки, не стоит об этом говорить... Нет,— она повторяет серьезно, это не пустяки, я должна лечиться... И — откуда ни возьмись — я не заметила, откуда — сует мне в руки ворох каких-то тряпок и какую-то косметику... И говорит уже опять быстро... И я еле разбираю, что это все я должна взять, потому что нашим врачам тоже надо давать деньги, она знает (ну да, взятки); и это все можно продать, хотя это все уже немножко использованное: и одежда и косметика, но здесь это все равно ценится, и она знает, что нам нужны деньги... Я — нет, нет; она — да, да, да... Все лежит на скамейке ворохом...

Теперь она заново вспомнила, как надо со мной говорить, и говорит медленно... Она говорит, что всю ночь думала обо мне... Тут мне становится как-то странно. — что это? Думать о человеке, которому ты не собираешься помогать, и явно не хочешь опять увидеться с ним... Может, это она о Лазаре думала, может, она просто влюбилась в него?.. Она же тогда не могла понимать его слова, только слышала звучание его голоса и смотрела... Разве что Борис ей после перевел... впрочем, с Лазаром хватает и того, что слышишь его голос и видишь... Она говорит, что меня трудно будет забыть, что ей еще придется восстанавливать свое душевное равновесие... Все это странно и даже фальшиво звучит, хотя и лестно для меня... Она продолжает, что нашла одну мелочь, которую мне будет приятно иметь, и что она просит у меня что-нибудь на память, «как талисман...» Это совсем фальшиво, хотя и лестно, конечно... И что я дам? Клочок платя? А, волосы я заколола не заколкой, а простым зажимом... Распускаю волосы и отдаю зажим... Она открывает сумочку, прячет мой зажим, вынимает маленькую книжку, карандаш и что-то пишет... Лазар и Борис уже закрыли чемодан и разговаривали в стороне... Объявляют досмотр... Борис несет два чемодана, Лазар — большую, вроде рюкзака, сумку Бориса... мы с ней поспеваем следом... Открывают чемоданы и сумку... Нам все видно... Лазар, я чувствую, замер... Мне тоже тревожно. Борис спокойно вынимает из чемодана то, что Лазар ему дал, и кладет в большую сумку. Чемоданы уезжают... Борис глядит на Лазара, смеется и бодро хлопает по своей сумке... Сумка остается при нем... Конец досмотру... Теперь они пойдут на самолет садиться... Они машут нам, мы машем им... Они пошли...

Тут я вспоминаю, что на скамейке остались эти тряпки, бросаю Лазара и бегу... Он — за мной... Я ему объясняю, что это все она нам оставила, на нашу бедность; о зажиме ничего не говорю... Лазар садится, перебирает одежду и косметику, и говорит, что это все действительно можно продать; Софи продаст в гимназии, своим учительницам, когда учебный год начнется... Он спохватывается: — Извини, может, ты хочешь себе оставить?.. Да нет, — говорю, — я не хочу ношеное... Я и вправду не хочу носить то, что она надевала, и краситься ее косметикой. Это бы меня раздражало как напоминание о тех жизненных благах, которыми эта женщина пользуется, а я — нет, как будто я не заслужила...

Лазар начинает запихивать все в свою, теперь пустую сумку... Не заметил, что у меня волосы вдруг распущены... Помоему, он волнуется, сомневается, надо ли было отдавать Бориса... Но я чувствую, что разговор об этом сейчас заводить совсем не надо, так Лазар скорее успокоится... Я и сама волнуясь и сомневаюсь. Если я заговорю, он это почувствует и

сильнее занервничает... Надо отвлечься... Я раскрываю книжечку... Она размашисто написала: «Love»... Почему-то косо поперек почти пустой титульной странички, и по-английски... Может, английский ей кажется таким универсальным языком?.. И почему «любовь»?.. У нее ко мне, что ли? Или у нее к Лазару? А, может, это она вообразила, что Лазар меня так сильно любит?.. Но я-то его люблю...

Это сказки Гауфа на английском... А, вот почему она по-английски написала... Эта книжечка действительно мне нравится, и детям можно будет читать... Но тут не все циклы, а только один — «Караван»... картинки хорошие, не аляповатые цветные, а в такой коричнево-золотистой гамме, гравюры, что ли... На обложке — пустынный пейзаж; и человек в таком восточном костюме, в чалме, ведет в поводу верблюда, а на верблюде сидит укутанная в покрывало женщина...

У меня озноб...

Я совсем одна... Я ни с кем не хочу говорить... Никто не понимает, какая я... Вот...

В сущности, я хотела сказать, что нельзя насильно... что, может быть, после, спустя какое-то время... Нет... Оказалось, можно насильно... И все в каком-то бесконечном забвении тонет...

Когда нашему сыну было уже лет шесть, он уже стал хорошо читать и стал сам брать книги из книжного шкафа. Старшей девочке тогда еще было меньше двух лет, и она много времени брала у меня... Потому как-то незаметно для меня он стал сам читать... Помню, прочел сказки Гофмана... Так понравилось ему...

Я думала, что следует предоставить мальчику свободу; пусть читает, что хочет... Но Лазар по-другому решил, он одни книги детям запрещает; другие, наоборот, очень советует или даже обязательно велит прочесть... Мне всегда странно, что дети не только слушаются Лазара, но даже как-то гордятся этими его запретами и рекомендациями... Может быть, это потому, что в его поведении нет никакой мелочности; что бы он ни делал, он всегда сохраняет какую-то серьезную горделивость... Даже когда у него болит желудок, и у него испуганное лицо, он все равно с этими его сдвинутыми бровями похож на сказочного восточного короля из немецких сказок; он будто король, который боится, что его отравили, а вовсе не какой-то обыкновенный человек, у которого просто болит живот...

Последний месяц перед тем, как меня положили в больницу, был очень плохой. Мне сделали анализ, и палочек не нашли, но у меня стала высокая температура почти все время, кровь каждое утро откашливалась, я лежала. И я все время боялась, что вдруг палочки все же появятся, и это будет опасно для детей. Лазару, кроме своей работы, пришлось еще и по хозяйству все делать. Софи хотела забрать детей, но дети не хотели от меня уходить. Они уже знают, что обострение туберкулеза долго лечится; значит, нам придется надолго расстаться. Особенно Лазар Маленький это понимает. Я видела, как он нервничает, и я себя ругала, что у меня не хватает силы воли для того, чтобы остановить болезнь. Я виновата в том, что ему не по себе. Он ребенок еще, ему нужно, чтобы я была дома... Потом искали хорошего врача, договорились с ним, устраивали так, чтобы меня именно в ту больницу к нему в отделение положили... И все это унижения, деньги, подарки...

Однажды я лежала, а девочки сидели около меня на кровати. Старшая показывала мне, как она вышивает и какие разные швы она уже знает... В школе начали учить вышиванию, и ей очень понравилось... Младшая сидела и баюкала на руках куклу. Круглое личико такое озабоченное. Но эта озабоченность не ко мне относится; это она играет, будто она взрослая женщина с ребенком... Интересно, о чем она думает, когда просто вот так сидит и баюкает куклу... Все-таки девочки не похожи на меня. Я никогда не играла в куклы... А старшая все делает лучше меня; ей только покажешь, а она уже умеет и овощи чистить, и полы мыть... Лазар Маленький запомнил, как ей было четыре года и она свое платьице стирала в тазу. Наша малышка тогда родилась, и я болела, в больнице лежала... Я слушаю голосок моей старшей дочери, но мне надо все время собираться с силами, чтобы улавливать смысл, а то слышу одно только звучание... Вдруг я очнулась, испугалась, что она потеряет иголку и уколется... Сказала ей, чтобы она была осторожна с иголкой и с ножницами...— Мама, ты мне уже говорила... Вдруг я услышала свой голос как бы со стороны... такой слабый и надтреснутый стал... И ничего не выражает, кроме напряжения голосовых связок, мне трудно говорить... Я совсем не умею шить и вышивать... Так, дырочку зашью кривыми стежками, залатаю — и ничего больше... Я заметила, что девочка что-то хочет мне сказать, но колеблется... Наверное, отец сказал ей, что меня нельзя тревожить... Я и вижу, что девочки стали относиться ко мне как-то настороженно, натянуто, без естественности... Эта моя болезнь совсем отдалит от меня моих дочерей... Я почувствовала досаду на Лазара, зачем эта его излишняя забота обо мне... Я стала такая раздражительная, это от слабости; у меня

пальцы очень ослабели, дрожат... Дня два я не могла приче-
саться, Софи зашла к нам, заметила, и причесала меня... За-
плела волосы в одну косичку, так легче лежать... Она сказала
Лазару... Утром он принес таз, графин с водой; умывал меня,
потом стал расчесывать волосы... Во всех его жестах и в том,
как он все это делал, была какая-то тоскливость и будто
сломленность какая-то... Я ужаснулась этому его состоянию и
своей беспомощности, и заплакала... Меня начало трясти от
этого плача... «Не надо... не надо...», — он проговорил так
сломлено... Я попыталась перестать, но не могла. Он кончил
заплетать мне волосы в косичку, уложил меня на подушки
(две подушки подложены) и снова попросил: «Не надо...» «Я
не могу», — сказала я. — Лучше не обращай внимания, само
пройдет...» «Хорошо», — ответил он так же сломлено и ото-
шел от кровати... Действительно прошло, минут через де-
сять... И дети бедные все это видят...

— Ты что-то хочешь мне сказать? — я сказала девочке. —
Ты скажи. Это можно...

Какой у меня голос...

Оказывается, еще месяц назад отец обещал ей устроить
экзамен по греческой мифологии. Она целый месяц читала
книги, которые он велел прочесть; и все статуи и все рисунки
на вазах запомнила, а он не спрашивает... Я сказала, что
отец, наверное, забыл из-за моей болезни...

— Давай я тебя спрошу...

Она снова заколебалась... Я поняла, что она считает, что
отец знает лучше, но говорить это мне она не хочет. Я ведь
больна, она боится меня обидеть, огорчить... Вот Лазар Ма-
ленький не сомневается в моих знаниях... — Давай я отцу на-
помню вечером... А, я правильно угадала, вот этого она как
раз и хотела... Со своим вышиванием в руках она наклоняет-
ся ко мне немножко виновато и хочет поцеловать... — Нель-
зя! — поспешно говорю я... Голос звучит совсем сорвано и
визгливо... Она и сама вспомнила этот запрет, и отстраняет-
ся, прижимается к металлическим прутьям спинки кровати...
Очень мучительно мне так жить... И детей очень жалко...

Я Лазару сказала о нашей девочке, и он вечером устроил
ей экзамен... Он спрашивал ее, она рассказывала, потом он
прикрывал ладонью надписи под фотографиями и спрашивал,
какого бога или героя изображает статуя или рисунок на по-
суде... Она только один раз ошиблась, спутала Геракла с Гер-
месом, это была та статуя Праксителя, где Гермес с одной
отбитой рукой держит на другой руке маленького Диониса,
там действительно Гермес такой широкий... Я слушала ее и
стала гордиться ею, какая она вырастет, такая умница и все
будет уметь делать... И неужели я не доживу и не увижу ее
взрослой... Я почувствовала слезы в глазах... Дети уже при-

выкли, что я часто плачу... Я чувствую, что такая больная, слабая, я им неприятна. Им тягостно сидеть возле меня, ухаживать за мной. И они испытывают чувство вины, им кажется, что они жестокие, нехорошие. Они стараются все делать, но заставить себя любить меня больную они не могут... И я чувствую, что и я слишком сосредотачиваюсь на своих ощущениях, на своей беспомощности... Я стала нечуткая к детям... За что они, такие маленькие, должны так страдать?..

Я стала хвалить девочку... Лазар сказал, что когда я вернусь из больницы, она уже и «Одиссею» прочтет... Он говорил с уверенностью... Обе девочки как-то оживились, подались немного вперед, на личиках — надежда и облегчение... Я поняла, они при словах отца поверили, что я поправлюсь и буду такая, как была всегда... Я тоже сказала, что скоро поправлюсь... Лазар Маленький сказал с такой горестной иронией, что, пока я вернусь, она может уже и древнегреческий изучить и читать Гомера в подлиннике... Это у него, конечно, такое совсем детское желание противопоставить себя своим сестренкам; показать, что если для них можно и солгать, то для него не надо придумывать утешения, будто я скоро поправлюсь... Я испугалась:— столько горечи в его голосе... Ему хуже всех... Девочки посмотрели на него с недовольством, они хотят верить отцу, а не ему... Сделалось короткое молчание, но мучительное какое-то... Мальчик вдруг подошел к постели близко; он худенький и уже сильно тянется вверх, и как-то беззащитно выглядит от этого; он спросил, не хочу ли я чего-нибудь — помидоры или абрикосы... Он сбегает сейчас на базар и купит мне... Я хочу только, чтобы меня не мучила эта слабость, особенно в пальцах, и этот жар... Но я понимаю, ему хочется что-то сделать, побежать; какое-то действие, пусть иллюзорное, лишь бы забыться... Когда «скорую помощь» вызывали, он тогда тоже бегал на улицу, ждал машину; хотя не было необходимости стоять на улице... Я сказала, что хочу абрикосы... Лазар тоже все понял; сказал ему, где деньги... И он побежал, чтобы успеть; вечер уже, торговля заканчивается...

Мне кажется, наши дети не стыдятся нас... Но вдруг это у них признак недостаточной тонкости натуры?.. Или нет, просто душевное здоровье, равновесие... Я стыдилась своих родителей, когда была ребенком, подростком. Мне казалось, они слишком суетливые, голоса у них слишком громкие... Я стыдилась, когда они на людях громко говорили по-турецки с характерными интонациями... Лазар тоже стыдился отца. Ему вот казалось, что это стыдно, что отец у него такой старый, болезненный, горбится... На похоронах отца ему было стыдно за тот свой детский стыд... Лазар мне рассказывал еще, что он почему-то гордился тем, что у него не мать, а старшая

сестра, такая молодая, красивая, умная, и он дружит с ней и они понимают друг друга... И он заметил, что его друзья, у которых матери были, завидовали ему... Ну, это мне как-то понятно; матери бывают грубы, кричат, приказывают; а Софи такая милая и понимающая... Лазар не говорит о своей матери, и в семье старались не говорить о ней, чтобы он не чувствовал себя сиротой; даже отдалились от других родственников; боялись, что мальчика будут как-то громко и шумно жалеть... Иногда мне это кажется несправедливым и даже страшным: — так умереть и чтобы родной сын не испытывал потребности вспомнить о тебе... Но, наверное, это лучше, чем если бы он сознавал себя сиротой, без матери... А мои дети уже запомнят меня, они большие уже... Даже фотографии у Софи так спрятаны, что и дети, которые всюду суют свои носики, ничего не найдут... Кажется, Лазар не видел этих фотографий... Софи мне их показывала... Одна — чуть ли не начала века — целая семья в ателье у фотографа: — женщина в роскошной шляпе — это бабушка Лазара, пожилой мужчина с бородкой и с тростью — его дедушка, молодые люди с черными усами и в жилетах — его дяди; а девочка на полу сидит, выткнув ножки в чулочках и в туфельках, в каком-то сложно пошитом светлом платье — это его мама... Все они очень смуглолицые, даже на нецветной фотографии это заметно... Другая фотография мне нравится, и Лазар ее знает, — на ней отец Лазара в молодости, у него косой пробор в гладких темных волосах, пенсне, лицо тонкое и выглядит одухотворенным... Это он фотографировался в Вене... Там он изучал экономику, бухгалтерию, всякие такие финансовые науки... Но что-то с ним случилось, когда он вернулся на родину и стал работать... Немножко это странно и комично, но он стал работать не в конторе какой-нибудь фабрики и не в какой-нибудь новооткрытой фирме, а в цирковой антрепризе... В Вене он ходил иногда в кафе, где собирались его соотечественники, — пообщаться в мужской компании, и там познакомился с одним человеком, по профессии акробатом... Этот человек его увлек идеей открыть в столице Болгарии большой цирк; получалось как-то так, что финансировать этот цирк будет какое-то акционерное общество; этот человек и его семья должны были заниматься собственно программой и выступлениями, а отец Лазара должен был взять на себя всякие денежные расчеты... Действительно открылся этот цирк, под пышным названием «Колизей»... (А как еще называться цирку в стране, где римляне ставили себе виллы с мозаичными полами и расписными стенами...)... Несколько лет цирк хорошо существовал, и отец Лазара честно и хорошо вел денежные расчеты... После начались какие-то конфликты членов акционерного общества с сыном этого акробата... Отец

Лазара попытался препятствовать каким-то незаконным махинациям с деньгами. Он тогда еще думал, что если честно трудиться для своих работодателей, то можно зарабатывать много и жить хорошо. И он считал своим долгом самому быть честным и добросовестным, и думал, что его честность и неподкупность будут высоко оценены... Кончилось все тем, что цирк закрылся, началось следствие, и нечестные люди, со свойственной всем нечестным людям наглостью и уверенностью в себе, повернули дело так, что в тюрьму попал отец Лазара... Был суд, и об этом суде писали в газетах... тогдашних... Был стыд; были какие-то знакомые и родственники, которые отвернулись от несчастной семьи... Мать Лазара уже давно отвыкла работать, она только в молодости работала в сельской школе, а потом — никогда и нигде... Сбережения начали таять... Она начала искать хорошего адвоката... Дело оказалось запутанное, и никто не брался... Отец Лазара обвинялся в невероятных каких-то растратах и чуть ли не в убийстве... Там было и убийство... Этот глава семейства акробатов был еще и убит... И, кажется, в убийстве обвинялся отец Лазара... Замечательная детективная история... Ее бы рассказать нашему Лазару Маленькому, он был бы в восторге... Но Лазар Большой не разрешает... Он и Софи даже и не любят говорить об этом... Все эти пышно обнаженные жизненные ситуации, со всякими цирками, судами и убийствами, им неприятны. Потому что они — скромные люди, и главное для них — жизнь души... Но странно, столько было переживаний, событий — и все исчезло, и, в сущности, бесследно... Софи была совсем маленькая, но помнила смутно, как они хорошо жили, пока работал этот цирк... У них была прислуга, большая квартира... На фотографии с какими-то искусственными колоннами позади, тоже сделанной в каком-то фотоателье, мать Лазара в дорогой шубе и в шляпке с откинутой вуалеткой, она улыбается, но улыбка ей не идет как-то; отец в распахнутой каракулевой, кажется, шубе и в шапке пирожком, черные усы у него горизонтальные на пол-лица, а улыбка у него чуть насмешливая... Наконец они нашли адвоката и он добился того, что отцу Лазара дали какой-то минимальный срок тюремного заключения... Этот адвокат был еврей; и, наверное, потому Лазар хорошо относится к евреям, хотя я думаю, адвокату хорошо заплатили... Сын этого адвоката теперь известный поэт, но взял себе не еврейскую фамилию отца, а болгарскую — матери, что-то вроде Асенов или Петров... Отец Лазара оказался в тюрьме, вместе с ворами-рецидивистами и разными другими преступниками... Ему было очень тяжело... Но как ни странно, все обернулось к лучшему... Отец Лазара находился в тюрьме в большом приморском городе, вторая мировая война кончалась, и в город вошли советские войс-

ка... По чьему-то приказу все преступники были освобождены из тюрьмы, и отец Лазара — тоже... Теперь считалось, что они — жертвы царско-фашистского режима... В тюрьме к отцу Лазара хорошо относился один убийца, по имени Иван, по прозвищу Добруджанец, то есть человек из местности Добруджа... Этот Иван Добруджанец сидел за убийство своей жены... Жена сказала ему, что уходит к другому и ждет ребенка от этого другого... Иван закричал, что она лжет и что он ее не отпустит... Они подрались, он ударил ее кулаком и получилось, что убил... Растерялся, схватил нож сапожный (он был сапожник) и сунул себе под ребра куда-то... Его спасли и посадили в тюрьму... Он был еще молодой человек и к отцу Лазара относился с уважением за его честность и мягкость характера... Этот Иван Добруджанец сказал отцу Лазара, что они должны добиться документов, в которых было бы указано, что они — жертвы... Тогда еще была неразбериха, суматоха, и они довольно легко получили такие документы... Иван Добруджанец имел какие-то деньги, эти деньги хранились у его матери; он дал отцу Лазара деньги на билет на поезд... После отец Лазара вернул ему деньги, когда заново устроился, и сделал ему какие-то подарки... Отец Лазара вернулся домой... Дочь, уже большая девочка, узнала его, она ездила вместе с матерью к нему на свидания... Жена и дочь встретили его очень радостно и нежно... С помощью документа, что он — жертва, отец Лазара устроился одним из рядовых бухгалтеров в контору одной швейной фабрики; он теперь не хотел быть на виду, хотел жить скромно и неприметно...

Теперь, наверное, надо сказать несколько слов о его политических убеждениях... Они были демократические и патристические... то есть он считал, что должны быть равенство и справедливость, и в то же время его страна должна процветать. и его народ, имеющий великие традиции и великое прошлое, должен снова стать и быть великим... Мне теперь совершенно ясно, что великим народом можно быть только за счет чужого несчастья и, конечно, игнорируя в той или иной степени справедливость и равенство... Но, впрочем, у моего отца убеждения были еще более своеобразные. Разумеется, обязательные справедливость и равенство, плюс еще он хотел не связываться ни с какими властями того государства, где он жил, и чтобы его народ был великим и процветал в другом, соседнем государстве, с которым не в особенно дружеских отношениях то государство, где он волею обстоятельств вынужден был жить и где он решил жить послушно... Отец рассказывал, как Назым Хикмет, поэт и коммунист из Турции, приехал в Болгарию, и в округе Кырджали, где живут турки, агитировал вступать в трудовые сельскохозяйственные кооперативы... и — «я тогда сразу понял...»... Но я знаю, что имен-

но понял мой отец; он понял, что надо стараться жить так, чтобы по возможности не попасть ни в трудовой исправительный лагерь, ни в тюрьму, ни в сельскохозяйственный кооператив; так жить неприметно, по возможности честно; и тихо исповедовать процветание и величие своего народа, живущего в соседнем государстве... Теперь отец моего Лазара... Его народ проживал в том же самом государстве (надо же, какая счастливая случайность), где проживал он сам, то есть отец Лазара... И поэтому отец Лазара имел более активную позицию, чем, например, мой отец... Он полагал, что именно фашисты осуществят его идеалы всеобщей справедливости и равенства и еще процветания народа и величия государства... Он даже ходил на какие-то собрания и много болтал в приятельских компаниях... Но при ближайшем рассмотрении люди, занимавшиеся политикой, не понравились ему; они были совершенно беспринципные, жадные, злые, абсолютно негуманные... Такими они всегда были, и думаю, навсегда останутся... Часть государства, которое называется «Греция», была захвачена и присоединена к Болгарии под скромным названием «старых пределов Болгарии»... Против этого отец Лазара ничего не имел... И действительно это были некие старые болгарские пределы, и еще чьи-то пределы, и еще чьи-то... Вероятно, для того, чтобы иметь право исповедовать равенство и справедливость, надо отказаться от этих заманчивых понятий: «народ», «родина», «величие народа» и «процветание родины»... Может быть, Лазар и может отказаться от этих понятий, но, например, этот Эмил, который в свой Израиль ездил, не может отказаться, и еще и будет уверять, что нельзя отказываться... Так что, поскольку большая часть человечества хочет величия своего народа и процветания своей родины, нечего ждать какой-то справедливости или какого-то равенства... Вторая мировая война закончилась, и старые пределы вернулись в Грецию... Но теперь отец Лазара начал рассуждать, что завоевание старых пределов было преждевременным; и что коммунисты нужны стране, в которой всегда были демократические традиции... Я думаю, никаких демократических традиций не было; просто аристократия болгарского царства, да и византийская, ромейская, была частично уничтожена в Османской империи, потому что, конечно, пыталась отстоять свои привилегии и всякие разные преимущества; а в другой своей части аристократия обратилась в мусульманство и стала в ряды новых имперских властей... Но отец Лазара скоро увидел, что и коммунисты совсем не осуществят его идеал справедливости, равенства, процветания и величия... Теперь все доносили друг на друга и обвиняли друг друга в сотрудничестве с фашистами; после и коммунисты стали обвинять друг друга в различных несправедли-

востях, и одни коммунисты начали уничтожать других коммунистов... Все имели основание бояться всех и всего... И еще много чего было... После вроде бы закончилась борьба за власть и стало спокойнее... Но на самом деле не стало... И хочется каких-то перемен к лучшему; и боишься, что все будет происходить как-то страшно, что еще много страшного произойдет... Вот уже наступает страшное... имена эти... Но я боюсь раздумывать...

После тюрьмы отец Лазара потянулся к своей жене, они как бы заново полюбили друг друга, и родился Лазар... Они обрадовались, хотя уже и не думали, что в их годы у них может быть ребенок... Но мать Лазара скоро умерла... После родов у нее сделалось какое-то осложнение на почки, и это скоро свело ее в могилу... Софи не рассказывала подробно, а мне было неловко спрашивать... Маленький Лазар остался на руках своего пожилого отца и старшей сестры, она была еще совсем девочка... Его отец заново открыл для себя смысл жизни; теперь смысл жизни заключался в том, чтобы Лазарчо ни в чем не терпел недостатка... И то, Лазар и в детстве уже был удивительным, чудесным существом... И мои дети, когда они рождались и мне их показывали, я видела их прекрасные большие глаза, такие темные и прямо глядящие... Такое крохотное, еще десятиминутное существо, и смотрит тебе прямо в глаза этими своими прямо глядящими огромными темными глазами... И не помню личика; не помню, какое тельце, только эти глаза... А у других новорожденных глаза голубоватые и такие сжатые, узенькие... А эти глаза... Чудо!.. Это глаза моего Лазара... Когда его отец впервые увидел эти глаза, и удивился, как можно было прежде жить, не имея этого мальчика... И с детства все открылось в Лазаре — красота, доброта, всевозможные таланты — все!.. Лазар мне рассказывал, что в детстве ему было хорошо и весело... Софи старалась по возможности готовиться к экзаменам дома, брать книги из библиотеки, она даже договаривалась, чтобы ей не ходить на лекции... Иногда она брала маленького брата с собой на какие-то очень нужные лекции или на экзамены... Кто-то приласкает ребенка, кто-то угостит чем-нибудь вкусным... Кто-нибудь из преподавателей, свободных от занятий, особенно женщины, берется за ним присмотреть; начнут показывать буквы и цифры, и удивляются его способностям... Вечером он рассказывает отцу, что был в деканате и на кафедре, пишет на листке бумаги разные буквы, складывает цифры в числа... Отцу и мило, и забавно, и трогательно; и он себе представляет какое-то неопределенно-радужное будущее для своего сына; и вдруг пугается, потому что знает, какая жизнь, и как мало возможностей у него самого... Отец тоже уговаривался брать работу на дом, чтобы оставаться с сыном... Лазар

помнит, что у отца были большие такие деревянные счеты с крупными костяшками, Лазар играл с этими счетами... Часто отец и ночью что-то считал и записывал, глаза у него краснели и слезились... Лазару было годика четыре, он залезал на стул, становился коленками, и писал цифры на каком-нибудь листке бумаги; ему очень хотелось и на счетах щелкать, но отец объяснил, что во время работы щелкать на счетах можно только старшему бухгалтеру, а Лазар считается младший... Софи еле уговаривала Лазара лечь спать, он сердился, и серьезно и с горячностью настаивал, что помогает отцу... А на самом деле Лазар просто писал цифры, какие ему в голову приходили; он ведь не знал, в чем заключается работа отца, и не мог помочь ему... Софи мне рассказывала это... Думали тогда, что Лазар будет математиком, но чуть он подрос немножко и проявилось увлечение древней историей, и литературу он полюбил... Он прочитал старые учебники Софи и книги стихов и прозы... В доме были книги...

Когда отдали мальчика в детский сад, отец и сестра боялись, что его будут обижать... Но уже в первый вечер он выбежал к ним веселый и довольный... Среди других детей он не стремился быть первым; хотел только, чтобы все играли мирно и весело; он придумывал разные игры... Другие дети сами тянулись к нему; давали игрушки, угощали... Когда Лазар еще подрос, он, как все дети, полюбил бродить по окрестным улицам... Отец сначала тревожился, но Софи скоро поняла, что мальчика можно отпускать без боязни... Наверное, все-таки дети — существа интуитивные, подчиненные подсознанию... Моего Лазара никто не обижал в детстве, а теперь... Потому что взрослые живут сознательно; интуиция, подсознание не велит им чего-то, и какие-то сознательные мелочные расчеты — велят, и они следуют этим расчетам... Чем взрослее становились сверстники Лазара, тем чаще они вели себя с ним, как будто он — обыкновенный и ничем не отличается от них... Или, я вижу, люди с какой-то жадностью, и с этой жадной поспешностью наслаждаются взглядом его чудесных глаз, и поспешно отходят от него, и нарочно не стремятся отблагодарить, помочь; как если бы они хотели втоптать в землю источник, из которого только что пили... Почему это они так делают?... А детство Лазара было настоящим золотым веком для детей того квартала, где он жил... И те мальчики и девочки, которых зовут разбойниками, хулиганами, тянулись к Лазару, успокаивались как-то... Рядом с ним все вдруг ощущали себя любящими. Взрослые могут затаить свои такие ощущения; а дети стремятся быстрее претворить эти ощущения в какие-то добрые хорошие и веселые поступки... Софи рассказывала о моем Лазаре, с ним всегда было как-то чисто и мило... И эта его открытая доброта... Все отдаст — игрушки,

сладости... велосипед — катайтесь все по очереди... Софи приходит с работы — полный дворик детей (они тогда жили в домишке с двориком)...— Это Олга, это Митко, это Жоро. Я шел, а он идет навстречу; я говорю, давай корабли пускать. Он согласился... И наделают из старых газет разные кораблики, и пускают в канаве, устраивают какие-то состязания... И разные сложные игры, в прятки и догонялки, и в мяч... Только «в войну» Лазар никогда не играл... Если без него мальчики заведут такую игру... и тут Лазар выйдет...— Лазар, будешь?..— Нет... И как-то сразу скучно станет, сама собой погаснет игра... И как-то незаметно Лазар всех увлечет в другую игру; и опять всем хорошо и весело... И все чувствовали себя совсем свободными, Лазар никогда не командовал... Вот наш сын — совсем другой, командир: Димитр — туда, Иво — сюда, Боби оставайся на месте... Начали!.. Уже и не знаю, это хорошо или плохо...

Отец Лазара стал приглядываться к другим мальчикам, к разным их мальчишеским желаниям и стремлениям... Лазар такой скромный и нетребовательный, сам ничего не попросит... Но отец ему все достает, покупает... Новую авторучку хорошую, футбольный мяч, аккордеон, взрослый велосипед, новую куртку, джинсы... Отец смотрит искательно, тревожно и ласково, жесты его нервны, он суетливо двигается...— Ну, примерь... Это модно, правда?.. Лазар улыбается и благодарит так мило и с такой естественностью... И отец так радуется... Никто не завидовал моему Лазару; всем казалось, что это что-то естественное, чтобы именно Лазар был красиво одет, имел красивые вещи... Никто не заговаривал с Лазаром о стоимости этих вещей... При нем как-то никто не вел таких мелочных разговоров... Ни отец, ни сестра, ни сверстники... И сам Лазар принимал эти подарки, будто естественное что-то... А между тем, его отец мало зарабатывал, и Софи — не так много; и чтобы иметь деньги, отец Лазара шел на всякие мелкие нарушения закона, маленькие приписки... осторожно, по мелочам, чтобы не было заметно, чтобы успевать замести следы... Нервничал, дрожал от страха... Софи мне рассказывала... А Лазар и до сих пор не знает... И мы и не скажем ему... Да, этот аккордеон... Лазар любит слушать музыку и предпочитает классику, на аккордеоне он так и не учился играть... Это просто его отец заметил, что аккордеон как будто в моде среди мальчиков, и купил сыну... Этот аккордеон Лазар после подарил Ибишу, тому своему приятелю, который умер от инсульта... Ибиш хорошо играл... Я однажды слышала... И Георги, другой приятель Лазара, тоже играл...

И еще одну фотографию, где мать Лазара, я помню... Там его отец и мать стоят возле какой-то неказистой сельской постройки вроде сарая. Отчетливо видно кольцо на двери, и

такая волнистая крыша... Отец Лазара выглядит совсем молодым, он в каких-то сандалиях на босу ногу, ворот светлой рубашки расстегнут, и волосы — вихрами... Мать Лазара в темной кофточке и в светлой юбке, у нее мелкие черты лица, озабоченное выражение, немного прищуренные глаза, и волосы на затылке — узлом... голова так немножко повернута... На руках у нее такой белый кокон — это Софи... Мне кажется, что иногда моя старшая дочка бывает похожа на свою бабушку с этой фотографии...

Дедушка Лазара с материнской стороны был оптовый торговец — только и Софи уже не знает, чем он торговал, — а дедушка с отцовской, как это называется, бедный крестьянин; он работал на лесопильне, кажется... Но дети учились в одной гимназии... Это все происходило от демократических традиций... Но все имеет свое развитие, демократические традиции уменьшились в своем объеме, и, кажется, теперь дети начальства и партийных функционеров не всегда учатся вместе с детьми таких простых людей, как, например, мой Лазар... Значит, отец и мать Лазара поженились. И отец Лазара не стал брать деньги у своего тестя, а тот ему и не предлагал... Отец и мать Лазара поехали в село и там работали учителями в сельской школе... Софи родилась в этом селе... Впрочем, и в это село они попали не без протекции... Отец Лазара тоже в этом селе родился, это было его родное село, и все его родственники там жили... Отец и мать Лазара были бережливы, накопили денег и поехали учиться в Вену... Там они сняли какое-то дешевое жилье, и оказалось, что дешевле обойдется, если учиться будет только отец Лазара, а мать чтобы вела хозяйство... Так они и сделали...

Когда мы с Лазаром расписались, его отец уже очень был плох, то и дело терял память... Вдруг взгляда его делался совсем потерянным... Лазар или Софи подходили к нему скорее... — Папа, это я! Помнишь меня?.. он чуть приподымал одутловатые кисти старческих слабых рук и потерянно произносил: «Не помню...» Не узнавал даже своего ненаглядного Лазара... И значит — «Папа, это моя жена!»... С отцом Лазар меня прежде не знакомил, только с Софи... Отец Лазара посмотрел на меня равнодушно и заговорил медленно о том, как он венчался с матерью Лазара в монастыре Арбанаси... Он замолчал, отвисшие бледные губы как-то потерлись одна о другую; затем он сказал, что монастырь Арбанаси находится не-подалеку от города Велико Тырново и что Велико Тырново — это столица последнего Болгарского царства... «После этого было турецкое рабство, пятьсот лет...» — пробормотал он туманным голосом... Софи прыснула, как девочка, и побежала в комнату... Лазар улыбнулся и взял меня за руку... У него была белая рубашка и черные брюки, а у меня обыкновенное

платье, красное пестренькое такое... Мы стояли на балконе, отец Лазара сидел в таком складном кресле, вроде шезлонга... Внезапно глаза его как-то прояснились, он немного приподнял голову и отчетливо произнес. «Это была комсомольская свадьба...» «Все!», — сказал мой Лазар, еще улыбнулся, наклонился к отцу, поцеловал его в щеку и увел меня с балкона... Все это парадоксально и комично, но это, правда, было так... Еще расскажу для полного комплекта... Я сказала своему отцу, что Лазар — историк. Лазар попросил рассказать какой-нибудь интересный случай из времени второй мировой войны... Отец начал рассказывать, как в сорок первом году фашистские власти мобилизовали его и других его единоплеменников в трудовую роту на строительство шоссейной дороги... Им запретили носить чалмы или фески... Было очень жарко... Тогда отец свернул чалму из полотенца, у него было полотенце... Многие взяли с него пример... у кого что было... Отец сказал им, что стыдно надевать гяурские кепки; хотя в другое время носил кепку, и дедушка носил кепку... Тут вдруг отец прибавил: «Мы все были комсомольцы...»... Откуда у них эти комсомольские свадьбы в монастырях и комсомольцы в чалмах из полотенца? Что это? Такой наивный застарелый страх, что вот, пойдут, донесут, непонятно кто, непонятно о чем... И наивное стремление обезопасить себя, и тоже самым наивным способом... Или все это совсем не наивно, а только кажется, что наивно; и кажется нам, потому что мы еще не знаем всего... А вдруг узнаем?.. Не дай Бог!..

Лазар считает, что ребенка нельзя оставлять наедине с книгами, нельзя позволять ему читать все подряд... Надо как-то следить, приглядываться... А то могут развиться комплексы, и у нас с ним были в детстве такие комплексы... Лазару позволяли читать все, он охотно рассказывал о прочитанном даже отцу, а сестре — непременно... И вот у него возник один комплекс, о котором он никому не рассказывал... Впервые рассказал мне... Ему было лет девять, тогда он почувствовал, что боится того, что ему придется служить в армии, когда он вырастет... И даже не то чтобы он этого боялся, нет, это было ему как-то мучительно и неприятно, противно, будто грядущая обязательная несвобода, обязанность тягостная подчиняться, выполнять приказания... Ему было мучительно читать о службе в армии, но он все время возвращался к этим книгам, к этим страницам, перечитывал их, будто нарочно хотел мучить себя... Особенно мучительны ему были «Севастопольские рассказы» Толстого, «Холера» Людмила Стоянова и «Прощай, оружие» Хемингуэя... В этой повести — «Холера» — о вспышке холеры в армии, еще, кажется, в Первую мировую или во время Балканских войн; там одного из

персонажей — молодого солдата, бывшего студента, звали Лазаром, и он едва не умирал от холеры... И Лазар все возвращался, мучая себя, к этим страницам... Но он говорил, что когда ему действительно пришлось служить в армии, страшно не было. Правда, не было и никаких военных действий и никаких эпидемий... Когда мне было лет двенадцать, я увлеклась медициной, но, конечно, выборочно, анатомия мне казалась скучной, а психиатрия — интересной; и я заинтересовалась эпидемическими болезнями — чумой, холерой; их ведь занятно описывали в книгах... Тогда я узнала, что основной признак холеры — сильная диаррея — понос. А в повести Людмила Стоянова какая-то странная холера — без диарреи... Что это было — стыдливость автора?..

Теперь о моих комплексах расскажу... И я тоже могла читать все, что хочу... Мои братья и сестра были старше меня и не увлекались чтением... Мама считала, что когда я читаю, это я нарочно делаю, чтобы не помогать ей по хозяйству... И она по-своему была права. Я не любила домашней работы... У меня какой-то дефект мышц и мне трудно чистить овощи или, например, шить, и даже стирать, и особенно трудно выжимать белье... Дома это не считали болезнью. Лазар тоже считал, что это просто моя такая особенность... Софи ему сказала, что, может быть, это болезнь. Лазар сначала рассердился на нее, ему показалось, что она хочет просто сказать обо мне плохое... Но Софи сказала, что если это болезнь, то, может быть, можно лечить, и мне будет лучше... Она нашла хорошего невропатолога, профессора, Лазар меня повел, врач заставил меня сгибать и складывать пальцы... После я вышла, а Лазар говорил с врачом... Потом снова позвали меня... Врач спросил, как я справляюсь в быту. Я ответила, что мне, конечно, немного трудно удерживать ложку или карандаш, или заплетать волосы в косу, но я справляюсь... Врач попросил меня взять карандаш и что-нибудь написать... Я взяла карандаш и написала «Лазар»... Я знаю, что держу карандаш неправильно... Врач указал Лазару на то, как я держу карандаш, и произнес с какой-то даже гордостью за себя что-то вроде: «Вот... видишь... то, что я говорил...» Ничего он не прописал, и мы ушли... На улице я спросила, что сказал врач... Лазар ответил, что нет ничего страшного, просто синдром такой... Мне вдруг все это показалось унижительным, а ведь еще недавно даже нравилось, что Лазар заботится обо мне. Я сказала, что лучше нам больше не видеться... Мне тогда показалось, что это мое унижение совсем нарушило наши отношения, сделало их тоже унижающими нас обоих... И лучше я буду видеть его издали... Но с Лазаром трудно ссориться. Во-первых, потому что он добрый. Во-вторых, потому что он не подхватывает никакого разговора; не поддерживает, когда на-

точно говорят одно, а подразумевают, думают другое... Я имею в виду разные интимные разговоры... Персонаж Чехова из моего Лазара не получится... По-моему, Лазар просто ненавидит ту разновидность лживости и фальши, которая в литературе называется «психологическим подтекстом». Если бы Лазар сказал, что в Африке жарко, это значило бы только, что да, он считает, что в Африке жарко; но никак не значило бы, что Лазар влюблен или что в мире неблагополучно... Если он захочет сказать, что влюблен или что в мире неблагополучно, он так прямо и скажет... Лазар умеет говорить правду... То есть, не какую-то большую общую правду, которая, может быть, и не существует совсем, или она такая нечеловеческая, что люди бы ее не вынесли... Или она принесла бы людям какой-то совсем непоправимый вред... Ведь плоды с дерева познания принесли людям горе... И я знаю, какое это горе. Это горе негармонического существования... Горе болезней и мучений и тех человеческих желаний, исполнение которых или даже одно стремление к этому исполнению, приносит горе другим людям... Но ужасно много людей, претендующих на то, что вот именно они знают и всем скажут эту всеобщую, большую правду... Они бывают так уверены в том, что знают эту правду, владеют ею; что даже не пытаются что-то доказать, а просто навязывают, заставляют силой... И вот уже — и очень быстро — вместо познания всеобщей правды получается всеобщее грубое насилие... Лазар признает только маленькую, такую очень индивидуальную, отдельную правду; она принадлежит отдельному человеку, принадлежит, как, например, зубная щетка или трусики... И вот такую свою правду Лазар чудесно умеет формулировать и говорить... И он сказал мне, что если он повел меня к врачу, то не для того, чтобы унижить меня или использовать мои болезни как предлог для того, чтобы расстаться со мной; нет, он действительно хочет, чтобы я меньше болела, и он будет меня беречь и стараться лечить... Тут голос его стал мягким, и появилась беззащитная улыбка... Он сказал, что впервые в его жизни его так волнуют болезни другого человека... И прибавил, что вникать в болезни отца ему никогда не хотелось и, может быть, это было жестоко... Я сказала, что, конечно, нет, не было жестоко, просто Лазар воспринимал отца, как все дети воспринимают родителей, отец был такая данность жизни, вот он существует, он такой, и даже и нет желания особенно интересоваться им, задумываться о нем; и, наверное, отношение к родителям, оно всегда такое... Но я действительно с детства часто болею, подолгу лежала в постели... Интересно, что мне давно уже не хочется отыскивать свои болезни в медицинских книгах, как-то скучно это стало... А Софи и Лазар болеют редко. В детстве и в юности Лазар совсем никогда не болел... Толь-

ко в шестнадцать лет у него обнаружилась небольшая близорукость, пришлось надеть очки... Но он их не всегда носит... В армию его все равно взяли... Лазар мне рассказывал, что ему казалась отвратительной сама эта обязанность подчинения... Читать о поединках героев в «Илиаде» было интересно... Но все другие книги о войне были противны именно этой системой подчинения, которая была всегда, от Александра Македонского до нашего времени... Лазар страдает, например, от этой противной необходимости голосовать, сидеть на собраниях... Однажды я сказала ему, что нахожу здесь противоречие; значит, он против подчинения, а сам приказывает детям и они ему подчиняются... Лазар мне ответил, что всякие другие отношения между ним и детьми были бы ложью; дети материально зависят от него, он их кормит, содержит... Он немного колебался и сказал еще, что я, наверно, заметила, что дети любят подчиняться ему... Я сказала, что, конечно, вижу это, и спросила, как же все-таки он добивается этого любовного подчинения... Он смутился и ответил твердо, что не может мне этого сказать, и прибавил, что знает, что когда дети вырастут и будут сами себя содержать и прервутся эти отношения любовного подчинения, тогда дети уже не будут любить его, как любят сейчас, тогда они найдут в нем много недостатков... Голос его стал грустным и чуть-чуть дрогнул... Мне стало так жалко его; я подумала, а, может, он просто усложняет и преувеличивает... Но это нехорошее любопытство узнать, а что он мне ответит, победило мою жалость; и я продолжила разговор...

— Хорошо,— сказала я,— но ведь и солдаты подчиняются какому-нибудь Наполеону охотно и даже с большой любовью, и они зависят от него материально, он устраивает их жизнь... Лазар сказал, что солдаты подчиняются, потому что оглуплены, обмануты... Тогда я сказала, что и наших детей можно считать обманутыми, они подчиняются Лазару, а Лазар пишет лживые статьи и диссертации; они мне подчиняются, а я перевожу повести и рассказы, которые считаю заведомо плохими, лишь бы получить деньги... И еще, допустим, Лазар захочет изменить это положение, в одиночку он ничего не добьется... Ну, вот он войдет, предположим, в какую-то организацию, тогда ему придется в первую очередь бороться за то, чтобы укрепить какое-то свое место в организации; то есть все участники заговора или члены организации — назовайте, как хотите — борются не только со своими прямыми противниками, но еще и между собой у них идет борьба за власть, за первенство... И при этом они лгут, будто борются только за справедливость... Значит, снова ложь... Как же тогда?..

Лазар помолчал, потом улыбнулся мягко и засмеялся каким-то протяженным густым, мужским таким смешком, доб-

рым, снисходительным, потерянным и беззащитным... Я почувствовала себя виноватой... Ведь этим писанием лживых статей он и меня кормит, содержит... Связи у меня с издательствами слабые, плохие; и переводить мне редко дают, а последнее время совсем ничего нет... Лазар перестал смеяться и сказал: «Но это не означает, что я ничего не должен делать...»

А я ведь хотела рассказать о тех комплексах, которые у меня развились в детстве при чтении книг... Отец любил читать... Когда-то в самой ранней юности он изучал французский язык и читал в подлиннике Гюго, Золя и Бальзака... Ему очень понравились стихи Ламартина и еще... романы Поль де Кока... Я помню, как он говорит: «Парижанка под деревьями» — Хо! — это роман!», — и улыбается лукаво и довольно... Я не читала Поль де Кока, но думаю, теперь он не показался бы никому таким соблазнительно непристойным... Когда я была маленькая, отец пробовал научить меня читать и писать на турецком и на французском языках, но он не имел никакой методики обучения, и ничего не вышло... Я не понимала его объяснений, он сначала сердился, я обижалась на него, после мы просто оставили эти занятия... Отец много читал мне вслух... Разговаривая со мной о книгах, он твердо делил персонажей на плохих и хороших; рассказывал мне, что о поведении и о характере персонажа можно рассуждать; и мне теперь кажется, что это были какие-то начатки, основы того, что называют «литературоведческим анализом»... Зачем он все это делал?.. Он совсем не считал, что меня надо приохотить к литературе, и вообще и не задумывался о том, что детей надо воспитывать; он просто знал, что детям надо приказывать, чтобы они не шумели, не возвращались домой поздно, учили уроки... Так получилось, что я была его собеседником и слушателем... Он был по-своему образованный человек, но у него не было подходящей среды для общения... Он был странный человек... В нем вдруг возникало какое-то мальчишеское веселье и он говорил людям дерзкие и непристойные грубости, с этим таким мальчишеским озорством... Но когда я тяжело болела, он сидел на краешке моей постели и всхлипывал... Из моих детей он знал немножко Лазара Маленького, и то совсем крохотным... Лазару Большому нравятся две фотографии, на которых мои родители... На одной — моей маме семнадцать лет, волосы у нее закручены вокруг головы толстыми косами, и ворот платья темного закатот серебряной брошкой в виде розы... Эта брошка сейчас у моей сестры... Мама улыбается, в глазах и во всем лице у нее такая радость молодости... Я никогда не умела так... Она действительно выглядит, как настоящая восточная красавица... Когда в сорок первом году отца мобилизовали строить шос-

сейную дорогу, он однажды сумел отпроситься с одним своим приятелем в ближний городок, там у этого приятеля были родственники... Они шли утром, как раз моя мама подметала улицу перед своим домом и держала в одной руке ведро с водой, а другой рукой плескала воду на подметенную улицу... Она тогда не была хорошо одета, в ситцевом платье, в шальварах и повязанная платочком... Но отец увидел, какая она красивая... Она распрямилась, быстро поставила ведро и пошла к дому... Она уже стояла у калитки, отец резко рванулся, заступил ей дорогу, обхватил за шею и поцеловал в губы... Тут отец, я помню, сказал, что она так растерялась, что не закричала, не оттолкнула его, только убежала в калитку... Мама засмеялась и сказала, что она совсем не растерялась, просто ей понравилось, как он целуется... На лице у нее появилось выражение удовольствия, мне это выражение показалось нечистым... У нас во дворе отец сделал деревянный настил, такой широкий топчан... Помню, как несколько раз мамы приятельницы сидели там с ногами, в тени шелковичного дерева, на разостланных таких пестрых одеялах; болтали, курили и громко смеялись... а их стоптанные туфли, все какие-то серые, валялись внизу... Я знаю, они говорят о своих отношениях с мужьями и о рождении детей... Мне это противно, я ухожу в дом и сижу с книгой... А моя сестра-подросток все вертится вокруг них, мама гонит ее... Я презираю сестру, она кажется мне человеком низменных инстинктов... Когда братья и сестра сердятся на меня, а они не любят меня, потому что я не скрываю своего презрительного отношения к ним; и вот когда они сердятся, они всегда говорят мне: «Ты никогда не выйдешь замуж!», и при этом у них такой вид, будто я должна обидеться... А мне совсем не обидно, я и не хочу выходить замуж... Теперь я думаю, что моя сестра просто из тех людей, которые приемлют без раздумий окружающую действительность, и даже находят радость, подчиняясь этой действительности... Впрочем, и в рамки подчинения этой действительности входит какой-то свой протест, какое-то непослушание... Сестра встречалась с молодым человеком, который очень не нравился нашей маме... Однажды он пришел к нам, и мама все ему сказала... Он ушел... Сестре тогда было лет шестнадцать... У нас был такой глинобитный забор, и вот она всю ночь просидела на заборе, в темноте, обиделась на маму... Через год она вышла замуж за другого... Я любила читать по ночам, я спала одна в комнате, сестра уже вышла замуж и не жила с нами; мама просыпалась, видела, что у меня включен свет, встала, выключала и ругала меня, что я не думаю, сколько денег приходится платить за свет... Она уходила спать, а я тихонько выходила во двор... А там шелковичное дерево... И ночь такая теплая... И короеды на шелко-

вице ожили... И желтые такие улитки с голыми спинками без раковинок ползут очень тихо... И кто-то летит... И кто-то жужжаше так поет...

Я всегда считала, что моя сестра — мелочно-практичный человек... Когда мы делили имущество после смерти родителей, я нашла ученическую тетрадку, там были записаны стихи, латиницей, на турецком языке... Я не смогла понять... Сестра складывала в чемодан какие-то мамины платья... Я показала ей тетрадку, она присела на стул... Это была ее, еще девичья тетрадка, и она эти стихи написала... Она хорошо знала язык и умела писать... Она взяла тетрадку и прочла несколько строчек вслух... У нее было хорошее произношение и певучий голос... Она перевела: «Сумасшедшее черешневое деревце, что ты делаешь на берегу речки?»*... Я удивилась, какие своеобразные строки... Она протянула тетрадку: «Хочешь, возьми себе...»

«Нет,— сказала я.— Оставь, ты должна это сохранить для твоих детей»... Она встала, обняла меня за плечи, подвела к шкафу и стала объяснять, почему она берет это и то из маминей одежды, и стала говорить, что вот то, что осталось, как раз и пригодится мне... Тетрадка лежала на столе... Но я немножко солгала, когда говорила о том, что стихи надо сохранить для детей моей сестры; я не взяла тетрадку, потому что, перечитывая эти строки, уже не смогла бы получить удовольствие; я все время помнила бы мою сестру, как она складывает мамины платья в чемодан с какой-то уверенной поспешностью; и эти ее располневшие женские руки и какая-то очень женская блузка с короткими рукавами; и туфли на высоких, чуть стоптавшихся каблуках...

Отец мой на фотографии старый, он в шляпе, обычно он кепку носил, и шляпа немного затеняет его лицо, шея у него жилистая и вытянутая... Самое интересное на этой фотографии — надпись... Отец в светлом свитере, а надпись сделана красным карандашом, прямо на фотографии, а не на обороте, как обычно делают... Надпись на латинице тоже и по-турецки, печатными буквами, чтобы совсем разборчиво... Это надпись для нашего Лазара Маленького... Значит, я ее перевожу: «Ты не можешь хорошо узнать меня, и потому не успеешь так полюбить меня, как я тебя уже люблю»... Эти две фотографии, на которых моя мать и мой отец, стоят у нас в книжном шкафу на верхней полке, их видно через застекленную дверцу...

В доме, где жили мои родители, где я выросла, живет теперь мой брат с семьей, я не поддерживаю с ними никаких отношений и никогда не бываю там... Помню, я спросила

* Подлинное стихотворение. автора не знаю

сестру, откуда она так хорошо узнала язык и кто научил ее читать и писать... Она ответила, что мама... Я плохо знала их и слишком плоско о них думала... примитивно... потому что я негибко думаю вообще...

Моему отцу пришлось работать на тяжелой физической работе. Сколько я его помню, он работал на заводе (да, это, кажется, именно «завод» называлось, а не «фабрика»), значит, на заводе, где консервы делали, овощные и фруктовые... Кажется, он работал на конвейере... А после, когда уже был на пенсии, работал недолго сторожем в лаборатории... Там на заводе была какая-то лаборатория, вроде химической, в отдельном здании; это здание было во дворе, и деревья росли... Помню, я однажды заходила вечером, когда уже Лазар Маленький был... Мы сидели во дворе на скамеечке; отец говорил, что здесь хорошо, тогда лето было, что можно сидеть, читать... Лазар Маленький сидел у него на коленях, сосал кусочек сахара и улыбался, дед бережно его держал...

В семьях наших соседей многие работали на этом заводе... И вообще в городе многие там работали... Завод был почти за городом... Многим было далеко ехать, в переполненном автобусе, из окрестных сел тоже там работали, тоже приезжали на автобусе... Отец приносил с работы овощи, фрукты; особенно помню джем и масло сливочное... Все так поступали... Вроде бы это запрещено было, но все приносили... Позднее я видела еще такие ситуации, когда вроде бы официально запрещено, и все равно все нарушают это запрещение; и само это нарушение становится вроде бы чем-то обычным, будто бы так и надо... Если бы нельзя было ничего приносить с завода, никто, наверное, и не стал бы там работать, потому что работа тяжелая, а платят за нее не так много... Летом на работу привозили студентов, даже из столицы... Мы жили недалеко от завода... Но на самом заводе, в цехе, я была только один раз... В гимназии нам сказали, что мы будем летом работать на заводе... Мама сказала, что я должна взять у врача освобождение, потому что у меня больные легкие... Но мне это показалось унижительным, никто из моих одноклассников не брал освобождение... Дальше я помню, как мы в каких-то темных, почти черных халатах стоим в цехе... Цех мне показался очень большим и высоким; все было каким-то очень темным и казалось грязным, или на самом деле и было грязным; люди казались маленькими с измученными лицами... В этих темных до грязи халатах... Волосы у женщин убраны под косынки, от этого еще более жалкий вид... Я увидела конвейер, и много человеческих рук над ним — вереница... Но как двигались стеклянные банки, помню смутно... Стоял страшный шум, грохот настоящий... Я ужаснулась... Как можно здесь находиться целый день?.. И

как можно, чтобы в этой грязи темной люди возились бы с овощами и маслом...

Вдруг я увидела отца, он быстро шел ко мне и резко размахивал руками... На нем тоже был этот темно-грязный халат... Лицо казалось совсем смуглым и как-то в испарине, а глаза показались мне какими-то выпученными... и с расширенными зрачками... Я подумала, что здесь, на работе, он всегда так выглядит, и мне стало тоскливо и больно... Он подошел не ко мне, а к учительнице, которая была с нами, и стал громко кричать, иначе его не было бы слышно... Он кричал, что мне нельзя работать, что у меня слабые легкие... Нельзя было понять, доказывает он, или просит, или сердится, различалось только напряжение голоса для громкого крика... Я видела его запекшиеся губы, и зубы металлические серые вдруг проблескивали, и капельки слюны как-то страшно летели... Было видно эти капельки слюны... Кажется, я никогда раньше не видела такого... Мне было неловко... Наверное, кто-то из соседей наших сказал отцу, что я здесь, или мама ему сказала... Мои одноклассники насмешливо заулыбались... Учительница как-то растерянно качала головой, показывая, что соглашается с моим отцом... Он схватил меня за руку, я опустила голову... Какой-то рабочий подошел к нему и что-то крикнул по-турецки... Отец выкрикнул ответ... Я не разобрала, что они кричали... Не отпуская моей руки, отец обернулся к этому конвейеру и что-то крикнул повелительно... Потом повел меня из цеха... Мы вышли в большой заасфальтированный двор, у меня еще немного звенело в ушах... Отец дернул полу моего халата, я сняла халат и отдала ему, он скомкал халат и взял его под мышку... Я молчала, и отец молчал... Он уже не держал меня за руку... Он отошел немного в сторону и отхаркнулся... Мы дошли до проходной, отец вошел туда вместе со мной и сказал: «Иди домой...» Я молча ушла... Вечером отец ругал мать за то, что она сама не пошла к врачу за справкой для меня... Я сердилась на отца; мне казалось, он меня унизил... И все же я понимала, что он прав...

Мой отец имел несколько человек знакомых, которых мог бы назвать даже своими приятелями... Они приходили к нам в гости и играли с отцом в таблу... Но у нас в семье не полагалось, чтобы мама или мы, дети, при этом оставались... Мы всегда выходили из комнаты... Я запомнила одного из этих гостей отца; когда были детьми, мы называли его «дядя Умар». Он носил чалму, и особенно меня занимали его четки; они были, кажется, янтарные... Он перебирал бусины... Я была совсем маленькая и мне казалось очень таинственным, что вот есть такие странные бусы, которые не надевают женщины на шею, а мужчина перебирает в пальцах... Однажды, я училась тогда в первом классе, он спросил обо мне, как я

учусь. Спросил он по-болгарски... Отец ответил сдержанно и серьезно и тоже по-болгарски, что я учусь очень хорошо... Я не очень хорошо училась в начальных классах, и хотела сказать, что я сегодня получила тройку; и вдруг поняла, что не надо этого говорить... И почему-то я это вот запомнила... Дядя Умар знал арабский язык и читал по-старотурецки на арабской графике... И он и другие приятели отца были религиозные люди, умели читать Коран, ходили в мечеть... Вот здесь начинается интересное... Отец не был религиозен... Он душой принадлежал светской культуре Турции конца XIX и первых десятилетий XX века... Его приятели были равнодушны вообще к светской культуре и не знали ее... Мой отец еще мальчиком, после юношей, познакомился с книгами тех писателей, и все еще, спустя много лет, разделял их чувства и мысли... С тех пор все менялось не один раз, и писались новые книги на турецком языке, но отцу неоткуда было их взять; для него те, прежние книги, оставались как бы новыми; он говорил о них так, будто бы изложенное в них легко прилагалось ко всем событиям теперешней жизни... Я помню, мне казалось, что это странно, что отец смешон даже... Но вот по какой-то странной, а скорее всего совсем и не странной спирали, тогдашние мысли, чувства, идеи начали перекликаться с теперешними...

В сущности, отец постоянно перечитывал те десять — пятнадцать книг, которые он имел... Говорить об этих книгах ему было не с кем; моя мать, мои братья и сестра не стали бы сидеть и слушать его... А я была маленькая девочка, часто болела и много времени проводила в постели... Не хотела играть в куклы... Вероятно, сначала он говорил со мной, как разговаривает одинокий человек с котенком или собачкой; ему и не надо, чтобы ему отвечали на его слова... Но я была не котенок и не собачка, а маленькое человеческое существо... Я уже понимала, что он говорит со мной о серьезном, о чем обычно не говорят с детьми... Я гордилась тем, что он именно со мной об этом говорит... Я решила, что книги важнее, чем всякие дела по домашнему хозяйству; и я стала считать себя лучше матери, и братьев, и сестры; ведь отец именно со мной говорил о книгах... Мне было интересно слушать его, я сама стала задавать ему вопросы... Я обдумывала свои вопросы; мне хотелось, чтобы они доказывали мой ум... Мне нравилось, что отец любит меня не просто потому, что я его ребенок, но главное потому, что нам интересно разговаривать вдвоем... Я презирала своих двух старших братьев; у них были смуглые жесткие косялые мальчишеские тела, заскорузлые локти и колени, стриженные головы с черными ежиками жестких волос; они старались приглушать в доме свои слишком громкие голоса, переговаривались они резко и отрывисто; и летом целые дни проводили

в каких-то своих мальчишеских играх далеко от дома... А сейчас я вижу, что все это похоже на моего Лазара Маленького, и мне все это мило в нем...

Старшую сестру я тоже презирала, потому что ее любила мама, а уж маму я презирала за ее мелочные занятия домашним хозяйством... Мама учила сестру шить и вышивать, и мне это казалось неинтересным и пошлым... А мама была хорошая мастерица; она шила на руках, без машинки, и особенно хорошо стегала одеяла, ей заказывали...

Я уже сказала, что отец много читал мне вслух по-турецки... Я все понимала, и даже сама довольно хорошо говорила... Когда я была совсем маленькая, и дедушка был жив, он мне рассказывал сказки... Там было много о волшебниках и о разных превращениях, в одной сказке говорилось о крылатом коне... Впрочем, я боюсь, что какие-то рассказанные дедом сюжеты перемешались в моей памяти с теми турецкими сказками, которые я позднее читала...

Родным языком моего отца оставался турецкий, на этом языке он, вероятно, думал; и говорил он с матерью моей и со многими другими людьми — на этом языке; на этом языке были написаны его любимые книги... Но со своими детьми, когда они подрастали, он переходил на болгарский язык, и даже мать просил говорить с нами по-болгарски... На болгарском языке мы учились в школе, и он боялся, что это двуязычие помешает нам в учебе... Турки, о которых говорилось в книгах моего отца, никак не соотносились в моем сознании с ним самим, или с мамой, или с нашими родственниками и знакомыми... Я думаю, что, например, и французы не похожи и никогда не были похожи на персонажей своей литературы, от аббата Прево до Камю, Сартра, Паскаля Лэнэ и Жана-Дидье Вольфрома... Потому что литература — это вовсе не отражение жизни, это просто какая-то другая форма жизни... Другие какие-то измерения... Даже когда литература натуралистическая и вроде бы напоминает зеркало; стоит помнить, что и в самом обычном зеркале обыденном, так точно отражающем все, что в него заглядывает; правая рука у нас — левая, и наоборот; любая, самая обыденная надпись превращается в загадочную тайнопись...

Отец очень искренне говорил о величии турецкой нации, но спохватывался, хватал меня за руку и говорил еще, что об этом надо молчать, ни с кем нельзя говорить... В школьных учебниках говорилось о турецкой нации только плохое... Но получалось так, что это плохое имеет отношение и ко мне и ко всем моим родным, и значит, если надо бороться с этим плохим и уничтожить, то и меня уничтожат... В учебниках говорилось, что турки убивали и притесняли болгар; отец говорил, что знает точно, что во время русско-турецкой войны

болгары, как настоящие разбойники, нападали на турецкие дома, грабили и насиловали...

Учебникам и учителям я никогда не верила, в них была какая-то сухая тупая крикливость, и они были для всех, как будто хотели надавить, и всех одинаково сплющить... А отец говорил интересно и говорил только для меня...

Я росла с каким-то чувством неловкости и подавленной горделивости, и страх стал моим постоянным чувством...

Но моим родным языком все более становился болгарский... На этом языке я думала... В переводе на этот язык я впервые прочитала книги знаменитых писателей, европейских, русских, и даже восточных... У меня был один родной язык, у отца — другой... Я читала все больше книг, отец довольствовался своими десятью — пятнадцатью... Как-то получалось, что мы реже стали говорить по душам... Отец старался покупать мне произведения европейских классиков... На болгарском языке были эти книги. Я помню, как он купил мне Гюго — «Человек, который смеется», и Байрона — «Дон Жуан», и старую книгу с изложением греческих мифов... Все эти книги были на болгарском языке... Когда он приносил книги для меня, мать ругала его, что он тратит деньги на книги, а нам не хватает на одежду, на хозяйство... Отец даже пробовал читать переводы на болгарский язык, но помню, пожаловался мне, что плохо понимает этот книжный язык, не совсем похожий на тот, на котором говорят; и вернулся к своим книгам на турецком языке...

Первый мой комплекс от чтения был связан все-таки с книгой на турецком языке... Отец часто читал мне вслух рассказы Омера Сейфетдина. Он любил этого писателя... Рассказы были довольно короткие, и в них был юмор и психологизм, и тонкость была... Когда мне было где-то семь лет, на меня вдруг произвело сильное впечатление то, что в одном из этих рассказов говорилось о смерти маленького мальчика... У меня почему-то возникли какие-то скомканные полумысли-полуощущения, что вот, если описана смерть маленького мальчика, значит, и я могу умереть скоро, и я ведь еще мала... Но когда у меня сделалось сильное удушье, и я помню, как сестра кричала, звала маму, не помню, боялась ли я смерти или просто забыла о таком страхе; помню, как я доверилась маме и чувствовала себя в безопасности рядом с ней; помню, на стуле у кровати миску с водой горячей, и мама наклоняет мою голову прямо в пар... После помню, как я лежу и такое наслаждение свободно дышать... И вот я сижу на постели, под спину подложена подушка... Один из братьев сидит возле меня, чистит яблоки перочинным ножом, так серьезно склоняя стриженую голову, и кладет дольки мне в

рот... Суровым мальчишеским голосом он произносит: «Открой рот», и вдруг улыбается и строит мне смешную дружескую гримасу...

Я помню, что было время, когда я выискивала в книгах страницы о смерти детей, мне было тяжело и неприятно читать это, и тянуло читать именно это... Но я росла, и этот комплекс прошел, и вместо него развился новый... Теперь я искала в книгах описания издевательств над беременными женщинами, рассказы о преждевременных родах, о рождении мертвых детей... Я снова и снова возвращалась к таким описаниям, с тем чувством отвращения и презрения к себе, с каким человек тайком передается какому-нибудь гадкому пороку... Лазар — единственный человек, которому я обо всем этом рассказала. Он мне сказал, что я боюсь совсем не того, что со мной может что-то случиться, нет, я боюсь именно описаний... а ведь описания не могут случаться, они ведь не жизнь, они — совсем другое какое-то бытие... И я думаю, он прав... Во время родов, например, был совсем не тот страх, какой бывал, когда я читала описания родов... И при обострении туберкулеза, когда у меня кровь идет, это все равно совсем другое, совсем не то, что в литературе... Лазар говорит, что даже если попадешь в какую-нибудь катастрофу, совсем не будет того страха, того чувства обреченности, как бывает когда читаешь в повести или в романе хорошо сделанное описание катастрофы...

Когда Лазару было четыре года, Софи затопила в кухне печку, солярку залила, и вдруг огонь метнулся; Лазар помнит, как пламя так длинно звильнулось под этот низкий потолок; из кухни дверь была во двор, Софи подхватила Лазара и выбежала... Стала звать соседей, дом чуть не сгорел... Лазар помнит, как уже все потушили, и Софи смеялась... Она стояла на снегу в одном шлепанце, и ногой в толстом носке нашивала другой, отлетевший в сторону; Лазара она прижимала к груди, на плечи ей кто-то накинул пальто чье-то, и она кутала мальчика в полу этого пальто... Ей тогда было девятнадцать лет... Другой раз Лазару было восемь лет, они ездили на море все втроем и возвращались поездом... Произошло крушение; тот вагон, где Лазар ехал с отцом и сестрой, не пострадал... Все выбежали... Тогда Лазар увидел страшное: увидел мертвых, искалеченных, увидел кровь... Но страшно ему не стало — «Я тогда еще не знал, что всего этого надо бояться...» Я спросила, какие у него тогда были чувства... Он ответил, что у него возникло такое энергическое желание подбежать и помочь; отец и сестра с трудом удержали его, увели и объяснили, что взрослые все сделают и что он не сможет... Отец и сестра были испуганы, подавлены, и Лазару это казалось непонятным... Страх у него совсем не было... В третий

раз Лазару было уже двадцать два года, вместе с отцом и еще с одним родственником они поехали в село за овощами... Там у них тоже были родные... Машина была этого родственника... Ехали поздно вечером... Машина как-то съехала с дороги и перевернулась... Лазар и тот родственник совсем не пострадали, тот немного ушибся, а Лазару немного оцарапало ногу; но отец Лазара получил сотрясение мозга и после стал совсем уже плох... Но опять никакого страха не было...— А что было? — спрашиваю я... Лазар попытался вспомнить,— пожалуй, было какое-то чувство неожиданности; сильное беспокойство за отца; Лазар тотчас начал звать его, но отец молчал, не откликался в темноте...— И что еще было? — Да, показалось, что нога очень болит, в первую минуту... Когда Лазар это сказал о том, что у него нога болела, мне стало его очень жалко за его тогдашнюю боль, я тихонько поцеловала его в плечо... Мы ночью лежали...

— Не бойся,— говорит Лазар.— С нами ничего плохого не может случиться... Мне хочется верить ему, но я спрашиваю, откуда он такое знает, почему не сомневается...

— Я видел во сне,— отвечает Лазар, и у него серьезное и замкнутое лицо...

Однажды он сказал мне, что не смог сделать меня счастливой... Я знаю, что для него это серьезная проблема, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и не мучили друг друга... Я ему сказала, что, наверное, он никогда не умрет, и снова будет молодым, таким, как прежде, и познает все свои свойства, и многие люди, благодаря ему, станут счастливыми... И меня он сделал счастливой...

Лазар мне рассказал, что когда он служил в армии два года, им приказали пройти большое расстояние; кажется, марш-бросок это называется, но не знаю... Было очень жарко... Они были в этой форменной одежде, в сапогах, и еще несли, кажется, что-то вроде вещмешков или скатанных плащ-палаток, не знаю... В общем, тяжело были нагружены... Очень хотелось пить, а воды не было... Дорога шла в гору... И вдруг они увидели родник, такой даже не обделанный в каменную плиту... Все побросали то, что несли, и бросились к роднику; отталкивали друг друга, даже выкрикивали какие-то бранные слова... Лазар мне рассказывал, что эти молодые люди в загрязненной одежде, почти уже дерущиеся у родника, произвели на него очень тягостное, горестное впечатление... Но это еще не весь рассказ... Я слышала, как Ибиш рассказал Гюлчин, с которой я тогда вместе училась, что было дальше... Обращался он к ней, но я тоже сидела на скамейке, и слушала... Это было еще до того, как я впервые говорила с Лазаром... Когда Лазар мне рассказы-

вал, я уже знала, что он не все рассказывает... Но я не сказала ему, чтобы не смущать его...

Когда я поехала поступать в университет, мама не верила, что я поступлю, потому что у нас не было никаких связей в экзаменационной комиссии... Она поехала со мной, у нее был адрес одной женщины, дальней родственницы одних наших знакомых, эта женщина жила одна в двух комнатах, она уже была на пенсии, но хорошо выглядела, высокая и худощавая; она была очень неразговорчивая и мне это понравилось; вечером она смотрела телевизор, а днем уходила в город... Раз два в году она лежала в больнице, у нее была какая-то болезнь печени... Звали ее Мария... Мама с ней договорилась и сняла для меня комнату, чтобы я не жила в общежитии... В тот год конкурс был маленький, я поступила, все экзамены я сдала на «отлично»...

Но вот что было дальше... Когда все бросились к воде, Лазар отошел в сторону, тоже бросил свою ношу на землю и сел на землю... Он сидел, вытянув ноги, руки завел немного назад и опирался ладонями о землю... Пилотку он снял и бросил рядом... Он сидел, опустив голову... Ибиш, который тоже там был, вдруг заметил, что Лазар сидит в стороне. Он подумал, что Лазару плохо, оставил толкучку, подбежал и спросил Лазара, что с ним...

— Тебе принести воды?

— Нет...

Лазар медленно поднял голову, глаза у него стали какие-то очень продолговато-большие и какие-то плоские и как будто влажные... Он как-то отрешенно посмотрел на Ибиша, и после как-то медленно перевел взгляд и внимательно посмотрел на остальных, которые все еще толкались у воды... Внезапно все как-то расступились, будто пришли в себя, стали поочередно, уступая друг другу, наклоняться к воде; стало тихо, голоса умолкли, даже слышно стало это мерное журчание воды... На Лазара никто не оглянулся... Ибиш все стоял подле него... Потом Ибиш тоже отошел к роднику... Все напились, умылись и отошли от воды... Заговорили спокойно и заулыбались, всем вдруг сделалось немного как-то радостно... Лазар тогда встал, подошел к воде, опустил на одно колено, склонился, сложил горстью ладони, выпил воды и умыл лицо... Но это не был тот родник, который мы видели, когда поехали с Лазаром в горы... Другой родник... Вот это мой Лазар...

Чем я отличаюсь от тех, которым везет? Я лгу без успеха, они лгут успешно... Я не научилась лгать хорошо, как следует... Только это...

Конец! Больше не могу выносить весь этот кошмар обычной жизни... Какого-нибудь другого Лазара сделаю себе... Придумаю... Но дело в том, что я не могу придумывать... «Творение» и «придумывание» — это совсем разное, как будто бы одна детская выдумка, хорошая, милая, и одна грубая практичная ложь...

Я сжимаюсь в темноте под одеялом... У меня тонкие руки, и у меня больные легкие, я чувствую себя очень беззащитной... Никто меня не жалеет... Моя мать думает, наверное, что ее жизнь прошла зря, ведь у ее дочери нет семьи, нет детей... Мать жалеет меня, но с какой-то долей презрения... А я, конечно, хочу, чтобы она жалела меня с любовью...

Лазара совсем нет... Я сама?.. Все время я чувствую, что другие несчастнее меня... Вон та молодая женщина... Ольга ее зовут... У нее двое детишек... Но почему я должна ее жалеть?.. Все-таки у нее что-то было в жизни... Я знаю, дети не просто так рождаются! Они от наслаждения рождаются... За чем я ее жалею?.. И все-таки я ее жалею... Лазар?.. Зачем у меня не получается один милый, добрый, хороший Лазар?.. Не могу остановить это, этот процесс, это движение, которое называется «фантазия» или «воображение», или «творчество», нет, «творение»... Или еще как-то... Это действие... И развивается, вращается, с одной такой беспогрешной беспощадной логичностью, — как Земля вокруг солнца... Но разве я не могу сосредоточиться и вырваться из всей этой ситуации, из всего этого моего движения куда-нибудь в другое какое-нибудь мое движение, в другую ситуацию? Теперь, сейчас — нет, я слишком усталая...

Интересно мне, откуда приходят все эти подробности, детали?.. В моей обычной жизни, в той, которая называется реальной, я их не знаю...

И вот... Нигде его нет, моего доброго Лазара... Только одна логичность, беспогрешная и беспощадная...

Я объяснила сыну принципы построения исторических романов. Он написал один роман, о том, как финикийцы открывают Американский континент... И очень хорошо пошло... Что-то вроде такого фантастического моделирования исторического процесса... Я сказала Маленькому Лазару, что есть один такой способ, прием. берешь своего знакомого или близкого человека, и как будто переодеваешь его в образ какого-то реального исторического лица, смешиваешь детали... Он в своем романе представил своего отца как Демосфена...

Мой сын соблюдает свою своеобразную хронологию, у него Демосфен, финикийцы, Меценат и индейцы — все они живут в одно время... В этом я вижу свободу его мышления... Лазар Большой не сердился, даже смеялся, но мне сказал, что не надо учить мальчика всему такому...

— Не бойся, Лазар, у нас Колымы нет, не могут тебя туда послать...

Моя ирония раздражила его. Он сказал, что я глупая и несдержанная... Я еле удержала слезы, не захотела еще сильнее раздражать его... Все это он мне сказал, когда мы были одни. При сыне ничего не сказал. И я не хочу, чтобы Лазарчо знал о наших ссорах... Все-таки Лазар Большой прав, Лазар Большой более тактичный, более воспитанный, чем я...

Когда мы только поженились с Лазаром, мы ездили в горы... В село болгар-мусульман... Это через одну учительницу, которая работает вместе с нашей Софи... Она туда ездила несколько раз отдыхать... Там большая семья, несколько маленьких девочек... Я привезла куклу в подарок, но им больше нравилось брызгаться водой и носить малышей на ручках, и бегать... Но Лазару хотелось, где тихо, где нет людей... Хозяин сказал, что если мы поднимемся, там будет оставленный дом, и мы сможем в нем пожить... Мы взяли еду и пошли туда... Там такой большой очаг, вроде камина... Но мы побоялись, и готовили кофе на костре...

Круглые голуби издавали свои горловые звуки, трещали крыльями, и пробегали мелкими шажками по этим выщербленным каменным плитам большого двора... Утром они громко слетали на окно, и я просыпалась... Мы спали с открытыми окнами... Голуби это были, а может, горлицы... Когда не знаешь чего-то, в этом тоже есть свое обаяние, как в неправильностях или неточностях «Трех мушкетеров» или «Королевы Марго»...

Воздух, как будто вкусный и мягкий, и такой чистый... Зеленъ прозрачная... Внизу течет река, и мостик крутой каменный изгибается... Лазар сказал, что неподалеку от этих мест он служил в армии... Это и до сих пор удивительно мне, что мой необыкновенный Лазар делает то, что все делают, что он служил в армии, что он утром встает, умывается, надевает обычную, такую, как у всех, одежду; вот он ест, пьет, движутся его милые губы и беззащитный кадык... И это все почему-то мне странно и трогательно и вдруг хочется заплакать...

И вот Лазар сказал, что когда он служил в армии, ну, восемнадцать — двадцать лет, и эта зеленъ, и воздух, и девушки в горах такие красивые, что он не мог уснуть по ночам, долго лежал без сна и ему казалось, что он сам — это целый слож-

ный мир таинственный, и если так лежать, молча, без сна, вдруг что-то почувствуешь, как озарение; что-то выразишь в себе... Но я подумала сразу, почему он это говорит? Хочет сказать, что те девушки были красивее меня? Или наоборот, что я красивая и что он теперь любит только меня?.. И тогда я поняла, что эта моя женская мелочность и мелочная эта сосредоточенность моя на себе самой, все это всегда будет мешать мне понимать, чувствовать моего Лазара. Он будет говорить со мной, делиться, как с близким человеком, той красотой и высотой, какие он чувствует, а я буду всему искать свои женские мелкие объяснения... А тесноты и мелочности будет становиться все больше: будут дети, жилье, работа... И я могу совсем потерять моего Лазара... Неужели так будет?.. И я чуть не заплакала... А пока я все это думала, я совсем не обдумала, что же сказать ему, чтобы он понял, что я его понимаю... И я боялась, что вот он сейчас нахмурит брови, и будет это выражение тоскливого одиночества на его лице... И я наклонилась, как мы сидели рядышком, и стала осторожно целовать его раскрытые глаза и чувствовать губами ресницы и веки...

Тогда в горах он купил мне браслет, ожерелье и серьги, даже не серебряные, простые, с красными яркими стекляшками вместо камешков, но это было красиво...

Теперь там, в горах, людям поменяли имена. Говорят, что там теперь войска, милиция, вертолеты над селами... В этом голубом небе...

Лазар... У него совсем настоящее имя... Пока ему легче... Но как же все случается, происходит? Внезапно, вдруг?.. Нет, мы просто думаем, что внезапно... Просто думаем так, потому что целиком поглощены какой-нибудь тошнотой, и головокружением, и ненавистью к самим себе, и переводом рассказов, и по книжке французской кулинарии готовим обед из болгарских продуктов, и пальтишко надо купить маленькой... И вот все происходит: насильно меняют имена, и арестовывают людей, и всякое другое... А что мы? — Вечером читаем детям вслух «Чиполлино» или «Пиноккио»; и гланды; и начнется один конфликт с этой тупой учительницей болгарской литературы... Маленький мой Лазар! Как я его люблю! С ним так чисто и хорошо!.. Каждую неделю я ему пишу по одному письму; рассказываю, какие книги есть в муниципальной библиотеке и какие здесь люди, какие человеческие характеры, типы... Он мне отвечает, такие интересные мысли сейчас приходят ему в голову... Я не хочу, чтобы он приезжал сюда, к туберкулезным больным, поэтому мы так усиленно переписываемся... Пусть мой сын не чувствует так, будто я его за-

бросила... Как хорошо он улыбается!... Девочки так не умеют... Но они такие тепленькие и нежные... Волосики у них пахнут нежностью... Они так прижимаются ко мне, мои девочки... Мне так хорошо, когда я их обнимаю и прижимаю к себе... И я очень люблю купать их вечером...

Но больше всего я скучаю по Лазару Маленькому... Лазарчо мой... Я так люблю его!.. И сразу я понимаю, что и девочек очень люблю... Эта тупая учительница в школе, она не может понять моего Лазарчо... Теперь он и рифмованные стихи начал писать... А его сестрички рисуют... Но все-таки, может быть, ему не надо так сильно увлекаться литературой... Ведь так много лжи, фальши, зависти нехорошей бывает там, в этой литературной среде...

В сущности, я знаю, в чем заключается мое страдание. Значит... а, кажется, я это уже говорила... Только немножко в другой форме... Ну, еще раз повторяю... Есть такое, когда людей строят в колонны, значит, объединяют по принципу каких-то общих, единообразных имен и фамилий, или записи в паспорте, в графе «национальность»... И люди идут убивать и притеснять других людей, у которых другие имена и фамилии и другие записи в разграфленных документах... Такие объединения, кажется, всегда добровольные, или полудобровольные... И люди охотно идут и верят, что именно убивая и притесняя других людей, они достигнут благополучия, даже величия... И, кажется, мало кому бывает в таких случаях стыдно... Вот Льву Толстому было стыдно, когда русских крестьян погнали на Балканский полуостров, воевать за то, чтобы империя стала еще больше и чтобы расширилась сфера ее имперского влияния... А Достоевскому стыдно не было... Но бывает еще страшнее: когда чья-то конкретная и страшная воля ставит тебя к стене, или загоняет в газовую камеру, или меняет тебе имя; когда тебя зачеркивают, ты уже больше не ты, не личность, а только графа в разграфленном документе; носитель имени, которое тебя насильно заставляют поменять на другое имя... Но я все равно, даже в этом едином мучении не знаю, о чем говорить с тысячами моих единоплеменниц, которые держат детей на руках... У меня нет детей... Я пишу стихи... И насильственное, унижительное объединение — самое мучительное для меня... Я не понимаю тех, которые пишут в своих стихах о каком-то своем единстве со своим народом... Нет!.. Я — это я! И другие люди — это другие люди!.. И я не хочу этого гнусного единства под дулом автомата или в тюремной камере... Такие отдельные отчаянные глаза, пораженные страшным своим одиночеством, я видела на фотографии-

ях, где целые толпы людей с шестиконечными звездами на груди, эти глаза я выхватывала взглядом из десятков других, чужих для меня глаз...

Я почти не общаюсь со своими родственниками. И у них нет особого желания видаться со мной. Мне не нравится их презрительная жалость ко мне за мое одиночество, за мою неопределенность в жизни... Если бы Лазар был со мной, я бы не чувствовала себя одинокой... Но скоро все это станет (или уже стало) совсем незначительным, потому что чернота одной общей для всех нас беды сожмет нас в своих когтях...

Разумеется, я тоже могла бы подхватывать эти унижительные оправдательные разговоры; и когда рядом со мной сидит мешанка, которой барабанная пропаганда внушила нелепое сознание избранности (это значит, что в этой стране она лучше меня, потому что у нее другие записи в паспорте. И это, наверное, одно из самых страшных искушений для человека, искушение вот такой вот избранностью); и вот она рядом со мной и распыленно говорит мне, что мои единоплеменники — наркоманы, воры и безнравственные люди... И я могла бы сказать, что люди бывают разные, что мои родные не таковы, или еще другие банальности могла бы сказать... Но я не стану унижаться... Ведь если в безнравственности и других пороках обвиняются тысячи людей, и только на основании каких-то единообразных записей в их паспортах, и обвиняются их маленькие дети, и уже все они обвиняются, без различия возраста и пола; тогда уже можно ничего не пытаться прояснить, уже можно ни о чем не говорить; нужно просто бить тревогу... Это Лазар говорит...

Впрочем, и Лазар не любит своих родных... У него много каких-то дальних родственников, и ему неприятно, что он в родстве с какими-то чужими ему людьми... Это я понимаю... Но если его погнать вместе с ними в газовую камеру или насильно сменить им всем имена, получится пресловутое единство, и глаза у моего Лазара сделаются совсем тоскливые и отчаянные, как на тех фотографиях, где шестиконечные звезды... Но я сейчас другие фотографии вспомнила; где его родственники сидят за столом или стоят вокруг жениха и невесты; Лазар на этих фотографиях еще молодой, почти мальчик, но я узнаю его милое лицо с этими раздраженно сдвинутыми темными бровями и сердитыми глазами... Чья-то это свадьба... По обычаю, у него, как и у других родственников на свадьбе, приколот к груди такой платочек свадебный, и я

смотрю на эту старую уже фотографию, и чувствую, что Лазару там плохо почти физически. Потому что и он не выносит этих грубых объединений через свадебные платочки, шестиконечные звезды, нательные кресты, фашистские значки, зеленые повязки и прочие атрибуты (ну, пусть это так называется)...

Из родных Лазар оставил себе только Илию. Илия страдает эпилепсией, у него где-то раз в месяц припадок. Но он всегда заранее предчувствует, за несколько дней, так что это не бывает неожиданно, и мы знаем, что он детей не напугает... Он мало говорит, и как-то смазано, чуть неясно... Но он умеет выращивать цветы, и косить, и ловить рыбу, и фотографировать... Он помнит, когда день рождения Лазара, и мой, и детей. И всегда присылает открытки. На открытках (на обратной стороне) большими печатными буквами всегда написано одно и то же: что он желает здоровья, счастья и чтобы мечты сбылись. В четырех строчках — несколько орфографических ошибок... Он если говорит, то только о животных, растениях или о фотоаппаратах... Летом Софи ездит к нему отдыхать и берет детей с собой... У нас есть фотографии, где дети в одних трусиках, босенькие, играют на траве, под деревом каким-то маленьким и немножко кривым... Там была маленькая серна, и наш сын, Лазар Маленький, с ней играл... Потом Софи привозит детей обратно, и сама уезжает на неделю на море... Там теснота и очереди за мороженым и сосисками... Но все-таки море, и морской ветерок на пляже... Она возвращается такая посвежевшая и говорит, что снова убедилась в глупости и суетливости людей, и что не надо никому завидовать... Я тоже так думаю, что не надо... Ведь никто не может чувствовать, как я. Только я так чувствую, а все другие — иначе. Мои чувства могут быть только у меня... И мое счастье никто не может украсть... Оно где-то там хранится неприкосновенное в сокровищнице Бога, и когда я окажусь там, оно будет моим... Но это идеализм... И все же... Я верю... Бог знает меня и жалеет, и знает, что я стремлюсь быть хорошей, доброй...

Когда Илия приезжает в город, он у нас останавливается. Он привозит овощи и фрукты и эту домашнюю колбасу — каждая колбаска на банан похожа... Помню, когда Лазару Маленькому было девять лет, Илия хотел взять его осенью на село, показать, как будут свиней колоть... Мальчик обрадовался, что увидит новое и даже поучаствует в таком интересном и взрослом деле. Но Большой Лазар это ему запретил, и при этом так экспансивно, с криком, сердито... И кричал, что он не хочет, чтобы его сын рос убийцей... Я поняла, что это слово «убийца» задело мальчика... Смысл этого слова ему уже сознательно неприятен, и как странно и мучительно, что этим словом называли его, и назвал отец, которого он любит... И

мальчик ощутил, я знаю, это мучительное сознание собственной нечистоты, когда уже физически, телесно хочешь бежать от самого себя, а это сделать невозможно; и он закрылся руками и заплакал... А я подумала, что это несправедливо; доводить такого маленького до такой муки. И я со слезами обняла его, чтобы почувствовать его плечики дрожащие, и согреть и защитить его собой. Но ему это не было нужно, он высвободился и убежал в другую комнату. Он уже настолько взрослый, что ему нужно самому эту муку пережить, наедине с собой, без моей помощи... А я обиделась на Большого Лазара и плакала... Хорошо, что Илия такой деликатный человек. Я замечала такую деликатность у совсем необразованных людей. Просто молчит и все, но какое-то это легкое молчание, будто человек все понимает, что случилось у него на глазах, и не думает о вас плохо... Лазар пошел к сыну, повел его в ванную, вымыл ему лицо... Я понимаю, что Лазар может что-то сказать и даже просто прикоснуться, погладить по голове так, как я не умею... Вот что-то такое Лазар может дать детям, чего я не сумею им дать... Лазар уже спокоен и говорит успокоившемуся мальчику и нам, что одно — убивать животных, потому что это дело, работа — получение пищи; и совсем другое — смотреть на это убийство или соучаствовать в нем для забавы, для развлечения — это — самое скверное...

Мне нравится, как мой мальчик играет в шашки с Илией. Он знает, что Илия болен и ему нельзя перенапрягаться умственно. (Это мы с Большим Лазаром так решили.) Маленький Лазар так серьезно поддается, личико такое открытое, захваченное этой серьезностью... Илия спокойно передвигает кругляшки. Вот мальчик решил, что теперь можно и выиграть один раз. У него такое открытое личико, все читаешь, все видишь... Но флегматичный Илия не позволяет ему выиграть... Лазар опять задумался и нахмурил бровки... мое кисонькино солнышко... И развеселился, что можно играть без притворства... Такая мелочь, а глазки засияли... Моя радость!.. Вот теперь оба сосредоточенно, серьезно играют, и получают удовольствие... Но теперь Маленький Лазар совсем вырос, личико уже не такое открытое, это выражение подростковое ироническое появилось, и все за ним он прячет, и только проглядывает эта его милая прелесть... Но так и должно быть... И через это надо пройти...

Я закутываюсь с головой...

Вот что... Я скажу... Сейчас... Все-таки... Я ведь о моем муже говорю... Дело в том, что... Лазар не может, когда это...

презерватив... Ему становится плохо, он не испытывает наслаждения... В сущности, и я не могу, когда так... и не хочу, чтобы он... Но тогда последствия... Ведь на много детей и денег неоткуда взять... Впрочем, это природа... Мне приходится терпеть боль из-за этих последствий; а у него, например, гастрит на нервной почве, тоже больно...

Но мне кажется, что теперь он совсем выздоровел; и стал такой красивый... С тех пор, как он знает, что я серьезно больна... Душа его полнится надеждами... Бедный мой Лазарь!.. Он стыдится... Он ждет... Ждет, когда я умру... Мечтает о свободе, о красоте... Стал такой мягкий с детьми... Никаких замечаний им не делает... Только ласкает и улыбается как-то рассеянно и стыдливо... как будто бы уже это чужие дети... Ничего... Софи о них будет заботиться... Они вырастут... Я на него не сержусь... Интересно, как он представляет себе свою новую жену; с какими глазами, с какой фигурой, и о чем она говорит с ним в его воображении... Теперь я спокойна... Спокойно люблю его... Это Лазарь... Лазарь...

Откуда мне приходит в голову такая грязь?.. Просто тошнит от самой себя... А!.. Я плохая, низкая, я обманщица... И все остальное... У меня грязное подсознание...

Когда мне было двенадцать лет и у меня впервые сделались менструации, я сказала матери, потому что испугалась, подумала, что это болезнь. Я мало любила мать и не склонна была делиться с ней своими мыслями и чувствами, но болезни — это что-то бытовое, как хождение за покупками или мытье посуды, об этом надо было матери сказать... Мать обьяснила, что теперь это будет каждый месяц... Я почувствовала себя скованной, униженной... Взяла в библиотеке книжку о женской физиологии и испытала еще большее отвращение. Зачем эти мерзкие рисунки и медицинские термины и советы имеют отношение ко мне?.. Одна мысль о том, что я могу быть такой, как те замужние женщины, которых я видела вокруг, приводила меня в какой-то тоскливый ужас... Когда мне исполнилось шестнадцать лет, мама заговорила с отцом о моем будущем; она считала, что надо иметь профессию, но не обязательно иметь высшее образование... Она сказала, что меня могут и не принять в университет, и что высшее образование совсем не помогает выйти замуж... Лучше мне поступить на курсы какие-нибудь и, например, стать машинисткой... Отец как-то вяло возражал, что если я думаю, что у меня есть способности, пусть я поступаю, куда хочу... Помню еще, как я сказала матери, что боюсь замужества, потому что

мне неприятно смотреть на женщин в положении... Мать рассердилась и сказала, что я дурочка и что самое худшее — это быть старой девой... Я спросила, почему... Она закричала нервно, что я — сумасшедшая, и ударила меня по щеке... Я равнодушно ушла во двор... Тогда я стала увлекаться христианством; мне, впрочем, нравился именно аскетизм, обет безбрачия... Но мне не нравились церкви, священники, иконы... Я не хотела подкрашивать лицо, красиво одеваться; я видела в этом что-то лживое и грязное...

С тех пор много времени прошло, у меня родились дети, я испытала много женских недугов, но не могу сказать, чтобы это все помешало моей духовной жизни, а в юности я именно этого боялась... И когда надо идти на люди, я стараюсь одеться прилично и подкрашиваюсь, но я знаю, что делаю это не для того, чтобы кого-то соблазнить, а просто чтобы быть похожей на всех остальных женщин...

Я думала, что мои родители должны полюбить Лазара... Но они отнеслись к нему равнодушно, и Лазар не испытал к ним особой приязни... Свадьбы у нас не было... Мы оба не представляли себе, как соберутся за одним столом наши родственники; то есть мы это представляли себе каким-то ужасным пошлым зрелищем... Родители дали мне денег. Лазару тоже родственники собрали денег и подарили ему сберегательную книжку... Все эти деньги были нам не без пользы... Я думала, что моя мать должна быть благодарна Лазару за то, что он женился на мне... Мне это казалось таким чудом, что мы с ним соединились... Но мать вовсе не была благодарна, она сказала, что выходить замуж надо за человека своей национальности... Конечно, умом я понимала, что у Лазара есть национальность, но я чувствовала совсем другое... Лазар не такой, как другие люди... Разве можно говорить, что святой Лазар — еврей из деревни Вифания или считать Кришну — индусом?..

Я редко ездила к родителям, и старалась, чтобы мои родители не встречались с Лазаром... Зачем было навязывать им троим какие-то притворные отношения, если уж они друг друга не смогли полюбить...

Когда нашему сыну было полгода, я его еще кормила, и поняла, что у нас будет еще ребенок... Но я сразу как-то испугалась, опять придется испытать все неприятные ощущения, всю болезнь родов, и, может, это покажется мелочным, но я мечтала, что вот Лазар Маленький немного подрастет и я смогу нормально спать ночами, не надо будет кормить, менять пеленки... И еще надо было университет кончать... Когда первый раз случилась беременность, я так волновалась и радовалась, а теперь у меня были только эти мелочные и практические мысли... Лазар Маленький уже ел творожок и

кашки, но я его еще кормила... Я сказала Кате, и она меня поддерживала в этих моих мыслях и обещала все устроить и что я чуть ли не вечером того же дня буду дома... Я отнесла маленького к Софи и сказала, что я через несколько дней вернусь. Я на всякий случай сказала, что несколько дней и оказалась права, были какие-то осложнения, и несколько дней это продлилось... Я сказала Лазару, что моя сестра заболела и мне придется на несколько дней поехать... Он знал, что я почти не общаюсь со своими родными, но если сестра заболела... Софи, кажется, все поняла, но ничего не сказала... Когда она была на работе, Лазар смотрел за ребенком... Борис предложил ему куда-то пойти, Лазар отказался и объяснил, почему не может... Борис тогда еще не женился... Борис сказал ему, что догадывается, что со мной, и спросил, почему Лазар не пользуется этими презервативами... Лазару было неприятно, потому что Борис говорил о нашей интимной жизни, как о чем-то обыденном, что бывает у всех; и еще одно — Лазар не знал тогда, что такое презервативы, но ему было неловко признаться и он делал вид, будто знает, но даже такой маленький обман был ему неприятен... Но Борис и об этом догадался и стал объяснять ему, а Лазар прерывал его разными «да!», «я знаю», «конечно»... Лазар после мне все рассказал... Борис обещал ему раздобыть презервативы...

Когда я вернулась домой, у меня совсем не было ощущения, будто я убила живое существо, но я не очень хорошо себя чувствовала; еще немного шла кровь... И Лазар меня раздражал своим отчаянием и откровенностью, он говорил, что это очень страшно — такая жизнь, когда двое только и делают, что убивают своих возможных детей... Он действительно мучился... Но я устала телесно и хотела отдохнуть, и надо было опять ухаживать за ребенком; и все эти его слова об этих убийствах казались мне глупыми, неестественными, нелепыми какими-то... Когда я совсем выздоровела, он боялся быть со мной... Я стала плакать и ревновать его, кричала на него... Я боялась, что у него есть другая женщина... Странно, но мне совсем не было бы страшно еще сделать такое прерывание беременности. Я чувствовала, что это никак не повлияет на мою духовную жизнь, как не может влиять на нее любая незначительная болезнь... Лазар предложил пойти к Софи, посоветоваться... — Иди, — сказала я. — Я не пойду... Я знала, что Софи не захочет ему ничего советовать... Она умная... Он пошел... Вернулся растерянный, и сказал, что Софи очень твердо сказала, что именно по таким вопросам ничего советовать не будет ни ему, ни мне, и велела ему уйти, даже кофе не дала... Он попробовал презерватив, но это оказалось так противно и ему и мне; так нельзя было; как будто жизнь теряла какой-то свой тайный смысл, какую-то самую тайную

свободу... Тогда Лазар сказал, что пусть у нас не будет телесной близости. Он знал, что я сейчас закричу, что у него есть другие женщины... Потому он даже приподнял руку, словно уже останавливал меня, и сказал, что совсем пусть ничего не будет, ни с кем, и пусть я этого не боюсь... Он правду говорил, и у него хватило бы сил на это. Но я слабее, и у меня уже не хватало таких сил; жить без него, без его тела, у меня бы мысли и чувства смешались, помутились, я не могу так жить, без него... Я сказала, что он не должен думать о детях, пусть я это буду решать, и ведь по логике природы я должна это решать... Конечно, он постепенно успокоился... Я не хотела детей после нашего сына... Мне и сейчас кажется, что любимый ребенок бывает один, а все остальные — их меньше любишь... Приходилось еще делать эти прерывания беременности... Лазар, кажется, привык, но я чувствовала, что он всякий раз мучается... И девочки родились, потому что, я знаю, ему было приятно чувствовать, что от него родится новое живое существо... Когда наконец-то мы переехали в эту двухкомнатную квартиру, он сразу сказал, что пусть у нас будет трое детей, ведь у нас теперь есть квартира... Мы ночью разговаривали, и он сказал, что с тремя детьми он уже не будет чувствовать себя убийцей... Я не стала уже разубеждать его, говорить, что он не убийца... Если у человека такое глубинное убеждение о чем-нибудь, зачем оскорблять его, пытаться его переубедить... Так родилась наша младшая девочка... После нее у меня обострился туберкулез... И больше не было беременностей; может быть, это связано с болезнью легких... Мне кажется, Лазар больше любит дочерей, чем сына... Сын появился на свет как-то естественно; а дочерей он, словно бы сам спас об небытия... Лазар мне говорил, что его мучает мысль, что болезнь обострилась после рождения девочки... Он снова чувствовал себя виновным, ведь он так хотел, чтобы она родилась... Теперь он обвинял себя в том, что не думал обо мне... Но я ему говорю, что такого чудесного человека, как он, вообще не бывает на свете, и это счастье, что я увидела его и что он со мной... А странно, я не помню, как я его увидела в первый раз... Кажется, в какой-то аудитории в университете...

Но как же это получается?.. Я?.. Ничего... ни с кем... Придумываю?.. Нет... Как вам объяснить... Просто нужно так, и я рассказываю... и ничего не могу изменить в своем рассказе...

Но все-таки почему?.. Почему это именно такой Лазар получается?.. Я всем сердцем хочу, чтобы он был другим; но я знаю, это он, и я люблю его...

В самой этой глубине моего подсознания, будто комок в горле, — одно какое-то чувство, ощущение, что я не заслуживаю другого Лазара... Почему?... Я хочу видеть его другим, я не знаю его до конца... Значит, фантазия не спасает от реальности... Но это плохая фраза... Но мой Лазар... и, может быть, еще...

Нет!.. Будем говорить о чем-то другом... Но я не должна об этом думать, потому что это грязное... Теперь я лежу в палате, где только одна кровать, и я одна... А когда я лежала в другой палате, где было еще пять женщин, я плакала от отвращения... А они говорили не Бог знает о чем; просто о мужчинах, о детях, о прерывании беременности... Но почему они такие злые, грубые, грязные? Может быть, они изменяются, если в этом мире людям не будут насильно менять имена и не будет газовых камер, и будет больше демократических свобод?... Странно, но я все-таки надеюсь, что они, может быть, изменятся тогда, хотя бы немножко... Наверное, я идеалистка... Но когда я слышу, как они разговаривают, мне хочется, чтобы когда наконец я найду Лазара, у нас с ним не было бы этих близких, интимных отношений; чтобы мы были чистыми... Но все-таки Лазар — это Лазар... С ним я не могу стать грязной...

Так... теперь дальше...

Меня еще не положили в больницу, и мы пошли с Лазаром купить ему куртку... В магазине он стоял перед этим большим зеркалом и примерял куртку... Я на него сердилась, указывала ему, он послушно поднимал руки, поворачивался... Вдруг я почувствовала с удивлением, что он смотрит прямо в зеркало... Я тоже посмотрела... Я стояла у него за спиной... выглядывала... И я увидела, что он не видит меня. Видит только свое лицо. Чудесно прекрасное, почти мальчишеское лицо, с большими изумленными глазами, полными надежды... Машинально он снял очки и мальчишеским жестом зажал их в горсти... Мне так захотелось поцеловать его, где одно такое крохотное пятнышко сбоку на шее, будто крупинка. Я всегда это местечко целую... никто бы не заметил... но я не осмелилась, как будто бы это уже не был мой муж, как будто бы я уже не имела права поцеловать этого отдаляющегося от меня человека...

* * *

Эти глупые фальсификации, эти диссертации — «Критика буржуазных фальсификаторов истории болгарского рабочего класса» — сачма!..* Но все это кончится...

Мой Лазар... Эта его хозяйка (мы так ее называем, даже наша маленькая знает это «хозяйка»)... когда строили дачу для ее дочери и она велела, чтобы Лазар работал, как простой рабочий... Я помню его, усталого, испачканного известкой... кандидат исторических наук... Ничего!.. Все-таки теперь рукопись уже передана... Мой Лазар не раб, душа у него живая, настоящая!..

Дело в том, что Лазар перекопировал документы, которые приказано было уничтожить, и написал комментарии, и все свои рассуждения, доказательства и выводы; и все передал Борису, когда Борис был здесь летом... Может быть, в ФРГ издадут... Но пока ответа нет... А, может быть, Лазар для них совсем не тот человек, который должен рассказать обо всем, что случилось?.. Лазар не зарабатывал себе имя, не дружил нарочно с теми, с кем нужно дружить; не заискивал, не притворялся... Может быть, они думают, что Лазар только на то годится, чтобы мучить его вместе с тысячами других бесприметных людей?.. Но я знаю, что Лазар все написал прекрасно. И я хочу, чтобы он победил... А если здесь узнают?.. И что тогда?.. И все-таки я так горжусь им, просто сама себе удивляюсь... Одна такая детская большая-пребольшая гордость!..

Еще нет ответа... Может быть, они думают, что не такая уж это сенсация — когда насильно меняют имена у какой-то части населения в какой-то маленькой балканской стране... Однажды мы говорили с Софи... Я ее люблю с этой ее маленькой родинкой у края рта... Лазар очень похож на свою старшую сестру... Она рассказала о двух девушках в автобусе:— в их селе взяли паспорта, поменяли имена, но все вроде привыкли... Софи сказала, что, может быть, мы преувеличиваем, когда так возмущаемся, и что, может быть, все и не так страшно... Надо потерпеть и все как-то выправится... И в литературе и в кино вот говорят, что эти турецкие имена были насильственно даны болгарам в средние века... Тут Лазар на нее напал, стал гово-

* Сачма (по-турецки) сачма — чушь. абсурд.

рять, что все это мифология, что документы показывают другое; а то, что сегодня, сейчас происходит, это настоящее насилие, и вся страна загажена этим насилием. Я тоже вмешалась и сказала, что речь идет о человеческом достоинстве, о том, чтобы дети после не чувствовали себя виноватыми из-за того, что сейчас одни насильно меняют имена своим согражданам, другие не сопротивляются, а третьи молчат, испуганные...

— И ты, Лазар, должен что-нибудь сделать!..

— Я уже сделал,— сухо ответил он.— И без твоих советов...

Софи посмотрела на него, вздохнула и сказала тихонько: «Не кричи так, дети проснутся...»

— И пусть проснутся!— почти кричу я.— Пусть видят, что их отец и мать — еще не совсем рабы!..

И тогда Лазар улыбнулся смешливо и поцеловал меня...

Хорошо... Почему же тогда я в конце концов трусливо сдалась и поменяла имя?.. Потому что у меня нет ни Лазара, ни детей... И я не могу одна... И я все понимаю... И мне так горько!.. Я хочу умереть скорее...

Значит... Исследование уже есть, существует... Оно, как обвинительный акт... И это сделал мой Лазар... потому что он ийгит... И пусть он меня сейчас не любит; я знаю, что из-за болезни я стала совсем некрасивая... И пусть он мечтает о какой-нибудь молодой красавице... Совсем как ребенок о новой игрушке... Боже, что с ним будет... У нас нет Колымы, но кто знает, что у нас еще есть... Я люблю Лазара... потому что он смелый... Я люблю его!.. Я не хочу умирать. Не хочу!..

Я знаю, что это малодушие, но мне захотелось еще жить... С завтрашнего дня буду принимать эти противотуберкулезные таблетки... Мне уколы делают — все-таки было какое-то лечение... Я выздоровею...

У меня есть свои настоящие несчастья, почему я о них не рассказываю?.. Мне слишком печально о них говорить... И они мне кажутся слишком странными... и такими — тягостными... Хотя они совсем не связаны ни с какой любовью... Или, может быть, как раз поэтому... Нет, я сейчас не буду о них рассказывать... Просто не могу... Может быть, когда все кончится... А вот кончится или нет?..

Я выздоровею и найду Лазара. Я его найду!..

Написать письмо? Написать?.. Но зачем мне эта грубая имитация настоящей жизни, когда я могу сделать настоящую жизнь еще более настоящей... И еще... И еще... гене*... Только возьму чистые листки бумаги и карандаш или ручку... и буду нанизывать рифмованные строки — мои стихи... Стихи, как эти бескрайние старинные ожерелья — герданы — из этих старинных золотых монет... Но сейчас я не могу... Не могу встать с постели, не могу вынуть из чемодана свои наброски, черновики... Мне хочется спать...

На сегодняшний вечер пусть останется одна имитация... Я позвоню по телефону, снизу, с первого этажа, из кабинки... Я представлю себе, как будто бы я звоню...

Я буду говорить тихо, чтобы меня слышал только Лазар, а не эти люди возле кабинки, которые ждут своей очереди... Я не хочу показывать другим людям, как будто бы я какая-то очень заботливая мать и супруга; не хочу играть эту тонкую роль такой хрупкой, но духовно сильной женщины; она тяжело больна, но притворяется беззаботной, щебечет; и во всем ее поведении одна цель: смотрите, какая я! замечайте! И зрители замечают и аплодируют... а она думает: вот я! Как я возвышаюсь над своим мужем, какая я тонкая натура!.. Но я так не хочу! Не хочу! Не хочу... А все-таки чего же я тогда хочу?..

Я опускаю монетки и беру трубку... вот сейчас я все ему расскажу, все разделю с ним: то кафе днем, и противотуберкулезные таблетки, и статью Мизова, и одну-единственную снежинку, и небо, и землю, и утреннее зеркало — все!.. И он, Лазар, утешит меня... потому что он все понимает...

Вот сейчас... Мое мгновенное напряжение.. Я услышу его голос... Я так по нему скучаю... Мой Лазар!..

Я выкрикиваю одно «алло!»... Не могу узнать его голос... Впрочем, это всегда, когда я звоню ему...

— Зарко!.. Лазаре!..

— Кто это? — спрашивает он на другом конце провода... Голос у него такой буднично-недовольный... Может быть, он уже спал, а я подняла его с постели...

— Извини, Лазарчо...

— Это ты? — теперь интонации как будто живее... Но зачем эти фокусы, как будто из пьесы Пинтера «День рождения» — «Пити, это ты?»... Он правда не узнает мой голос?.. Кто может быть, кроме меня?.. Зачем он мне устраивает этот театр абсурда?..

Плохо слышно... Мне приходится кричать, и от этого совсем портится все, что я хочу сказать... Я еще успеваю огор-

* Снова (*по-турецк*) (gene)

читься из-за того, что весь придуманный заранее разговор пропадает...

О, какая же я глупая и карикатурная!.. А он?.. Наверное, он не один сейчас, или вернулся от какой-нибудь женщины; и какими смешными и надоедливыми ему кажутся эти мои выкрикивания... Я уже немного раздражена...

Он спрашивает обязательное «как ты себя чувствуешь?»... Но я не чувствую никакой настоящей заботливости в его голосе... Просто так спрашивает, как будто это тягостная обязанность... Я не отвечаю, потому что одна мысль меня обжигает и еще больше раздражает... Погода дождливая, дети у Софи, а непромокаемые пальтишки с капюшонами остались дома...

— Лазар, ты отнес пальтишки детям?!— я кричу страшно, и даже сама расслышала, как будто со стороны, этот свой теперешний раздраженный голос...

Бедный Лазар! Он даже не догадывается обмануть меня: говорит, что еще не отнес, что утром отнесет... Но и он уже злится...

А я совсем уже бешеная... Чужой человек он, чужой!.. Дети — единственное, что у меня есть в жизни... они в опасности... они простудятся...

— Сейчас же отнеси! Немедленно! Слышишь?!..

— Завтра вечером отнесу, я работаю...

Я кричу, как бешеная, какие-то несвязные слова; не слышу себя... Вдруг на меня нападает кашель... Я не хочу, чтобы он слышал; он расстроится, он будет брезговать мной... Я прихожу в себя — и почти инстинктивно отвожу трубку в сторону... Выплываю бурные крошки в носовой платок... А он кричит; спрашивает, где я, почему я не отвечаю, что со мной случилось... Я наконец все расслышала и удивляюсь: — ведь это человек, который открыто тревожится обо мне... как сильно кричит... А я замолчала от изумления... Я совсем прихожу в себя... Я жалею его... И очень его люблю!..

Что я сделала?.. Подняла его с постели, а он так устает, и утром ему снова надо ехать на работу в этом автобусе, и толкотня, и все остальное... и я даже не могу ему завтрак приготовить...

— Почему ты молчишь?!.. Ты кашляешь?!..

Вот! — он все понимает!..

Я сильно прижимаю трубку к уху...

— Нет... Не кашляю... Просто... Пришла в себя... Извини, Лазарчо...

— Я отнесу детям пальто...

— Спасибо...

— Я приеду к тебе...

Время уходит со страшной быстротой... Вот сейчас исчезнет его голос... Я должна его беречь, я должна сказать ему, что не надо лишний раз приезжать сюда, ко мне... Нас уже перерывают со станции... Такие страшные горы одиночества с таким страшным шумом, грохотом рушатся на меня!.. Одно ощущение, что время кончается, уходит...

И вдруг он выкрикивает мое имя... Это мое имя... Он называет меня моим настоящим именем... Это правда мое настоящее имя!..

— Лазаре, Лазаре... приезжай скорее, Лазаре!.. Я очень тебя люблю!.. Лазаре, Лазаре!.. Ты еще слышишь меня?!.. я целую... Я целую тебя в губы!..

.....

... только это...

(Бургас, 1983 — София, 1989).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЗРАК МУЗЫКАНТА

7

ВРАЧ-АРМЯНИН

131

Я ЦЕЛЮЮ ТЕБЯ В ГУБЫ

301

Ф. Гримберг
**СУДЬБА ТУРЧАНКИ,
ИЛИ ВРЕМЕНА ИМПЕРИИ**

Редактор *И. Шурыгина*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Н. Привезенцева*
Корректор *Л. Чуланова*

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.
Подписано в печать 03.09.97 г.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 22,7. Цена 22 300 р.
Цена для членов клуба 20 300 р.
Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

ТАЙНЫ

В триптихе Ф. Гримберг (поэта, прозаика, историка и филолога-слависта) «Судьба турчанки, или Времена империи» читателя ждет встреча с историей и современностью, любовью и разлукой, с яркими красивыми страстями.

Время действия романа «Призрак музыканта» — XIV век. В романе «Врач-армянин» события 1915 года увиденны глазами турка. Основная тема романа «Я целую тебя в губы» — ситуация в Болгарии конца 80-х годов, связанная с религиозными преследованиями мусульман.

В романах сочетается знание источников, тонкое воспроизведение колорита эпохи с утонченным психологизмом.

ИСТОРИИ

ISBN 5-300-01331-5



9 785300 013318